

# ДЕНЬ и НОЧЬ

Литературный журнал для семейного чтения № 2 | 2014



16+





*Наталья  
Николаева*

Триптих  
«Река Лена»

Ледоход  
Весна

2010–2013

# ДЕНЬ и НОЧЬ

Литературный журнал для семейного чтения № 2 | 2014

---

## В номере

.....

- |                              |   |
|------------------------------|---|
| ВЕНОК<br>АСТАФЬЕВУ           | Дарья Кригер                                    |
| 3 Венок Астафьеву            | 185 Ловля форели                                |
| Агнесса Гремицкая            | Александра Барвицкая                            |
| 8 Преданно ваш...            | 187 Сантиметры сентября                         |
| Александр Щербаков           | <b>ДиН ПУБЛИЦИСТИКА</b>                         |
| 38 Сопричастный всему живому | Нина Ульчугачева                                |
| Синяя тетрадь                | 57 Люди хотят добра                             |
| 54 Читая Астафьева           | <b>ДиН ПАМЯТЬ</b>                               |
| <b>ДиН СТИХИ</b>             | Наталья Редько                                  |
| Владимир Мялин               | 68 Дама из Серебряного века                     |
| 53 Уходит на цыпочках время  | Нэлли Щедрина                                   |
| Олег Мошников                | 71 У неё был свой Астафьев...                   |
| 56 Севастополь               | <b>ДиН РЕВЮ</b>                                 |
| Александр Орлов              | Евгений Степанов                                |
| 67 Война и мир               | 78 Жанры и строфы<br>современной русской поэзии |
| Глеб Соколов                 | <b>ДиН ПАРОДИЯ</b>                              |
| 75 Черновик                  | Евгений Минин                                   |
| Роман Рубанов                | 80 Соображение во тьме                          |
| 76 Взгляд Звезды             | <b>ДиН БЕНЕФИС</b>                              |
| Вячеслав Тюрин               | Геннадий Васильев                               |
| 77 Апокриф                   | 81 ...И роли доиграем до конца                  |
| Екатерина Ратникова          | <b>ДиН ЮБИЛЕЙ</b>                               |
| 79 Sancta Liliас             | Анатолий Третьяков                              |
| Олег Миндалёв                | 85 Лирическая исповедь                          |
| 103 Неумение жить            |   |
| Тина Кошкина                 |   |
| 183 Небо индиго              |   |

## ДиН ПРОЗА

Алексей Журавлёв  
87 Комиссия

## КЛУБ ЧИТАТЕЛЕЙ

Сергей Шулаков  
188 Близкая чужбина

## ДиН РОМАН

Василий Димов  
104 Москва по понедельникам

## 196 ДиН АВТОРЫ

ДиН ГАЛЕРЕЯ

## «АРКТ-навигация» в Красноярске

Региональное отделение Урала, Сибири и Дальнего Востока Российской академии художеств впервые в Красноярске представляет выставку якутских авторов Натальи Николаевой и Туяаары Шапошниковой, объединившихся в рамках творческого проекта «АРКТ-навигация». В некотором смысле эта выставка—генеральная репетиция в стенах родной Академии перед Днями якутской культуры в Московском доме национальностей. Художницы привезли в наш город около пятидесяти произведений различных жанров и стилей. Все они тематически объединены извечным философским мотивом—это мотив странствий, который воплощается в образах якутских дорог и рек, собирающих и связывающих воедино территории республики. Темы духовного путешествия и поиска нравственных ориентиров являются остро значимыми для художников вообще, а интерес к культуре и природе коренных народов Севера, которым по сей день удаётся сохранить свою самобытность и чистоту мировосприятия, делает работы «АРКТ-навигаторов» для нас особенно актуальными.

*Наталья Николаева*—выпускница Якутского художественного училища и Института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина в Ленинграде (мастерская профессора В. В. Соколова). Член Союза художников РФ с 1997 года. Организатор выставок молодых якутских художников в Москве и Якутске, автор международного проекта «Хабар. Кочующие свитки» (Москва, Казань, Стамбул, Нефтекамск, Якутск, Ижевск). Участник городских, республиканских и зональных художественных выставок («Дальний Восток», 1997, 2003, 2008, Хабаровск; «Россия», 1999; «Искусство земли Олонхо», 2002; «АРКТ-навигация», Санкт-Петербург, Мирный, Якутск, Гданьск, 2007–2012). Работы Н. В. Николаевой хранятся и экспонируются в Национальном художественном музее республики Саха (Якутия), художественном музее г. Южно-Сахалинска, в галерее при Московском доме национальностей, в Региональном отделении УСДВ РАХ в Красноярске, в галерее при организации «Тюркской», в частных коллекциях Красноярска, Каппадокии (Турция), Москвы, Якутска, Рима (Италия).

# Венок Астафьеву

## Лира Абдуллина



В. П.

И поднялась душа-подранок,  
 Душа, подбитая войной,  
 Тоской детдомовских лежанок,  
 Больничной скукой ледяной.  
 Лети смелее, бедолага,  
 Расправив крылья за спиной.  
 Тобой добыто это благо  
 Нечеловеческой ценой!  
 Пой о своём. Пусть голос сорван  
 Стенаньем долгим и бедой  
 И искажён сиротской торбой  
 И похоронок чередой.  
 И поднялась душа-подранок,  
 И полетела, не дыша,  
 На воронёный блеск берданок,  
 Нацеленных из камыша.

## Александр Казанцев



Вот на снимке—я, Астафьев  
 И учителька Галина,  
 А за нами полыхает,  
 Как салют большой, калина.  
 Двор Астафьева в Овсянке.  
 Осень. Век ещё двадцатый.  
 У Петровича в осанке  
 Усталь с удалью завзятой.  
 В снимок вглядываюсь—жалко!  
 Тучей хмарь ползёт на брови:  
 Чёрт-те где училка Галка,  
 И в сырой земле Петрович!..  
 Вот и радости изнанка—  
 Буду я писать отныне:  
 Красноярский край, Овсянка,  
 Дом Астафьева, калине.

## Николай Рубцов

### Шумит Катунь

В. Астафьеву

..Как я подолгу слушал этот шум,  
 Когда во мгле горел закатный пламень!  
 Лицом к реке садился я на камень  
 И всё глядел, задумчив и угрюм,  
 Как мимо башен, идолов, гробниц  
 Катунь неслась широкою лавиной,  
 И кто-то древней клинописью птиц  
 Записывал напев её былинный...  
 Катунь, Катунь—свирепая река!  
 Поёт она таинственные мифы  
 О том, как шли воинственные скифы,—  
 Они топтали эти берега!  
 И Чингисхана сумрачная тень  
 Над целым миром солнце затмевала,  
 И чёрный дым летел за перевалы  
 К стоянкам светлых русских деревень...  
 Всё поглотил столетний тёмный зев!  
 И всё в просторе сказочно-огнистом  
 Бежит Катунь с рыданием и свистом—  
 Она не может успокоить гнев!  
 В горах погаснет солнечный июнь,  
 Заснут во мгле печальные айлы,  
 Молчат цветы, безмолвствуют могилы,  
 И только слышно, как шумит Катунь...

## Роман Солнцев

### Старик

Прежнюю эпохою прославленный,  
он сидел на празднике, больной,  
словно на посмешище оставленный  
вероломной быстрою судьбой.  
Он молчал, побрившийся аж до крови,  
на груди теснились ордена.  
Только очи говорили мокрые,  
что больна его душа, больна...  
Он смотрел с ухмылкой тяжёлою  
на героев нынешних времён.  
Как их целовали полуголые  
девки, век не знавшие знамён...  
Но хватало и ума, и мужества  
всем желать здоровья допона—  
это после прожитого ужаса,  
воя, под названием «война»...  
И ещё в тени бранчливой хмурости—  
это трусость иль святая ложь?—  
но хватало полупьяной мудрости  
врать, что нынче лучше молодёжь...

## Виктор Широков

### Улетаая

Самолёт, самолёт, самолётик—  
как присевший мотылёк на болоте.  
Покачнулся подо мной, разбежался—  
белым вензелем легко расписался.  
В голове одно, одно:  
ах, какой он неземной!  
Металлическое дно  
оборвётся подо мной?  
Спутница в кулёчек травит.  
Плачет хрупкими плечами.  
Сердца травма, травма, травма.  
Всё не полегчает.  
Время медленно идёт.  
Время медленно летит.  
Улетает самолёт—  
Никогда не улетит.  
Помнят губы. Помнят веки.  
Помнят пальцы на руке.  
И внизу лесочек редкий—  
как щетина на щеке.

## Валерий Черкесов

### Под Красноярском

Поезд летит стремительно,  
да отстаёт от времени:  
в Благовещенске день разгорается,  
в Москве ещё ночь стоит.  
А под Красноярском рассвет—  
как со вскрытыми венами  
человек—  
вековую тайгу кровит.  
Я спать не могу.  
И, вспомнив Астафьева,  
еле зубами сдерживаю  
нахлынувший стон.  
Прошу у Всевышнего:  
— Боже, оставь его  
на небе, хоть там-то  
справедливость узнает он.

## Иван Клиновой



*Памяти В. П. Астафьева*

...И день был ветреный, холодный,  
Но, от земных забот свободный,  
Лежал он там, а люди шли.  
И кто с цветами, кто с авоськой,  
Кто при параде, кто в обносках—  
Ко гробу медленно текли.

Студентки хилые с венками  
Протискивались между нами  
С суровой тёткой впереди.  
В желудке клочья мокрой ваты,  
А кто-то крыл кого-то матом,  
Ему в ответ: да сам иди...

Но всё терпел декабрьский воздух,  
И нужен был глубокий роздых,  
Чтоб не закрыть на всё глаза,  
Чтоб не потворствовать Вселенной,  
И оставалась неизменной  
Реки и неба бирюза.

## Николай Варнавский



Что ты странствуешь, рыцарь убогий?  
 Что ты ищешь, бродяга, в пути?  
 От чего ты бежишь, одинокий?  
 От себя всё равно не уйти.

Может, ищешь ты к храму дорогу,  
 Чтоб грехи там свои замолить,  
 Принести покаяние Богу  
 И лихую судьбу изменить?

И предстать перед тайной великой,  
 Что умом невозможно объять,  
 В мир иной унести, многоликий,  
 Научившись, как птица, летать

И парить, позабыв про невзгоды,  
 Словно ангел на Млечном Пути,  
 В океане безбрежной свободы,  
 Где тебя никому не найти...

И, насытившись славой высокой,  
 С неба звездочки в горсть соберёшь,  
 Разбросаешь по пыльной дороге  
 И на грешную землю сойдёшь...

## Ефим Гаммер



Зорька лижет дымный стланик.  
 Юркий глассер воду пенит.  
 Мне сродни — такой же странник,  
 чужд он злодремотной лени.  
 Мчит по Лене. Читит паренье.  
 «Жить бореньем!» — во весь голос.  
 Не в бегах... Он вечный пленник  
 скорости плюс снова скорость.  
 И летит, как бы ужален,  
 из мгновения в мгновенье,  
 кровавой сибирский шарик  
 по речной сибирской вене...

## Наталья Ахпашева



Отражённые звёзды относит на мель теченьем,  
 возле бакена плещутся — братец, однако, старший.  
 В эти редкие ночи снисходит в душу прозреньё —  
 в отдаленье от суеты, до отчаянья зряшной...  
 Прострочит тишину тарахтенье поздней моторки.  
 Как из детства навеет духом картошки печёной.  
 Озарённый костром, разговор идёт неторопкий:  
 — Вы ж, писатели, знаете много, народ учёный.  
 Рассуди, почему нам, людям, в ладу не живётся?  
 Помню, было, Петрович, однажды дело такое...  
 А в тайге, подступая к воде, как что-то крадётся  
 и, невидимое, в темноте вздыхает, живое...

## Олег Мошников



И снова — чебаркульский полигон,  
 Знакомый путь, и — стрельбы на недели...  
 Не чувствуя обветренных погон,  
 Мы на земле под звёздами сидели.

А между звёзд — натянутый экран  
 Терпел капризы рваной киноленты:  
 Дежурный фильм показывали нам —  
 «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты».

Когда герой картины умирал  
 И диск бобины бешено крутился,  
 Опорный край Отечества — Урал —  
 От наших плеч теснее становился...

И вечером на следующий день,  
 Спеша «домой» от огневых позиций,  
 Согласны все, желанных снов взамен,  
 Смотреть кино и вглядываться в лица.

И нам не быть другими никогда...  
 «Звезда и смерть...» И всё-таки — звезда!

## Николай Година

### Страсти по В.П.

Поеду в Овсянку к Астафьеву  
 Без повода и не чинясь...  
 Господь милосердный, оставь ему  
 Побольше побыть среди нас.

Он весь, как терновник у пряслица,  
 Остистый снаружи, смотри.  
 Но в нём столько доброго прячется  
 И детского где-то внутри.

Трудящийся, плохо трудящийся,  
 Бурея, исходит хулой.  
 А он же, судимый, судящего  
 Ужель одарит похвалой?

Посёлок. Дыхание вечности.  
 Ворона кричит на столбе...  
 И он, посредине отечества,  
 Отдельно стоящий в толпе.

1945

*Виктору Астафьеву*

За краем зимнего пробела  
 Осталось *это* навсегда.  
 Ещё у марта голубела  
 В глазах стоячая вода.

Переварив остатки крова,  
 Среди пугающих примет  
 Ржавела тощая корова,  
 Как без колёс велосипед.

Орёл и решка. Чёт и нечет.  
 Смеялась девочка в бреду,  
 Изломанная, как кузнечик,  
 Уже у Бога на виду.

## Анатолий Вершинский

### Клики

Как встарь, на годовщину свадьбы  
 иль день рождения созвать бы  
 друзей — успешных, полных жизни...  
 Да где друзья? В былой отчизне.  
 Они остались в прежнем веке,  
 как в заметённом вьюгой доме.  
 И нет в моей библиотеке  
 их новых книг. И нет в альбоме  
 портретов их. И просто — нет их,  
 рапсодов песен недопетых...  
 Я разолью вино в стаканы.  
 Я кликну в гости мир экранный.  
 И мир ответит безразличьем  
 на этот клик, не ставший кличем.



Играет виниловый диск,  
 как в юные — давние — годы.  
 Не прихоть эстета, не писк  
 забредшей из прошлого моды.

В задумку пластинки легла,  
 машинному коду на зависть,  
 природная мудрость: игла  
 стирает со временем запись.

Становятся громче шумы  
 и глуше высокие звуки...  
 Вот так же состаримся мы,  
 смыкая в объятиях руки.

Утраты отчаянный риск  
 и делает жизнь эту ценной.  
 Не тем ли виниловый диск  
 отличен от цифры нетленной?



Моя родная речь

*В. П. Астафьеву*

Грянула гроза! И по просёлку  
Проливняк прошёл навеселе!  
И возникла радуга-весёлка,  
И весёлый шум возник в селе...  
В лопухи набился дождь и в гречу,  
Повалил малину, хулиган!  
Небу стало легче, сердцу легче—  
Улетели молнии в туман!  
Изредка мелькают ещё где-то,  
И трещит лазурь...  
Но с вышины  
Луч лимонный—будто нитка вдета  
В чистую иголочку сосны!  
Заклубился воздух зримый, резкий  
В переливах радужной пыльцы.  
На кулигах и на перелесках  
Славят жизнь зарянки и скворцы!..  
Всей душой впитать бы землю эту—  
Речь её, и дух её, и цвет!  
Я из края в край прошёл по свету,  
Но нигде такого слова нет:  
Солнояд-заря смежит ресницы,  
Перепёлка млеет у межи.  
И всю ночь калинники-зарницы  
Кумачово плещутся во ржи!  
У кого-то золото—молчанье,  
А в моём краю родная речь—  
Россыпь золотая до отчаянья!  
И хочу я эту речь  
беречь!

Большой старик

*В. П. Астафьеву*

В юности  
Я представляла это так:  
Большой старик  
От всех вдалеке,  
От всего вдалеке  
Задумывался о жизни,  
В которой было  
Много горя и любви.  
И где погибали  
Реки и рыбы...  
Большой старик  
Писал о войне,  
О народе,  
О «великом переломе»  
И «огневых сороковых».  
Потребовались годы потрясений,  
Моих, родительских, страны,  
Чтобы понять:  
Он писал сурово  
О своём народе,  
О своей войне.  
О своём «великом переломе»,  
О своих «огневых сороковых».  
И не было чужого и дальнего  
Для большого старика.  
Пропущенное через сердце  
Становится своим.

Агнесса Гречицкая

## Преданно ваш...

Заметки редактора

В отличие от Юры Ростовцева, который в любом случае—в доме ли, или где-то в общественном месте—выставлял перед Виктором Петровичем диктофон, и тот говорил: «Да убери ты эту штуковину»,—я никогда не вела никаких записей: что мы правили в тексте, о чём разговаривали с Виктором Петровичем,—полагалась на свою память.

А получается, что зря. Многое уже утратилось, а то, что осталось, видимо, и есть самое важное, что хочется рассказать об этом человеке, работа и общение с которым остаются незабываемым счастьем.

## «Мы к Астафьеву...»

У него была удивительная способность: только заговорит с человеком, и тому кажется, что они знакомы вечность, давно свои.

Идём по берегу Енисея. У парашапы стоит мужик, удит рыбу. Подходит Виктор Петрович.

— Ну что, клюёт?

— Да плоховато...

И вот они уже стоят рядом, бок о бок, разговаривают «за жизнь».

Работаем над Собранием. Я в большой гостиной—рядом с входной дверью в квартиру.

Звонок.

Мне идти ближе всех. Открываю.

В дверях—высокий молодой человек:

— Мы к Астафьеву...

— Проходите...

— Да нет, у нас ещё один человек в машине, он без ног.

Это вечер 23 февраля.

— Виктор Петрович,—говорю я,—там вас спрашивают молодые люди.

Без слов напяливает в прихожей свою дублёнку, красный шарф, шапку на голову—на улице мороз—и уходит с высоким незнакомым парнем.

Его не было часа полтора.

Наконец, поднялся.

Грустный. Чужую войну и боль мерил со своей.

Нам с Марьей досталась бутылка сухого немецкого вина.

## Непревзойдённый рассказчик

Виктор Петрович был непревзойдённый рассказчик. Когда он появлялся в «Советской прозе» на шестом этаже, нередко с Марией Семёновной, в «Молодой гвардии» прекращалась работа. Ставился самовар, и все усаживались в уголке за маленьким столиком в кабинете заведующей—Зои Николаевны Яхонтовой.

Виктор Петрович немедленно завладевал нашим вниманием. Коронным номером его был рассказ, как подвыпивший мужичонка в Вологде ночью тонул в речке, где и воды-то всего по пояс, пытаюсь перейти на противоположный берег. И зывал к землякам: «Братцы, спасите». Все вологодцы, кто был на берегу, потешались, глядя на эту картину, но никто не спасал.

В следующий раз этот рассказ звучал уже с вариациями, и мы все опять ухохатывались до слёз.

Ещё был великолепный, тоже доводящий нас до гомерического хохота рассказ о том, как Виктор Петрович сплавлял сено на плотках своему тестю и что из этого вышло.

Валентин Григорьевич Распутин, тоже частенько появляющийся вместе с Виктором Петровичем (может быть, после какого-то писательского сборища), обычно, вставляя в общий разговор несколько слов, молча сидел в уголке и слушал, как витийствовал его старший друг.

Помню, они втроём—Виктор Петрович, Мария Семёновна и Валентин Григорьевич—заехали к нам после Болгарии, где отдыхали и работали. На этот раз был не смешливый, а серьёзный разговор.

Запомнилось: Виктор Петрович трогательно, нежно относился к Валентину Григорьевичу, как к сыну. Когда раскололась наша жизнь на несколько осколков, как рушится уроненная на жёсткий пол стеклянная чашка, раскололась и их белая дружба.

При всяком удобном случае я «ныла» Виктору Петровичу, что они должны быть вместе, ведь их книги у читателя на полке стоят рядом, вместе, и они должны быть рядом.

Они и остались рядом, как многие русские люди, виноватые все и во всём, что тогда произошло. На

всю оставшуюся жизнь Валентин Григорьевич остался преданным другом Виктора Петровича и Марии Семёновны. Просил Гену Сапронова и меня поклониться могиле Виктора Петровича, когда мы ехали на godину, каждый год писал Марии Семёновне.

И как я была рада, когда в августе 2005 года Валентин Григорьевич передал со мной (мы с мужем ехали через Иркутск и Байкал на юбилей к Марии Семёновне— всё это организовал Геннадий Константинович Сапронов) трогательное письмо Марии Семёновне. А она уже не могла написать бисерный почерк Валентина Григорьевича и попросила меня прочесть вслух, за столом, это короткое, но очень нежное, уважительное и дружественное послание.

### «Фома-Ягнёнок»

Великолепным рассказчиком, сочинителем всяческих баек был отец Виктора Петровича— Пётр Павлович. Возможно, это свойство писателя унаследовал, как говорится, по генетической линии. Но, возможно, это был ему Божий дар за всё пержитое в жизни.

В детдоме он прочитывал кучу книг, а потом пересказывал девчонкам.

Одной из таких книг, по его рассказам, была «Фома-Ягнёнок»— о пирате, которого потом вздёрнули на рее. История про пирата потрясла воображение бывшего беспризорника.

Уже став известным писателем и переехав на жительство в Красноярск, Виктор Петрович нередко рассказывал про этого пирата и задавался вопросом, кто же написал эту историю. (Рассказал он об этом факте своей биографии и в третьей книге повести «Последний поклон».) И однажды известный красноярский книголюб Иван Маркелович Кузнецов подошёл к полке и достал эту книгу— её написал французский писатель, бывший моряк Клод Фаррер, к тому же правнук знаменитого пиратского капитана. В двадцатых годах прошлого века в России выходило десяти томное собрание сочинений Клода Фаррера.

Не так давно, в Москве, я разыскала этот роман. Их даже два— «Тома-Ягнёнок» («Корсар») и «Рыцарь свободного моря» («Корсар»). Конечно, бурная пиратская жизнь не могла не потрясти воображение детдомовского мальчишки, но назвал он этого героя по-русски— «Фома-Ягнёнок», так было проще, чем какой-то непонятный «Тома».

### «Ловля пескарей в Грузии»

Рассказ этот, опубликованный в журнале «Современник», наделал переполох.

Грузины возмутились и демонстративно покинули зал заседаний Верховного Совета СССР, где рядом с ещё одним «деревенщиком»— писателем Ионом Друцэ— сидел Виктор Петрович.

А ведь ничего оскорбительного и особенного не было в этой «Ловле»— незамысловатый рассказ о том, как легко и весело живётся в этой Грузии.

Скорее, надо было обидеться россиянам: это ведь был триптих, и два его рассказа, «Слепой рыбак» и «Светопреставление»,— печальнее печали, о беспросветной нищете северных российских деревень, когда старухи, по причине долгого отсутствия продуктов в сельских магазинах, и готовить-то уже разучились.

Но русские «проглотили», а грузины обиделись и ушли.

Виктор Петрович вскоре после этого уехал в Японию. Вернулся и тут получил от нас подарок, чтобы грустно не было.

Мы навыврезали картинок из юмористических иностранных, да и наших журналов, наклеили в альбом и отправили Виктору Петровичу «отчёт» о его творческой жизни. Тут были изображены его редакторы, он сам— то, как его «обрабатывают» гейши в Японии (он голенький на коврике лежит, а они ему массаж делают), но главное— была страничка «Ловля пескарей в Грузии»: контур палатки (видимо, рыбаков) слева, справа от неё натянута верёвочка, и на ней висят обглоданные рыбы хребты, штуки четыре. А внизу сидит огромная отощавшая дворняга, открыв пасть. Подпись под рисунком была такая: «Воет на Царь-рыбу».

Виктор Петрович, получив альбом, очень смеялся и, по словам Марии Семёновны, показывал всем приходящим к нему гостям. Потом и письмо от него пришло. А в нём такие строки:

«По приезде (из Японии.— А. Г.) нас ждал ваш альбом! Ну, молодцы вы, бабы! Ну, молодцы! Юмор вас не покинул даже в издательстве «Молодая гвардия»! Что было бы, если б вас перевести в «Планету» или в «Мысль»?— и подумать-то весело, чего бы вы с этой мыслью сделали! Спасибо, спасибо!»

Читатели поддерживают меня, и издатели, слава Богу, в обиду не дают. И какая почта! Живы мы ещё, и народ наш жив!»

Потом этот рукописный альбом куда-то делся. Возможно, Мария Семёновна отправила его вместе с другими бумагами Виктора Петровича в какой-нибудь архив.

### «Моцарт»

Однажды Виктор Петрович позвонил от Толи Заболоцкого. Дескать, сейчас они ко мне приедут.

А дело было во время «сухого закона». Муж в дальней командировке. Достать водку в Москве практически невозможно.

А в шкафу у меня с давних пор стояла маленькая бутылочка заграничного ликёра «Моцарт». Пузатенькая такая, а на этикетке красавец Моцарт в белоснежном парике. Я и рюмочки ликёрные поставила.

Сгоняла на рынок за молодой картошечкой, зеленью, мясо приготовила, стол накрыла.

Приехали орлы-сибиряки. Обнялись. Сели за стол. Смотрят на меня вопросительно: дескать, пол-литра-то где? А я им «Моцарта» на стол—раз! У Виктора Петровича глаза на лоб:

— Это что за штуковина за такая?

— А это «Моцарт», хороший композитор. Водки-то нет.

— Ну, наливай.

Выпили «Моцарта», съели мяса и картошки. А «Моцарт»-то сладкий, густой, приторный.

— Ну, большей гадости в жизни не пил...

Побеседовали о делах и, недовольные «Моцартом», уехали.

### Роза от Табакова

По просьбе Виктора Петровича я не раз получала его литературные премии—Казаковскую премию, учреждённую «Новым миром» за лучший рассказ, премию Аполлона Григорьева от Академии русской современной словесности за «Весёлого солдата», но всё это выглядело как посещение редакции или бухгалтерии и получение конверта с деньгами.

Действо, устроенное театром О. Табакова, оказалось необыкновенным.

— Послушай,—сказал мне Виктор Петрович по телефону.—Тут театр Табакова наградил меня какой-то премией. Получи, пожалуйста. Позвони администратору, узнай, когда это будет, съезди.

Я созвонилась и—кажется, это было 24 октября,—приехала в театр. Администратор попросила подождать:

— Олег Павлович сейчас будет—они возвращаются с гастролей в Риге.

Действительно, вскоре появились Табаков с Мариной Зудиной.

Я поднялась навстречу:

— Олег Павлович, я по просьбе Виктора Петровича Астафьева...

— Знаю, знаю,—заулыбался Табаков.—Вскоре начнём.

Они с Мариной уехали домой—переодеться.

В маленькой «Табакерке» собралось полно народу—в основном молодые люди, видимо актёры, но была и дама в возрасте. Оказывается, она подготовила к печати и издала дневники Станиславского.

Явился Табаков, и действо началось.

Я села в самый последний ряд, спрятавшись за рядами молодых людей, но меня пересадили в первый—всё-таки фамилия Виктора Петровича на «А» начинается.

Олег Павлович объявлял, кого и за что театр награждает. «Именинники» подходили к мэтру и получали из его рук красную бархатную папку и великолепную красную розу.

— Писатель Виктор Петрович Астафьев награждается за великую любовь к людям,—произнёс Табаков и под аплодисменты вручил мне и эту красную бархатную папку, и роскошную красную розу.

— Всё, что вы захотите сказать в ответ,—по русскому обычаю, скажете с чаркой в руке,—сказал Табаков, заканчивая церемонию.

Уйти просто так я сочла неловким.

Улучила момент и подошла к Олегу Павловичу: — Олег Павлович! Представляете, как сейчас Виктор Петрович мне завидует, как он был бы рад быть рядом с вами. Он ведь сам великий лицедей.

Табаков заулыбался.

— Спасибо огромное!

Олег Павлович поцеловал мне руку, и я откланялась.

До работы всего две троллейбусных остановки. Я решила проехать—было холодно и ветрено.

Вошла в переднюю дверь. Троллейбус переполнен. Одной рукой я держусь за железный стояк у двери. Под мышкой второй руки зажата бархатная папка, на локте висит моя дамская сумка, а в самой руке—эта роскошная красная роза. И кто-то всё меня толкает и толкает с подножки.

— Не толкайте, пожалуйста,—взмолилась я,—сейчас упаду...

— Женщина, у вас сумочка растёгнута,—раздаётся чья-то реплика.

— Ничего, вот сейчас выйду и застегну,—говорю я радостно, всё ещё пребывая в плену табачковских впечатлений.

Схожу на тротуар и застёгиваю действительно растёгнутую сумочку.

В кабинете ставлю розу в вазу с водой и сажусь за свой заваленный рабочими бумагами письменный стол.

Часов в семь раздаётся телефонный звонок.

— Можно Гремичкую?

— Слушаю.

— Это говорят из турецкой аптеки (была такая на Маросейке). Приходите, нам ваши документы подбросили.

Я так и села. Лихорадочно лезу в сумку, висющую на спинке стула. На самом дне её—она довольно глубокая—конверт с астафьевской премией.

— Господи...—я перевожу дух.

Конверт цел. До него вор не добрался. Зато он умудрился бесшумно открыть молнию внутреннего отделения и, подумав, что это кошелёк, вытащил пухлый пластиковый, на ощупь вроде бы кошелёк, пакетик: паспорт в тиснёной кожаной, купленной в Риге обложке, пропуск в поликлинику с номером моего рабочего телефона (по нему и разыскали меня аптекарши), пропуск в Историческую библиотеку и талончик на приём к проктологу (к которому я так до сих пор и не сходила).

Кожаные красивые паспортные корочки вор оставил себе, а паспорт (спасибо ему) и прочее содержимое выложил на прилавке аптеки. Какой благородный вор!

Однако за всё надо платить!

На следующий день я накатала Виктору Петровичу письмо с отчётом о табачковом вручении, не преминула и про воришку рассказать.

Виктор Петрович отзвонился:

— Слушай, если ты думаешь, что он сжалился над тобой из-за билета в «Историчку», ты очень заблуждаешься. Наверняка его доконал талончик к неведомому эскулапу.

«Куда ты села?

Сядь сюда—я тебя не вижу!»

Всегда знала, что у Виктора Петровича один глаз незрячий после ранения. Но ни разу не могла поднять на него глаза, чтобы разглядеть—какой видит, какой нет. Я просто не допускала для себя такой возможности, не могла преодолеть стеснительность какую-то. И когда мы работали, часто садилась неудобно для него.

Тогда он шумел на меня:

— Куда ты села? Сядь сюда—я тебя не вижу!

Я пересаживалась по другую руку от него. Потом я старалась запомнить «правильное» своё местоположение. Но в новой обстановке всё повторялось. И он опять шумел, и я снова пересаживалась.

Но если спросить меня, я так и не скажу, какой глаз у Виктора Петровича не видел.

### Горбачёв и бизнесмены

На семидесятилетие Виктора Петровича мы летели вместе с Толей Заболоцким. Самолёт приземлился поздней ночью—рейс был последним. Спускаясь по трапу, мы увидели в стороне группу гостей—по хорошенькой светленькой головке я узнала Раису Максимовну Горбачёву. Эту группу встретил и увёз в город Роман Солнцев. Мы с Толей принялись звонить Виктору Петровичу. Тот, сказав: «Что же вы с Романом-то не приехали?»—велел ехать в «Октябрьскую».

После тёмной Москвы Красноярск показался полным света. Я «пела» Толе про то, какой светлый и прекрасный Красноярск. Сошли с автобуса. Осталось два квартала—и наша гостиница. Но улочка, на которую мы свернули, была совсем без фонарей. У Толи в одной руке—увесистая пачка авторских экземпляров третьего тома молодоговардейского Собрания сочинений Виктора Петровича, в другой—кожаная сумка с тяжёлой киношной аппаратурой. Вдруг навстречу нам из бокового переулка вываливает ватага парней. Я по-прежнему пребываю в эйфории от замечательного Красноярска, а Толя вдруг выступает вперёд меня, загоразживает собой—руки с поклажей, а я ничего

не понимаю, но мы медленно сближаемся с этой тёмной ватагой. Неожиданно за нашей спиной возникает милицейский «уазик» и, обгоняя нас, движется навстречу парням. Те ныряют в какой-то двор и растворяются в темноте. Через двадцать метров мы подходим к гостинице.

— Ты хоть понимала, что могло сейчас быть?

— А что, Толя?

— И аппаратуру бы отобрали, и морду набили...

Нет, не могла я представить несправедливость в сияющем огнями Красноярске...

Виктор Петрович радовался, как ребёнок, когда на праздновании, при полном зале, при именитых гостях, по сцене везли на верёвочке огромную царь-рыбу, и этот огромный осётр открывал пасть, как маленький крокодил... Праздник был устроен грандиозный.

Михаил Сергеевич Горбачёв, собиравшийся вновь выставить свою кандидатуру на президентских выборах, прилетел к Астафьеву, и не с пустыми руками—с выпущенным его Фондом (Горбачёв-фондом) солидным толстым сборником Виктора Петровича «Русский алмаз». На супере—Виктор Петрович сидит на брёвнышке на берегу Енисея и задумчиво и грустно смотрит вдаль. Михаил Сергеевич сам написал предисловие к этой книге. Отпечатан сборник был в Москве. Но вышел в рамках международного проекта «В поддержку российской культуры». И свою партнёршу из Германии—фрау Марию Вильмес—он прихватил вместе с Раисой Максимовной (эту группу и встречал Роман Солнцев).

Приём был в ресторане на берегу Енисея. Я сидела за столом, поставленным под углом к основному столу, за которым расположились Михаил Сергеевич и Раиса Максимовна, Виктор Петрович и Мария Семёновна и руководители края и города. Естественно, что на приёме было немало промышленных воротил края. Речи следовали одна за другой.

— Михаил Сергеевич,—говорил один бизнесмен,—спасибо, конечно, вам, что дали нам свободу. Край подымается, богатеет. У нас много денег...

— Смотрите, чтобы разрыв был небольшой,—перебивает его Горбачёв.—Не то опять будет новая революция.

— У нас много денег,—продолжает свою мысль бизнесмен,—но мы не можем их хранить в России, мы вынуждены хранить их за границей.

— Так давайте выпьем за Россию, в которой можно было бы хранить деньги!—предлагает Михаил Сергеевич.

### Внук Витька и армия

Пришла книжка от Марии Семёновны—«Знаки жизни»—и письмо. Дескать, лежала в больнице с инфарктом, было время, и вот решила написать о том, как изначально складывалась их трудная

семейная жизнь с Виктором Петровичем, их личные взаимоотношения. Чтобы потом никто ничего не мог наврать. Но Виктор Петрович, прочитав, рассердился, нашумел и хлопнул дверью. По телефону Мария Семёновна беспокоилась, как бы из-за выхода этой книжицы не вышло бы нечто большее, кроме этого хлопанья дверью. А ещё в письме говорилось, что внук Витька в армии. Дед отправил его туда, когда пришла повестка. Отправил на перевоспитание.

Через какое-то время снова звонит Марья: Виктор Петрович поуспокоился, смирился с книжицей. А вот с Витькой беда: в госпитале, что-то с ногой, похоже, что избили, может, мстят за то, что дед «не так» армию в романе «Прокляты и убиты» изобразил. Ася, что делать? Виктор Петрович звонил, но его и слушать не хотят. Пропадёт парень-то. Попробуй что-нибудь предпринять.

«Что-нибудь». А в голове крутится, как, представившись главой женсовета «Молодой гвардии» и узнав через ЦК ВЛКСМ номер части, позвонила командующему Забайкальским военным округом, где служил племянник нашей техредницы Нели Х. У самой у неё не было детей, и он ей был как сын. Неля убивалась: пришло письмо от племянника перед принятием присяги, что ни за что не останется в армии, а просто повесится, и он может это сделать. Слезы стояли в Нелиных глазах.

— Что, вам ещё один труп в армии нужен? — спросила я командующего округом, сообщив ему про письмо.

— Нет, не нужен, — согласился командующий.

И вскоре племянник бедной Нели был дома.

Вспомнив эту историю, а главное, наглядевшись на быт этих двух стариков — участников былой войны, ничуть не сомневаясь в своей правоте, подумав только, к кому бы лучше обратиться, я набрала номер телефона пресс-секретаря президента Ельцина Вячеслава Васильевича Костикова — своего недавнего несостоявшегося автора. Три года Вячеслав Васильевич, живя и работая в Париже, «доводил» роман, я уже была готова предложить его в план редакционной подготовки, но издательство рухнуло, и автор издал роман в АПН. Вячеслав Васильевич понял суть просьбы и помог — получил согласие пресс-секретаря Паши-Мерседеса Грачёва Елены Александровны Агаповой на то, что я ей позвоню.

И я позвонила.

— А кто вы такая? Родственница? — спросила меня Агапова.

— Не родственница, — ответила я, — а редактор. Часто бываю в доме Астафьевых. Виктор Петрович и Мария Семёновна после смерти дочери Ирины — опекуны над внуками. Они оба участники Великой Отечественной войны. Виктор Петрович — инвалид войны. Мария Семёновна по состоянию здоровья не выходит из дома, Виктор Петрович

летом живёт и работает в Овсянке, даже хлеба в дом некому принести, за лекарствами сходить в аптеку.

— Но ведь это внук, не сын же, — возразила Елена Александровна.

— А сын уже отслужил своё, усмирлял восстание в Праге, к тому же он живёт в Вологде... Неужели судьба солдата из Сибири должна решаться в Москве?

— Именно так. Ну хорошо, позвоните завтра...

Завтра по этому телефону мне ответили, что Елены Александровны в ближайшие дни не будет, она уехала в командировку. А вечером из «Новостей» я узнала, что началась война в Чечне.

Я снова позвонила по телефону Агаповой, и поднявший трубку молодой человек — Андрей Вадимович Барковский — спросил, по какому поводу я звоню. Я изложила суть дела. Оказывается, Агапова передала просьбу Барковскому. Тот просил выяснить номер части, имя-отчество, фамилию Виктора. Позвонила Марье. Перезвонила Барковскому. Передала. Через некоторое время — звонок от Марии Семёновны:

— Витька дома, только без документов. Остановит патруль на улице — арестует.

Снова звоню Барковскому. Благодарю от имени Виктора Петровича и Марии Семёновны и объясняю ситуацию.

— Не беспокойтесь, — говорит офицер. — Документы скоро придут.

И они пришли.

Спасибо добрым людям.

Конечно, армия много не потеряла, что из её рядов выбыл молодой новобранец, а за Виктора Петровича и Марию Семёновну стало спокойнее — всё-таки парень в доме. А при встрече я выговорила Витьке, как много людей занималось просьбой бабушки и дедушки, как он должен их беречь, но эта наука, боюсь, не пошла парню впрок.

### Что ещё помню?

В годы «раздрая», когда он порвал с «Современником» и вышел из Союза, ему, конечно же, не хватало писательского общения. И он придумал эти «Литературные встречи в русской провинции». И так радовался, когда приезжали друзья-единомышленники. Он собирал и писателей, и поэтов, библиотекарей, отводя им огромное место в культурной жизни страны, и музейщиков (помню замечательную Тамару Михайловну Мельникову, директора Лермонтовского музея-заповедника в Тарханах, которую он боготворил).

Он был счастлив в эти дни. Встречи проходили либо в Овсянке — в библиотеке, но там тесновато, либо в библиотеке Дивногорска, либо в Красноярске, в краевой научной библиотеке.

Он всегда звонил, когда затевался такой сбор: — Ты у меня в первых рядах.

Действительно, фамилия-то у меня на букву, близкую к началу алфавита.

Обсудив какие-то важные, но общие вопросы, гости по старой советской привычке отправлялись на выступления—в библиотеки, школы, куда звали.

Однажды мне пришлось вместе с киношником и поэтом Олегом Хомяковым выступать в дивногорской библиотеке. Собралось много народу, задавали вопросы о творчестве Астафьева. И я позволила себе сказать, что Астафьев как писатель вышел из «Шинели» Гоголя. Его так много обижали и унижали в жизни, что он, как и Гоголь, встал на защиту маленького человека, неприметного труженика, они—главные герои в его творчестве.

### Петренки

Однажды я приехала к Виктору Петровичу после того, как у них гостили Петренки—Алексей Васильевич и его жена Галина Петровна Кожухова. Галина Петровна и вручила мне перед отъездом в Красноярск кассету с фильмом, который Петренки сняли о Викторе Петровиче в Академгородке.

Мы дважды смотрели этот фильм—добрый, светлый: как Петренко и Виктор Петрович гуляют по крутоярию за домом, как огромный Алексей Васильевич и маленькая Польша танцуют по кругу астафьевской гостиной, плавно взмахивая руками, как лебеди—большой и маленький.

Алексей Петренко мечтал о роли Тараса Бульбы, и Виктор Петрович, обожающий Гоголя, не сомневался, что из него выйдет великолепный Тарас.

Петренки приезжали проститься с Виктором Петровичем незадолго до его кончины, и он опять говорил о Тарасе Бульбе.

### «Пришлите штаны!»

В какое-то время Виктор Петрович стал грузным—наверное, сидячая работа давала о себе знать.

В очередной мой приезд на «Литературные встречи», а они открывались в этот день в краевой научной библиотеке, Виктор Петрович распорядился:

— Ты попей чая с дороги, приедешь попозже, а мне надо собираться.

Вышел в прихожую, где огромное зеркало. Примерил пиджак. А тот не застёгивается—пуговицы не на месте.

— Перешей-ка,—просит Виктор Петрович.

У Марии Семёновны трясутся руки, ей будет это трудно сделать.

Примериваю на его пузе, где пуговицы должны быть, и перешиваю.

Надевает белую рубашку, галстук, застёгивает пиджак на все пуговицы, спускается вниз.

Мы с Марией Семёновной на кухне пьём чай, она рассказывает о своих новостях, я о своих.

Звонок в дверь. Открываю.

На пороге водитель:

— Виктор Петрович велел передать: пришлите штаны!

Оказывается, второпях мы не углядели, что наш герой отправился заседать в президиуме ответственного собрания в домашних спортивных штанах.

Отправили с водителем парадные брюки.

### «Почему он стал такой злой?»

Однажды, по какому-то случаю, был устроен небольшой приём—встреча с читателями—в бывшей загородной резиденции бывшего правителя края, злополучного Федирко.

Дача из лиственницы, добротная, просторная. Рояль в одном из залов на втором этаже.

Стол истинно сибирский: уха, пироги с рыбой.

Рядом со мной—упитанный бизнесмен из «новых русских».

Спрашивает:

— Объясните: почему Виктор Петрович стал так зло писать? Почему он стал такой злой?

Отвечаю:

— А чему же ему радоваться? Енисей загубили, еле колышетса, травы перестают расти, где росли, птицы редуют.

— Так ведь прогресс же,—возражает бизнесмен.

— А с душами людскими что происходит?

— А что с ними может происходить? Нет, раньше он добрый был.

### После Парижа

В конце октября 1987 года Виктор Петрович возвращался из Парижа. Николай Петрович Машовец, главный редактор, звал нас к себе в кабинет.

Виктор Петрович выглядел усталым, но, как всегда, воодушевлённым. Его прямо распирало от французских впечатлений.

И тут я впервые услышала его рассказ о том, как по причине его любви к чтению запала ему в сердце история русской «княгинички» Верочки Оболенской, дочери русских эмигрантов,—она участвовала во французском Сопротивлении и была казнена на гильотине в тюрьме Плётцензе под Берлином. Могла уцелеть, но не предала своей далёкой родины, России, и похоронена была в братской могиле на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа.

Виктора Петровича повёз на кладбище корреспондент «Литературной газеты» Кирилл Привалов. Они быстро разыскали могилу Бунина, и Виктор Петрович положил цветочки на могилу и приложился губами к холодному каменному кресту с мраморной пластиной у подножия, где значились имена «великого русского писателя и его многотерпеливой жены».

Главное дело было исполнено. А больные ноги несли старого человека дальше. Куда? К могиле

княгини Оболенской. Она всё не попадалась. А у Кирилла в оставленной машине — жена с большим сынишкой. Он пошёл их проведать. Сказав, что разыскать эту братскую могилу, может быть, не один день понадобится.

Виктор Петрович, вконец обессилевший, еле ковляющийся, хотя купил для хождения по огромному городу мягкие туфли, присел на первую попавшуюся скамейку и вытянул усталые, застуженные в детстве ноги.

Стояла золотая, настоящая русская осень, и вдруг тут, под купой желтеющих, как в России, берёз, он увидел нужную ему могилу. Среди листов — что-то напоминающее кремлёвскую башенку и фотокарточки казнённых в 1941–1945 годах. С одной смотрело на него лицо княгини Веры Аполлоновны Оболенской.

Он обомлел. Само провидение привело его к этой могиле. Так хотел он свидеться с идеалом своей давней книжной романтической мечты — и вот свиделся.

Позднее из этой почти мистической истории родилась астафьевская затесь «Блажь».

### Уроки Польке

Великий подвиг совершили бабушка и бабушка, забрав после внезапной смерти дочери Ирины осиротевших детей к себе. Забот, конечно, прибавилось. Но появился стимул — не сдаваться, не стареть ради внуков.

Помню Польку маленькой, детсадовской. Я ходила забирать её из садика — сопливую, со спустившимися колготками.

Полька подрастала. Выручали друзья: кто возьмёт её с собой в Красноярск в театр, кто на концерт. Люба Кузнецова не раз отправляла Польку со своей семьёй на Алтай, там Полька ездила на лошади и потом, уже немного повзрослев, занималась конным спортом и хотела стать ветеринаром.

Маленькой девочкой она училась музыке — игре на пианино.

Мария Семёновна, сама выросшая в большой трудовой семье, приучала Польку к домашнему труду — поручала погладить бельё, вымыть пол.

Но вот ученье в школе Польке давалось с трудом. И вечером, когда мы с Виктором Петровичем заканчивали работу, я получала задание от Марии Семёновны позаниматься с Полькой.

Мы усаживались рядом на диван и читали вслух историю, а потом Полька должна была мне пересказать прочитанное. Но у неё это плохо получалось. И читала она неважно.

Я не удивилась, когда Мария Семёновна сообщила через какое-то время, что Полька поступила в физкультурный техникум.

А потом Полька стала артисткой, закончила театральный факультет. И у неё растёт дочка Настя, в которой прабабушка души не чаёт.

### Библиотека

Как-то вечером — а было это зимой, уже стемнело, — Виктор Петрович позвал пройтись по Овсянке.

Говорил, что деревня уже не та, много чужих, скупают избы и строят хоромы. Кончатся гровозы.

Мы вышли на улицу, параллельную Енисею.

Среди тёмных изб что-то белело.

— Смотри, это будет библиотека.

Я увидела домик из силикатного белого кирпича, приблизительно шесть на шесть, как подмосковные садовые строения.

— Ругались в деревне: на кой библиотека, лучше бы клуб построил.

Виктор Петрович однажды летом сводил меня в прежнюю библиотеку — в тесноватый деревянный домишко, познакомил с милой библиотечаршей Анной с трудным отчеством — Епиксимова, а она и одного из своих сыновей показала.

Белая кирпичная библиотека — это замечательно.

Но случилась павловская денежная реформа, накопления рухнули, завершить стройку Виктору Петровичу было уже не по карману.

А через несколько лет я поразились: маленький, но дворец, красивый, уютный. Вот что значит сибиряки: скинулись, всем миром достроили красавицу-библиотеку, даже трибуну для проведения литературных праздников соорудили.

Виктор Петрович рассказывал: нагрянула ельцинская охрана перед приездом президента. Осмотрели избу: здесь не только охрану разместить — президенту повернуться негде. «Покажите ещё что-нибудь». Показали библиотеку. Тесновато, конечно, не кремлёвские палаты, но комнаток много, рассовали там охранников и устроили встречу — беседу президента с писателем. Народу полно набилось.

Здесь, в библиотеке, открывались первые «Литературные встречи в русской провинции» в 1996 году, здесь подводили итоги конкурса сочинений школьников края по произведениям Астафьева, и здесь в 2006 году отмечали десятилетие чтений, и строители усадили гостей на те же места. Было народное гулянье — праздник «Ода русскому огороду»: всякая красота овощная была разложена на прилавках — смотри, угощайся.

А обед был уже в новострое, как бы в амбаре бабушки Катерины Петровны на подворье Музея повести «Последний поклон».

Библиотека в Овсянке носит статус библиотеки-музея. Это действительно музей: издания Виктора Петровича, книги, присланные библиотеке в дар от его друзей-писателей и издателей, здесь проводятся выставки, различные встречи. Но главное — сотрудницы ведут научную работу: на Астафьевских чтениях в Перми доложили, что



разыскали чуть ли не двести реальных людей — прототипов героев повести «Последний поклон» и упоминающихся в ней персонажей.

### «Только Марье не говори»

Как-то позвонил Виктор Петрович:

— Я там отправил тебе письмо. Сходи по этому адресу и передай тысячу рублей из моего гонорара или из своих денег. Скажи, что пока тысяча... Только Марье не говори...

Вскоре пришло письмо с адресом дома в районе метро «Преображенская» и с номером телефона. Я позвонила. Ответил слабый женский голос; я подумала, что это какая-нибудь старушка, которой Виктор Петрович решил помочь. И у метро купила роскошные сиреневые хризантемы. С этим прекрасными хризантемами я вышла из дверей лифта, а в проёме дверей нужной мне квартиры меня уже ждал высокий худощавый седой человек. — Проходите, пожалуйста.

В глубине комнаты, в кресле с деревянными подлокотниками, сидела необыкновенной красоты женщина. С прекрасными, внимательными и мудрыми глазами, которые тут же начали меня бурлить, словно насквозь. И я растерялась: у этой мудрой красавицы были не руки, а маленькие, словно скукоженные, птичьи лапки. Локтями женщина опиралась на деревянные подлокотники, а эти птичьи лапки лежали на дереве и чуть приподнимались, если нужно было совершить какое-то действие. Я настолько была потрясена этим несоответствием — прекрасной головой и маленькими птичьими лапками, что стала лепетать какую-то чушь, вдруг рассказала незнакомым людям про Витьку и про то, как вызволяла его из армии, но потом пришла в себя и выслушала грустную людскую историю.

В детстве она была обычной, нормальной девочкой (она родилась и выросла в Воронежской области), а став взрослой, заболела. У неё было редкое заболевание — мышцы как бы усыхали, превращались в сухожилия.

— Нас таких всего девять во всём мире, и мы переписываемся.

Она окончила Литинститут, пишет стихи. Её спутник — муж? друг? товарищ? — тоже поэт. Две горемыки под одной крышей: оказывается, студенты Литинститута помогли ей собрать и издать стихи лагерного поэта Валентина Соколова.

На оплату тиража и собирала деньги издательница, обратившись с письмами к некоторым литераторам, в том числе и к Виктору Петровичу.

Я сказала, что через какое-то время привезу ещё тысячу, но она ответила, что больше не понадобится.

Я вышла на улицу с тремя поэтическими книгами: красавицы с искверканым болезнью телом, но живущей мощной духовной жизнью, не

сдавшейся, не сломанной, борющейся за то, чтобы слово поэта, упрямого за решётку, было услышано, и её спутника, «старого зэка», как он написал на книжечке, помогающего ей преодолевать жизненные невзгоды. А третья книга — стихи затравленного поэта, лагерная лирика Валентина Соколова.

Был поздний тёплый летний вечер, лениво грохотали полупустые трамваи, кто-то сидел в кафе, а в этой тесной квартирке шла ежечасная битва за жизнь, против смерти.

Вечером в своей маленькой кухне я читала то, что невозможно было читать без слёз.

### Отец Георгий

— Надо съездить к отцу Георгию, — сказал Виктор Петрович.

— А что так?

— Да мы с ним на одном банкете рядом сидели, не доспорили.

Дом отца Георгия — на самой верхней улице Красноярска. Когда подъехали, совсем стемнело. В деревянном, из толстых брёвен, строении не светилось ни огонька. Ворота заперты. Улица безлюдна. Мы уже раздумывали, не повернуть ли обратно, как откуда-то из тьмы возникла женская фигура в ватнике. Подошла к машине.

— Вы к кому?

— К отцу Георгию...

— А кто вы?

Последовал ответ.

Через несколько минут ворота распахнулись, а в доме зажглись огни.

— Проезжайте, — позвала нас женщина.

Мы въехали во двор и вошли в дом. В тёмной прихожей, где мы снимали верхнюю одежду, появился отец Георгий — небольшого роста, в серой клетчатой рубашке и чёрных носках. Он так и ходил в них по комнате. Появилась матушка, малоприметная, малоразговорчивая.

Отец Георгий поднял крышку погреба перед горницей и спустился вниз, начав подавать матушке блюдо за блюдом.

— Прихожане принесли, — объяснил батюшка, когда на столе появилось всё, начиная от рыбы, всякого мяса и кончая солёными домашними грибами. — Прихожане и дом мой стерегут... По очереди.

Я ждала, когда Виктор Петрович начнёт свой «философский спор». Но он медлил. А батюшка рассказывал о себе: он из Томска, преподавал в университете химию, пришёл к вере. Стал служить. До этого интересовался учением Конфуция. Выписывал из Ленинки микрофильмы с откровениями Конфуция. КГБ инсценировало кражу — увели телевизор для видимости и плёнки с Конфуцием. Теперь вот дом охраняют прихожане.

Было жалко и этого бедного батюшку, и матушку, вынужденных прятаться, и в голову не приходило, о чём мог спорить на банкете в честь

какого-то юбилея города Виктор Петрович с отцом Георгием. В церковь он не ходил, считая, что вера должна быть у человека в душе, а церковь—это лишнее. Однако же хотел, чтобы его после кончины отпели в часовне, построенной не без его участия.

Может быть, дом батюшки, его неторопливый откровенный рассказ погасили в душе Виктора Петровича желание «скрестить шпаги».

Мы подняли рюмки за здоровье и тепло распрощались с батюшкой и его супругой.

В следующий свой приезд я узнала, что отец Георгий перевёлся из Красноярска в новый приход—за шестьдесят километров.

### Любимая книга

В 1980 году Виктор Петрович переехал жить на родину—в Красноярск, в Академгородок на крутом берегу Енисея, а летом жил и работал в Овсянке, купив избу напротив дома бабушки Екатерины Петровны, заменившей ему утонувшую мать.

Воспоминания детства нахлынули на него с новой силой, захотелось продолжить рассказы о детстве и издать «Последний поклон» уже в трёх книгах.

Виктор Петрович написал заявку в издательство, но дело двигалось медленно. Под этот договор дважды издали мы книгу его прозы о войне «Военные страницы», а тут и вовсе беда: скоропостижно скончалась дочь Виктора Петровича Ирина, которую похоронили в Овсянке.

На что можно было надеяться?

Но вдруг приходит от Виктора Петровича письмо: дескать, литератор—это какое-то чудовище. Вот отвели по Ирине сорок дней. И надо бы ему бежать на кладбище и волосы на себе рвать от горя, а в берёзах птицы поют, и не поймёшь, кому лучше—ей или мне, а я вот не бегу, а сижу за столом и пишу «озорные» главы. Действительно, озорные, гоголевские: «Стряпухина радость»—как пекут блины в Сибири, какие бывают сковородки и как этот блинчик скользит у тебя по нутру, «Легенда о стеклянной кринке»—как, погнавшись за тетеревом, потерял любимую бабушкину стеклянную кринку, «Запах сена», «Заберега», «Предчувствие ледохода»—эти главы написаны после смерти Ирины. Кроме того, дописаны и дополнены некоторые прежние главы—почти семь авторских листов нового текста прислал для «Последнего поклона» Виктор Петрович. Это природа компенсировала его потерю.

Мы отправили в Овсянку художницу Аллу Озеревскую; вместе с мужем, Анатолием Яковлевым, она будет иллюстрировать книгу. И Алла вместе с Виктором Петровичем съездили в Абакан—выбрать камень для памятника Ирине.

И вот долгожданная рукопись с новыми главами и многочисленными вставками в прежние получена, прочитана, «переварена».

— Ну как?—Виктор Петрович картинно встал над пустым столом напротив моего в нашей маленькой редакционной комнатке на шестом этаже.

Я тоже поднялась—над своим:

— Замечательно, но кое-что я хотела бы вам сказать. Что это вы ничтожного Федирко увековечиваете?

— Как это «увековечиваю»?

— А так—почти целую страницу ему посвятили. Ваши-то страницы вечны, вот и Федирко увековечивается. А вы скажите так, чтобы и про Федирко все поняли, и про всех других лизоблюдов, чтобы им всем неповадно было...

— Так ты возьми и скажи.

— Да вот я от вашего имени себе карандашом позволила.

Читаю.

— Нормально, ставь куда надо.

К этому времени пала цензура. И писатель многое мог назвать своими именами (например, пожарник на даче партийного бонзы, через которую проходил к себе в деревню молодой солдат, превратился в натурального дежурного милиционера при этой высокопоставленной семье).

Многое захотелось вставить в прежний текст Виктору Петровичу. Чаще всего это было логично и не портило написанное. А испортить было легче простого—совместить несовместимое. И в прекрасную, написанную на одном дыхании главку, посвящённую Валентину Григорьевичу Распутину, очень лирическую, с описанием Шалунина быка, у которого нашли утонувшую мать, Виктор Петрович вставил кусок о том, как сравнивали гору и сделали смотровую площадку, чтобы «дряхлае наши вожди» легонько поднимались вверх и обозревали Енисей.

Нашли этой вставке более подходящую по стилистике главу.

Виктор Петрович расширил воспоминания и о своей деревенской школе («Фотография, на которой меня нет»), и о школе в Игарке. И так «растегнулся на все пуговицы»—тупица из тупиц по математике. Тут я его немножечко урезонила:— Ну зачем так-то, Виктор Петрович? Зачем на себя наговариваете?..

Короче, подписали мы в производство «Последний поклон» уже в трёх книгах. Но не прошло и двух дней, как я отправила рукопись в типографию,—звонит Виктор Петрович:

— Беги скорее, забирай книгу обратно, я тебе новое описание восхода солнца на Енисее отправил.

Задерживаю рукопись. Получаю новый текст главы «Предчувствие ледохода». Это шедевр, классика. Солнце-ярило встаёт над Енисеем. Радует, что начинается работа на земле—необходимая, долгожданная, новый виток жизни. Сияй, солнышко!..

И вот выходит двухтомник—беленький, нарядный, в оформлении А. Озеревской и А. Яковлева.

Виктор Петрович счастлив. Делает надпись на титуле книги:

«Гремичкой А. Ф. Любимому человеку, славной женщине с благодарностью и нежностью, спасибо судьбе, что дожил до этой книги и до этого дня.

Низко кланяюсь всем Гремичким и самому маленькому— счастья и мирного света. В. Аст. Март 1989 г., Москва».

### «Учиться у Гоголя»

Гоголь был его любимый писатель. Виктор Петрович обращался к нему и в радости, и в самые трудные минуты жизни.

«Смерть есть смерть, но переживать детей—это большая неправильность, нарушение здравого смысла и всего здравого нарушение,—писал он мне в письме после безвременной кончины дочери Ирины (3 октября 1987 года).—Переживаем все тяжело. Мария Семёновна и без того едва ходила, а тут на нас, сперва на малого Витю, потом на Марию Семёновну, затем и на меня, напал какой-то жуткий бронхит, кажется, и заразительный. Я уже поехал в деревню и каким-то, мне даже неизвестным, усилием заставил себя работать и даже начал разгоняться, сделал ещё одну главку, несколько новых кусочков (в «Последний поклон».—А. Г.), и вот тут меня и подхватила хворь. Отвели 40 дней, и пришлось мне идти в больницу...

Хотя и в больнице я не теряю связи с «Последним поклоном», думаю, иногда что-то записываю, если кашель не бьёт... Сейчас, как и все стареющие люди, я шибко сожалею о беспутно траченном времени, о бездельно, в разговорах погубленных днях. Задним-то умом это мы, русаки, богаты!

Книга наполняется. Буду писать ещё одну главу, заключительную, из сегодняшнего дня, с оглядом назад, как и чего с нами произошло. На примере моей родной деревни. Грустные итоги, печальные страницы пролистаю, назвав их «Вечерние раздумья». (Эта главка так и не поспела к двухтомному молодоговардейскому изданию.—А. Г.)

А одна глава написалась почти озорная. Это в такие-то тяжёлые дни! Всё-таки раздвоение человека и писателя— явление типичное.

Вот, как всегда в больнице, перечитываю Гоголя. Боже, какой писатель! Какой фулюган! И какой горький патриот своей горькой Родины! Конечно, со школы не перечитывал «Тараса Бульбу», а тут взял и перечитал. Жемчужина! Ничего подобного ещё никому не удавалось изречь на Руси! Уж как ни пытались изобразить современного «Тараса», да кишка тонка... Снова читал по слогам, будто сахарок за щекой держал, «Старосветских помещиков». Вот учебник для молодых писателей. Читай, учись, смотри, там на всех и всего хватит. Да ведь они читают какие-то подмётные листочки и классику знают совсем плохо, да и текущую литературу знают мало, в основном жалуются

на то, что их не печатают, и мечтают разбогатеть посредством пера».

Каких только изданий Н. В. Гоголя не было на полках астафьевской библиотеки. А теперь он сам сделался классиком, и его стоит читать по слогам, учиться у него и наслаждаться его словом.

### «Жизнь на миру»

Приспела пора выпускать новое Собрание сочинений Виктора Петровича— первое, в четырёх томах, выпущенное в «Молодой гвардии» в 1979 году, уже во многом «отстало от жизни».

Мы составили проспект— набиралось шесть объёмных томов. Разработали принцип оформления (на форзацы шли документальные фотографии Овсянки, Виктора Петровича, Енисея и гор из альбома местного фотохудожника Ивана Казюрина, Виктор Петрович подарил этот альбом мне на память).

Первый том включал в себя повести «Стародуб», «Перевал», «Звездопад», «Пастух и пастушка» и роман «Печальный детектив», во второй вошли «Ода русскому огороду» и рассказы, в третий и четвёртый том должен был войти «Последний поклон» в трёх книгах, в пятый и шестой— «Кража», «Царь-рыба» и «Затеси»— семь тетрадей.

Предисловие было заказано В. Я. Курбатову. Он прислал мне довольно пространственный текст, и мы полетели в Красноярск к Астафьеву.

Как только не толковали творчество Астафьева! Самый прогрессивный сибирский критик, как явление положительное, полагал, что творчеством Астафьева движет «исторический оптимизм», а Валентин Яковлевич в своей обширной вступительной статье «Жизнь на миру» убедительно доказал, что творчеством Виктора Петровича движет христианская мораль его бабушки Катерины Петровны.

По случаю нашего с Валентином Яковлевичем приезда Мария Семёновна угостила нас опятами— подарком соседки. Виктор Петрович и Витька не ели, а мы с Валентином Яковлевичем угостились и всю ночь маялись в своей гостинице. Утром, бледные, как полотно, явились в Академгородок.

Виктор Петрович и Мария Семёновна уже прочитали текст вступительной статьи.

— Ты, Валя, от Бога,— сказала Мария Семёновна Валентину Яковлевичу в прихожей и погладила критика по голове.

— И ты, Витя, тоже,— крикнула Виктору Петровичу (он выходил из кабинета).

— И ты, Ася, тоже,— сказала мне, чтобы не было обидно.

Быт этой семьи я увидела первый раз. На завтрак Мария Семёновна варила овсяную кашу на воде в большой алюминиевой миске. Кашу Виктор Петрович обильно поливал подсолнечным маслом.

Он сидел с торца стола на кухне. Громоздкий, в махровом полосатом халате. По лицу струился пот, он вытирал его висящим на шее вафельным полотенцем.

Раза два он выходил с томиком Некрасова, читал вслух беспощадно грустные стихи и вопрошал:

— А что изменилось-то?

Нередко за столом была рыба—и хозяин из Заполярья привозил, и друзья-знакомые дарили. Быт и нравы в этом доме были простые—тут жили труженики.

Вышел первый том этого шеститомного Собрания, и Виктор Петрович сделал на его титульном листе такую надпись: «А. Гречицкой. Дорогая Ася! Есть прекрасное общенародное слово—работа, и от этой работы идёт всё, и человек, и жизнь, и любовь, и порядок, навеки спасибо за добрую совместную работу. Храни вас всех Господь! В. Аст., авг. 1991 г. Москва».

### «Мы так виноваты перед Борей Костяевым!»

Падение цензуры давало писателю возможность сказать правду о том, что было на войне.

В первом томе молодогвардейского Собрания шла его любимая повесть—современная пастораль «Пастух и пастушка». Действительно пастораль о несбывшейся на войне любви.

Виктор Петрович уверенной рукой уже преуспевшего мастера расширил и прописал батальные сцены, «объяснил» читателю, почему застрелился помкомвзвода старшина Мохнаков (дотоле это было совершенно непонятно): оказывается, у него был сифилис, и старшина рвал золотые коронки у убитых немцев, чтобы заплатить доктору.

Но главное—Виктору Петровичу хотелось усилить мысль повести: мы так виноваты перед Борей Костяевым, очень сильно, безбожно виноваты. И он нашёл этому выражение.

Умершего в вагоне поезда Борю Костяева оставляют в пустом вагоне, стоящем на полустанке. И через несколько дней по запаху разлагающегося трупа его находит путевой обходчик. Роет яму, снимает с Бори целёхонькое нижнее бельё, на санитарных носилках волочёт труп к яме, засыпает землёй и вбивает палку от носилок, как кол, в изголовье Бори. Да, так безжалостно, бесчеловечно поступил обходчик с Борей. Меня это очень задело, огорчило. Уговорила Виктора Петровича смягчить сцену. Кол-то на Руси самоубийцам в ноги вбивали. Как и в прежнем варианте, обходчик вытесал из палки на конце звёздочку и вбил своё изделие в изголовье покойного.

Три вышедших коричневых тома для автора были уложены в такие же коричневые картонные футляры, но для остального народа на третий том (начало «Последнего поклона») коричневого

бумвинила не хватило, и он вышел в чёрном переплёте, и это был как бы знак—вскоре для издательства настали чёрные дни. Собрание сочинений Виктора Петровича было приостановлено. Перед писателем даже не извинились, оборвав на середине печатанье его «любимой книги».

А ведь мы с ним подготовили и вычитали корректуру и подписали в печать и четвёртый, и пятый тома.

Не обошлось и без курьёзов. В первый том входил «Печальный детектив». В подтверждение того, что такие детективы существуют, Виктор Петрович прислал мне фотографию толстого претолстого мордатого «мента» с надписью на обороте: «Печальный детектив».

Вычитывая вёрстку, он вставил на полях письма Маркела Тихоновича своему зятю детективу Сошнину (про тещу): «Приходила срамотить, окна била»,—после слова «била» вставил словцо, которое я из-за астафьевского малопонятного почерка поняла как «бляде-воняла». И внесла эту авторскую правку в свой редакторский экземпляр, подумав: вот линотиписты-то повеселятся. Думаю, повеселились.

Приходит из типографии подписная корректура. Тут уж ухо надо держать востро. Обнаруживаю, что в первой половине романа у нас героиню зовут так-то, а во второй половине уже по-другому, и вставка в письме к печальному детективу непонятна. Звоню Виктору Петровичу.

— Виктор Петрович, всех ваших «мудаков» навставляла. А героиню-то нашу—имярек—как всё-таки зовут?

Говорит, как зовут.

— А что это вы в письмо Маркела Тихоновича Сошнину вставили: «Приходила срамотить (тёща), окна била, бляде-воняла»? Как это понимать?

— Ну что ты?—искренне удивляется Виктор Петрович.—Такая хорошая баба, а такого хорошего сибирского слова не знаешь—«блядево́нила».

Поправила на «блядево́нила», так и вышел этот молодогвардейский «Печальный детектив» с этим крепким сибирским словечком в письме, в котором Маркел Тихонович так описывал нрав своей половины: «А моя-то, Тальяка-то, совсем запурхалась, ничё ведь не умеет, токо лаяться и выступать». И в пятнадцатитомное Собрание сочинений оно попало. А вот корректура тома «Затесей» в семи тетрадах так и осталась лежать в издательском архиве. Но, может, и выкинули её в мусор, как выкинули в коридор макет Собрания и бронзовые штампы для тиснения на обложке, когда рухнуло издательство.

— Ася, приди заberi,—позвонила мне техред,—всё из шкафов уже выбросили в коридор.

И я забрала и бронзовые штампы, и макет домой—дорогие мне принадлежности не вышедшего Астафьева.

### «Ты что скрипишь?»

Однажды на «Литературных встречах в русской провинции», то есть в Овсянке, а было это в августе, выпал снег.

Я приехала одетая по-летнему, в шёлковой юбке и в босоножках. Пиджак, правда, в сумку сунула.

Виктор Петрович сколачивал команду — лететь в тайгу, в Енисейск, к Лёше Бондаренко. Посмотрел на меня:

— Не могла что-нибудь потеплее прихватить?! У Марьи нога маленькая, на тебя обутки нет. И юбочка никуда не годится. Не лететь тебе в тайгу.

В тайгу с ним полетела горластая молодая женщина-девка, с виду фэзэошница — Нина Краснова. Видимо, тогда возникал и этот скоротечный роман.

Я подошла к автобусу — ехать куда-то. Она кричала из дверей:

— Покажите мне эту Гремичкую. Хочу на неё посмотреть.

Разухабистая деваха.

Они улетели в Енисейск. Я улетела в Москву...

А пока идут «Литературные встречи». Посадили деревца у библиотеки. Народное гулянье устроено.

Виктор Петрович устал. Надежда Яновна с Анной Епиксимовной Козынцевой просят меня отвести Виктора Петровича в избу и побыть с ним.

Нежарко.

По дороге Виктор Петрович говорит:

— У Марьи не топят. В Дивногорске в гостинице тоже. Останешься у меня. Ольга Семёновна (врачиха. — А. Г.) вечером уедет в Красноярск.

Пришли в избу. Я принялась чистить картошку. Поставила вариться. Когда картошка поспела, пришёл Л. И. Бородин, скромный, немногословный, тихий какой-то. После того, что он пережил, станешь тихим.

Я накрыла стол — поставила рюмки, тарелки, незатейливые закуски — и ушла в «огород», чтобы не мешать разговору этих пострадавших в жизни людей тет-а-тет.

К вечеру подвалил народ — пообщаться, поглазеть на встречу двух земляков. Наконец, шумная компания отбыла — кто в Дивногорск, кто в Красноярск. Уехал и Л. И. Бородин.

— Спать будешь, где Ольга Семёновна спала, — вот в этой комнате на диване, а я в кабинете.

В наопленной избе было тепло и уютно. Я ночевала в комнате, где много лет спустя, уже после смерти Виктора Петровича, Мария Семёновна беседовала с президентом В. В. Путиным — в креслах за маленьким журнальным столиком. А я спала на диване у медвежьей шкуры на полу.

Утром, чуть свет, я поковыляла через припошённый снежком огород в знаменитое астафьевское «заведение» — в босоножках без пяток на голую ногу и шёлковом (взятом для лёгкости сумки) халатике. Вернулась. Прошла через терраску. Отворила дверь в избу.

— Ты что скрипишь? — в дверях кабинета возник заспанный Виктор Петрович.

— В туалет ходила, — робко отвечаю.

— Ты что, в терраске какую-нибудь посудину не могла найти?

Поворчав, ушёл досыпать.

### Несостоявшийся футбол

Виктору Петровичу пришло приглашение из Италии. Его звали прочитать лекцию о сибирской литературе перед студентами Миланского университета. А скорее всего, студенты просто хотели пообщаться со знаменитым сибирским писателем.

Виктор Петрович ходил по квартире веселенький, потирал руки:

— Наконец-то итальянский футбол посмотрю.

Он ведь издавна заядлый болельщик, любитель этого вида спорта. И для него посмотреть игру в футбол итальянцев — непередаваемое удовольствие.

Но Виктор Петрович умудрился простудиться и заболеть. И Ольга Семёновна не отпустила, несмотря на все его горячие уговоры.

### «Прокляты и убиты»

Мысль написать роман о пережитом на войне, о запасном полку, куда попал мальчишкой, зрела в астафьевском мозгу с первого им сочинённого произведения — с рассказа «Гражданский человек», который он потом назовёт «Сибиряк».

В 1988 году, когда мы работали с ним над новым, последним вариантом «Пастуха и пастушки», Виктор Петрович дал мне прочитать главу из будущего главного своего романа о войне.

Был жуткий снегопад. Порывы ветра с силой били в стёкла балкона в астафьевском кабинете. — На, прочти, — Виктор Петрович протянул мне отпечатанный Марией Семёновной текст.

Вверху страницы стояло: «Расстрел братьев Снегирёвых».

Я читала этот кусок под завывание ветра, взгядывая на косые полосы падающего снега за окном. Было не по себе. Мороз по коже.

— Здорovo, Виктор Петрович, — только и могла я сказать.

В девяностo первом позвонили новомировцы: — Виктор Петрович просил тебя быть редактором нового романа о войне (анонс был уже напечатан в журнале). Приезжай.

Сергей Павлович Залыгин принял меня в своём кабинете. Сказал, что здесь будет нечто новое для меня в астафьевском творчестве — Ленин, существо, Астафьевым вообще неприемлемое (сын шляпника и т. д. и т. п.), и много мата.

В рукописи, которую мне передали для работы, на полях против «уязвимых» мест были залыгинские пометки.

Я прочла текст. Но прежде, чем засесть за работу, мне предстояло поехать на похороны одной своей университетской приятельницы, с которой мы некоторое время вместе работали в издательстве. Это было 26 мая.

Я ступила на обочину—посмотреть, идёт ли троллейбус,—и, поднимая ногу на тротуар, попала каблуком в петлю на подкладке пальто, уронила себя на инстинктивно подставленную для опоры левую руку и сломала её. Попросила двух стоящих неподалёку мужиков поднять. Села в подошедший троллейбус и поехала на Савёловский вокзал, где меня ждали подруги. Рука за это время сделалась фиолетовой.

Подруги велели ехать обратно—в травмпункт, который находился напротив моего дома, возле которого я упала.

Выходя из троллейбуса, я вновь попала каблуком в эту неведомую петлю и вновь уронила себя—теперь уже с высоты троллейбусной подножки—и доломала руку. Да ещё и коленку до крови разбила.

Руку загипсовали, из-за колени всадили уколы от столбняка (на всякий случай). Так началась моя «работа» над этим печально-великим романом.

Я уехала на дачу к дочери и там, в маленькой, выгороженной фанерой комнатке в мансарде нашего «садового домика», читала, постигала и осмысляла этот астафьевский текст, вслушивалась в ритм этой прозы.

На какое-то сборище в Москву приехал Виктор Петрович. Остановился в гостинице «Россия».

— Виктор Петрович, с приездом!! Чаем вас напоили?

— Напоили.

— А каши овсяной дали?

— Каши не дали.

— Приезжайте, я сварила.

Приехал Виктор Петрович. Накормила его кашей, напоила чаем. И мы сели за стол в большой комнате—смотреть мои карандашные предложения. Я ему что-то объясняла, он слушал. В конце сказал:

— Спасибо тебе. Ты сделала то, что я должен был сделать сам, но я устал и торопился—поджимали сроки.

Кстати, я не смогла поднять несломанную руку на некоторые поэтизированные, мягко-ласковые, но всё-таки ругательные словечки, без которых, как мне кажется, не могли существовать и действовать астафьевские героини-солдатики во фронтовых окопах.

И ещё одно: новомировцы отдали копию рукописи на рецензию В. О. Богомолу. И передали мне его отзыв—пункты на двух оборотах листа мелким почерком. Дока Богомолу многое «перечеркнул» в романе, написав, что так не могло быть (в том числе и расстрел братьев Снегирёвых).

Я отлично знала Богомолу. Он часто бывал гостем нашей редакции. Да и с редактором его «Момент истины» В. П. Аксёновым мы сидели в одной комнате.

Я позвонила Богомолу. Выслушала его напористую тираду, ещё раз перебрала всё в уме и объяснила новомировцам, что, несмотря на такую рецензию доки Богомолу, поддерживаю роман: Богомолу указывал, *как должно было быть* на войне, а Виктор Петрович рассказывал о том, *как было!*

Вадим Борисов, зам Залыгина, и Маргарита Тимофеева, заведомом прозы «Нового мира», зная, что мы в этот день встречаемся с Виктором Петровичем, приехали посмотреть, как бы чего не вышло, но, увидев наши благостные физиономии, успокоились. Я накормила всех супом из белых грибов, и новомировцы увезли рукопись в набор.

А Виктор Петрович вышагивал по комнате и вдохновенно рассказывал, что вслед за второй книгой романа—«Плацдарм»—обязательно напишет третью, она будет называться «Весёлый солдат». А в ней Лёшка Шестаков, раненым попав в плен к немцам, а затем в наш лагерь в Заполярье, бежит и доберётся оттуда на Алтай, к староверам, к несравненной Валерии Мефодьевне, и спасётся у них.

После выхода романа в «Новом мире» я уехала в отпуск. Виктор Петрович не торопился со второй книгой романа, попросил ещё почитать двух верных людей. Сергей Павлович сказал ему, что в журнале прозы на год запас. Но вдруг всё переменялось, вторую книгу романа нужно было срочно ставить в номер. Муж мой был в командировке, С. П. Залыгин искал меня, но не нашёл: «Ты полола грядки где-то на Ярославщине»,—и «Плацдарм» редактировала Алла Марченко. Виктор Петрович прислал потом расстроенное письмо: цензура Марченко оказалась посильнее, пояростнее советской. Естественно, готовя роман для публикации в Собрании сочинений, писатель восстановил утраченное.

Но третьей книге романа не суждено было состояться.

В трубке—голос Виктора Петровича:

— Позвони Валентине Ивановне—третью книгу романа в «Новом мире» не объявлять, а объявить повесть «Весёлый солдат». Она уже на машинке. Я буду в Москве шестого—восьмого октября.

## Танки в Москве

— Слушай, позвони, пожалуйста, в инокомиссию. Какого числа мне надо быть в Москве?

Я позвонила и передала.

— А зачем вы летите в Шотландию?

— Просят прочесть лекцию в Эдинбургском университете...

Утром 19 августа, часов в десять, я поехала в «Новый мир» отвозить рукопись книги Виктора

Петровича, которую «Новый мир» собирался издать, это должен был быть сборник рассказов под названием «Людочка». Виктор Петрович попросил меня его составить, а Алла Озеревская сделала макет и нарисовала заставки.

Выйдя из метро на «Чеховской», я остолбенела: вдоль здания «Известий» на тротуаре, направив дула в сторону Кремля, стояли танки.

Я передала рукопись в отдел и немедленно поехала к себе в редакцию. Была пора отпусков, я оставалась «на хозяйстве». А новомировцы поехали к Белому дому.

По радио—ничего внятного. У кого-то в издательстве оказался немецкий приёмник. Бегаем узнавать, что сообщает заграница.

Звонит Галя Кострова из Дубултов:

— Где Володя?

Отвечаю, что он на Медведице со Старшиновым и туда танки ещё не пришли. Велю ей с Катькой не отрываться от С. П. Залыгина, а возвращаться в Москву вместе с ним.

Звонит из Алма-Аты Галя Дмитриева:

— Позвони Диме (это сын, студент). Скажи, что я разрешаю ему выходить из дома только в будничную...

Дима, оказывается, тоже уже у Белого дома.

Очень тревожно.

Окна редакции выходят на Новослободскую улицу.

Как всё обернётся?

Вечером танки уходят из центра города.

Они идут по Новослободской. Их видно из окна нашего дома. И в дулах орудий—цветы.

Позднее я узнала, как в этот день волновалась Мария Семёновна. Оказывается, на следующий день из Эдинбурга возвращался Виктор Петрович. И Мария Семёновна представила, как, если бы верх взяли гэкачеписты, Виктора Петровича арестовали бы прямо у трапа самолёта. А ведь человек делал благородное дело—читал шотландским филологам лекцию о сибирской художественной литературе.

### «Триумф»

Перед новым, 1995-м годом позвонил Виктор Петрович. Велел быть готовой—идти в Большой театр, где ему и другим лауреатам будут вручать независимую премию «Триумф» за «Проклятых и убитых» (опубликованные в «Новом мире»). Состоялось это вручение на Рождество.

А у меня горе горькое. По дешёвке, по совету техредницы, купила краску для волос фабрики «Свобода», торговавшей на вынос в нашей типографии.

На коробке написано: «Яркий блондин», а сама краска, выползающая из тюбика, чёрная как смола. Ну, видно, потом посветлеет. Я, не задумываясь,—хотелось быть красивой—впервые в жизни намазала эту чёрную краску на свои белёсые волосы.

Ожидаемой химической реакции не произошло, и я оказалась цыганкой Азой, страдающей от этого неимоверно!

В гардеробе пришлось снять шапку. Виктор Петрович был поражён. Скороговоркой объяснила, в чём дело. Он лишь махнул рукой:

— Хорошо, хоть не зелёная.

Боясь встретить знакомых, я спряталась в последний ряд и на банкет не пошла из-за этой своей черноты. А ведь именно там вполне могла пересечься с Женей Колобовым, он тоже тогда получал «Триумф», тут и познакомился и подружился с Виктором Петровичем.

Зато на вручение «Триумфа» Астафьеву явился Лиханов с сыном Димой. Позднее я пойму, что их на это подвигло.

Шеститомное Собрание сочинений в «Молодой гвардии» лопнуло. Десятитомное Собрание сочинений в Новосибирске накрылось. Виктор Петрович всё равно займётся изданием Собрания сочинений. Не сделаться ли Лиханову таким издателем?

Так и стали в дальнейшем развиваться события.

Изобретательный Лиханов предложил Виктору Петровичу издать Собрание, попросив деньги у министра путей сообщения Фадеева: ведь Виктор Петрович, окончивший в первый год войны железнодорожное фЗО и работавший короткое время составителем поездов в Красноярске, был почётным железнодорожником.

И Фадеев вроде Астафьеву обещал помочь.

Аппетиты у Лиханова разгорелись. Он через своё издательство «Дом» отпечатает тираж в Финляндии, у Стурэ Удда. Он уже потирал руки, предвкушая барыши.

И вскоре Виктор Петрович привёл меня в Российский детский фонд в качестве своего редактора.— У нас есть редакторы.

— А у меня есть свой,—Виктор Петрович был категоричен.

Так я познакомилась с Альбертом Анатольевичем, которого видела только на утверждении издательских планов. Он всегда выступал первым и тут же стремительной походкой сверхзанятого человека покидал конференц-зал. За серьёзного писателя в «Молодой гвардии» его не держали, он «проходил» по редакции художественной литературы для подростков.

Через какое-то время Лиханов пригласил меня на работу в Детский фонд—выпускать журнал для старшеклассников «Школьная роман-газета» (с 2001 года—«Путеводная звезда. Школьное чтение»).

Наверное, Бог велел мне пройти через это испытание: более двухсот номеров поучительной, интересной, приносящей эстетическое наслаждение прозы за восемнадцать лет пришли к подросткам—в семьи и библиотеки, и среди них

бесценные творения Виктора Петровича — «Ясным ли днём», «Последний поклон», «Звездопад», «Пастух и пастушка», «Кража».

### Генерал Лебедь

Вполне понятно, что эти двое бывалых солдат и открытых, честных и смелых людей симпатизировали друг другу.

Лебедеу, приехавшему избираться губернатором в Красноярский край, было важно заручиться поддержкой видного писателя, к тому же участника Великой Отечественной войны, авторитетного в крае.

Я прилетела к Астафьевым на следующий день после того, как в их доме в Академгородке побывал Александр Иванович Лебедь.

Пересказываю со слов Марии Семёновны.

Генерал один, без свиты, приехал к Астафьевым. А Мария Семёновна, которая, мягко говоря, не испытывала к генералам тёплых чувств, «решила не выходить из своей архивной» — так она называла маленькую кухоньку в присоединённой когда-то квартире, примыкающую к гостиной, где была библиотека, а через неё — проход в небольшой кабинет Виктора Петровича с балконом слева и видом на Енисей. Дверь в эту архивную (здесь на полках стояли журналы с публикациями Виктора Петровича, лежали рукописи, письма, которые Мария Семёновна вскрывала и сортировала, здесь же стояла её печатная машинка, через которую «прошли» все тысячи страниц астафьевского текста) — так вот, узкая, в половинку обычной, дверь, мимо которой генерал прошёл в гостиную и дальше, в кабинет Виктора Петровича, была из матового стекла. Мария Семёновна видела, как прошёл генерал, но не вышла и демонстративно продолжала работать, пока Лебедь не уехал.

Она была довольна своим поступком.

На следующее утро, утро моего приезда, после завтрака, Виктор Петрович вдруг появился перед большим зеркалом в прихожей. В синем «парадном» костюме, белой рубашке. Принялся завязывать галстук.

— Куда это вы собираетесь, Виктор Петрович? — спросила я.

— Да вот, Александр Иванович позвонил, — хитро прищурившись и внимательно разглядывая галстук в зеркале, сказал Виктор Петрович. — Хотел ко мне приехать. А я ему говорю: тут у меня две бабы-злыдни собрались. Давай, Александр Иванович, лучше я к тебе приеду... Так он машину прислал...

Виктор Петрович вернулся только к вечеру. В руках — огромный букет роскошных длинных роз персикового цвета — для Марии Семёновны. Мария Семёновна была рада такому вниманию.

Розы были поставлены в огромную хрустальную вазу и водружены на стол в гостиной.

Это было пятого или шестого, а может быть, и седьмого марта, потому что умный Лебедь знал, с чего надо начинать — с женщин. И устроил приём для женщин края — учителей, врачей, расположил к себе своими посулами, своим голосом и открытой широкой улыбкой.

Судя по всему, Александр Иванович и Виктор Петрович сделали друзьями. На фотографиях, где запечатлена презентация пятнадцатитомного Собрания сочинений, — Александр Иванович. На презентации однотомника Марии Семёновны «Сколько лет, сколько зим» — тоже генерал.

Добрými словами Мария Семёновна вспоминала супругу генерала, Инну Александровну.

Я увидела обоих Лебедей на похоронах Виктора Петровича. Генерал стоял у гроба в почётном карауле и говорил слова прощания на гражданской панихиде. Инна Александровна сидела возле еле живой от обрушившегося на неё горя Марии Семёновны. И на кладбище супруги были рядом с Марией Семёновной на правах близких друзей.

Спустя года два-три Золий Мильман привёз от Марии Семёновны коробку. В ней был очень изысканный салатный кофейный сервиз с маленькими чашечками. Мария Семёновна объяснила, что у неё таких два — подарили и Лебедь, и его жена. Теперь генеральский сервиз как реликвия стоит у меня в «горке».

### Женщины Астафьева

— Вот тут жила моя первая любовь, — говорит Виктор Петрович и показывает на увал слева от дороги. — Её звали Люба. Здесь стоял барак — общежитие, где жили фэззошники. Я учился с ней вместе...

Мы едем в Овсянку. Ранняя весна, склоны гор едва тронуты нежной молодой зеленью.

— Она простудилась и заболела. А я пришёл её навестить. Нарвал букетик подснежников, нашёл пустую ржавую банку из-под консервов, налил воды и поставил букетик на тумбочку у её кровати. Тогда, впервые в жизни, и шевельнулось что-то в брючишках...

А вскоре Любу расплющило, раздавило сдвинувшимися вагонами...

Так ушла из жизни его первая любовь. Потом была любовь к медицинской сестричке в краснодарском госпитале, выведенной в повести «Звездопад» под именем Лида. И снова несостоявшаяся любовь. Он хранил письма от неё... Когда исполнился всего двадцать один год, он женился на Марии Семёновне.

Ему некуда было возвращаться с войны, у него не было своего пристанища, а тут молодая женщина, с которой он зарегистрировал брак (получил «прошлюб» на Украине), звала его именно домой — в дом своих родителей в маленьком городке Чусовом на Урале, в Пермской области.



Так сложилась эта семья—сотворённая на войне, в конце войны, на книгах, на неустроенности, на мечте о новой жизни. Вся их совместная жизнь, пришедшая любовь, рождение и смерть первой дочери Лидочки, нищета, тяжёлый послевоенный быт, подорванное здоровье описаны в «Знаках жизни» Марии Семёновны и «Весёлом солдате» Виктора Петровича.

Психологи уверяют, что натуры творческие нуждаются в подпитке, подпитке плотскими увлечениями, так устроена природа их таланта.

Вряд ли мы знаем всё о женщинах Астафьева. Но в Вологде (это известно по публикациям в прессе) у него был мимолётный роман с какой-то вологодской журналисткой, от которой—дочь Анастасия. (За год-два до кончины Виктора Петровича она приезжала в Овсянку, показывала Виктору Петровичу свои литературные опусы, и он сказал ей якобы: «Обречена»,—на творчество, просил Мишу Литвякова покровительствовать Анастасии, когда его не будет.)

Виктор Петрович приехал на родину, в Красноярск. Краснодарская медсестричка «Лидочка» написала ему, что готова приехать, увидеться. А он не захотел ворошить старое. Написал, чтобы не приезжала. Может быть, из-за Клавдии, о которой Андрей Малахов, любитель «клубнички» и громких скандалов, ведущий телепрограммы «Пусть говорят», состряпал насквозь лживый сюжет о «последней любви великого писателя» к этой деревенской девушке, которая из-за этой «великой любви» ушла от него «в тайгу». (Начнём с того, что «тайга»—это комфортабельный санаторий, где два года жила Клавдия и где втайне от писателя родилась её дочка Вита.) А теперь эта вдруг ставшая набожной бедная Клавдия возводит очи к небу, намекая, что всё в руках Божьих, а она-то ни при чём, и позволяет себе говорить о «Денисьевском цикле» Ф. И. Тютчева, проецируя его на себя.

А телеведущий, любитель «жареного», не удосужившийся хотя бы бегло ознакомиться с творчеством писателя, спрашивает Виту: «Правда, все женские образы Виктора Петровича Астафьева списаны с вашей мамы? Вы находите в них черты вашей матери?»—«Правда. Нахожу»,—нимало не смущаясь, ответствует Вита.

Можно только руками развести, слушая эту ложь.

Как-то, уже после смерти Виктора Петровича, Клавдия в интервью «Комсомольской правде» заявила, что если бы не она, то и роман «Прокляты и убиты» не был бы написан. Вот уж нонсенс так нонсенс.

## Марья

Его крепостью была Марья. Не зря он поверил в неё и отважно пустился с ней в своё послевоенное семейное плавание.

Она родила ему троих детей. Она вырастила и воспитала дочь и сына, вырастила и воспитала внуков, заменив им рано умершую мать—свою дочь Ирину. А теперь продолжает наставлять легкомысленную артистку Польку и обожает свою правнучку Настю.

Она все годы была ему другом. Разбитый, опустошённый, униженный ли крестинами-редакторами и цензорами, перепив лишнего в случайной компании, он приползал в эту свою крепость—к Марье, которая выслушает и рассудит, как быть, как поступить.

Марья ограждала его от интервьюеров из столицы с бутылками «Столичной» либо коньяка. Она в прямом смысле слова сохранила нам писателя Астафьева.

Помню, однажды, году в семьдесят четвёртом, С. А. Крутилин позвал нас с З. Н. Яхонтовой на новоселье. А в эти дни был какой-то съезд писателей. И гостями Веры Николаевны и Сергея Андреевича были Сергей Васильевич Викулов и Виктор Петрович Астафьев. Слова за столом говорились самые добрые. А я лихо так назвала их «тремя русскими богатырями». На что Викулов заметил:— Нам такие ораторы в журнале нужны.

А Зоя Николаевна отпарировала:

— Нам в редакции прозы— тоже.

Но дело не в этом. Минут через пять принявшие на грудь огромные, сильные мужики уже вовсю пьяно храпели на разных диванах новенькой крутилинской квартиры. Вот тебе и богатыри.

А желающих распить бутылочку с Астафьевым было немало. Под коньяк или водку Виктор Петрович «заводился», мог наговорить лишнего, чему потом был не рад.

Помню, что даже я, лицо как бы постороннее, выставила из его кабинета московского журналиста. Марья пожаловалась на него, что с бутылкой, не стесняясь, пришёл, и я его выпроводила.

Такой Виктор Петрович был не подарок, но Марья научилась и умашивать, и укрощать мужа.

А главное—она была ему помощница, первый редактор и первый критик: то побранит (хоть и редко бывало), то по головке погладит.

Через её руки, через её пишущую машинку прошли все тысячи страниц его сочинений. А ведь многие свои произведения он нередко не раз переписывал, добиваясь совершенства. И всё это перепечатывала Марья.

Она вела его дела—отправляла в архив оригиналы и варианты, расклеивала книги для пеизданий.

Она сама стала писательницей. А он нередко использовал её рассказанные сюжеты, поднимая их на свою, астафьевскую высоту.

Она вела его дом, держала его тыл. Помню, в один из приездов Мария Семёновна водила меня по квартире: отодвигала в сторону портьеры на

широких окнах, а за портьерами — мешок вермишели, мешок сахарного песка, мука, крупы.

Пережив нищету, голодуху, Мария Семёновна старалась обеспечить семью про запас.

Картошка уже вся в ростках, дряблая, но Марья не выкинет, пока не изведёт всю. Хлебушка кусочек не выбросит, подсушит на плите у кастрюль и зальёт кипятком, добавит изюмчику, песочку, дрожжей — вот и ведро квасу готово.

И всё для будущей отдельной жизни внуков припасала — холодильники, посуду. Показывала мне.

Виктор Петрович так и не простил своего предателя-папеньку, а ведь Пётр Павлович последние годы жил в семье Виктора Петровича в Вологде. И Мария Семёновна, воспитанная в своей семье в уважении к старшим, преданно ухаживала за стариком и дома, и в больнице, впоследствии написала о нём маленькую сочувственную повесть — «Свёкор».

Отчаявшись ждать, когда власти удосужатся открыть музей в их квартире в Академгородке, она потихоньку всё пристроила: продала их огромную бесценную библиотеку с выплатой обязательной ежемесячной ренты Польке, памятный всем друзьям и гостям кабинет Виктора Петровича — он разместился в частном выставочном центре; как написала одна красноярская газета: «Весёлый солдат нашёл приют у бизнеса».

Опустела крепость — осталась в ней одна Марья.

Чем она дышит? Воспоминаниями о муже, новыми книгами Виктора Петровича, которые не перестают выходить, огромным желанием жить дальше и своими молитвами.

В маленькой спальне Марии Семёновны, в красном углу, огромная икона Божией Матери. Закончив день, уже готовясь ко сну, в одной ночной рубашке, Марья, как всегда, творит свою ежедневную вечернюю молитву, молится обо всех, кто ей дорог. Встаёт с благодарностью к Господу за то, что продлил жизнь.

Она знает и помнит до сих пор массу стихотворений. Когда я ночевала на диване в её спальне, она далеко за полночь читала мне стихи. (Поля тогда ещё жила в их доме.) Когда я перебралась в Полину, ещё меньше, комнатку, у Марии Семёновны после молитв наступал черед ковшичков. В одном — вода, лекарства запивать, в другом, на полу, — чтобы горчичники в тёплую воду макать и себе выше сердца прилеплять...

Мужества у Марьи предостаточно. И мудрости — через край. Знала ли она о женских пристрастиях мужа? Думаю, знала. Но понимала: всё это временно, преходяще. Он без своей Мани уже не мыслит жизни.

## Болезнь

Позвонила Мария Семёновна:

— Беда. У Виктора Петровича инсульт. Он в больнице, в Красноярске.

Тревожно. Без конца звоню Марии Семёновне. Она ездит из Академгородка в больницу — при её-то больных ногах и нескольких перенесённых инфарктах.

Гена Сапронов привёз Виктору Петровичу в больницу последнюю прижизненную книгу, изданную им, — «Пролётный гусь». Виктор Петрович обрадовался. Надписывал уже рвущимся, не слушающим почерком. Мне написал: «Асе с любовью и со всей честной благодарностью, В. Аст. 13 июня 2001 г. Красноярск — больница».

Приехал Андрей — побывать с отцом. Побыл и уехал.

Время тянется медленно, напряжённо.

Наконец Виктора Петровича переводят в больницу Академгородка, это от их дома почти через дорогу. Марье чуть стало полегче.

Звоню в очередной раз:

— Ну как Виктор Петрович?

— Да вот, рядом сидит.

— Как рядом?

— Да за столом рядом.

— Можно с ним поговорить?

— Да вот, передаю трубку.

(А в голове мысли: раз выписали, отправили домой, значит, никакой надежды...)

— Виктор Петрович, миленький, ну как вы?

— Да вот, у меня сегодня праздник...

(А в голове: какой праздник? Вроде никто из Астафьевых в эти дни не родился.)

— Какой же праздник, Виктор Петрович?

— Да в сортир сам сходил.

Смеюсь:

— Так это же замечательно.

Ещё через два дня:

— Знаешь, я сегодня сам помылся, сам влез в ванну, а уж вылезать мне помогали.

Ещё через три дня:

— Сегодня я сам спустился по лестнице (это с четвёртого-то этажа) и сам поднялся.

После паузы:

— Если бы ты знала, как я хочу в Овсянку!..

— Ну, Виктор Петрович, вы немножко обнаглели. Вот поправитесь, встанете на ноги и тогда — пожалуйте, в Овсянку...

Он так боролся за жизнь, так хотел оживить свою бессильную, неуправляемую руку. А он стал слепнуть, уже не мог читать, смотреть телевизор, почти не видел (только очертания) свою Маню. А она рассказывала ему смешные истории из их жизни, веселила как могла. Две сиделки по очереди дежурили у его постели.

Но непоправимое случилось.

## Прощание

В шесть утра, в ночь с 28 на 29 ноября, зазвонил телефон. Я бросилась к трубке. Услышала сдавленное рыдание, даже взмыкивание. Мелькнула

мысль: не внук ли это, на днях научившийся набирать бабин номер?

— Витенька умер!..—Марья положила трубку.

Я заметалась по квартире как огорошенная: когда похороны? каким рейсом лететь? достану ли билет? Через два часа, считая, что этого достаточно, чтобы там, в Красноярске, всё решили, перезвонила Марье.

— Похороны первого, утром. Прилетай!..

Я смотрела на нескончаемое небо в иллюминаторе с неторопливо передвигающимися облаками и думала, что вот ушёл из жизни защитник всего живого на земле—и травинок, и птиц, и этих облаков, и этого неба.

Таксист-бурят в аэропорту Красноярска ошибочно понял, куда мне надо,—подвёз к цветочному магазинчику, а от него—к зданию краеведческого музея на набережной Енисея возле моста.

Было ещё рано.

Я поднялась по лестнице. В дверях увидела Валентину Михайловну Ярошевскую. Она проводила меня в гардероб. Я разделась и позвонила Марье. Мария Семёновна, накачанная успокоительными, говорила слабым голосом:

— Витю уже увезли, а я собираюсь.

— Идёмте,—пришла за мной Валентина Михайловна.—Виктора Петровича привезли.

Сдерживая рыдания, я вошла в огромный беломраморный зал. Он был совершенно пуст. И только перпендикулярно к огромной левой от входа стене стоял гроб с телом Виктора Петровича. Головой к этой стене. Я встала у изголовья и уже не сдерживала рыданий. «Один посреди России»,—бились в голове мысль.

Отревелившись, пошла вниз встречать Марию Семёновну. Раскутала, прижала к себе, и мы стали подниматься по лестнице. Мария Семёновна еле переставляла и без того плохо слушающиеся ноги. Вместе с ней—Таня с Андреем, Оля, жена покойного племянника Анатолия, другие родственники. Справа от гроба уже установили скамеечки, на которых и разместилась родня. Марья показала мне сесть за её спиной.

Началось прощание.

У гроба сменялся почётный караул. К Марии Семёновне со словами утешения наклонилась жена губернатора.

А мимо гроба, во всю длину и ширину зала, шёл народ. Люди поднимались по одной лестнице, проходили мимо гроба и спускались на улицу по другой. Говорили потом, что прощаться с великим писателем пришло не менее четырнадцати тысяч человек.

Они шли рядами, по четыре-пять человек в ряд, кто с простенькими дешёвыми цветочками, а кто с шикарными розами. Это шли его герои—люди разных возрастов и профессий, шли здоровые, на своих ногах, и хромые, на деревяшках, в ватниках,

дублёнках и дорогих шубах, самые разные—добрые и злые, и всех он любил, даже ненавидя. И теперь все они оставались без него.

Неожиданно к Марии Семёновне подошёл Крупин. Опустился на колени:

— Прости, Мария Семёновна.

— Что же ты раньше-то не приезжал, прощения не просил?—ответила Мария Семёновна.

Крупин виновато поднялся и отошёл.

В какой-то момент к гробу приблизились две женщины: та, что постарше, фигурой похожая на Чурсину, в тёмно-синей юбке и свитере, встала лицом к гробу, спиной к Марье; та, что помоложе, встала с другой стороны, лицом к Виктору Петровичу и Марье. Я почувствовала, как у Марьи напряглась спина. Но всё обошлось: молча отстояв минут пятнадцать-двадцать, женщины ушли. Марья сдержалась. Скандала не было.

Гроб с телом Виктора Петровича спустили по лестнице и установили прямо на набережной. Мело. Мороз был не очень большой—градусов четырнадцать.

Какая-то часть народа так и не попала в траурный зал, все толпились на улице. Ораторы стояли на ступеньках. Запомнился Кирилл Лавров—бледный, худой, уставший, с проникновенными словами о своём друге.

Четырнадцать автобусов повезли желающих на кладбище в Овсянку. Я оказалась в автобусе вместе с Алексеем Бондаренко.

— Ну, Клавдия, явилась-таки,—сказал он зло, взглянув на женщину, поднимавшуюся в соседний автобус.

И я поняла, кого он имел в виду.

В Овсянке гроб с телом Виктора Петровича ненадолго занесли в избу—попрощаться с родным домом, а затем на руках—в часовню, в которой Виктор Петрович завещал отпеть его.

Часовня маленькая, в неё не больше двадцати человек войдёт. Но Клавдия и её дочь пробились ближе к покойному, обе в ладных дублёночках, в скромных тёмных платочках, истово крестились.

И кладбище новое овсянское оказалось маловато для небывалого скопления народа, все теснились в проходах между оградками, чтобы пройти и поклониться писателю в последний раз.

Зато поминальный обед был устроен с сибирским размахом—в ресторане, с белыми скатертями и хрустальными рюмками, с вышколенными официантами, официальными и неофициальными речами (кто как сможет).

Я ночевала у Марии Семёновны. Там же чувовляне, Андрей, Татьяна, Оля, Женька. Разместились кто на диванах, кто на полу. Я—в Полькиной комнатке на её диванчике.

Утром после чая поехали на кладбище. Поставили свечи на могилу, погоревали, посидели

вместе с Марией Семёновной у могилы. Велико горе, а надо жить дальше.

Поехали домой.

Помянули Виктора Петровича и стали разбирать и читать телеграммы—их было два мешка. Выбирали самые интересные и читали вслух. Читал в основном Гена Сапронов. А я достала текст, который Виктор Петрович предпослал по просьбе редакции ко второй публикации «Последнего поклона» в «Путеводной звезде» (№ 11–12 за 2000 г.).

Вот этот текст.

### Над древним покоем

Я не всякий раз захожу на старое овсянское кладбище, заросшее буйным лесом, воистину вольно разросшимся черёмушником, рябиной, березняком, пихтачом и ввысь взнявшимися елями. Оно «не работает» уже 50 лет, и многие могилы на нём «потерялись», значит, те, кто помнил и навещал упокоенных родных, тоже закончили свои земные сроки—сами уже «разместились на горе», где расположилось новое сельское кладбище.

Но всякий раз, проходя мимо старого кладбища, этого мирного успокоения давно и по-разному живших людей, я отыскиваю глазами ель, упирающуюся в облака, под которой покоятся мои самые дорогие, самые родные люди: мама, бабушка, бабушка, дядья, тётки, племянники.

Ель эта выросла сама собой, и под нею обмерли, захудали: пихта, рябина, все цветы, которые мы садили в разное время. Рябину я подпилит—она уже в середине сгнила, но пенёк дал новый росток, он всё ещё жив. У ели я отпилит нижние ветви. Сделалось в оградке просторней, свету над могилами больше и снегу глубже, властвуют здесь тишина, покой, только деревья шумят над прахом сельских тружеников, над погнившими, где и упавшими, крестами.

И когда я, поклонившись праху самых любимых людей, стою над родными могилами, какое-то, отстранённое от всего, успокоение, смиренное чувство охватывает моё сердце, и всё, что происходит вокруг, кажется мне таким мелким, светлым и быстро проходящим в сравнении с этой надмирной вечностью.

И снова и снова память высвечивает прошлое, и прежде всего ясноликое детство, которое всегда счастливо, что бы на свете ни происходило, что бы с людьми ни делали тираны и авантюристы, как бы ни испытывала, ни била людей судьба.

Когда стал вопрос, где строить сельский храм вместо порушенного в тридцатые, злобно неистовые годы, я показал на уголок земли рядом со старым кладбищем. И стоит он, младенчески светлый, из тёсаных брёвен храм Божий. В святые праздники над ним звучат колокола, а вечерами

в нём удалённо теплится огонёк, будто вместе собранные души моих односельчан и родичей светятся из дальней, непостижимой дали. В порушенном храме крестили меня, в этом, вновь возведённом, завещал я отпеть и меня.

Жизнь прекрасна и печальна, повторю я за одним великим человеком. Вот об этой радости и печали я не перестаю и не перестану думать, пока живу, пока дышу. Об этом и самая заветная книга моя «Последний поклон», которая тревожит мою память, озаряет светом прошлые дни, печалится и радуется во мне.

Пока живу, мыслю и пишу—«и жизни нет конца и мукам—краю»,—всевечная память поэту, изрёкшему эти великие слова, летящие во времени вместе с нами.

Виктор Петрович писал эти строки в середине 2000 года, ещё ничто не предвещало конца, но что-то тревожило его, какое-то печальное предчувствие.

— Это же настоящая затесь,—сказал Гена и включил впоследствии этот текст в переиздание «Пролётного гуся», куда вошли произведения, написанные Виктором Петровичем уже после выхода пятнадцатитомного Собрания.

Уже после кончины Виктора Петровича в «Путеводной звезде» №12 за 2001 год, где он был со дня основания членом редколлегии, мы печатали заключительные главы «Последнего поклона».

Виктор Петрович уже хворал и всё-таки написал к публикации вступление «Отзовитесь ответно». Оно было напечатано на машинке, а на отдельном листочке уже изменившимся, не по-астафьевски мелкозатытым рвущимся почерком было выведено: «Дорогая Ася! Прости, что с большой задержкой отправляю тебе предисловие к «Последнему поклону». Худой я стал работник, каждая строка даётся с большим напряжением, но всё же потихоньку налаживаюсь, обещаю через год вернуть меня в строй—прошло полгода. В ноябре я уйду в больницу реабилитации, говорят, там творят чудеса, поживём—увидим, а пока надвинулась зима, и дай Бог её пережить. Поклон Мише и всем твоим дочерям и внукам. Твой Виктор Петрович (В. Астафьев). 14 октября 2001 года».

Это было последнее, что он написал в жизни.

...В накопителе аэропорта Миша Литвяков подвёл ко мне высокую мужеобразную девушку.— Это дочь Виктора Петровича Анастасия. Она окончила Литинститут и работает в документальном кино. Виктор Петрович завещал мне оберегать её...

Ещё одна неожиданность для Марьи. Но неожиданность ли?

## Година

Через год мы все приехали к Марье. Утром Мария Семёновна рассказывает мне:

— Сегодня первый раз Витя приснился. Говорит: «Маня, ты обо мне не беспокойся. Мне тут хорошо, и ноги не зябнут...»

Едем сначала в Овсянку, потом на кладбище.

В Овсянке, в избе Виктора Петровича, открыли музей. Им ведаёт скромный и добрый человек — двоюродная сестра Виктора Петровича Галина Николаевна.

Входим в пустой и почти что чужой дом: сделали ремонт, сияет новенькая краска, столик, за которым он обедал, уже не так стоит, кастрюль нет и прочей утвари, вешалка пустая, на терраске всё не так. Не жилой уже, холодный дом.

Кто-то из корреспондентов что-то спрашивает у Марьи, и она повторяет свой приснившийся сон.

На кладбище всё прибрано. Тихо. Снежно. Спокойно. Спит Ирина. Спит Виктор Петрович. Долго стоим, склонив головы над могилой, говорим о Викторе Петровиче, вспоминаем.

Едем на поминальный обед. Кто-то передаёт мне газету со статьёй В. М. Ярошевской «Год без Астафьева»; в ней она объясняет, как стала необходимой в семье Астафьевых, и рассказывает, что вот Мария Семёновна нашла у Виктора Петровича (в оставшихся бумагах) отрывок — это как бы завещание всем нам, философское, оптимистическое, в отличие от безысходного, и оно непременно будет опубликовано. Я читаю этот текст и понимаю, что я его уже где-то читала. Предполагаю: не в книге ли «Сколько лет, сколько зим» Марии Семёновны, которую я редактировала? Вернувшись в Москву, нахожу — действительно здесь. Вот тебе и неизвестный текст.

Ещё через год мы собрались у Марии Семёновны на Астафьевские чтения.

— Мне опять приснился сон про Витю, — говорит Марья. — Будто ходит он по квартире и поёт: «Ах, зачем эта ночь так была хороша, не болела бы грудь, не страдала душа...»

## Заполярье

Навязанное ему судьбой Заполярье стало частью его жизни. Сюда он помещал своих героев, сюда нередко летал рыбачить, он ведь заядлый рыбак. Здесь он не просто сидел с удочкой или спиннингом на берегу. Он рыбачил всерьёз, артельно, проводя среди комаров или мошки несколько дней кряду.

Однажды, вернувшись из Заполярья, звонит мне:

— Слушай, прилетай, а то уже почти всю рыбу съели. Тебя тугунок дожидается, целая литровая банка.

Я прилетела. Тугунок — это такая маленькая-премаленькая, не больше пальца, вкусная-превкусная

рыбка. Её не надо ни варить, ни жарить. Её надо просто взять в рот, надкусить и съесть.

Никогда о такой рыбке не слыхивала, только в «Царь-рыбе» читала, там даже одного мальчишку звали Тугунок, и вот теперь этой вкусности отведала.

Виктор Петрович мечтал снова побывать на местах своего детства в Заполярье. И эта мечта осуществилась. Большой компанией — Виктор Петрович, Ольга Семёновна (врачиха), сын Андрей, иркутский издатель Геннадий Сапронов, Миша Литвяков и его жена — поплыли на теплоходе в Игарку. Об этом путешествии Литвяков снял чудный, неспешный, подробный, со многими откровениями Виктора Петровича, документальный фильм «Всему свой час». И мы открыли для себя и школу, и тот деревянный приземистый кинотеатр, с виду сарай, где беспризорный мальчишка увидел прекрасное кино «Большой вальс» и был счастлив.

## «Она мне сестра»

В феврале 1988 года, будучи в «Молодой гвардии», он зашёл к нашему в то время главному редактору, ныне покойному Николаю Петровичу Машовцу. И тот, памятуя о том, что в типографии издательства выпускается многотиражная газета «Молодогвардеец», а впереди Восьмое марта, предложил ему сказать несколько слов о своём редакторе.

И вот что Виктор Петрович написал — и нарисовал в конце, после подписи, свой любимый цветочек: «Когда-то, после мужской „редактуры“, я взмолился: „Дайте мне в редакторы хоть какую-нибудь, самую захудалую бабёнку! Не хочу больше с мужиками дел иметь!“ И Господь услышал мой запрос, и послал мне в редакторы самую обаятельную, остроумную, гостеприимную и очень художественную женщину. Дарю ей сердце, слово и цветочек к началу весны. В. Аст.». И это поздравление, вместе с цветочком, было напечатано в газете.

Однажды он вложил в Марьино письмо свою фотографию, сделанную на компьютере с фотографии 1947 года. Он — совсем молодой, с тонкой шеей, в косоворотке, которую Мария Семёновна, она об этом писала, сшила ему из простыни, а по воротнику-стойке виноградную лозу цветными нитками вышила. «Асе с поклоном от знакомого кавалера» — сверху написано.

Вот такой лихой и нежный кавалер.

На застолье на своём семидесятилетнем юбилее, предоставляя мне слово (Горбачёв с ним рядом сидел), сказал:

— Она не просто редактор. Она мне сестра, она всё про мою родню знает. И все мои тексты лучше меня знает.

(После окончания ужина я не утерпела и заметила Михаилу Сергеевичу, что ходила по одним с ним коридорам студенческой «Стромынки».)

Вышла в Красноярске к семидесятипятилетнему юбилею книга затесей «Благоговение» — прислал мне с надписью: «Асе с поклоном вечным».

Издal Г. К. Сапронов книгу «Весёлый солдат» — тоже прислал с надписью на титуле: «Асе и Мише Гремичким. Дорогая Ася, родной ты наш человек, эта книжка издана без твоего ведома, но душа твоя и здесь присутствует зримо».

Я вела его дела в Москве, когда он болел. Как-то в конце Марьиного письма он сделал приписочку: «Ася, милая, храни тебя Господь. За добрые дела тебе воздастся. Виктор Петрович». (Получено 8 августа 2001 года.)

Он завещал мне вести его дела и после смерти. И я исполнила его волю. Когда вышло пятнадцатитомное Собрание, оно почти не попало к широкому российскому читателю, осело в Сибири, в основном в библиотеках. На мои звонки — предложения привезти тираж пятнадцатитомного Собрания в Москву и взять на реализацию — распространители тогда (это девяносто восьмой год) побоялись: где хранить, нет складских помещений, за чей счёт отправка и т. д. Теперь семь объёмных изданий в серии «Красная книга русской прозы» и другие, более доступные по цене издания предоставили возможность широкому читателю насладиться прозой Астафьева.

Выходят и книги, обращённые к детям.

### Он сделал себя сам

Его судьба могла сложиться совершенно иначе, в беспризорном детстве он был на самом дне жизни и мог там и остаться. Бог наделил его талантом, чувством слова, красоты, любовью ко всему земному — птицам, травам, людям, но сделал он себя сам.

Что такое Высшие литературные курсы в то время? Конечно, были какие-то лекции, общение с новыми товарищами, пришедшими в литературу с войны, но больше — хождение по журнальным редакциям, пристраивание того, что написано. Системного-то образования не было. А он стал образованнейшим человеком своего времени. Прекрасно знал и русскую, и зарубежную литературу.

Как-то сказал мне: — Напечатайте в «Зарубежном романе» роман Дальтона Тромбо «Джонни берёт винтовку». Это самый сильный роман о войне из тех, что я читал. Его напечатали «Сибирские огни» с моим предисловием.

И мы напечатали этот действительно потрясающий роман голливудского писателя со вступлением Виктора Петровича.

(Не обошлось без казуса: на титуле в названии — «Джонни берёт винтовку», а на обложке — «Джонни получает винтовку». Отправили Виктору Петровичу с извинениями. Он в ответ шуточно отругал нас и написал, что переводчик нас бы отколошматил за это, если бы мог. Кстати,

об этом романе высоко отзывался и Константин Симонов.)

Виктор Петрович необыкновенно много читал (и это при одном-то глазе, да ещё и рукописи подсовывали, не щадили). На полках его личной библиотеки вся классика, русская и зарубежная, книги по искусству, редчайшие издания, словари, энциклопедии, книги по истории Великой Отечественной войны. Собственное системное чтение — вот его университеты.

Живя в Чусовом, потом в Перми, Вологде, он тосковал по Сибири.

Когда мы говорили тома писем Виктора Петровича и его читателей для Собрания, Мария Семёновна достала целую коробку посланий Виктора Петровича, которые он писал в Овсянку своему глухонемому брату Алёше из Вологды. Письма сохранились.

Чёрными чернилами на листочке в клеточку он выводил: сходи, Алёша, в тайгу, сорви подснежник, засуши и пришли мне, пришли веточку кедра.

Надя Козлова из Дивногорска, которая могла бы перепечатать эти письма, была нездоровая. Более печатать было некому, и на моих сожалующих глазах Мария Семёновна, как полагается, упаковала их обратно в коробку и отправила в какой-то архив.

Ах, как я завидую тому аспиранту или аспирантке, что перероет все архивы и найдёт и эти письма, и те куски, что кромсались из «Царь-рыбы» и других сочинений, и предстанет перед ними первозданный Астафьев.

Человек, подаривший нам такое красивое слово, мог родиться только на красивой земле, как красив Енисей, красивые горы, леса, красивые Мана, Овсянка и его земляки.

Им столько написано! И каждый раз, начиная новую вещь, он испытывал счастье белого (вернее, в клеточку) нетронутого листа. Он любил работать. И, заканчивая вещь, снова был счастлив (хотя дальше нередко начиналось хождение по мукам).

Он любил музыку. Его проза ритмична, музыкальна. Евгений Владимирович Колобов, художественный руководитель московской «Новой Оперы», сделал ему на семидесятипятилетие музыкальное подношение: оркестр Красноярской филармонии сыграл под его дирижированием любимые музыкальные произведения писателя. Евгений Владимирович мечтал написать о музыкальности прозы Астафьева. Но не успел. А Гена Сапронов собрал наброски и выпустил необыкновенную книгу Астафьева и Колобова — «Созвучие», вложив в неё музыкальный диск, позднее — даже два диска: читатель может послушать любимые вещи Астафьева.

Ещё при жизни Виктора Петровича, в сентябре 2000 года, Г. К. Сапронов выпустил книгу прозы писателей-фронтовиков «Вернитесь живыми!».

Там была и знаменитая повесть «Пастух и пастушка».

Я пролистала книгу, посмотрела шмуцы, порадовалась: какое прекрасное издание, похвалила Гену, прочла его надпись на титуле и поставила книгу в шкаф.

Прошёл год с небольшим. Виктор Петрович умер.

Готовя очередной номер «Путеводной звезды» к юбилею Победы (в 2005 году), я решила прочесть по этой книге объём повести Константина Воробьева «Убиты под Москвой».

И вдруг книга сама распахнулась на обороте шмуца к «Пастуху и пастушке».

И на белом, чистом листе крупными буквами астафьевским почерком было написано: «Дорогой Асе с фронтовым приветом. В. Аст.».

Я вздрогнула, как будто Виктор Петрович был жив и только что это написал. Стало не по себе. Я сжалась в комок.

А ведь он был жив тогда, когда писал это коротенькое послание из солдатского окопа.

Жаль, что не углядела, не отозвалась ответно. До сих пор ругаю себя.

### «Английский пациент»

Мы заканчивали работу над пятнадцатым томом. Завтра утром я улетала в Москву. Виктор Петрович в синем своём махровом тёплом халате (за окном был сильный мороз) сидел перед телевизором. Я за его спиной, за большим продолговатым округлым столом в гостиной, где мы обычно работали, нумеровала страницы последнего тома. Шёл «Английский пациент». Телевизор гремел во всю мощь — Виктор Петрович плохо слышал. Пожале, весь дом не спал — слушал «Пациента». Время от времени я отрывалась от пухлой рукописи и из-за спины Виктора Петровича взглядывала на экран. Так, под этот фильм, была поставлена последняя точка в полном пятнадцатитомном прижизненном Собрании сочинений писателя.

Фильм кончился. Поднявшись со стула и обернувшись, Виктор Петрович был потрясён: в гостиной стоял совершенно чистый, пустой, блестящий, полированный, освобождённый от бумаг стол. Такого в этом доме давно не видели.

Утром я улетала. Через несколько дней позвонила Марья: у Виктора Петровича началась депрессия, и он уехал в санаторий «Сосны». Вот что значит для писателя, живущего по правилу «ни дня без строчки», сбиться с заданного ритма.

Картина — Виктор Петрович, сидящий у телевизора глубокой морозной ночью, — долго не выходила у меня из головы. Как же он любил кино! Собственно, с кино всё и началось. Случайно в далёком заполярном городе мальчишка-беспризорник углядел зимой на афише красивую женщину и возмечтал увидеть этот фильм, случайно нашёл

смятый рубль в предбаннике кассы, воткнул в губы бычок, чтобы кассирша признала за взрослого, и попал в кино. И так поразила его эта другая, красивая жизнь, красивая женщина, красивая музыка, что что-то стонулось в его душе, слёзы текли по лицу, состояние счастья посетил беспризорника, да так и осталось в его сердечке.

Виктор Петрович на всю жизнь полюбил кино.

Во многих произведениях Виктора Петровича присутствует кино: его смотрят солдаты в «Сашке Лебедеве» и т. д. По его произведениям снималось кино, и он не оставался к этому равнодушным. И киношники его любили — Н. Михалков, Г. Жжёнов, М. Ульянов, А. Петренко, А. Заболоцкий, М. Литвяков, И. Макарова.

Умер Виктор Петрович. Его собратья по перу не удосужились провести вечер памяти великого писателя, а вот киношники достойно почтили его память. 16 января 2002 года огромный зал Дома кино на Брестской был заполнен до отказа. Вечер открывал Н. Михалков и, произнеся своё вступление, объявил собравшимся, что сейчас созовит Марии Семёновне и передаст ей слова сочувствия от имени всех сидящих в зале.

А дальше стали выходить на сцену известные и менее известные актёры и режиссёры, и все они говорили о кино и — в связи с кино — о Викторе Петровиче.

По наводке Толи Заболоцкого Сергей Мирошниченко, он после ухода Михалкова вёл вечер, вызвал меня на сцену, как редактора пятнадцатитомного Собрания сочинений Виктора Петровича. Сказала как смогла. Когда спускалась со сцены и проходила мимо первого ряда, где сидела Г. П. Кожухова — жена Петренко, услышала: — Виктор Петрович много о вас рассказывал.

А что он мог обо мне рассказать?

Наверное, это была похвала. В конце вечера подходили какие-то незнакомые женщины:

— Как вы хорошо о Викторе Петровиче говорили.

### Собрание сочинений

Как-то в редакцию в моё отсутствие позвонил Виктор Петрович и попросил, чтобы я перезвонила ему.

— Что сделать, Виктор Петрович? В инокомиссию позвонить или ещё что?

— Послушай, ты не возмётся быть редактором моего десяти томного Собрания сочинений?

Это предложение ошеломило.

Десятитомного, когда шеститомное в «Молодой гвардии» приостановлено.

— С радостью...

Я полетела в Красноярск. Вошла в квартиру в Академгородке и ахнула: везде, где только можно, — на огромном столе, на диване, креслах, длинном широком подоконнике — были разложены книги с публикациями Виктора Петровича. Столько

написать! Это же и десяти жизней не хватит. У него хватило одной.

Виктор Петрович сообщил мне новость: один бизнесмен из Новосибирска хочет издать его десяти томное Собрание сочинений. Виктор Петрович уже ездил в Новосибирск, где Евгений Абрамович, так звали издателя, показал ему здание будущей печатной линии; он, похоже, взял огромный кредит в Германии и эту линию тоже привезёт из Германии. С Виктором Петровичем был заключён договор.

Я перечитала всё ранее не читанное у Виктора Петровича (это в основном публикации в альманахе «Урал» или выходявшие в Перми отдельными книжечками или в сборниках рассказы), роман «Тают снега», дважды издававшийся тоже в Перми.

Составили проспект. Виктор Петрович поначалу не хотел включать в Собрание «Тают снега»: дескать, это дань соцреализму. Но читатель-то должен знать, с него начинался писатель Астафьев. Тем более что после выхода этого романа Виктора Петровича приняли в Союз писателей. Да и акцент в книге был не на «колхозное строительство», а на жизнь простых людей, тружеников, их заботы и радости, автор всей душой сочувствовал им.

Роман включили в проспект.

Порешили с Виктором Петровичем: поскольку это прижизненное издание, комментарии к сочинениям, а также вступление к Собранию он напишет сам.

Решили также: пусть в конце будут одна-две тетрадки фотографий,—и я увезла в Москву около ста фото, их отобрала Мария Семёновна.

Виктор Петрович засел за вступление и комментарии к первым четырём томам.

В Москву приехал издатель—симпатичный, интеллигентного вида, молодой ещё человек, сказал, что у него в доме немереное число книг с публикациями А. С. Пушкина. Это подкупило. Такого коллекционера-книжника я ещё не встречала.

Мы съездили в мастерскую к Алле Озеревской и Толе Яковлеву. Посмотрели фотографии, которые я привезла...

Виктор Петрович, видимо, дорвался до прямого разговора с читателем—лицо в лицо, глаза (вернее, глаз) в глаза. Его вступление вылилось в целый авторский лист—двадцать четыре страницы на машинке, так ему после долгого молчания захотелось выговориться, приоткрыть, как всё было.

Конечно, оно было великовато, но пусть читатель знает все коллизии, все зигзаги, все повороты писательской судьбы.

В сентябре—золотом, солнечном, полном света, оранжевых красок и тепла,—в той же гостиной, где когда-то были навалом разложены издания Виктора Петровича, мы заканчивали к сдаче в набор первые четыре тома.

Снимали какие-то вопросы, я прочитывала комментарии к каждому тому и нумеровала страницы.

Отдельно хочу сказать о комментарии к повести «Стародуб». Виктор Петрович написал его в эти золотые солнечные дни. Листок, вырванный из середины школьной тетради в клеточку, исписанный чёрными чернилами с двух сторон, лежал на подоконнике: Мария Семёновна перепечатала текст в одном экземпляре—ведь мы отправляли рукопись в набор, скоро она будет набрана и вернётся для вычитки уже в виде корректуры. А это был шедевр. Столько нежности Виктор Петрович вложил в это своё описание любимого цветка. Маленький очередной астафьевский шедевр!

Мы упаковали каждый том в отдельную папку, и рукописи уехали в Новосибирск.

Дальше было затяжное молчание.

Евгений Абрамович ничего не давал о себе знать и не отвечал на телефонные звонки.

Наконец жена его сказала, что он куда-то уехал, а рукописи этих четырёх томов почему-то находятся в Ленинграде, в «Технологической книге».

Виктор Петрович передал мне номер телефона, а я позвонила господину из «Технологической книги». На что он мне ответил, что четыре тома действительно у него, но это его собственность, он никому их отдавать не намерен. Господин положил трубку.

Так ничтожно закончился этот новосибирский экспромт.

Может, дело лопнуло, Евгений Абрамович взял кредит и не смог расплатиться, кто его знает, да это уже и не важно сегодня.

Для Виктора Петровича это, конечно, был удар. Тогда-то и предложил ему свою помощь А. Лиханов—издать Собрание у себя в «Доме» и напечатать в Финляндии у Стурэ Удда.

## Письма Ельцину

Предстояло заново восстановить эти утраченные четыре тома. С известными текстами не было забот, а вот как быть с тем, что мы брали из альманаха «Урал» и пермских книжечек? У Марии Семёновны они были в единственном экземпляре.

Со списком того, что недостаёт, с указанием года и места издания я поехала в Ленинку и попросила милых женщин помочь.

Всё было найдено, отскерено, Мария Семёновна прислала тексты вступления и комментарии Виктора Петровича, но вот шедевра о «Стародубе» не оказалось. Он был перепечатан в одном экземпляре, и теперь Виктор Петрович написал этот комментарий заново. Но это уже был не тот сентябрь, не та эйфория, и текст получился совсем другой...

Где всплывёт этот шедевр о цветке стародубе?

Обещанных железнодорожным министром Фадеевым денег не нашлось, и дело снова застопорилось.



Виктор Петрович написал Лиханову письмо, чтобы не хлопотал и забыл об этом деле: видно, Бог так хочет, проживёт и без Собрания.

Что делать?

Я предложила Лиханову написать письмо президенту Ельцину.

— Напишите, — согласился Лиханов.

Письмо было коротким и нелицеприятным. Как президент страны, писала я, как Вы можете допустить, что писатель Астафьев, чьё творчество является национальным достоянием, не имеет до сих пор своего Собрания сочинений?

Письмо это — за своей подписью, конечно, — Лиханов вручил Сергею Александровичу Филатову для передачи президенту. Но через некоторое время Филатов ушёл заниматься выборной кампанией; тогда точно такой же текст Лиханов вручил его преемнику — опять с просьбой обязательно передать Борису Николаевичу.

Я была в отпуске, «полола у себя на ярославских грядах», как написал Виктор Петрович (а вообще-то — на тверских), когда Ельцин приплыл в Овсянку.

Сначала не ту улицу заасфальтировали в Академгородке, чтобы был достойный подход к писательскому дому. Потом выловили из Енисея все консервные банки — искали мины у берега в Овсянке, куда приплывёт на катере президент. Это мне рассказывал сам Виктор Петрович. Заасфальтировали проход от реки к библиотеке, где должна была проходить встреча.

— Говорят, вы испытываете затруднения с изданием Собрания сочинений? — спросил президент.

Виктор Петрович недоумевал: откуда его проблемы известны главе государства? И с наивностью крестьянского сына полагал, что царь-батюшка про своих подданных всё знает.

Это же своё недоумение он высказал в комментарии к последнему тому вышедшего пятнадцатитомного Собрания. А я ему так и не открыла, что дошли всё-таки до президента письма, написанные его редактором.

### «Офсет»

У меня на работе в Армянском переулке раздался телефонный звонок:

— С вами говорят из управления администрации президента. Сколько томов предполагается в Собрании сочинений В. П. Астафьева? Какой общий объём?

На следующий день — новый звонок, уже из нового управления, и всё те же вопросы.

«Сработало», — подумала я.

У нас-то рассчитано на десять томов, а ведь вышли «Прокляты и убиты» и другие вещи. Побольше набирается.

Звоню Виктору Петровичу. Мария Семёновна подсказывает:

— Ищи его в Москве, в гостинице «Украина», его каким-то академиком выбрали. Поехал на заседание.

У Киевского вокзала я высматриваю букет бордовых пионов и захожу в гастроном рядом с гостиницей. Отовариваюсь стандартным набором: сыр, колбаса, хлеб. У другого прилавка вижу Андрея — он покупает квас. Разыскиваем номер Виктора Петровича.

Рассказываю Виктору Петровичу обо всех звонках. О том, что надо пересматривать проспект, я его с собой привезла.

— Слушай, — говорит Виктор Петрович, садясь рядом на диван, — мы с тобой наивные люди, нас столько раз обманывали. Вот когда скажут, что деньги выделены, вот тогда и будем смотреть, что к чему. А пока никому ничего не говори и никому ничего не показывай...

Через несколько дней позвонила Галина Михайловна Щетинина из Комитета по печати, снова спросила про объём и сказала, что деньги будут выделены, но печататься собрание будет в России, в Красноярске.

— Это предательство, предательство! — шумел Лиханов.

— У вас есть собрание сочинений, Альберт Анатольевич? Есть! А у него нету. И этим всё сказано, — возразила я ему.

Печататься Собрание должно было в красноярском издательстве «Офсет». Я забрала из издательства «Дом» эти злосчастные четыре тома и, пользуясь приглашением на первые «Литературные встречи в русской провинции», повезла их в Овсянку.

В бывшей бане, впоследствии служившей кабинетом-гостиной для приёма гостей и работы, мы сидели с Виктором Петровичем и приводили в нужный вид вступление, написанное пять лет назад, и комментарии. Приятельница Виктора Петровича, киношница Люба Кузнецова, снимала нас на камеру и потом любезно прислала мне плёнку. Но там были не мы с Виктором Петровичем, а какой-то чужой, совсем незнакомый мне мужик.

Мы съездили с Виктором Петровичем в «Офсет». Познакомились с директором, посмотрели оформление.

Вскоре в гостинице «Москва» ещё один человек из «Офсета» — Николай Михайлович Байгутдинов — передал мне готовый первый том. Была и радость — всё-таки началось, и разочарование — печать серая, полуслепая, а корешок за ночь отошёл от блока.

Оказывается, печатали с советских пластинок (и только с девятого тома купили импортные), а клеили клеем «Момент» — вот и получилось за минутку. В «Молодой гвардии» был свой клева-рочный цех. Клей варили сами, и блок от обложки было не оторвать.

Набранные тексты в Москву чаще всего привозил приятель Виктора Петровича, телевизионщик Сергей Николаевич Ким. Он же и отвозил их в Красноярск. В «Офсете» привлекли ещё одного редактора—Галину Ивановну Сысоеву, она уже после меня читала корректуры, к тому же Виктор Петрович привлёк, кроме издательских, ещё какую-то очень опытную корректоршу.

Выстраданная ожиданием работа шла своим чередом—том за томом.

Помню, как Виктор Петрович сводил меня в «Офсет»—«за зарплатой», как он сказал, и договорился, чтобы немного прибавили.

Сдавали том, где шла «Царь-рыба»—многостральное его повествование в рассказах, которые печатались с перерывами во времени в «Нашем современнике», с потерями для автора, что стоило ему здоровья.

—Виктор Петрович,—предложила я.—А может, всё-таки восстановим «Царь-рыбу», разыщем снятые цензурой куски, напечатаем, как было вами написано первоначально?

—Ты что, хочешь, чтобы я снова в больницу попал?—зыркнул на меня своим зрячим глазом Виктор Петрович.

Когда в цк КПСС прочли главку «Норилец», писателю было передано, что такое может быть опубликовано в стране лишь через двести лет. Лагерная тема была «больной» для цензуры. Но когда цензуры не стало, Виктор Петрович, кое-где поправив и дописав текст, изменил название на более современное—«Не хватает сердца»—и отправил её в тот же «Наш современник», где она и была опубликована в № 8 за 1990 год—всего лишь через двадцать пять лет вместо обещанных двухсот.

Только эту главку мы и добавили в текст в пятнадцатитомном Собрании.

Так было сделано и в оборванном молодоговардейском шеститомнике.

...Готовим тринадцатый том. Виктор Петрович вдруг достаёт из своего письменного стола в кабинете стопку перепечатанных Марией Семёновной страниц.

—Посмотри, что это такое. Давно лежит...

Я читаю: «Из тихого света. Попытка исповеди».

Потрясена: это шедевр, прекрасная, полная какой-то необъяснимой тайны исповедальная проза.—Надо ставить, Виктор Петрович. Это же прекрасный текст.

Ставим. Везу эту «Попытку» в Москву, встречаюсь в метро с Инной Петровной Борисовой. Она печатает «Из тихого света» в журнале «Россия».

И вот опять смешной момент. Вдруг, проследившая всё Собрание, соображаю, что во многих вещах, начиная с самых ранних, используется одна и та же поговорка, не совсем приличная: «Не стращай девку мудьями, она весь видала». Говорю об этом Виктору Петровичу. Он хватается за голову:

—Что у нас ещё не напечатано?

—«Царь-рыба».

—Покажи это место.

Нахожу. Вычёркивает эту поговорку и вписывает другую, такую же «солёную».

В 1998 году выпуск в Красноярске Собрания сочинений в пятнадцати томах был завершён. Кто-то из астафьевских друзей привозит мне эти пятнадцать таких любимых, таких дорогих книг. На титуле первого тома Виктор Петрович оставляет надпись: «Агнессе Фёдоровне—Асе. Моему вечному спутнику и другу на добрую память с любовью и благодарностью за все добрые дела и семейную любовь. В. Аст. 25 апреля 1999 г. Москва».

### Полна горница друзей

В их доме, когда устраивались какие-либо литературные мероприятия, всегда было многолюдно. Чай пили и беседовали или на кухне—и на стол выставлялась коробка со ста пакетиками заварки, или в гостиной, примыкающей к кабинету, когда нагрывавших было особенно много.

Почти все гости—сколько хватало места—укладывались в доме, нередко спали на матрасах или ватных одеялах на полу.

Не раз, когда Польша и Витька ещё жили в их доме, а Виктор Петрович оставался в Овсянке, Мария Семёновна велела мне укладываться в кабинете Виктора Петровича, на его кушетке.

Кабинет с его письменным столом, фотографии за спиной, книжный шкаф напротив, кушетка справа у стены. Его подушка и плед. Думалось, когда укладывалась: может, ума прибавится...

В этом доме бывали именитые гости—Г. Жжёнов, М. Ульянов, Н. Михалков, М. Горбачёв с Раисой Максимовной, Ельцин. До того, как начался литературный раскол,—не раз В. Г. Распутин, В. Н. Крупин, В. Хайрюзов, его друг по волк Е. И. Носов, В. Я. Курбатов, Е. В. Колобов, М. С. Литвяков, М. Н. Кураев, А. Заболоцкий, Ю. Ростовцев.

Мария Семёновна бережно хранила в отдельных папках письма Е. И. Носова и В. Я. Курбатова, как Валентин Яковлевич хранил письма Виктора Петровича; потом их переписку иркутский издатель Геннадий Сапронов издал отдельной книгой—«Крест бесконечный».

В обычные дни и по праздникам приходили Зеленовы—Эммочка и Владимир Алексеевич, Роман Харисович Солнцев с женой Галей, ещё раньше—Люба Кузнецова с Володей. Тут было полное взаимопонимание взглядов на жизнь, отношения к происходящему.

Виктор Петрович не просто был общительным человеком. Он ведь как личность сформировался в детдоме, где все свои, друзья, иначе и быть не может, и общение, расположение его к человеку было таково, что каждый, с кем он общался, делался или считал себя его настоящим другом.

В Москве жили его друзья тех лет, когда они с Марией Семёновной жили в Вологде,—художник Евгений Фёдорович Капустин и его жена Юлия. Бывая в Москве проездом, Виктор Петрович останавливался у Капустиных, и туда нагрывалась более молодая «поросль».

Евгений Фёдорович потом стал болеть, уже неудобно было его обременять, тем более что летом Евгений Фёдорович и Юлия Фёдоровна уезжали на дальнюю дачу. Тогда Виктор Петрович останавливался в гостинице; добавив себе годочков, ездил уже не один, а нередко с Сергеем Николаевичем Кимом или Витькой. Не раз останавливался и в нашем доме. Помню, Наташа сделала ремонт в квартире, и коридор оклеили фиолетовыми обоями.

— Шизофрения,—сказал, увидев перемену, Виктор Петрович.

Юлию Фёдоровну Виктор Петрович пригласил на вручение премии «Триумф». Вместе с Юрой Ростовцевым Юлия Фёдоровна пришла на вечер памяти Виктора Петровича в январе 2002 года, который устроили киношники, как всегда, красивая и элегантная. Теперь и Юлии Фёдоровны, и Евгения Фёдоровича уже нет в живых, как нет и многих других дорогих Виктору Петровичу людей.

У Марии Семёновны был заведён «Поминальник». Это я так называю толстую тетрадь-книгу, где каждый, кто бывал в доме, оставлял свою запись, пожелание хозяевам. (Тут и Куняев, потом громивший Виктора Петровича, расписывался.) Кто-то даже какие-то картиночки, на манер астафьевского цветочка стародуба, рисовал.

Где теперь этот «Поминальник»? В какой архив Мария Семёновна его отправила, и отправила ли?

Кстати, на столе в кабинете Виктора Петровича, справа, или в ящике стола всегда лежала толстая чёрная записная книжка. Виктор Петрович не вёл дневников, но частенько в эту книжку записывал—то стихи, которые ему понравились, или мысль какую-то. Бесценная книжечка. Так вот, Мария Семёновна рассказала мне, что эта книжка исчезла со стола сразу после смерти Виктора Петровича.

Кто посягнул на эту реликвию?

На каком аукционе всплывёт потом эта пропада?

### Как он работал

Он был чрезвычайно требовательным к себе писателем. Он действительно *работал* над своими текстами.

Казалось бы, уже классика—новелла «Далёкая и близкая сказка», открывающая повесть в рассказах «Последний поклон».

Готовим к сдаче третий том шеститомного Собрания «Молодой гвардии», и начальную страницу с его вычёркиваниями и правкой приходится отдавать на перепечатку.

Он убирает красоты, освобождается от излишней литературности, вычурности, неточности. То же самое—со второй страницей текста.

Известно, потрясающая «Пастух и пастушка» выдержала шестнадцать его редакций. И вот сдача повести в первом томе молодого гвардейского Собрания. Он опять «проходится» по началу—делает его более сдержанным, лаконичным. Он рукой мастера выписывает батальные сцены, он пишет целый кусок о том, как на самом деле поступили с умершим Борей Костяевым, что с ним сотворили.

По этой редакторской правке самого автора должны учиться студенты Литинститута в постижении—а что же такое есть литературное мастерство.

Однажды мне позвонила одна аспирантка:

— А вы не расскажете, как работал Астафьев над повестью «Пастух и пастушка» и что он в ней делал?

— Не расскажу. Положите рядом два текста—семьдесят девятого и девяносто первого годов—и сравнивайте строчка за строчкой, тогда и догадаетесь. И так все редакции. Вот вам и диссертация!

### На орбитах Астафьева

Я перешла в редакцию прозы в «Молодой гвардии» в далёком 1972 году. Тогда только что вышел однотомник Астафьева «Повести о моём современнике», кстати, «делавшийся» в соседней комнате. Редактором его был недавний фронтовик и военный журналист Константин Антонович Токарев, вскоре исчезнувший с издательских горизонтов. Вошла в этот толстый сборник и «Пастушка».

Заведующая редакцией Зоя Николаевна Яхонтова предложила мне выступить на общеиздательском обсуждении этой повести. Так я впервые пропустила через своё сердце слово Астафьева. Потом были встречи-посиделки-разговоры в редакции, когда Виктор Петрович приезжал в Москву. В сентябре 1977 года Бог занёс меня в Душанбе—на дни советской литературы в Таджикистане. Из аэропорта мы приехали в какую-то резиденцию с виноградными аллеями. Там, в огромном зале с рядами накрытых яствами столов, ко мне стремительно подошёл ещё сравнительно молодой Виктор Петрович, он был рад увидеть «своего» человека среди приехавших. Их с Марией Семёновной увезли «ребята», а мы ездили по этой древней земле, покрытой белыми булочками хлопчатника, в какие-то колхозы, на какие-то встречи. Вместо праздника попали на похороны Мирзо Турсун-заде. Всё было грустно, а запомнились улыбка, приветливость Виктора Петровича.

Весной 1978 года я набралась наглости и отправила ему в Вологду на прочтение рукопись «даровитого парня», по его словам, Виктора Козько, жившего тогда в Сибири. И он прислал подробное

письмо из Сиблы: «Надо бы с Витей встретиться, потолковать, пришлите его адрес...»

В 1979 году вышел первый том его первого четырёхтомного Собрания сочинений в «Молодой гвардии» — его редактировала Зинаида Трофимова Коновалова. Будучи в Москве, он надписал и мне это такое дорогое для него издание.

С 1984 года я стала работать с ним как редактор. Про эту фигуру в «литературном процессе» он скажет в письме, что редактор видится ему как «советник и помощник». А много позднее, тоже в письме, он назовёт меня — от имени себя и Марии Семёновны — «нашим излюбленным кадром».

Астафьевские орбиты приведут меня в Красноярск, и в первой своей поездке я познакомлюсь с Валентином Яковлевичем Курбатовым — этот «бородатый литературный крытик» не раз разделит одиночество Виктора Петровича, поддержит его в трудную минуту и сам подпитается астафьевскими соками.

После публикации «Проклятых и убитых» в «Новом мире» Виктор Петрович пришлёт ко мне Гену Сапронова — Геннадия Константиновича — из Иркутска, он станет самым интересным и сильным издателем, подарившим читателям немало замечательных книг, и прежде всего — подарочное издание «Царь-рыбы» в оформлении Сергея Элояна, одно другого краше. Увы, теперь уже Геннадия Константиновича нет в живых.

А тогда он приехал с предложением помочь ему выпустить двухтомник «Проза войны» в издательстве «Книжная палата». Для «Палаты» этой книжное дело, и прежде всего набор на компьютере, было в новинку. В набранном тексте было немереное количество ошибок, и как ни старались доглядеть — без профессионального корректора книга вышла с ошибками. Геннадий Константинович расстроился, вдобавок ко всему весь тираж по приходе в Иркутск был украден. Но через несколько лет книга всплыла — к Виктору Петровичу стали обращаться читатели с просьбой поставить автограф.

— Классика не тонет, — сказал Гене Виктор Петрович.

С тех пор мы стали с Геннадием Константиновичем и его женой Леной большими друзьями.

Бывший корреспондент «Комсомольской правды» по Восточной Сибири, человек, любящий литературу и понимающий в ней толк, Геннадий Константинович сделался нашим современным Сытиным: каких только редкостных книг не выходило из-под его руки (а привлёк он к своим выпускам замечательного и очень оригинального художника Сергея Элояна). Тут и «Вернитесь живыми» — проза писателей-сибиряков, и «Пролётный гусь» — всё написанное Виктором Петровичем после выхода пятнадцатитомного Собрания сочинений, и подарочное роскошное издание

в двух видах «Царь-рыбы», и эпистолярное наследие Виктора Петровича — «Крест бесконечный» и «Твердь и посох», «Подорожник» В. Я. Курбатова, великолепная книга-альбом «Сибирь, Сибирь...» и необыкновенное, с любовью исполненное четырёхтомное собрание сочинений В. Г. Распутина. А что уж говорить о «Созвучии», где рядом с прозой Астафьева — размышления о музыке, её свойствах талантливого музыканта и друга Виктора Петровича, Евгения Колобова. Альбом «Маэстро» об этом мастере, так рано ушедшем из жизни! Список этот можно продолжать и продолжать...

В Красноярске у Астафьевых я познакомилась с Зеленовыми — Эммочкой и Владимиром Алексеевичем, в его мастерской мы увидели гипсового В. Г. Распутина, а потом и Марию Семёновну с Виктором Петровичем, сидящих на скамейке в «огороде» Виктора Петровича в Овсянке. Познакомилась со многими людьми, творящими добро для Астафьева и его семьи: с Романом Солнцевым, теперь его уже нет в живых, и его женой Галей; с девочками-библиотекарями из Овсянки во главе с Анной Епиксимович Козынцево; с чудным Василием Михайловичем Обыденко из Дивногорска; Николаем Ивановичем Дроздовым, ректором педагогического университета, ныне носящего имя Астафьева; Галиной Максимовной Шлёнской, профессором университета, самозабвенно увлечённой творчеством Астафьева; Ольгой Семёновной, лечившей Виктора Петровича; Натальей Ильиничной, соседкой с нижнего этажа, делавшей вечерами уколы Марии Семёновне; Анатолием Козловым, соседом из дома напротив; Валентиной Михайловной Ярошевской, директором краеведческого музея; Галиной Николаевной Краснобровкиной, замечательной русской женщиной-труженицей, бережно хранящей память и по-настоящему оберегающей последний земной приют своего двоюродного брата. Невозможно перечислить всех друзей и поклонников творчества Виктора Петровича.

А потом были другие астафьевские орбиты: Чусовой, где устраивали свою семейную жизнь Мария Семёновна и Виктор Петрович и где начался Астафьев-литератор, тут теперь музей в восстановленном, а когда-то построенном вчерашним солдатом-фронтовиком бревенчатом домике; Пермь, где Астафьевы прожили несколько лет уже в благоустроенной квартире и откуда уехали в Вологду. И здесь немало друзей Астафьева: директор музея в Чусовом Володя Маслянка, библиотекари Зоя Тылина и Галина Мохначёва, Секлета Савватеевна Опарина из города Лысьвы, молоденькой девушкой помогавшая Астафьевым растить детей, Татьяна Георгиевна Курсина и Виктор Александрович Шмыров, директоры музея политических репрессий «Пермь-36», в прошлом однокурсники сына Виктора Петровича Андрея.

И отправлялись мы в путь по астафьевским орбитам — уже командой: Евгений Владимирович Колобов, Валентин Яковлевич Курбатов, Михаил Николаевич Кураев, писатель из Петербурга, Лев Александрович Аннинский, Геннадий Константинович Сапронов и я — люди, которых на поклон к Астафьеву привело им сотворённое красивое и нежное слово.

Талантливый музыкант, дирижёр, руководитель театра «Новая Опера» и замечательный человек Е. В. Колобов скоропостижно ушёл из жизни, а мы по-прежнему вместе и, когда собираемся в Москве в моём доме, отдаём дань Астафьеву — говорим о нём, вспоминаем, рассматриваем вышедшие новые книжки, смеёмся над его остротами и знаем: он жив, он видит и слышит нас.

*P. S.* Жизнь не стоит на месте. Эти заметки были уже написаны и переданы для Г. М. Шлёнской, как произошло совершенно неожиданное событие — присуждение Виктору Петровичу Солженицынской премии. Формулировка (она была опубликована в «Литературной газете») потрясала: «Виктору Петровичу Астафьеву — писателю мирового масштаба, бесстрашному солдату литературы, искавшему свет и добро в изувеченных судьбах природы и человека». Действительно — бесстрашный солдат, действительно — искал добро и свет, одни «Прокляты и убиты» чего стоят... Мария Семёновна и Андрей (он по-прежнему живёт в Вологде) не смогли приехать, и мне довелось из рук Натальи Дмитриевны Солженицыной в Доме русского зарубежья имени Александра Солженицына принимать эту дорогую награду — вишнёвой кожи диплом с изысканным серебряным вензелем «АВП» на обложке. Конечно, я волновалась, нужно было что-то сказать в ответ. А на заднике сцены, за президиумом, во всю высоту — огромная фотография: эти два великих человека — великий мыслитель и ниспровергатель тоталитаризма, борец за права человека и великий русский писатель, мастер слова — обнялись крепко и радостно смотрят друг на друга возле дома Виктора Петровича в Овсянке, на улице комиссара Щетинкина... Вот и «плясала» от этого.

Наталья Дмитриевна зачитывает пространный отзыв Александра Исаевича на роман «Прокляты и убиты», написанный солдатом В. П. Астафьевым «лишь к старости своих годов» — «уникальный», предельно правдивый. В. Я. Курбатов, как всегда проникновенно и возвышенно, говорит об этом романе, сравнивает его с «Войной и миром». А Геннадий Константинович Сапронов вручает Наталье Дмитриевне огромную коричневую книгу — это письма Виктора Петровича разным адресатам за все годы его жизни. Это как бы эпистолярный дневник великого писателя — новый издательский подвиг Сапронова.

И вот мы вчетвером — В. Я. Курбатов, Г. К. Сапронов, его жена Елена Леонидовна и я — летим в Красноярск, на празднование восьмидесятипятилетнего юбилея Виктора Петровича. Там к нашей «команде» присоединяются питерцы — киношник Михаил Сергеевич Литвяков и писатель Михаил Николаевич Кураев.

Красноярцы празднуют с размахом. Огромная программа. Задействовано несколько площадок. Шумное и разноликое стечение народа. И под свет телевизионных юпитеров переданы солженицынский диплом и цветы великой Марье, а она — маленькая, сухонькая, седая, но в то же время величественная — в инвалидной коляске у края сцены...

Было много встреч и разговоров, всплеск эмоций, радости, неподдельного интереса к творчеству писателя, как при встрече со студентами и преподавателями Красноярского педагогического университета, которым руководит Николай Иванович Дроздов. Жюри Астафьевского литературного фонда объявляет победителей конкурса. И мы понимаем: происходит явление новых молодых талантов на красноярской земле.

Съездили в Овсянку, на кладбище, поклонились Виктору Петровичу и Ирине. Погоревали, помянули Виктора Петровича.

Сапроновы торопились в Иркутск — готовить очередные (вторые) «Литературные вечера» в Иркутске. Первые прошли в 2008 году и были успешными. Целый ряд книг интересно работающих русских прозаиков и поэтов выпустил издатель Сапронов — Ю. Казакова, В. Кострова, И. Золотусского, А. Варламова, М. Кураева. И пригласил их на встречу с читателями в Иркутск. Три дня в Иркутске был праздник книги. И на родину В. Г. Распутина сплавали, в Аталанку. И вот подошли вторые. И они состоялись в десятых числах июня уже 2009 года, вышли новые книги, и приехали новые авторы, и приехала «Новая Опера» вместе с Натальей Григорьевной Попович и Марфой Колобовой. Вновь была поездка участников по «реке жизни» — Ангаре. Очень грустная, потому что строящаяся Богучанская ГЭС затопит прекрасные земли, исковеркает людские судьбы, будет новая «Матёра». И, словно не выдержав этого напряжения, всего через несколько дней после возвращения, 14 июля, Геннадий Константинович рухнул, его не стало в одночасье. Ему было всего пятьдесят семь лет... Но молодцы иркутяне: и в 2010 году снова прошли «Литературные вечера» в Иркутске, и первый был посвящён светлой памяти Г. К. Сапронова.

«Нет мне ответа...» — фразой из «Царь-рыбы» назвал Сапронов изданный им эпистолярный дневник В. П. Астафьева. Почти восемьсот писем было в распоряжении составителя. Всю жизнь

Виктора Петровича, его заботы, сомнения пропустил через своё сердце, выстроил книгу. А вот сам не выдержал.

Бежит неумолимое время. И у Марии Семёновны в августе весомая круглая дата—девяносто. Она прислала мне приглашение. Но после жаркого дымного лета лететь нет сил, и я пасую. Шлю ей пространную телеграмму и наговариваю по телефону «оптимистическую информацию»: и серия «Красная книга русской прозы» будет переиздана, и «Последний поклон», «Царь-рыба», «Пастух и пастушка» и «Прокляты и убиты» будут выходить, пока не иссякнет читательский спрос. А как он может иссякнуть? Современники Виктора Петровича обзавелись его книгами, но приходят в жизнь новые поколения, рождаются новые семьи, которые хотят вырастить своих детей в любви к лучшему русскому слову.

В мае 2010 года отмечалось шестидесятипятое Великой Победы. И несколько российских театров, в том числе молодёжных, из самых разных областей страны (и среди них мхт имени Чехова под руководством О. П. Табакова) будут ставить спектакли по военным произведениям классика. Вот их перечень: «Прокляты и убиты», «Пастух и пастушка», «Звездопад», «Весёлый солдат». Это ли не добрый знак?

### Погасшая свеча

А неумолимая жизнь вносит свои коррективы...

В июле 2009 года подуставшая, но весёлая компания (С. В. Мирошниченко, В. Г. Распутин, В. Я. Курбатов и Г. К. Сапронов), вернувшись из грузного плавания по Ангаре, добралась до Овсянки. Поклонились Виктору Петровичу и Ирине, заглянули на старое деревенское кладбище, к родным Виктору Петровичу могилам, и наведались к Марии Семёновне в Академгородок. Она, как всегда, была несказанно рада таким гостям. Бодрилась изо всех сил. А делать это с каждым годом ей становилось всё труднее...

Она слала мне подробнейшие отчёты о своей жизни. Сначала это были пространные страницы, отпечатанные ею на машинке, и она писала, как плохо ей без Виктора Петровича, что занимает себя делами, разбирает оставшийся без него огромный архив, фотографии, письма, книги. «Ну, будет как будет...» — приговаривала между строк. Потом её письма стали короче: к машинке доктора разрешили подходить только на двадцать минут с часовым перерывом, а к компьютеру и вовсе запретили прикасаться... Она стала плохо слышать, а звонила всегда после двенадцати ночи по Москве — так дешевле.

Когда пальцы уже не могли ударять по клавишам, да и лента кончилась, достать было невозможно, она стала писать от руки печатными буквами, и они дрожали, эти буквы, рвались, как

тонкая ненадёжная паутинка. А конверты иногда подписывал кто-нибудь другой.

Мир её интересов сузился. И в центре его оставались её кровиночки — внуки и правнуки. Она радовалась Полькиному выбору, прислала фотографию с её свадьбы, сообщала обо всех подробностях и заботах Полькиной жизни. А уж когда родилась Настя, этот маленький живчик сделался смыслом бабушкиного существования. Улыбки и неугомонность этой живой девчушки давали ей новые силы.

Когда-то в восьмидесятых годах, ещё работая в «Молодой гвардии», я готовила к печати её маленькую книжечку рассказов под названием «Надежда горькая, как дым». Бесхитростные истории о простых русских людях, о том, что с ними случалось.

Потом она присылала мне новую свою книжку — с любовью написанную повесть «Отец» о своей большой дружной семье, об отце-труженике и маме, об укладе жизни этой трудовой семьи.

А потом была исповедальная, беспощадно откровенная повесть «Знаки жизни» — о том, как складывалась их собственная с Виктором Петровичем семейная жизнь. «Зачем, зачем судьба нас свела в человеческом столпотворении на кривых послевоенных путях? Зачем лихие российские ветры сорвали два осенних листочка с дерева человеческого и слепили их?» — вопрошал позднее Виктор Петрович в «Попытке исповеди „Из тихого света“». А Мария Семёновна расскажет всё без утайки, как было, «чтобы потом не переврали».

К своему восьмидесятилетию она тоже захотела иметь Собрание. И мы сделали с ней однотомник «Сколько лет, сколько зим», отпечатанный в 2000 году в красноярском издательстве «Офсет». И она радовалась успеху, радовалась презентации книги, на которой присутствовали губернатор А. И. Лебедь и её муж, который её похвалил. Предисловие к этому итоговому однотомнику написал В. Я. Курбатов, назвав его «Свеча, зажжённая с двух сторон». Суть его была в том, что два писателя писали одну и ту же российскую действительность, но каждый со своей стороны, по-своему, в меру своего таланта.

И вот свеча, которая неумоимо светила Виктору Петровичу на протяжении всей его творческой жизни, несла ему неугасимый свет, погасла, перестала гореть...

«Одинокая маленькая женщина на пустом и неуютном перроне, покрытом тонким пластиком снега, похожим на бумагу, сплошь изорванную тёмными следами, — моя жена, куда-то опять меня провожающая...» — такой виделась ему его Маня, которой он подписывал все свои книги трогательными, нежными словами, объяснял, как любит её, заботился о её здоровье. Однажды оставил такую запись: «Право жить и быть нам вместе никто не дарил. Нам никто ничего не дарил, только жизнь

под небесами подарила да сохранила крёстная жены да тётя Тася... Вместе нам никогда не было скучно, неинтересно, и мы никогда никому не жалобились... В минуту светлую и добрую я сказал, что раз уж смерть неизбежна, нам бы умереть в один день, в один час и в одну минуту—мы заработали и выстрадали и это право».

Мария Семёновна пережила мужа на одиннадцать лет. Как и Виктор Петрович, она ушла в ноябре, чуть-чуть не дотянув до дня его кончины. Проводить её в последний путь пришли сотни людей. Они молча приносили цветы к её гробу, у которого сидели родные и близкие и над которым висел её большой портрет—с этой фотографии она словно мысленно прощалась со всеми, кто пришёл отдать ей последний земной поклон.

Отпевали Марию Семёновну в той же часовне, что и Виктора Петровича.

На деревенском кладбище было тихо, пустынно, с небес падал на землю лёгкий снег, а по стволу сосны у края могилы вверх скользнула серая белочка.

Лицо Марии Семёновны, когда я увидела её в гробу, в квартире в Академгородке, было спокойным, каким-то просветлённым, словно она окончательно поняла, что отмучилась и уже ни о чём не надо беспокоиться. Вот только гроб для маленькой женщины был великоват, какая-то пустота в ногах чувствовалась.

Путь Марьи от прощального зала до ритуального автобуса был засыпан красными гвоздиками—они резали глаз на ярко-белом снегу. А ведь в жизни эта женщина извела немало лиха, пережила немало горестных минут, её жизненный

путь вовсе не был устлан яркими цветами. Великая труженица, перепечатавшая не раз всё, что написано великим писателем, пропустившая всё сотворённое им через своё сердце, берегиня, которая сберегла русской и мировой литературе великого мастера пронзительного русского слова.

В день прощания с Марией Семёновной в Академгородке Полинка отдала мне памятный знак—маленький чёрный скорбный флажок, какой в былые времена мы вырезали из цветной бумаги и вешали на ёлку; только этот—из чёрной нейлоновой ленты, а сверху на нём—ещё один флажок, зелёный, а ещё сверху припилен на этих флажках маленькая фотография Марьи, и сморщит она с укоризной. Вот когда мне показалось, что всё, эпоха Астафьевых кончилась. Не стало Марьи—окончательно не стало и Виктора Петровича. Опустел их дом, одни голые стены остались.

Но, может, есть милость Божья? И вдруг случится чудо: найдётся неведомый спонсор, как говорится ныне, и такой дорогой всем читателям и поклонникам Виктора Петровича кабинет с его мудрейшим и светлейшим письменным столом, с его фотографиями, книгами, его кушеткой вновь переселится на своё законное место, в свой родной дом; в библиотеку вновь вернуться книги, что собирали они вместе с Марией Семёновной; вернуться картины, описанные и сфотографированные ею, когда мечталось о музее в их доме; вернуться пианино, красивая посуда, вазы для цветов,—и тогда словно воспрянет дух этого дома, дух писателей Астафьевых? Не может быть, чтобы этого не случилось.

Александр Щербаков

## Сопричастный всему живому

### Хождение за «Царь-рыбой»

Сразу оговорюсь: я отнюдь не мечтаю в близкие друзья-товарищи к покойному Виктору Астафьеву. Тем более что ныне таковых и без меня обнаружилось предостаточно. Счёт идёт уже, кажись, на сотни. Как когда-то шофёров, возивших Ильича, или активистов, тащивших с ним пресловутое бревно на коммунистическом субботнике...

Хотя, если без иронии, у Виктора Петровича, человека известного и общительного, действительно было много знакомых и приятелей во всех, что называется, слоях общества — от простых рабочих до министров и президентов, от бедных крестьян и «бюджетников» до skorобогатых дельцов и коммерсантов, к которым он благоволил в последние годы. Но, естественно, наиболее широкие связи имел в профессионально близком кругу — среди писателей, журналистов, художников. В том числе — красноярских. И тут почти каждый из нас может впрямь написать, буде пожелает, страницу другую о своих «встречах» с Астафьевым.

И, уж поверьте, я не стал бы толкаться в нынешнем хоре вспоминаателей, если б не одно обстоятельство, имеющее, на мой взгляд, общественный интерес. Наверное, немногие сегодня помнят и знают, что первые главы из «стержневого» произведения Астафьева «Царь-рыба», по типажам и месту действия насквозь «нашего», сибирского, енисейского, были у нас и опубликованы, а именно — на страницах «Красноярского рабочего». И волею судьбы к этим публикациям оказался причастен ваш покорный слуга. Это во-первых. А во-вторых, с той поры я как бы попал под опеку, под «патронаж» Виктора Петровича, наряду с другими близкими ему тогда по духу красноярскими «народниками» и «деревенщиками» разных поколений — от Николая Волокитина до Олега Пашенко. Что было, то было. И я вкратце расскажу об этом, а поможет мне и не даст соврать сам... Виктор Петрович. Да-да, ибо десятка полтора писем его, относящихся к той поре, сохранилось в моём архиве, и я их доньше никому не показывал.

История их такова. В 1969 году в Красноярском издательстве у меня вышла первая «солидная» книжица «Знакомьтесь, мои земляки». Хотя она была очерковая, как и пара предыдущих брошюр, но уже претендовала на некоторую художественность.

И редактором её был всамделишный писатель Михаил Перевозчиков. И она получила даже некоторые отзывы в «Красноярском рабочем», «Красноярском комсомольце», а чуть позднее — аж в «Комсомольской правде»...

Окрылённый вниманием, я расхрабрился настолько, что решил послать эту книжицу Виктору Астафьеву, жившему тогда в Вологде и набравшему силу писателю, нашему земляку, с которым я, после прочтения ряда его «поклонных» рассказов, чувствовал что-то вроде духовного родства. Отправил я книжку где-то в конце апреля — начале мая 1970 года, сопроводив её письмом, содержания которого уже не помню, а копий никогда не делал и не хранил. Честно говоря, особых надежд на ответ не питал. И тем более велика была моя радость, когда я однажды нашёл в почтовом ящике голубоватый конвертик с обратным вологодским адресом. Ведь это было вообще первое письмо известного писателя, полученное мною. Да ещё какое!

### Из письма от 12.05.1970:

Дорогой земляк — Саша Щербаков! Я как раз лежал в больнице, когда пришла Ваша книжка. Я не успеваю читать все книжки, подаренные мне, но наши, сибирские — исключение, я их читаю обязательно, ибо всегда надеюсь услышать родную речь, увидеть что-то родное, поговорить с кем-то близким хотя бы мысленно.

Ваша книжка мне очень поглянулась, особенно её первая часть, где она меньше поражена газетчиной, этой всё живое съедающей ржавчиной. Много в очерках сыновнего чувства, много грустной и доброй улыбки, много тепла, согревающего человеческую душу вдали от родного дома. А главное то, что автор её сохранил чувство благодарности родной земле и людям её, а с благодарности и начинается человек, и благородство души его и помыслов отсюда же. Неблагодарные — всегда эгоисты.

Жаль, что у книги худое, тусклое название — она будет лежать на прилавках и полках с этим названием. И ещё, мне кажется, работу над книжкой нужно продолжить — на основании её, частично используя этот материал и фамилии людей, которые здесь



названы (характеры их лишь намечены чуть), написать небольшую повесть о таскинцах, да так, чтобы наперёд выступило не только их дело и любовь к нему, а сами люди. Перенаселять повесть не нужно, сделайте отдельные главы-рассказы, связанные местом действия и общей жизнью.

Очень советую над этим подумать; если надумаете что и сделаете—присылайте рукопись, я с радостью её посмотрю и, если она будет того стоить, определяю в журнал или ещё куда.

А пока желаю Вам всего доброго и лучшего. Рад был познакомиться с Вашим голосом—он очень доверителен и чист в Вашей милой книжке. Наверное, и сами Вы такой же. Раз в 56-м году поступали в институт в «смазных сапогах», значит, знаете, что такое труд, хлеб и честь. Жму Вашу руку.

*Ваши В. Астафьев.*

Никогда и никому не пишите: «Не льшу себя надеждой...» Мы, люди русские, и без того унижены и оплётаны всеми, чтобы ещё унижать и самих себя... Поклон Вашему редактору Перевозчикову.

Разумеется, я откликнулся благодарным письмом, получил в ответ коротенькое послание, но решил больше не докучать любимому писателю эпистолами, пока не выполню его пожелания—не переделаю свою очерковую книжку в «небольшую повесть о таскинцах».

Увы, от замысла до его воплощения пути не близкие. Прошли и год, и два, а повесть двигалась медленно, зигзагами да петлями, и всё дальше уходила в сторону от «первоосновы». К тому же суматошная служба моя отнюдь не способствовала литературному творчеству. Я был тогда собкором «Красноярского рабочего» по пригородной зоне, «сидел» в Красноярске, как говорится, под рукой, и нередко использовался газетным начальством в роли спецкора, а точнее—пожарника, бросаемого за «горящими» строками то туда, то сюда. Но особенно тяготили меня вызовы в редакцию на «прорыв»—чаще всего в сельхозотдел в страдную пору. И вот, помнится, когда я как проклятый сидел над «глубокой» правкой очередного опуса нештатника или выписавшегося коллеги-собкора, не видя белого света, в дверь кабинета кто-то осторожно постучал.

— Ворвитесь!—крикнул я почти с раздражением, предполагая визит нового «автора» с унылой рукописью и досужими разговорами.

Но когда открылась дверь—чуть не выронил авторучку: передо мной предстал плотный, с проседью в висках и характерным прищуром правого глаза мужик, очень похожий на Астафьева, каким я видел его на портретах.

Я оторопело поднялся навстречу, не в силах выдавить слова. Но Виктор Петрович запросто

поздоровался со мной, будто со старым знакомым, присев к столу, стал рассказывать, какие пути-дороги привели его в Красноярск. Он замышлял «енисейскую книгу»—видимо, будущую «Царь-рыбу», и ему надо было обновить впечатления. Как бы между прочим, он обронил в разговоре просьбу: мол, не помогу ли редакционной машине—хочется поскорее доскочить до Овсянки, повидаться с роднёй. Я тотчас рванул к ответ-секретарю, в распоряжении которого находился «газик», так сказать, общего пользования, но по дороге вспомнил, что на нём недавно умотала в глубинную командировку «выездная редакция». Оставалась надежда только на редакторскую персональную «Волгу». Я бросился в приёмную, едва не свалив секретаршу, загородившую было мне дверь к шефу, прорвался к редактору и с порога выпалил ему просьбу посетившего меня известного писателя.

Но Валентин Дубков, старый газетный служака, лысый, как колено, был человеком хладнокровным. Из писателей он признавал только своего давнего друга Сергея Сартакова, да ещё немного Казимира Лисовского с Игнатием Рождественским, патентованных «певцов Сибири». Фамилия Астафьева не произвела на него никакого впечатления. Равнодушно выслушав меня, он поджал губы и процедил:— Машина занята. Еду в аптеку за очками, потом в крайком.

И чуть приподнялся, давая понять, что аудиенция окончена.

Мне ничего не осталось, как вернуться в свой кабинет не солоно хлебавши. Виктор Петрович уже по одному убитому виду всё понял и стал меня успокаивать, что ничего, мол, страшного, доберётся сам, и что у него вообще уже в кармане билет не то на «Ракету», не то на автобус, а про легковую машину он спросил лишь на всякий случай, в надежде сэкономить время. Неожиданный гость вскоре простился со мною и вышел. Я было последовал за ним, но он жестом остановил меня:— Не беспокойся, работай!

И пошагал вдоль сумеречного коридора, держа на согнутой руке низко свисавший плащ, и только у лестничной площадки обернулся и помахал мне, растерянно стоявшему в открытых дверях.

После такого «гостеприимства» нелзя было и подумать о письмах к нему. Да и писать особо было нечего. Правда, года через два я вчерне закончил повесть «Свет всю ночь», но это была уже совсем другая книга, и соваться с нею к Астафьеву я не стал. В июле семьдесят четвёртого я мельком видел его на иркутском семинаре молодых писателей, и мы лишь поприветствовали друг друга издали: он спешил к своим семинаристам-прозаикам, а я занимался в секции поэзии—у Владимира Соколова.

Но в те же годы в «Красноярском рабочем» начались большие перемены. Был назначен новый,

молодой редактор Пётр Замятин, замами у него стали сверстники Владимир Денисов и Лев Балашов. Значительно омолодилась и вся редакция, в основном за счёт выпускников-уральцев. Редакционная атмосфера бродила новыми веяниями. И вот в начале 1975 года редактор Замятин, узнав (возможно, от меня же), что Астафьев работает над сибирской повестью, предложил мне, как его «старому знакомцу», к которому мэтр «запросто» заходит поздороваться, попросить у него готовые главы для «Рабочего». Если нужно, даже съездить за ними в вологодские края. Я поупирался немного, помня нашу «встречу» в редакции, но потом сдался. И отбил Астафьеву телеграмму. Но ответа долго не было, и я послал письмо, потом, уточнив адрес, — второе. Наконец, пришли ответы, объяснившие долгое молчание писателя.

*Из письма от 26.01.1975:*

Дорогой Саша!

Извини, что отвечаю письмом, а не телеграммой, — я нахожусь в глухом селе, откуда телеграммы не ходят, и сюда мне привезли твою телеграмму.

Сейчас у меня готовой прозы нет. Роман, написанный начерно, лежит. Я работаю над «Царь-рыбой», ни одной главы из неё пока печатать нельзя — не отделаны. Думаю, что в марте повесть будет готова, и тогда, где-то к середине, можешь приехать и выбрать что нужно. Написал я (начерно) и новую главу (большую) в «Последний поклон», возможно, и её сумею доделать к той поре. Военной прозы, а я думаю, сейчас она-то вас и интересует, у меня готовой нет.

Так вот обстоят дела. Если соберёшься ехать, надо заранее известить меня, ибо жена часто живёт тоже со мной, в деревне, а дочь вышла замуж и может к той поре перейти на квартиру, и дома никого не будет, но почту мне привозят... Сюда можно послать письмо, но лучше заранее послать его в Вологду. Желаю всего наилучшего.

*Кланяюсь — В. Астафьев.*

*Из письма от 23.02.1975:*

Дорогой Саша!

Давно, уж с месяц как, я ответил на твою телеграмму письмом, и вот уже два от тебя письма — стало быть, ты моего не получил?..

Дома у меня сейчас только дочь с зятем, но они днём на работе, значит, надо меня предупредить заранее; ежели не будет всё же меня дома, когда ты приедешь, — вот мой деревенский адрес (жена там со мною обретается): Вологодская область, Харовский район, п/о Никольское, деревня Сибла. Нужно садиться на поезд, который идёт в сторону Архангельска (таких много), и ехать до станции Харовск (часа полтора) и там обратиться

к редактору местной газеты «Призыв» Николаю Семёновичу Шаверину (очень хороший мужик!)... и он тебя отправит ко мне на своей машине — езды от станции 35 минут, скоро ещё и автобус ходить будет... Всё понял?! Будь здоров. Приезжай!

Если окажешься дома у нас без меня, дочери и зятя не бойся, дочь у меня воспитана в сибирском стиле — она проста и хлебосольна, зять — работяга, редкой скромности и душевности человек, но они числа до 20-го марта будут в отпуске. Так что во всех смыслах лучше приезжать в апреле — ежели улетишь самолётом из Красноярска с семичасовым, то вечером будешь в Вологде...

Что тебе ещё объяснить, не знаю. Привет вашему новому редактору! Раз уж он литературу в газету начал пущать, то это весьма и весьма приятно во всех отношениях!

*Кланяюсь — Виктор Петрович.*

И вот в апреле я полетел в Вологду, за «Царь-рыбой». Точно по пути, расписанному Виктором Петровичем, и добрался «обыденкой». Переночевал в его вологодской квартире, радушно принятый дочерью Ириной и зятем. Кстати говоря, Ирина была журналисткой, и мы за ужином хорошо поговорили с нею, даже поспорили на профессиональные темы. А утром я отправился попутным поездом в Харовск. В окно вагона с любопытством и «ревностью» посматривал на вологодские места, заманившие к себе сибирского писателя. Пейзажи чем-то напоминали наши, красноярские, подтаёжные. Правда, смешанный лес был и пониже, и пожиже, а преобладающие в нём берёзы не столь стройны и белокоры, как у нас.

Редактор районного «Призыва» впрямь оказался отзывчивым мужиком. Тотчас дал мне редакционный «газик». И вскоре, где-то перед полуднем, шофёр высадил меня в Сибле, у крайнего бревенчатого дома с небольшими оконцами, поднятыми по-здешнему под самую стреху.

Шагнув во двор, я сразу увидел Виктора Петровича, в фуфайке и кепке, укладывавшего дрова в поленицу, и у меня непроизвольно вырвались слова, которые в подобных случаях говорили гости в моём Таскине:

— Пришли не званы, поди, уйдём не драны!

Виктор Петрович расхохотался в ответ. При словье наше ему явно понравилось, и потом он не раз «цитировал» его.

Не буду утомлять читателя подробностями своего проживания в Сибле у Астафьевых. Скажу только, что три или четыре дня, проведённых под их крышей, пролетели незаметно. С утра Виктор Петрович писал у себя в кабинете-спальне, а я, лёжа на диванчике в соседней комнате, читал главы «Царь-рыбы». Каждую Мария Семёновна подавала мне в отдельной папочке, в трёх и более экземплярах. Притом — далеко не одинаковых по

тексту. Оказывается, работа шла таким образом: Мария Семёновна печатала главу на машинке, Виктор Петрович, вычитывая, снова правил её и отдавал на перепечатку. Таких перепечаток бывало несколько, куда текст не устраивал автора. Но спустя некоторое время он нередко вновь возвращался к нему — и опять начинались перепечатки. Такое выдерживало только «фронтное» терпение Марии Семёновны. И то, впрочем, не всегда.

Помнится, когда мы возвращались с Виктором Петровичем от реки Кубены с рыбалки, он вдрут, прервав на полуслове разговор, указал на свою усадьбу и проворчал:

— Смотри, Маня опять в огороде копается. Лишь бы не печатать! Я чуть со двора — она тут же шурь из-за машинки!

Впрочем, ворчание его было добродушным. Он понимал тяготу каторги, на которую обрекал жену-помощницу.

На рыбалке он не раз сравнивал здешние места с нашенскими. Иные находимые им сходства казались мне преувеличенными. Ну а местная рыба вообще не шла ни в какое сравнение. Во всяком случае, при мне клевали на червя лишь жалкие уклейки. Хотя Астафьев вылавливал и кое-что посолидней. Ещё по дороге в Харовск я разговорился в поезде с соседом, седоватым попутчиком. И рассказал ему, что еду в село Сиблу к писателю Астафьеву. Попутчик сперва мотнул головой: мол, не слышал о таком, — а потом встрепенулся: — Это к тому мужику, который нельму в Кубене поймал?

Разговор этот я передал Петровичу. Он долго смеялся. Ему понравилась местная слава удачливого рыбака. Нельма в Кубене действительно была великой редкостью. Но Астафьев и здесь поймал свою «царь-рыбу»!

О нашей же с ним рыбалке я позднее написал стихи, которые тоже нравились «герою».

#### *В Сибле, у Астафьева*

Старела, редела и гибла  
От Вологды вёрстах во стах  
Деревня по имени Сибла  
В тех северорусских местах.  
Не каждый её обитатель,  
Наверное, ведал о том,  
Сколь крупный российский писатель  
Вселился в заброшенный дом.  
Был день на исходе апреля,  
Но холодом гнуло в дугу.  
Мы в длинных фуфайках сидели  
На мокром пустом берегу.  
От тучек взъерошенных тени  
Скользили, как рваный туман.  
И брёвна по речке Кубене  
Сплавливались молём в океан.  
Я, спину под ветер подставив,

Табак для сугрева курил,  
А Виктор Петрович Астафьев  
Уклеек в Кубене ловил.  
И помнится мне, как, наживку  
Сменив, он однажды привстал  
И тихо спросил: «А скажи-ка,  
Похоже на наши места?»  
Взглянув на березничек низкий,  
Белевший по взгоркам каймой,  
Я понял, что, сердцем сибирский,  
Влюблённый в наш край богатырский,  
Писатель вернётся домой.

Брал меня Виктор Петрович и на вечернюю тягу вальдшнепов. Правда, мы никого не убили, но волнуемыми перелётами этих таинственных птиц с характерным «хорканьем» налюбовались вдвоём. Тех вальдшнепов на фоне багряной зари над макушками прозрачных берёз я помню и поныне. Помню и наши разговоры с Астафьевым. Они касались в основном родного Красноярска, Енисея и, естественно, литературных дел. Именно тогда Виктор Петрович предложил мне, несмотря на проволочку с повестью о таскинцах, подготовить подборку стихов для какого-либо московского издания, но об этом чуть ниже.

К сожалению, я не вёл никаких записей и теперь даже не скажу точно, когда уехал от Астафьевых — не то в конце апреля, не то в начале мая. Помню только, что Петрович перед моим отъездом торпливо строчил какие-то письма, надписывал открытки и чертыхался:

— Говорят, когда помер Уильям Фолкнер, у него нашли целую комнату, забитую нераспечатанными письмами читателей. Во американский прагматизм! А мы, простодырые русаки, на такое неспособны. Вот и пишем, отвечаем кому надо и не надо, лишь бы не обидеть какого человечиска...

Возможно, Виктор Петрович отвечал на поздравления его с днём рождения и Первомаем, а может, сам поздравлял знакомых фронтвиков с приближавшимся тогда тридцатилетием Победы.

Признаться, я даже запомнил теперь, что именно привёз с собой в Красноярск из отобранного с согласия автора. Но, мне помнится, мы с ним сразу отвергли всё, связанное с линией Гоги Герцева, и сошлись на кусках «нашенских» (про Акима, Дамку, Командора, Игнатыча...). Наверное, это в основном была глава «У Золотой карги», а «центровую» «Царь-рыбу» Виктор Петрович до слал следом, придержав ещё для одной правки... Это видно из сохранившихся письма и телеграммы.

*Из письма от 21.05.1975:*

Дорогой Саша!  
Только сегодня, 21 мая, я смог наконец-то запечатать рукопись для «Красноярского рабочего», рукопись грязная, текст ещё сырой, я не люблю

отдавать вещи в таком виде в «чужие руки», но раз посулил...

Праздники не дали мне возможности работать, сам я был в деревне, но меня всё равно нашли гости. Сразу же после праздников я был вызван в Москву, редактировать книгу в «Худлите», и сюда вернулся всего три дня назад. Перепечатывать рукопись ещё раз недосуг, М. С-на тоже в делах, в делах, да и люди не выводятся... Очень боюсь я, чего у вас напечатается! Главы-то шибко «не газетные». Ты мне, если начнёте печатать, всё же газеты посылай, экземпляр по три, я погляжу, как вы умеете править и сокращать, сам я, в этом смысле, ничего не делал.

У нас уже полное лето. Жара, пыль, всходы хлебов недружные, вода упала в речке, травы зацветают, едва поднявшись, — не знаю, что и будет. Поставили мне здесь телефон, загородили ограду — сажусь вплотную работать, чтобы «добыть право» ехать на Байкал в августе со спокойной совестью.

Ну, всего доброго. Кланяюсь земле родной и землякам!

*д. Сибла, В. Астафьев.*

Саша! Газетку с приветствием не забудь, ладно?! И кедры, если не весной, то осенью, жду!

По причине всяческой редакционной конъюнктуры печатать Астафьева в «Красноярском рабочем» начали только восьмого июня, со статьи «Стержневой корень» (в сокращении), также привезённой мною, предварив её небольшим вступлением «нашего спецкора из Вологды». У меня же в архиве сохранился более подробный «отчёт» о сибловских впечатлениях, который я здесь приведу по рукописному оригиналу под заёмным заглавием «Сопричастный всему живому».

...Утром он колет дрова.

«Фиу-ить!» — выводит скворец, присев на чёрный тополь во дворе.

Хозяин опускает колун и, косясь на скворца, с шутилой серьёзностью вторит ему:

— Фиу-ить!

Тот в недоумении поворачивает глянцевито-чёрную головку (кто это, мол, посмел тягаться с ним?) — и снова: «Фиу-ить!»

— Фиу-ить! — слышится в ответ.

Тогда скворец, покрутив раздумчиво клювом, как буравчиком, меняет тактику.

«Тиу-фиу, тиу-фиу-ить-у-у-уть!» — выдаёт он колёнца и смотрит выжидательно на дровокола: а ну? — Э-э, брат, так я не могу, твоя взяла, — всплещкивает руками Виктор Петрович и заразительно смеётся.

Даже здесь проявляется его натура, невольное думаю я, наблюдая за этим «вокальным поединком». Добродушие, непосредственность,

свойственные философам и художникам, «сопричастность всему живому»...

В вологодской деревеньке Сибла, затерянной среди чернолесья, всего двенадцать населённых домов. В крайнем на взгорке живёт сегодня большой русский писатель Виктор Астафьев, наш земляк. Не отдыхает, не гостит, а именно живёт, как нормальный сельский житель. Ходит в сапогах и фуфайке, колет нормальные дрова, носит воду из колодца нормальными ведрами, возделывает скромный огородик, пишет за широким деревянным столом, читает с машинки страницы будущей книги, отпечатанные его женой и помощницей Марией Семёновной. По вечерам на брёвнышках беседует с соседями-крестьянами. Изредка рыбачит в реке Кубене, охотится на дичь в окрестных лесах: на петельке его фуфайки постоянно подрагивает маленький манок на рябчика...

«Играет в Толстого», — скептически усмехнётся иной. И я бы, пожалуй, согласился с ним отчасти, если бы речь шла не об Астафьеве, человеке, действительно «поднявшемся» из народных низов и, кажется, не только лишённом всякой позы, но и открыто презирающем малейшее проявление фальши как в людях, так и в книгах.

— Просто я не могу нормально работать в городской квартире. Чтобы сосредоточиться, мне нужны тишина, одиночество и вот это окружение, — говорит он мне, кивая на окно, к которому приставлен его рабочий стол.

За окном серебрится излука Кубены, по-весеннему стремительной и полноводной. По ней плывёт молевой лес. На крутых берегах темнеют тополя, теснятся березняки с редкими вкраплениями зеленоватых сосен. За деревьями проглядывают дома соседнего селца Пусторамие.

— Похоже на наши места? — с тревожною ноткой спрашивает Виктор Петрович, перехватив мой взгляд.

И мне вспоминается рассказ редактора здешней районной газеты Николая Шаверина, близкого его приятеля, рыбака и охотника, о том, как долго и придирчиво искал Виктор Петрович по всей равнинной и болотистой Вологодчине место, где бы обосноваться, пока, наконец, не выбрал крохотную Сиблу в сотне вёрст от областного центра. Теперь я понял, почему он остановился именно здесь. Эти увалы, этот смешанный лес и особенно эта небольшая, но быстрая река, рассекающая их, пусть отдалённо, но в самом деле напоминают не то Ману, не то Бирюсу, не то один из енисейских протоков.

Все думы, воспоминания, литературные замыслы неизменно связаны у него с енисейской землёй, с красноярцами. «Как у нас говорят», — частенько подчёркивает он в беседе, употребив иное сочное и колоритное, явно сибирское словцо. А запас таких словеч у него неиссякаем и удивителен при столь долгой разлуке с родными берегами.

Впрочем, разлука эта только внешняя, так сказать, географическая, внутренне же, духовно он живёт вместе с нами, сердце его имеет постоянную красноярскую прописку.

Три новых главы «Последнего поклона», недавно написанных им, по-прежнему посвящены землякам. На страницах книги «Царь-рыба», которую он заканчивает, действуют в основном сибиряки-енисейцы, наделённые настоящими сибирскими характерами. Насколько выразительны и живописны эти типы, вы сможете убедиться сами: готовый кусок из будущей книги Виктор Петрович передал нашей газете, и редакция начнёт его печатанье в ближайших номерах. Уже знакомые читателю повести, которые собирается издавать «Художественная литература», тоже насковзь енисейские. А со своеобразным предисловием к ним — статьёй «Стержневой корень», рассказывающей о становлении писателя, о благодатной сибирской почве, взрастившей его, о замечательных земляках, о «стержневом корне» всей его жизни и творчества, — вы можете познакомиться сегодня. Она открывает серию публикаций писателя на страницах «Красноярского рабочего».

Намерен ли Виктор Петрович побывать в наших краях? Да. Правда, нынешним летом он собирается на Байкал, и если заедет домой, то ненадолго, но в будущем году мечтает погостить на «малой родине» основательно и непременно побывать в верховьях Енисея, почти незнакомых ему. — Если будет возможность, пошли саженцы кедр, — попросил меня на прощанье Виктор Петрович. — Хочу оставить память — вырастить в Сибле сибирский кедр. Говорят, он неплохо приживается на здешней земле.

А потом помолчал и мечтательно добавил: — Хорошо бы посадить во дворе и стародуб. Его у нас зовут ещё горлицветом...

*Вологда — Красноярск*

Ту газету (№ 133) со «Стержневым корнем», с предисловием, и ещё «праздничную», посвящённую тридцатилетию Победы, я выслал Астафьеву, и он не замедлил откликнуться.

*Из письма от 15.06.1975:*

Дорогой Саша!

Давно получил я саженцы, давно их высадил на своей вновь огороженной и теперь просторной и уютной усадьбе, каждый день ходим глядеть на них — большинство сибиряков, как им и полагается, ведут себя жизнестойко и даже боевито, иные разъерошились и подались вверх даже маленькими шишечками, похожими на рябчинные отсидки-говёшки. Я посадил у себя штук тридцать да наделил соседей, Толю-почтальона, Лариона Алексеевича, старика трудового и любопытного,

который ещё выращивает здесь сибирскую облепиху из семечек. У всех кедры прижились — лето благоприятное, май и начало июня были очень жаркие, а сейчас дождливо, похолодало, но бывает и ведро, парит от земли, и всё растёт хорошо; картошку уже окучили, едим давно свою редиску, салат, зацветают горох и бобы — жить можно!

А вчера пришли твои газеты — очень красивая цветная-то газета, и я сожалею, что мне её раньше не послали. Радостно издана, а по оформлению — так и с выдумкой хорошей. Прочёл статью и твоё маленькое предисловие. Ни о чём не беспокоился. Неловкости я не испытал, читая всё это, значит, и сокращения, и «слово» твоё искренни, уважительны (а писатель «зверина» чуткий, он всякое неуважение или фальшь чувствует кожей). Так что спасибо за всё, и присылай газеты дальше.

Кстати, мне звонили в город и предлагали возглавить эту самую пис. делегацию в Красноярск (речь о традиционном литературном празднике тех лет «Енисейские встречи-75», очередной «писательский десант» на котором возглавил Сергей Сартаков, и мне довелось брать у него интервью для газеты. — А. Щ.); но, во-первых, я не люблю ездить в родные и чистые, для памяти, углы родного дома в качестве кого-то иного, кроме как своего человека, а не представителя. Чего ж в нём, в своём-то доме, представляться? Тут надо посидеть, помолиться прошлому, поразговаривать за столом с родичами, а не красоваться перед аудиторией и говорить заданные слова; во-вторых, и это самое главное, наконец-то пошла, сдвинул я её, последняя глава «Царь-рыбы» (видимо, имеется в виду «Сон о белых горах». — А. Щ.), очень большая, в сущности — повесть в повести, и завтра, даст Бог, я поставлю точку в черновике, и вся книга на разном уровне готовности глав будет уже в сборе, а дорабатывать, добывать я умею, воспитал в себе упорство и терпение долгими и многолетними трудами. Так что до поездки на Байкал уже более или менее книга будет в куче. Месяц поездки, отлежится, отстоится текст — ещё один на него заход, и можно будет показывать, нести «в люди», а там уж самая неприятная пора, работа в редакции, редаKTура, которую точнее бы назвать кастрацией, и т. д. и т. п.

Ездил я на четьре дня в Москву, готовил книгу в «Худ. литературу», статью мы с редакторшей сделали построже, поделовитей и пошире, взявши кое-что из статьи «Сопричастный всему...». Вчера же пришёл из Новосибирска сборник «Сибирские рассказы», приятно изданный, на выходе книга в «Современнике». И ещё я купил себе машину «Волга», чтобы на чём было ездить в Сиблу, жду сына из университета, он умеет водить машину. Так что всё, слава Богу, пока нормально: кедры растут, книга идёт, скоро поеду за отцом в Астрахань, а потом и на Байкал — отдыхать. Устал, надо

сказать, сильно, только за последние недели написал свежих 100 страниц, что даже для меня много.

Ну, будь! Виктор Петрович.

А главы «Царь-рыбы» пошли в печать лишь с 3 июля, с таким кратким предисловием: «Наш земляк, писатель Виктор Петрович Астафьев всё своё творчество посвятил родной сибирской земле. Вот и теперь он завершает работу над новой повестью «Царь-рыба», смысл и сюжет которой навеяны впечатлениями от поездки писателя по нашему краю. По просьбе редакции В. Астафьев предложил две главы из повести, которая полностью будет опубликована в журнале „Наш современник“».

Эти главы явились, по сути, первой публикацией фрагментов нового произведения, ставшего впоследствии знаменитым, чем мы, красноярцы, можем законно гордиться. К слову, при печатании у нас деления на главы не было. Всё подавалось единым текстом, с единым заглавием «Царь-рыба», двухколонниками на третьей странице и аж в десяти номерах! Невиданное дело для тогдашнего «Красноярского рабочего», где даже Сергей Сартаков, бывший красноярец, приятель редактора Дубкова и большой литературный чин, шёл скромнее, не говоря уж о прочих.

Публикацию этих глав Виктор Петрович воспринял тоже с удовлетворением, хотя и не без сетований на неизбежные потери при сокращениях. К тому же, по нерасторопности бухгалтерии, которая, кроме газеты, обслуживала многолюдное издательство «Красноярский рабочий», автору было задержано вознаграждение, но мы это дело постарались исправить.

*Из письма от 12.08.1975:*

Дорогой Саша!

Давно я получил газеты с главами, но так усердно работал, что не оставалось на почту времени и сил. Сейчас выдохся совсем и повесть всё же не закончил. Надо передохнуть, поехать собираемся с М. С. (Марией Семёновной.— А. Ш.) на Байкал, но держит нас сын, который никак не доедет домой после университета, однако ж и приехать должен скоро. 15 августа ему уже на работу по распределению в вологодский музей.

Спасибо тебе, Саша, за хлопоты. Конечно же, главы кромсали по живому, особенно в последних номерах, но во всех газетах так. Я знал, на что шёл. Повесть должна появиться в первых номерах будущего года в «Нашем современнике», а работы ещё много, но и концы кой-какие видны. Требуется ещё один тщательный заход на всю повесть (после твоего отъезда я всю повесть прошёл дважды), повесть сделана, но нуждается в уточнениях, в подгонке, обработке стиля и прочих, уже шлифовочных, тонкостях.

Кстати, Саша! «Красноярский рабочий» не шлёт мне денег. Нету, или решили, что я так богат, что и «не замечу» этого? Я сижу на самой обыкновенной мели, после покупки машины, и буду благодарен, если газета раскошелится. Публикация первая в вашей газете— надо платить. Редактору мне писать неудобно, а ты знаешь, что я не ворованное, заработанное прошу, и похлопочи, если не в труд.

Как у вас лето? У нас было жарко, но в сенокос ежедневно! шли и идут грозы, гноят сено. А так урожай хороший, в огороде у меня всё пышно растёт, кедр, кедр почти все! выжили и хорошо принялись. Один кедр, а скорее сосна, дал в палец длиною свечки. Скоро у нас (с 16-го) откроется охота, и я, может, стрельну ещё кого перед поездкой на Байкал.

Пользуясь случаем, шлю тебе свой новый книжный знак. Он мне понравился символичностью, сопричастной моей жизни (путник, идущий через перевалы.— А. Ш.).

Кланяется тебе и близким твоим Мария Семёновна. Я—обнимаю.

*Виктор Петрович.*

После этого письма я старался особо не отвлекать Виктора Петровича ответами, щадя его время и здоровье. Но он всё же изредка посылал мне то открытки, то короткие записки, то телеграммы. Некоторые из них я привожу здесь. Но, поверьте, отнюдь не из тщеславия, а чтобы нагляднее показать такие черты нашего выдающегося писателя-земляка, как благодарность, которую он (см. первое приведённое письмо) особенно ценил и в других людях, и его душевную щедрость, проявляемую в бескорыстной заботе о своих младших собратьях по перу. Вы сами увидите из писем, как упорно, воистину «по гроб жизни», он, например, благодарил меня за присланные саженцы кедров— за простенькую, в общем-то, услугу, которая мне, в сущности, ничего не стоила. Я просто поехал в пригородный лесопитомник технологического института, к Собакиной речке, и тамошние специалисты, из уважения к Астафьеву, запаковали мне целый сноп малюсеньких «кедрёнышей», которые я и выслал в Вологду обыкновенной посылкой.

Выполнил я и другую «просьбу» Астафьева («Жду новых таскинских стихиков, раз повесть твоя буксует») — послал ему подборку своих стихотворений. И он с удивительной обязательностью опекал их, пока не появились, наконец, в «Литературной России» с его «напутствием».

Даю без комментариев.

*Из письма от 30.04.1976:*

Дорогой Саша!

С весенним тебя праздником и с Днём Победы! Здоров будь, и пусть тебе хорошо пишется. Кедров наши благополучно перезимовали и теперь уж

будут жить и расти под вологодским солнцем, а я вот в больнице срок отбываю, но скоро выпишусь.

*Поклон земле сибирской—В. Астафьев.*

*Из письма от 22.05.1977:*

Дорогой Саша!

Пишу из Сиблы, куда попал аж через год! Некогда ни жить, ни писать, ни собой даже заняться—захватила суета, вертит, крутит... и несёт куда-то в беспросветное пространство...

Стихи—восемь штук (...«Днём морозным»—что за прелесть!—лучшее из всех, что ты прислал)—я посылаю в «Наш современник»—с личной просьбой редактору: отнестись с повышенным вниманием к твоей подборке. Если не выйдет—ткнёмся в «Лит. Россию»—такие стихи достойны широко читателя. Но есть, Саша, и вялые, привычные какие-то стихи, в особенности—«Возвращение», на эту тему писано-переписано и гораздо лучше,—будь взыскательней к высоким темам, ладно?

В конце июня я буду в Красноярске, если меня не растерзает эта сырая и вертучая жизнь. Только что из Польши, скоро в Горький на какое-то сборище... Да ладно! Мне бы ворох бумаг на столе разобрать, я бы успокоился маленько.

*Кланяюсь и обнимаю—твой Виктор Петрович.*

*Из письма от 22.08.1977:*

Дорогой Саша! Как жаль, что я не повидал тебя в Красноярске, но, надеюсь, письмо тебя найдёт.

Твои стихи в «Лит. России» отобраны и готовятся к печати. Я должен написать «сопроводилочку», и мне нужно, чтоб ты коротенько написал «о себе»: родился, крестился, что и где печатал, остальное я «придумаю». Фото у тебя попросят из редакции, или ты его мне попутно пришли. И не тяни!

Я весь загнан в угол работой. Добил «Последний поклон», поездка в Красноярск мне была необходима как воздух (в литературном смысле), и я «подзарядился», и работа пошла. А ещё договорился о строительстве дома в Овсянке, всё же хочу переехать, и когда ты закончишь своё вэпшеа, я, наверное, уже буду в Сибири.

Завтра уезжаю в Душанбе на неделю, погреться вместе с женою, а тут нас залило и зазнобило.

*Обнимаю тебя, желаю успехов в учёбе!*

*Твой—Виктор Петрович.*

*Из письма от 24.12.1977:*

Дорогой Саша!

Ты, наверное, на каникулах дома? А я вот в деревушке—Сибле, тебе известной, отдыхаюсь после сдачи «Поклона», который взял все мои силы, и отсюда шлю тебе новогодние поздравления! Тебе, супруге, чадам твоим доброго здоровья, скорого окончания курса учёбы твоей, новых стихов и книг.

Очень долго тянут в «Лит. России» твою подборку, там очередь как в солдатской бане, поэты... жарко дышат друг другу в затылок. С неделю назад я написал Грибову, главному редактору, чтоб он подшевелил публикацию твоих стихов... Открывается новый журнал «Литературная учёба»—смотри его, может, со временем что и туда предложим, редактор журнала—мой добрый товарищ Саша Михайлов.

Ну, будь ещё раз. А я уж, пока дошёл до буквы «ща», весь изощёлся, да ещё похварываю—простыл, тут лило целый месяц, а теперь заморозило...

*Обнимаю—Виктор Петрович.*

*Из представления в «Литературной России» от 20.01.1978:*

Очень любопытную прочёл я однажды книгу очерков о деревенских ремёслах, и не просто ремёслах, а о ремёслах как бы «вымерших», но, в общем-то, всё ещё необходимых деревне,—о стекольщиках, пимокатах, печниках, «отыскивателях водяной жилы»—копателях колодцев, о выделятелях шкурки, о плотниках, столярах, о каменотёсах и многих-многих других. Написано это было с таким глубоким знанием предмета и так занимательно, что очерковую книжку я прочёл залпом, а случается это в наше время не так уж часто, ибо под видом очерка печатается словесная жванина.

Позднее я узнал, что автор этой славной очерковой книжки (к сожалению, нигде не переизданной), Александр Щербаков пишет ещё и стихи, давно пишет—печатается редко, не боек потому что и требователен к себе. Подборку стихов для «Литературной России» он сопроводил письмом, которое я не стану перелагать в «напутствие», потому что у автора, «пишущего о себе», зачастую получается интересней и живее, чем у «перелагателя»...

...Однажды Александр Щербаков побывал у меня в деревне по поручению редакции газеты. Вернувшись в Сибирь, прислал мне саженцы кедров. Я их посадил, и вот уж несколько лет трудно принимаются и растут на скудной вологодской земле сибирские кедрёныши, иные засохли, у иных поослаб корень, но несколько деревьев зеленеют, живут, борются.

И не таков ли путь в литературу многих молодых литераторов, в том числе и Александра Щербакова? Трудный. Упорный. Свой!

*Виктор Астафьев*

*Вологда*

Об Астафьеве 1980-х годов следовало бы написать отдельные воспоминания. И я, даст Бог, когда-нибудь сделаю это. Он сам в эти годы стал, можно сказать, «Царь-рыбой» в литературном море. И мире. Его писательская слава достигла не только всероссийского, всесоюзного, но и поистине

всемирного размаха. И в то же время, поселившись буквально на берегах Енисея, в Академгородке и Овсянке, он как никогда стал близок всем нам, красноярцам, особенно местным писателям. В нашей среде по-прежнему выделял и одаривал дружбой «почвенников» и «деревенщиков».

Я это внимание чувствовал и на себе. Во многом по его «подсказке» коллеги меня трижды кряду, пока я не взмолился, выбирали секретарём партбюро писательской организации. Все наши партсобрания были открытыми. И беспартийный Виктор Петрович вместе с коммунисткой Марией Семёновой не пропустил, кажись, ни одного.

Работая собственным корреспондентом «Известий», я много лет выписывал ему эту газету и «Неделю», приложение к ней, чтобы привлечь именитого автора к сотрудничеству. И он впрямь довольно часто выступал в этих изданиях, через меня поддерживая с ними связь. В 1984 году я был званым гостем с женой на праздновании его шестидесятилетия, в банкетном зале ресторана гостиницы «Огни Енисея», где, к слову, присутствовали Валентин Распутин, Владимир Крупин и другие «русофилы» с разных концов России. А Виктор Петрович с Марией Семёновой «отмечали» в 1989-м моё пятидесятилетие, за праздничным ужином в моём доме. Я не раз бывал у Астафьева в Овсянке и Академгородке, по делам и «просто так». Иногда, под настроение, он приглашал меня к себе специально «попеть народные песни», которые очень любил, особенно старинные, редкие, из своих овсянковских или моих таскинских запасов.

А где-то в 1990 году (даты в его посланиях редки) он написал и сам вручил мне предисловие к моей книге «Ворота судьбы» (повесть и рассказы), которая готовилась к выходу в издательстве «Современник», но была «рассыпана» вследствие грянувших переворотных событий окаянного августа 1991-го. Не увидело света и «напутствие» Виктора Петровича. Частично оно было опубликовано лишь в 2003 году, в журнале «Наш современник», шестая книжка которого открывалась моими рассказами (в основном из того «рассыпанного» сборника) с предисловием В. П. Астафьева. Его появление там было логичным ещё и потому, что Виктор Петрович многие и многие годы состоял в редколлегии «Нашего современника», сам напечатал там свои лучшие вещи и пытался меня «показать», представить читателям России с его же страниц.

*Из предисловия В. П. Астафьева  
«Уважение к труду»:*

На Вологодчине, в глухой, замирающей деревушке, был у меня дом. Гости в ту отрезанную бездорожьем деревушку добирались редко и оттого всегда

были желанны. Однажды ко мне через болота и дорожные хляби пробрался гость аж из Сибири, с моей родины. Молодой, смущающийся, стихи пишущий журналист — Александр Щербаков... Прослышав, что я работаю над книгой о Сибири, прибыл он попросить у меня отрывки для газеты «Красноярский рабочий».

Я как раз заканчивал работу над «Царь-рыбой», отрывки Александру дал, и они были напечатаны в краевой газете. Уезжая, молодой стихотворец оставил мне небольшую книжку прозы. Это очень любопытная была книга — о деревенских ремёслах, как бы «вымерших» в силу революционных преобразований, часто плохо обдуманных и поспешных... Уважению к крестьянскому труду учила та книжка, к труду повседневному, всегда необходимому, при котором надо вставать до восхода солнца и ложиться спать при звёздах — тогда и дом будет полная чаша, и за столом от ребят густо, и на столе не пусто.

Ту же линию ведёт Александр Щербаков и в стихах, воспевая труд и трудового человека да далёкую «Таскинскую страну», которая навечно прикипела к сердцу и памяти...

А в далёкой вологодской деревушке, возле мною покинутого дома, растут два крепких кедра. После того, как молодой поэт и журналист побывал на Вологодчине, он прислал мне бандероль с кедровыми саженцами. Я их рассадил в огороде и по двору штук двадцать, но пошли подряд дождливые лета, и саженцы вымокли, однако два из них попали на «свою», каменистую почву, растут и радуют людей своим густым цветом, шорохом благоуханной хвои — сибирский, живой привет доброй вологодской земле, многих, в том числе и меня, обогревшей.

Александр Щербаков из числа тех, последних, наверное, «деревенщиков», что унесли в своём сердце частицу тепла из русской избы, свет чистых небес, яркие краски полей и лесов. Тем теплом согреты и многие строчки в книгах Александра Щербакова. Родина у нас одна, имя ей — Россия, солнце нас греет тоже одно, а память наша всё ещё живёт там, среди сельских нив, лугов и пашен, в заснеженных заулках, в деревянной избе, полной своего родного народу, вечерних сказок, праздничных песен и вечного, негасимого света.

*Виктор Астафьев*

Надо бы, конечно, вспомнить и «моего» Астафьева девяностых годов. Но это разговор, что называется, отдельный, неюбилейный. И, может, даже преждевременный. Пока, на мой взгляд, о нём честнее всех, уважительней и горше сказал известный поэт и публицист Станислав Куняев, главный редактор «Нашего современника» (бывшего «родного дома» Виктора Петровича), посвятив ему большую главу в книге своих литературных воспоминаний «Поэзия. Судьба. Россия».



Что говорить, не мог и я, грешный, принять резкого разворота в мировоззрении нашего кумира. Не мог понять его ожесточения в отношении к недавнему общему прошлому, к своему народу, даже к товарищам по оружию, сквозившего в ряде его заявлений, в последних книгах, особенно в военном романе... Словом, в отличие от «поклонных», в преклонные его лета моё чувство духовного родства с ним поубавилось. Но не истаяло. И прежде не подходивший на «опасно близкое» расстояние к нему, натуре сложной и нелёгкой, я в эти годы тихо отошёл от него, как и многие наши. И вместо нас его тотчас окружили иные люди, в сущности, чужие ему по духу...

Однако я не забываю всего доброго и прекрасного, что сотворено этим незаурядным человеком в русской литературе, в культуре нашего края, что вложено в судьбы многих из нас и запечатлено в наших сердцах. Неплохо, по-моему, это было выражено в день его кончины в небольшом некрологе, прошедшем, правда, в ряде газет с неуместными сокращениями.

*Из некролога «Светлой памяти  
В. П. Астафьева»:*

Ушёл из жизни большой русский писатель, наш знаменитый земляк Виктор Петрович Астафьев. Несмотря на тяжёлую, продолжительную болезнь, в это трудно поверить, с этим трудно согласиться. Слишком живы воспоминания о нём, незаурядном и ярком человеке, который ещё вчера говорил с нами и которым мы, даже если не соглашались с ним, неизменно восхищались. Нам всем ещё предстоит осмыслить, осознать величину этой глыбы в отечественной литературе и культуре, значение этой сложной, но, безусловно, выдающейся личности в нашей общей истории. Для её беспристрастной и верной оценки необходимо время.

Но уже и сегодня ясно, что потеря наша велика и невозполнима. Особенно для нас, земляков Виктора Петровича, его соратников, друзей и просто читателей. При всей широчайшей, поистине всемирной известности, Виктор Астафьев оставался очень нашеньким — сибирским, красноярским писателем. И мы, его младшие братья по перу, как никто, это остро чувствовали и понимали.

Нет смысла перечислять его многочисленные произведения, книги — они у всех на памяти, на слуху, перед глазами. И прежде всего опять же «нашенские» — енисейские, овсянковские: «Последний поклон», «Ода русскому огороду», «Царь-рыба»... В этот печальный день хотелось бы сказать благодарные слова об огромном, может, для многих неизвестном участии Виктора Петровича в творческой судьбе почти каждого из нас и в работе нашей Красноярской писательской организации. Несмотря на всю свою громкую славу,

на громадную занятость, он всегда находил время, чтобы поддержать молодые дарования, посидеть на наших собраниях, выступить с добрым пожеланием или мудрым предостережением. Нам всем будет очень не хватать его, нашего Петровича. С его уходом мы все будто осиротели.

Выражаем искреннее соболезнование родным и близким Виктора Петровича. Глубоко скорбим вместе с ними и всеми его бесчисленными друзьями и поклонниками, благодарными читателями. Навеки светлая память о нём сохранится в наших сердцах. Пусть ему будет пухом родная енисейская земля.

Некролог был подписан правлением Красноярского отделения Союза писателей России, в котором до конца своих дней состоял покойный, но строки эти выводил ваш покорный слуга. Безо всяких поручений, только по велению собственной совести и того чувства благодарности, о котором когда-то писал мне Виктор Петрович и которое я, слава Богу, до сей поры не растерял, не разменял.

«Она сама скажет...»

1.

Чем дольше живу, тем меньше доверяю всяческим мемуарам. И всё больше удивляюсь тому, что на них любят ссылаться вполне серьёзные люди, даже учёные, как на солидный источник. Кому, мол, ещё верить, если не самим свидетелям событий? Однако не зря же заметил один остроумец, что никто так не врёт, как очевидцы. Тем паче ежели берутся вспоминать дела минувших дней на склоне лет своих, когда во всей красе раскрывается лучшее свойство нашей памяти — забывать...

В чём лишний раз убеждаюсь сегодня на собственном опыте, выводя эти вот «мемуарные» строки. Предложили верные поклонники Виктора Астафьева, литературоведы и музейщики, собирающие очередную книгу о нём, «повспоминать», как и что певал покойный писатель в дружеском застолье. По слабости характера я, грешный, согласился. Поразмыслил: мол, действительно же приходилось когда-то видеть и слышать Астафьева поющего, сохранились в памяти какие-то впечатления — почему б не рассказать о них, коль искренне просят добрые люди?

Но вот дошло дело до конкретных воспоминаний о событиях и лицах, сел за чистый лист — и мурашки побежали по спине: зачем брался? Ибо достоверных-то «знаний предмета», кои в писательстве особо ценил сам Астафьев, у меня обнаружилось куда меньше, чем представлял ранее... Если по-честному, я даже не помню точно, когда и где впервые услышал его пение и присоединился к нему. Скорее всего, это случилось во время совместной поездки в Овсянку. В каком

году — определённо не скажу, но где-то, должно быть, в начале или середине восьмидесятых. И, кажется, осенью...

А было так. Не помню уж по какому случаю, но к нам в Красноярск прибыл выдающийся поэт фронтового поколения Леонид Решетников, тогдашний руководитель Новосибирской писательской организации, один из секретарей Союза писателей России. Наверное, приехал специально к Астафьеву, потому как именно тот привёл его к нам в писательский дом, где проходило какое-то собрание. Мы ведь раньше часто сходились по разным поводам. Ну а в завершение того собрания, как водилось, устроили скромное чаепитие. Больше всех за столом говорил, по обычаю, Астафьев. Он любил «солировать», а мы не возражали, ибо понимали, что само имя давало ему на это бесспорное право, да и слушать его, превосходного рассказчика, было всегда интересно. В ходе беседы Астафьев обронил между прочим, что завтра свозит гостя, Леонида Васильевича, в свою Овсянку. А когда уже все стали прощаться, он вдруг подошёл ко мне и полусёпотом попросил, чтобы я к десятой утра подтянулся к гостинице «Красноярск».

— Съездишь вместе с нами, — сказал твёрдо, как о решённом.

Я невольно сделал удивлённые глаза (за что, мол, такая честь?), а Виктор Петрович добавил: — Леонид предложил: возьми, говорит, моего крестника...

Мне пришлось удивиться ещё больше. Дело было в том, что где-то в конце 1978 года я послал несколько стихотворений Леониду Решетникову, на писательскую организацию в Новосибирске. Послал письмом, хотя сам жил тогда в этом городе. Зайти в Дом писателей не напустился. Решетников в те годы был если не «литературным генералом», то вполне тянул на «полковника», много издавался, печатался в периодике, к нему благоволила критика. Мне тоже очень нравились его точные строки, полные любви к родине, людям труда, к русскому слову... И вот я решился таким заочным путём обратиться к «единомышленнику». Леонид Васильевич вскоре сообщил мне в доброжелательном послании, что «благословил» мои стихотворения в московский журнал «Советский воин». И вскоре они там действительно появились. С напутствием «самого» Решетникова. Я, конечно, от души поблагодарил его, но больше не писал ему, никогда не встречал его «живьём» и потому весьма удивился теперь, что он ещё помнит меня.

Утром, когда я подошёл к гостинице, Астафьев уже был там, возле крайкомовского «пазика», на котором нам предстояло ехать. Подав мне руку, он сказал, что Решетников сейчас спустится из своего номера и двинемся в путь. Я непроизвольно взглянул на подъезд гостиницы и вдруг увидел

топтавшегося возле парадного крыльца местного писателя М., сгорбленного, в сером пальтеце, с непокрытой седой головою. Перехватив мой взгляд, Астафьев как-то горько усмехнулся:

— Пришёл сам. Видно, после «вчерашнего», в расчёте на поправу...

Помолчал, потом вздохнул:

— И знаешь, Саша, в каждой организации писательской таких бывших немало... Жил я в Перми, в Вологде — картина одна. Когда-то написал человек нечто удачное, заметное, а дальше — не пошло. Заклинило! С тоски, понятно, потянулся к горькой. И вот так — до седин: где сена клок, где вилы в бок. Коварное, брат, наше ремесло, не дай Бог...

В эту минуту из дверей гостиницы бодрой «полковничьей» походкой вышел Решетников. К нему тотчас подбежал, семеня, «бывший», и Леонид Васильевич на ходу подал ему руку, как старому знакомому. Да, видимо, так оно и было. Ведь он когда-то возглавлял в соседней области отделение Союза писателей и даже «попал в литературную энциклопедию», чем любил прихвастнуть среди нашего брата. Они вместе подошли к нам. Здороваясь со мной, Решетников подмигнул по-свойски и даже вдруг припомнил строку из одного моего «воинского» стиха. Виктор Петрович понимающе кивнул. Все мы быстро сели в «пазик»: Астафьев и Решетников — на первое сиденье слева, я — справа, а «бывший» — за спинами «классиков», — и поехали в Овсянку.

Многое из того, о чём шёл разговор в дороге, я уже, конечно, подзабыл. Помню только, что говорил в основном Виктор Петрович, на правах хозяина. Как уже замечено, он всегда был склонен к «соло», в любом окружении. Ну а по пути в Овсянку его первенство в беседе было естественным. Тем более что Решетников проявлял живой интерес к тому, что мелькало за окнами, а у Астафьева, пребывавшего в добром настроении, эта «родовая» дорога овсянковских «гробовозов» (таково старинное прозвище его односельчан) и знакомые картины пробуждали бесконечные воспоминания, рождали меткие замечания и пояснения.

Запомнилось, что останавливались мы у смотровой площадки и ходили любоваться с крутобережья открытыми енисейскими далями и Дивными горами. Астафьев привычно поворчал на «кретинизм» властей, которые ради расширения той площадки распорядились снести голову каменному быку-красавцу. А потом, где-то в районе «Тёщиного языка» либо «Зятева хомута», он заговорил на «вечную» тёщинскую тему с той прямотой, которая многим казалась странноватой в устах прославленного автора лирической прозы... Вот и Леонид Решетников смущённо качал головой, слушая его. А пройдёт время — и смутятся многие...

Ну, это к слову. У нас же сегодня разговор об Астафьеве поющим.

2.

По прибытии в Овсянку Виктор Петрович прежде всего повёл нас в свой домик. Показал все его достопримечательности—от высокой печки, рабочего стола, картин и фотографий по стенам до черневшей на вешалке кавказской бурки, подаренной ему Расулом Гамзатовым. Потом он сводил нас в сельскую библиотеку, тогда ещё деревянную, познакомил с её солидными фондами-запасами и «полкой гостей», где на корешках значилось немало известных литературных имён, а главное—с хозяйками, к которым он относился с подчёркнутой теплотой и любовью. Недаром они по сию пору платят ему тем же. А когда мы вышли из библиотеки, провёл нас крутым переулочком на берег Енисея и подробно рассказал, как и где именно когда-то опрокинулась роковая лодка и утонула его молодая мать. И предложил сходить на её могилу. Мы, конечно, согласились, и Виктор Петрович сопроводил нас на старое кладбище, расположенное неподалёку, почти в черте посёлка, и мы молча постояли, сняв кепки, у печальных могил его родительницы и других сородичей, нашедших здесь последнее пристанище.

Ну а потом, поскольку время уже приблизилось к обеду, пригласил нас к одной из здравствовавших родственниц—кажется, к тётке, имя которой я, к сожалению, запамятовал. Она была вроде постарше Виктора Петровича, но выглядела ещё довольно молодо, её простое лицо с мягкими чертами светилось добротой и приветливостью.

— Не прогонишь незваных гостей?—едва переступив порог избы, выкрикнул Астафьев вместо приветствия.

— Как же можно! Да нас хлебом не корми—дай встретить-проводить. Милости просим! Хорошие гости—всегда к обеду,—неподдельно радуясь, по крайней мере, одному среди нас, неожиданных-негаданных, всплеснула руками хозяйка.

Она тотчас пригласила всех раздеться, провела в большую комнату, усадила на стулья, на табуретки и, попросив «погодить немножко», исчезла на кухне. Вскоре на столе, как на скатерти-самобранке, появились и дымящаяся картошечка, и огурчики, и грибы, и отварное мясо. Похоже, здесь впрямь привечали гостей. К предложенным аппетитным яствам Виктор Петрович вынул откуда-то из-за пазухи некоторый запасец горячительного, притом марки, достойной уважаемого дальнего гостя-поэта. Все мы, не мешкая, подвинулись к столу.

Пошли тосты и разговоры, воспоминанья о «старинке» и обсуждения последних новостей—в Москве, Новосибирске и Овсянке. Правда, вскоре

компания наша уменьшилась. «Бывшего» писателя, который неосторожно переусердствовал и заговорил было о своём неоконченном романе «Конь ломает прясло», несколько повело, и его пришлось уложить в соседней комнате на койку поверх одеяла. Но, как говорится, отряд не заметил потери бойца. Беседа наша, тон которой задавал, конечно же, Астафьев, становилась всё оживлённей и раскованней. Боевая тётка «классика», тоже понемногу пригублявшая с нами, уже не впервой предлагала спеть добрую песню, но Виктор Петрович каждый раз отмахивался—«погоди» да «потом»—и продолжал бесконечный разговор. Наконец тётка не выдержала и, дождавшись первого зазора в плотных речах своего знаменитого племянника, затынула удивительно молодым и сильным голосом: «Э-это было давно-о, много лет уж прошло-о...»

После первой строки сделала небольшую паузу, окинула гостей вопросительным взглядом, словно проверяя нашу реакцию на её почин и одновременно приглашая нас к песне, и затем: «Вёз я девицу трактою почтовым»,—уже продолжила вместе с Виктором Петровичем, охотно поддерживавшим её точно в тон мягким, но звучным баритоном. Ну а далее: «Круглолица была, словно тополь, стройна»,—подхватил я своим «вольным драматическим тенором», по шутливому определению знакомого солиста оперы; а на последней строке куплета: «И накрыта платочком шелковым»,—довольно уверенно подтянул и Леонид Васильевич.

Второй куплет мы пели уже вполне ладным квартетом и закончили его с таким накалом, что на словах про коней, мчавшихся «стрелой», «как несла их нечистая сила», даже стало позванивать в раме стекло, слабо прижатое гвоздиком к пазу. А когда дважды, по канону, повторили концовку о девице, которая спит «под этим холмом», «унеся нашу песню с собою», то в наступившей тишине, какая обычно венчает сердечное пение, я заметил шутя, что, мол, зря Виктор Петрович пытался сдерживать созревшую песню: «Постой-погоди»,—она сама прорвалась. И рассказал один «аналогичный случай». Байка пришлась к месту и была отмечена одобрительным смехом литературных корифеев. Расскажу её и тебе, читатель.

3.

...Как-то, будучи в посёлке Ширы, что в соседней Хакасии, в гостях у свояка Анатолия Алиферова, механизатора, моряка по срочной службе, любившего попеть в застолье, услышал я, что любовь эту он воспринял от отца Никифора Алексеевича, изрядного певуна и настоящего знатока русских народных песен, живущего ныне в Новосибирске. Мой интерес к нему подогрело и то, что он был братом первого председателя нашего таскинского колхоза Александра Алиферова, любимца моих

односельчан, погибшего на фронте. И вот, оказавшись в Новосибирске у приятеля Сашки Галагана, бывшего соседа по дому в Канске и тоже любителя народной песни, я за столом рассказал ему об этом «самородке» Никифоре. Приятель мой, скорый на решения (не зря когда-то ходил в комсомольских жожаках), тут же спросил:

— Адрес знаешь?

— Где-то в блокноте есть.

— Тогда— поехали!

И мы действительно, прихватив «положенное» для такой встречи, тотчас направились к Никифору Алексеевичу. Быстро отыскали типовую квартиру в типовой многоэтажке на берегу Оби, позвонили. Дверь открыл сухопарый старик, седой как лунь, но глаза живые, с хитринкой:

— Кого Бог дал?

Я начал сбивчиво объяснять, кто мы такие и зачем пожаловали, но дед оборвал меня на полуслове:

— Проходите! А там разберёмся, может, и до песен дойдём.

Мы вошли. Дед предложил нам раздеться, а рыхловатой старухе в тёмном платке, выглянувшей из кухни, дал команду:

— Сгноши закусить, Дарья. Это гости из наших мест, посланцы от сына Анатолия.

Хозяин усадил нас в светлой комнате, которую назвал «горницей», видно, по старой деревенской привычке, сам сел рядом. Он оказался довольно словоохотливым человеком, и разговор потёк сам собой—о дорогих ему подсайских краях, каратузских и ширинских, о родне, о «нонешном» житье да бытё. А жена Дарья Тимофеевна между тем молча поставила на стол довольно щедрую закуску—огурцы и помидоры, сало, колбасу и пирожки с капустой, и даже горячую картошку, томлённую с мясом. Сашка достал из портфеля «положенное». Хозяин, не прерывая очередного повествования «из старины», наполнил четыре рюмки и пригласил жену. Она присела с краешку стола и, когда был объявлен тост «за знакомство», тоже приняла немножко. Закусили. Подняли по второй. Разговор пошёл веселее. Дарья Тимофеевна, естественно, стала выяснять подробности о жизни сына, невестки и внуков в «кулортном» посёлке. Мне пришлось вкратце повторить примерно то, что я уже поведал Никифору. Но дед теперь ширинские новости слушал рассеянно и кивал жене, чтоб не уводила лишними вопросами от основной линии беседы, которую он развивал, всё с большим вдохновением выдавая одну за другой истории из бывшей жизни. Оказалось, Никифор Алексеевич в молодости, как и его брат, председательствовал в колхозе, притом—в соседнем селе Уджей, часто бывал в нашем Таскине и даже знал моего отца. Так что темы для общего разговора у нас множились на глазах.

Когда первая ёмкость была на исходе, чутко заскучавший приятель мой, готовя следующую, как бы мимоходом предложил:

— А может, песню споём?

На что дед Никифор, помахав отрицательно рукой, заметил:

— Погоди! Она сама скажет!

И стал продолжать свои житейские истории.

Налили ещё по «граммулке», потом—ещё. Теперь это делали уже мы с Сашкой, чтобы не прерывать увлекательных былей разогретого хозяина. Несмотря на почтенный возраст и углублённость в далёкие воспоминания, дед Никифор в «граммулках» держался наравне с нами. А на наши всё более прозрачные намёки, что пора бы, мол, и о песне вспомнить, неизменно отвечал:

— Погоди! Она сама скажет.

Или ещё короче и строже:

— Не гони—сама скажет!..

И только когда уже и во второй посуде осталось всего ничего и мы загрустили было, что вообще не слышать нам заветных песен, Никифор Алексеевич вдруг оборвал свой монолог на полуслове, откинулся на спинку стула, посмотрел на нас испытующе, словно прикидывая наши возможности, потом снова склонился к столу и, подперев кулаком белую голову, затянул неожиданно громко и молодцевато: «При лужке, лужке, лужке, при знакомом по-о-оле...» Мы обрадованно подхватили, довольно бойко подтянула бабка Дарья, и у нас с первого захода получился приличный вокальный ансамбль.

Вёл дед Никифор. Одна песня кончалась—он тут же запевал другую, а мы, если знали её, подпевали с умеренной силою, давая возможность ярче проявить себя нашему солисту, а если не знали, что бывало чаще, то просто тихонько подвывали, подмумыкивали. Но в таком случае активней начинала действовать Дарья Тимофеевна, чтобы не оставлять своего певуна в одиночестве. У неё тоже был неплохой голос, низковатый, грудной, но довольно приятный и выразительный. И она явно от и до знала репертуар благоверного. Там не было ни единой современной песни. Самые «молодые», наподобие «За лесом солнце воссияло...» или «Отец мой был природный пахарь...», относились к эпохе Гражданской войны, но и то выдавали принадлежность к ней лишь отдельными строками про «шашку-лиходейку» да про «злых чехов», напавших на нас. Остальные сплошь были такие старинные, такие глубинные, каких не слыхивал и я, земляк седого певца, выросший в соседней деревне. Или помнил лишь начальные строчки: «Поводьями ли да он правит, как ровно по струне...», «В островах охотник круглый год гуляет...», «У родимой мамоньки доченька была...», «По-за лугом зеленёньким, по-за лугом...».

Наконец, после одной из самых тягучих песен Никифор Алексеевич смолк, посидел в раздумье, давая нам возможность глубже пережить изложенную в песне боль и боль, а потом подмигнул и тихо, даже с какой-то виноватой улыбкой, выдохнул: — Ну вот, она сама сказала...

Приятель мой это понял по-своему и тотчас потянулся к «злодейке с наклейкой», излишне бодро воскликнув:

— Пусть она ещё скажет!

— Да не, парни, я не про то, я про песню... А на этой «горючке» далеко не уедешь, после неё чаще — ни песен, ни басен, — сказал дед устало.

И сказал вовремя, ибо близилась полночь. Мы поднялись из-за стола, обнялись с Никифором Алексеевичем как родные (песня ведь всегда роднит людей) и стали прощаться...

#### 4.

— «Сама скажет»... Это замечательно! — подытожил Виктор Петрович обсуждение моей байки. — Ну а песня «При лужке, лужке...» из запасов деда Никифора и нам уже вроде шепчет, — добавил он и кивнул тётке.

Тут не надо было долго упрашивать. Она тотчас, привстав и поводя рукой, как заправский дирижёр, запела чисто и задорно, так что мы, заслушавшись невольно, подхватили за ней только с третьей строки зачинного куплета: «А при знакомом табуне конь гулял по воле...» Песня вышла куда с добром. За нею последовали другие подобные. Кажется, «Скакал казак через долины...», «По деревне ходила со стадом овец...», неперемный «Ой, мороз, мороз...». Виктор Петрович разошёлся, разогрелся, пел мощно, на всю катушку и с удовольствием, то опускал, то запрокидывал поседелую голову, и тогда совсем закрывался его пораненный полуприщуренный глаз, что придавало лицу сосредоточенное и в то же время хитроватое выражение: ну-ну, мол, сейчас мы проверим вас на знание песен русской деревни и вообще — на наличие духа народного... И мы с Леонидом Васильевичем старались, как могли, не отставать от ведущих.

Особенно дружно и, если можно так сказать, ударно спели, помнится, «Отец мой был природный пахарь...». Тут довелось запевать мне и вести, по пути подсказывая не всеми твёрдо знаемые слова, ибо в моём селе Таскино, помнившим и красных партизан-щетинокцев, и колчаковский разбой, эта песня была в большом ходу, её знали наизубок, как говорится, и стар, и мал. «Поводырь» тут нужен был ещё и потому, что песня имела много вариаций — по отдельным строкам и по целым куплетам или очерёдности их. Особенно, помню, понравилась Виктору Петровичу наша таскинская концовка, когда в венчающем песню куплете «Зайду я на гору крутую, село родное

погляжу: горит, горит село родное, горит отцовский дом родной» при повторном исполнении двух последних строк заключительная звучит уже чуть иначе: «Горит, горит село родное, горит *вся родина моя!*» Это «чуть» восхитило Астафьева, и он долго качал головой, приговаривая:

— Ох, как это здорово! Какое мощное обобщение: от «горит село родное» через «горит отцовский дом родной» — к «горит вся родина моя». Вот она, народная-то мудрость: так просто и так значительно! Наш брат тут бы пять страниц измарал, а такой выразительности не добился...

И строгий к слову поэт Леонид Решетников разделял его восхищения.

Как это обычно бывает в подобных случаях, после общих песен, словно бы разом пришедших на ум, «хористы» начинают предлагать какие-то менее знакомые, так сказать, из личного репертуара, и тогда один за другим они невольно превращаются в «солистов», лишь слабо поддерживаемых остальными. Наша хозяйка, к примеру, начала было «А где мне взять такую песню и о любви, и о судьбе...», восприняв её «из радива», но больше никто среди нас слов толком не знал, и песня быстро увяла. Виктор Петрович, кажется, запевал «Не вейтесь, чайки, над морем...», но она тоже не пошла дальше первого-второго куплета. Довелось и мне «показать» несколько «своих» песен, застрявших в памяти со времён деревенского детства: «Течёт речка по песочку...», «А в Минусинске тюрьма большая...», «По Сибири долго шлялся...», «Прощайте, аленькие губки, прощай, брунэточка моя...». Но они также не были поддержаны за малоизвестностью, хотя вызвали большой интерес своим сюжетным строем, содержанием и необычными мелодиями, и я частью спел, а частью просто продекламировал их взыскательным слушателям.

— Да-а, забывается ныне такая вот красотишка и душевность такая, — вздохнул Астафьев. — Теперь ведь про любовь как поют? «И лишь тебя не хватает чуть-чуть...» — а то и похлеще: «Приезжай ко мне на Бам, я тебе на рельсах...», — и он захохотал раскатисто, озорно и заразительно.

Показывая нашенькие песни, я ещё хотел сравнить слова со здешними и проверить, насколько широко было их хождение по краю. Но оказалось, что многие таскинские песни не долетали до Овсянки, как, наверно, и овсянковские до нас. Меня, допустим, удивило, что старинная песня «Ходят пароходы, огоньки горят...», которую часто певали в нашем абсолютно сухопутном селе, была неизвестна овсянковцам, живущим на самом берегу великой реки, где под окнами действительно день и ночь и «ходят пароходы», и «огоньки горят». Так что песня эта, наверно, была не красноярской, не енисейской, а, скорее всего, залетела к нам с волжских берегов, ибо в нашем Таскине осело когда-то

немало саратовских переселенцев. Недаром до сих пор один край села называют Саратовским.

Загадочны и удивительны судьбы песен, в особенности — народных, которые передавались буквально из уст в уста и так разносились по всей Руси-матушке. А то и по границам — по чужим царствам-государствам.

К примеру, когда я в молодости попал впервые за кордон, в народно-демократическую Венгрию, то был крайне удивлён, что в ресторанчике под окнами моей гостиницы чаще всего звучала до боли знакомая разбитная песенка, которую затевали мои сибирские земляки в весёлом застолье: «Пусть говорят, что я вёдра почию, пусть говорят, что я дорого беру...» Кстати, в Овсянке мы тоже спели эту песню, притом с подачи боевой, неунывающей хозяйки. Она вообще старалась грустные, тягучие мелодии, которые выводили мы одну за одной, перемежать бодрыми и искромётными. И эти весёлые «вставки» первым охотно подхватывал Виктор Петрович, легко переходя от минорного настроения к бравурному и жизнерадостному.

Хочу заметить, что, несмотря на возраставший сердитый и раздражительный тон его речей и писаний в последние годы, мне думается, Астафьев всё же был скорее весёлым, чем угрюмым человеком. По крайней мере, таким он помнится мне в «дореформенные» времена, в иные же я с ним почти не встречался, а уж в застольях — тем более.

##### 5.

Много песен перепели мы в тот осенний день, незаметно перетёкший в «синие сумерки». Однако же всех, что хотелось, спеть не успели. И, наверно, потому те овсянковские «спевки» имели позднее неоднократное продолжение. Притом инициатива всегда исходила от Виктора Петровича. Я никогда бы не посмел напроситься уже в силу своего «бирючьего» характера. Но он не забывал моих «природных» познаний в старинных деревенских песнях. А вот когда именно мне довелось попеть с ним в следующий раз — точно сказать затрудняюсь.

В своих заметках «Хождение за „Царь-рыбой“» я уже упоминал, что был среди приглашённых на дружеский ужин в честь его шестидесятилетнего юбилея, отмечаемого в «Огнях Енисея». Но там песен не пели. Там произносили по кругу заздравные тосты и даже целые литературные речи, смахивавшие на импровизированные эссе. В большинстве — весьма любопытные, ибо среди выступавших были Валентин Распутин, Владимир Крупин, кажется — Валентин Курбатов, другие известные писатели и критики, а также велеречивые редакторы (в основном — «редакторши») из многочисленных московских изданий и издательств, но песен, повторяю, не пели. Чего не было, того не было.

Точно звучали песни на пятидесятилетии автора сих строк, когда почётными гостями в его доме были Виктор Петрович с Марьей Семёновной. Но они, помнится, в пении не участвовали. Думаю, из деликатности. Дело в том, что большинство из моих гостей им было незнакомо. Среди них не было ни писателей, ни издателей, ибо я никогда не ходил в «свободных художниках», всегда работал где-нибудь, и мой приятельский круг составляли в основном сослуживцы, соседи и вузовские одноклассники. У нас была довольно тесная, спаянная (в меру «споенная») компания, и смолоду мы пели в застолье песни. В основном — народные, общеизвестные: «По Муромской дорожке...», «Из-за острова на стрежень...», «Меж высоких хлебов затерялся...», — но пели и редкую старинку: «Сронила колечко со правой руки...», «Отец мой был природный пахарь...», «Ой, да ты, калинушка...». Особенно же любили есенинские песни: «Отговорила роща золотая...», «Ты жива ещё, моя старушка...», «За окошком месяц...» — и старинные классические романсы: «Утро туманное, утро седое...», «Как поздней осени порою...», «Глядя на луч пурпурного заката...», «Пара гнедых, запряжённых зарёю...». Запевали их обычно Людмила и Владимир Денисовы, а мы с женой Надеждой, чета Прилепских, Николай и Светлана, Владислав Брюханов, кто-то ещё подхватывали и старательно вели сообща...

Так было и в тот раз. Выпив одну-другую и шумно пообщавшись, в том числе — с Астафьевыми, мы запели «свои» песни. Однако ни Виктор Петрович, ни Марья Семёновна в наш хор не включились. Они просто сидели и с интересом слушали. В паузах между песнями и романсами Виктор Петрович хвалил нас за «спетость» и вообще за то, что мы поём в компании, сохраняя добрую русскую традицию, и сожалел, что она в последнее время заметно утрачивается.

— Теперь ведь в лучшем случае врубают для гостей магнитофон или «чёрный ящик», а в худшем — до посинения спорят о политике да травят пошлые анекдоты, — говорил он с грустью и раздражением. — А вы молодцы, вы ещё поёте за столом, как нормальные русские люди.

В овсянковском домике Астафьева, где мне доводилось бывать и с женой, и с приятелями, и одному (разумеется, только по приглашению хозяина), мы не пели ни разу. Обычно сидели за чаем и говорили «за жизнь». Не помню, чтобы Астафьев пел и в импровизированных застольях в Союзе писателей, которыми нередко заканчивались наши собрания и сходки. Бывало, что-нибудь запевал любитель этого дела Иван Уразов, мы ему пытались подтянуть, но Астафьев не поддерживал нас. Всегда первенствуя в разговоре, он просто замолкал, терпеливо пережидал наше пение и затем продолжал свой монолог. Однако именно

после таких посиделок в писательском доме он, выходя навстречу прибывшей за ним машине, иногда говорил мне:

— Саша, поехали ко мне, попоём немного?

Разумеется, я не отказывался от таких приглашений. Тем более что они не были частыми. Ну, может, раза три или четыре приезжал я вот так к нему «за песнями» в Академгородок, в его обычную трёхкомнатную, а потом и расширенную квартиру. Впрочем, комнат мне считать не приходилось. Мы обычно сразу из коридора следовали на кухню, Марья Семёновна собирала на стол. Появлялся ещё кто-нибудь из астафьевских друзей и знакомых, иногда — приезжих. И вот после рюмки-другой русской горькой начиналась («она сама скажет!») песня. Запевал или «заказывал» очередную, как правило, Виктор Петрович. Но порою «под занавес», уже «подготовленный» воспоминаниями и песнями, я сам заводил свои «коронные» из старинки: «Сронила колечко», «Чёрный ворон», «Ехал Ваня с базару», — в собственной, так сказать, интерпретации. И тут уж он прощал мне инициативу, соглашался на роль ведомого и охотно поддерживал меня, а то и просто слушал. Песни эти ему явно нравились, и, кажись, против моей «обработки» их он тоже ничего не имел. Подпевала и Марья Семёновна.

Раза два-три мы наезжали к нему в Академгородок соборовским «десантом». Со многими

корреспондентами центральных газет он подерживал приятельские и деловые отношения, частенько выступал — в «Совраске», в «Комсомолке», «Правде», в «моих» «Известиях». Но с одним собкором, привезённым нами в гости к мэтру, однажды вышел прокол. Он напросился именно как певун и действительно был таковым. Прихватил даже гитару с собой. И поначалу всё шло как по писаному. Были общие песни, было соло певца-гитариста, одобряемое всеми, включая хозяина. Но, разгорячившись, незадачливый гость опрометчиво затеял с ним спор о каком-то пустяке. А «классик» не любил, когда ему противоречат. Он был огорчён и раздосадован дерзостью молодого газетного щелкопёра. Пришлось мне взять в охапку подопечного коллегу и унести в машину. Тоже — под общее одобрение, в том числе — хозяина.

Но это был случай исключительный. И на моих глазах — единственный, когда гость Астафьева перебрал. Обычно же у него больше говорили и пели, нежели пили. По крайней мере, при мне, звавшем, что хозяин любит и ценит хорошую русскую песню, такую протяжную и такую сердечную...

Не знаю, пел ли песни «поздний» Астафьев в товарищеском кругу. И если пел, то какие? Впрочем, песня ведь — «она сама скажет», как мудро заметил когда-то другой мой земляк Никифор Алексеевич, простой русский старик.

ДиН стихи

Владимир Мялин

## Уходит на цыпочках время



Напиши мне всего два слова  
Про лазурь, белотелый храм —  
И про то, как земля сурова  
К передрогшим родным гробам.

Этот вкус сладковатый клея  
На губах — и сургуч, и мёд...  
Опусти ты конверт, жалая,  
В синий домик... «Почтовый» ждёт.

И дудит он в дуду златую,  
И чудно ему без дорог...  
И лежим мы в земле не всуе:  
Ничего чернозём не съёт.



Мы будем любить твою душу всегда —  
Гудели в осипшей ночи провода,  
Прогоркляя ухала арка с огнём —  
И ветер качался в зрачке золотом.

Ты только продлись, пустотелая ночь,  
Убьёт тебя утро — гони его прочь!  
Пора пробужденья, похмелья пора...  
Баюкаю душу твою до утра.

И в светлый височек целую её.  
Уходит на цыпочках время моё.

## Синяя тетрадь

# Читая Астафьева

### Елена Фильшина

Красноярский край, Ермаковский р-н, 9 класс

#### Думы о рассказе В. П. Астафьева «Далёкая и близкая сказка»

Я прочитала рассказ В. П. Астафьева «Далёкая и близкая сказка». В нём рассказывается о человеке, который очень тосковал по своей родине. Вася-поляк жил в караулке. Он был небольшого роста, хромой, в очках, которые вызывали пугливую учтивость. Ребятишки украдкой заглядывали в окна к Васе и, пугаясь чего-то, с воплями убегали. Человек этот был очень трудолюбивый. Вечером после трудов Вася-поляк брал в руки скрипку и играл. Однажды эту прекрасную таинственную музыку услышал мальчик Витя. Она так заворожила его, что Витя не мог двинуться с места. Скрипка плакала, а от этих звуков и на душе у Вити сделалось тяжело, беспокойно. Музыка брала за душу. Поздно вечером он пришёл домой и за столом рассказал бабушке про скрипку и музыку, которая шла из домика Васи-поляка.

Как-то раз Вася пришёл к бабушке, она его посадила пить чай. Бабушка вздыхала и жалостливо смотрела на него. Вася ел стеснительно, а чай пил не по-нашему. Когда бабушка прикрывала за ним дверь, она сказала: «Господи, Господи! Доля ты тяжкая... Слепнет человек». Бабушка рассказала Вите, что Вася — человек без роду, без родины, а жить без родины тяжело. Неистребимая любовь к далёкой родной земле заставляла Васю брать в руки скрипку. И каждый вечер скрипка пела, плакала, а потом угасала. Это плакала Васина душа по родине.

Несколько лет спустя Вася ослеп. Однажды бабушка пришла озабоченная, выставила швейную машину и принялась шить. Витя помчался в караулку, он всё понял. Дверь была распахнута. Подле избушки толпился народ. Люди заходили в неё без шапок и выходили оттуда, вздыхая. Ушёл человек, и жизнь в этом месте остановилась.

Рассказ меня очень взволновал. Тоска по родине — это как болезнь. Я ещё не испытала такой тоски и печали по родине, но даже если на один-два

дня отлучишься из дома, сразу снится мне рябина под окном, или наш дом, или мама. Вася свою любовь к родине выражал в музыке, а я выражаю — в рисунках. Для человека и вправду жизнь без родины тяжела. Родина — это твой язык, традиции, культура. И вдруг ничего этого нет. Страшно даже подумать. Наверное, поэтому, когда люди отлучаются надолго из родного дома, то берут с собой фотографии родителей, близких друзей и даже фотографию своего дома, в котором вырос.

### Максим Бебешев

Красноярский край, с. Жеблахты, 11 класс

#### Моя затесь

«Затесь — сама по себе вещь древняя и всем ведомая — это стёс, сделанный на дереве топором или другим каким острым предметом. Делали его первопроходцы и таёжники для того, чтобы белеющая на стволе мета была видна издалека; и ходили по тайге от меты к мете, часто здесь получалась тропа, затем и дорога, и где-то в конце её возникало зимовье, заимка, затем село и город». Так писал Виктор Петрович.

Читаю рассказы Виктора Петровича, а в памяти — Буйбинский перевал, ручей Горный. Там мы собирали кедровый орех. Я любовался могучими кедромы. И вот, собрав все шишки с одной стороны кедра, я на мгновение поднял глаза, чтобы посмотреть на другую сторону кедра. И вдруг увидел шагах в десяти от себя зайца.

Он сидел, затаившись, прижав к груди левую лапу, а уши чуть-чуть шевелились и были направлены на меня. Одну секунду мы смотрели друг на друга: он не шевелился, чтобы я его не заметил, а я не шевелился, чтобы он не убежал, чтобы рассмотреть его как можно лучше. Интересно, о чём думал заяц? Я был счастлив встрече с пушистым зверьком, было великое желание погладить его, но стоило мне чуть пошевелиться — и зайца как не бывало. Не поверил косою человеку — убежал.

Как бы так сделать, чтоб люди и животные, встретившись глазами, увидели друг в друге доброту и не навредили бы друг другу? А может,



и люди когда-нибудь внимательно посмотрят друг на друга и, улыбнувшись, станут друзьями или хотя бы не принесут друг другу зла.

## Владимир Целищев

Красноярский край, Ермаковский р-н, 11 класс

### Наш костёр

Мне душевно понравились рассказы Виктора Петровича Астафьева. Читал рассказ «Костёр возле речки», а сам думал о костре на карьере.

Улица наша, Сосновая, расположена у самого бора. Всё моё детство прошло на этой улице и в этом лесу. Здесь мне знаком каждый уголок. В сосновом бору летом нестерпимо пахнет смолой, и каждое дерево будто пышет жаром. В этом же лесу есть ягоды, грибы, белки. Всё для человека, всё рядом с человеком.

Но лес этот всё больше и больше заваливают бутылками из-под пива, пачками из-под сигарет, окурками, полиэтиленовыми пакетами. Бор превращается постепенно в свалку. А кто всё это делает? Мы, люди.

И вот тогда мы с друзьями находим свободное время вечером после школы и собираемся на карьере, который находится за лесом. Неторопливо двигаемся по сосновому бору к карьере и собираем в полиэтиленовый мешок бумагу, бутылки, фольгу, обрывки газет, рваные обутки и многое другое. Всё это несём на карьер, складываем в широкую яму, поджигаем.

Сидим, разговариваем и ждём, когда загаснет костёр. Наверное, лесу полегчало, как будто умылся, чистым стал. А через неделю снова история повторится.

## Юлия Макринова

Красноярский литературный лицей, 7 класс

### Покаяние

Виктор Петрович Астафьев написал о древнем языческом существе. С самого начала рыба оказалась главному герою — Игнатьичу — злоеющей, «на доисторического ящера походила рыба», «что-то редкостное и первобытное было в её величии».

В своей повести автор показал, что у каждого, пусть неверующего, пусть грешного, человека есть ещё шанс переродиться, стать лучше, правильнее. Для этого в древности юноши проходили обряд инициации, во время которого должны были символически «умереть», а потом — «воскреснуть». Так они становились другими — взрослыми.

Быть проглоченным рыбой и переродиться — один из элементов обряда (подобное происходит и с ветхозаветным Ионой).

У Виктора Петровича Астафьева прослеживается подобная мысль: неверующий Игнатьич, который дома даже иконку не держал, в критический момент взмолился Богу и попросил прощения за грехи. А позже и вовсе просит об искуплении, хочет пострадать за других — всех тех, «кто сей момент под этим небом, на этой земле мучает женщину». Словно Иисус Христос, страдающий за всё человечество.

«И сомкнулась над человеком ночь...» — Игнатьич словно бы умер.

И снова возродился — отпустила его рыба. А он не забыл обещанное — о покаянии, пожелал рыбе удачной жизни. Игнатьичу от этого стало легче, душа его очистилась.

Видно, и в самом деле стал другим человеком.

## Илья Сазонтов

Красноярский литературный лицей, 7 класс

### Бог видит всё!

Виктор Петрович Астафьев хотел нам сказать, что не надо грешить, даже если есть возможность покаяться. Ведь если грешить и долго не каяться, то, в конце концов, тебя заставят покаяться силой. В повести это «заставление» проявляется в виде царь-рыбы. Ведь Бог, я так думаю, сам создал обстоятельства для покаяния Игнатьича.

Очень даже возможно, что Бог подослал именно царь-рыбу, потому что Игнатьич — рыбный браконьер. Я думаю, что если бы Игнатьич убивал лосей, то Бог бы, наверное, подослал ему царя лосей.

А ещё Виктор Петрович Астафьев говорит о том, что Бог видит всё.

## Настя Буланова

Красноярский литературный лицей, 7 класс

### Прощение

Я думаю, Виктор Петрович Астафьев хотел сказать нам, что все могут попросить прощения, покаяться. И все могут быть прощены. Однако у автора покаяние происходит через испытание (вспомните Игнатьича, израненного, на крючках вместе с рыбой).

Пострадать, пройти испытание, постичь тайный смысл... И рыба — как будто древнее существо — выступает в роли «священника», отпускающего грехи, принимающего искупление. И, жертвуя собой, рыба «прощает» его, сама освобождается

от крючков, разорвав своё тело в клочья... Это и её жертва.

Такова женщина... И всё, что окружает героя: луна, ночь, река и даже лодка,— всё женского рода... «Природа—она, брат, тоже женского рода!»—и это уже мысль не только Игнатъича, но и самого Виктора Петровича Астафьева, пронёсшего через всю жизнь трепетное отношение к женщине (рано ушедшей маме, бабушке, сёстрам, жене...).

Получается, и рыба—жертва покаяния, дарующая Игнатъичу возможность войти в новый мир с новой душой, более «взрослой».

## Лиза Турова

Красноярский литературный лицей, 7 класс

### Искушение

Повесть В. П. Астафьева «Царь-рыба» наполнена глубоким смыслом. Автор пытается донести до нас такую мысль: люди, никогда не поздно

что-то изменить, никогда не поздно раскаяться, сознаться, молить о пощаде, признать все свои грехи, попросить прощения. У каждого есть ещё один шанс, один, только один—используйте его с умом, не скупитесь!

Я считаю так потому, что в этой повести Игнатъич был очень скуп, не веровал в Бога, насмехался над сказаниями деда, но был смелым и трусливым одновременно! Сразу возникает вопрос: как же так? Ситуация довольно странная, непонятная, даже парадоксальная. Трусость проявляется в момент, когда Игнатъич понимает, что ему пришёл конец. И, неверующий, он начинает молиться! Испугался смерти Игнатъич—грехов много совершил, а жить-то хочется, да и с грехами в придачу! А смелость проявляется в том, что—да, Игнатъич неверующий, да, не держит иконки на всякий случай, но смерть близко, вот-вот глаза сомкнутся! Игнатъич решает рискнуть. Он осмеливается взмолиться к Богу, хотя никогда не верил... Не верил... Но всё-таки пытается... Каётся... А вдруг Бог поможет?

Смерти боится всякий, а искупить свою вину не каждый может.

ДиН стихи

Олег Мошников

## Севастополь

Белокаменный город истории,  
Город греческий, город турецкий...  
Омываются морем мемории  
И туннели подлодок советских.

Где-то память и родина вроде бы  
Отошла без сраженья, без дыма  
От России... Хрущёвская оттепель,  
Как гроза, докатилась до Крыма.

Стали весело, с песнями, рвением,  
Паны вильную строить державу!—  
Отобрав самостийным делением  
У народа российского славу...

Севастополь—задворки Укра́ины.  
Только бухтами, воздухом, сушей—  
За священную эту окраину  
Встанут ратью солдатские души!

Только воздухом, скверами чистыми,  
Ветерком, налетевшим на скалы...  
Под Андреевским флагом Отчизны  
Бьются насмерть её адмиралы!

Век молиться о городе русском  
Будет русский монах с Фиолента,  
Моряках «Комсомольца» и «Курска»,  
Чьи в штандартах полощутся ленты.

Крест за Русь целовал здесь Владимир,  
Вышел к морю Андрей Первозванный...  
Не Суворова ль слава за ними,  
Не Нахимова стяг легендарный?!

Снова южные склоны Тавриды  
Тонут в яшмовом ярком подлеске,  
Все морские ворота открыты  
Для оседлых купцов генуэзских.

Снова волны песком заносили  
То, на что не могли наглядеться...  
Белокаменный город России,  
Сохрани своё русское сердце!

Нина Ульчугачева

## Люди хотят добра

Записки директора сельской школы

### Вспомни: ты чей?

Долго раздумывала: писать, не писать о том, что накопилось в душе? Раздумывала потому, что я не политик и не аналитик. Я простой сельский учитель, но судьба моей Родины, её взлёты и падения отзываются в сердце так, как будто всё это происходит со мной. И сказанное мною, может быть, будет опровергнуто сегодняшним поколением, теми, кто уж очень недоволен своим бытием, разочарован в политике государства, кто готов хоть сейчас «раскачать нашу лодку до полного оверкиля. И тогда делайте с нами что хотите». Сегодняшняя ситуация в обществе крайне накалена. Предвыборные дебаты по телевидению порой повергают в шок. Но на то мы и люди, чтобы мыслить, выбирать и помнить: ты чей? В этой связи хочу напомнить миф о манкуртах из романа Чингиза Айтматова «И дольше века длится день...».

Когда-то в казахских степях кочевали враждующие племена. Одно из них, отличавшееся особой жестокостью, научилось убивать у своих пленников память. Раба, лишённого памяти, называли манкуртом. Он считался лучшим рабом, ибо он не ведал своего имени, не помнил имена своих близких, вкуса хлеба, испечённого руками матери, и воды из родных источников, а главное—вкуса свободы, поэтому никогда не помышлял о ней. Родные не делали попытки вернуть себе «чучело прежнего человека». Но одна мать, узнав о том, что её сын, превращённый в манкурта, пасёт хозийских верблюдов, решила попытаться вернуть ему память. Тайком она приезжала к нему снова и снова, называла ему имя его отца и своё, пела ему песни и рассказывала сказки, которые он слышал от неё в детстве. Но он ничего не помнил. Однажды хозяин, который привёз манкурту пищу, застал её. Он сразу понял, кто эта женщина, и велел рабу стрелять в собственную мать. Манкурт выполнил приказ хозяина. Мать, убитая манкуртом, превратилась в птицу, которая и сегодня летает над степью и печально кричит: «Ты чей? Ты чей? Вспомни, ты чей?..»

Ох, птица, птица, разве ты не видишь, что мы, русские, теряем любопытство к собственной

истории, утрачиваем интерес к книге, изъясняемся на чудовищном языке? В жестоком ритме современной цивилизации, в мире климатического потепления происходит оледенение человека. Мы не хотим думать, теряем способность переживать бытие. И не вина Владимира Владимировича Путина, что в деревне люди живут худо. Вина в нас самих. Это мы сами разучились работать, пьянствуем, полагаемся на авось (на помощь с неба). Это мы сами ворует у государства, бросаем своих детей, стариков. Потребительская ловушка сделала многих алчными, жестокими, способными уничтожить человека. Посмотрите вокруг: сколько появилось людей, которые кричат с чужого голоса. Мне искренне жаль, что такие люди, видимо, лишены памяти. Ведь в России многое изменилось в лучшую сторону. Люди всё равно стали жить лучше, есть стабильность. Мы начинаем понемногу осознавать: кто мы? чьи мы? И понимать, что никто, кроме нас самих, за решение социально-нравственных проблем отвечать не будет. Перевернуть всё разом и сделать всю нашу жизнь со знаком «плюс» в одночасье невозможно.

Дай Бог, чтобы «зрячий посох» не дал Владимиру Владимировичу Путину, человеку ответственному и умному, сбиться с его пути. И помощи, Господи, нам, русским людям, не потерять памяти. Помнить: «Ты чей?»— прежде чем пойти за советом к Америке.

### «А люди хотят добра»

Замечали ли вы, что память человека так устроена, что выбирает из пережитого лучшее. Вот и детство моё осталось очень светлым воспоминанием, сотканным из ароматов цветов, что росли за нашим огородом, разговоров с мамой за столом, пока топится русская печь, постоянства духа и жизненных устремлений отца. Жили мы бедно и дружно— может, потому, что любовь жила в доме. Родители учили нас быстрее забывать дурное и мелкое, заботиться о других, служить какому-то делу. «Пусть это дело будет маленьким, оно станет большим, если будешь ему верен»,— так говорил отец. А мама обеспечивала тыл. На плечах её

лежали домашние хлопоты, воспитание детей. И всё это шло от любви, от доброты. Слова эти теперь всё реже услышишь и от взрослых, и от детей. Всё заполонило клиповое мышление. Многие передачи по телевидению давным-давно не смотрю. Плакать хочется от человеческой глупости. А если у телевизора ребёнок?

Уходит потихонечку поколение людей военной и послевоенной поры. Именно с ними, с безграмотными зачастую, но чистыми душою и сердцем, можно было говорить о вечных вопросах. Показать бы по телевидению Аллу Григорьевну Горбунову. Такое просветлённое лицо, как у этой женщины, теперь нечасто встретишь. Для Аллы Григорьевны даяние детям—самая большая радость. Глаза её излучают такое добро, от которого и незнакомым людям тепло. За обычной житейской рамкой Алла Григорьевна видит и понимает другое, бунинское, может быть: «...уменьшение любви, доброты есть всегда уменьшение жизни». Всё-таки это поколение, при всей той тяжёлой жизни, научилось приподниматься над будничностью и библейские вопросы и заповеди не отмело за ненадобностью.

В истории нашего отчества было много хорошего, о чём стоило бы помнить. Например, о том, что испокон веку в деревнях перед двором зобенки делали. Продолбят в столбах окошко и ставят туда туесок с квасом, хлеба кусок либо сухарей, солонку с солью. Это для тех, кто голодный был; всяк мог подкрепиться, кому туго приходилось. Замечательный был обычай. Люди всегда хотели добра, да и верили, что за это Бог и ему добро даст. Давно утратились эти зобенки, и потребность делать добро всё меньше в нас. И вдруг, как солнышко среди туч, появляется такой благородный и светлый человек и согреть словом и делом. И захочется снова побеседовать с Андреем Демьяновичем Магерей, снова увидеться с Аллой Григорьевной Горбуновой или просто сказать спасибо равнодушному человеку, Андрею Владимировичу Андрееву.

Наш великий земляк Астафьев не раз напоминал о том, что память—чисто человеческое свойство, выделяющее человека из мира всех живых существ. «Память казнит, память мучает, память учит нас быть благодарными, память помогает не совершать повторных ошибок». Но каким бы ни был человек, он всегда выбирает из памяти лучшее. Лучших людей, лучшие поступки. Человек выбирает Добро.

### Вот он, хлебушко душистый

Удивительным человеком была моя мама. Её благоговение перед хлебом было как поклонение чему-то святому. Наблюдая за ней, я видела целый ритуал подготовки к выпечке. С вечера мама заносила муку в дом, чтобы она прогрелась, затем сеяла в селницу. Когда селница была полной,

матушка моя рукой ставила на муке крест. На вопрос: «Зачем?»—она отвечала: «А чтобы Бог нам хлебушко давал». Затем согревала квашенку и начинала заводить тесто. В это время лицо у моей мамы доброе, так и светится. Наливает в квашню опару, бьёт яйца, немного растительного масла и—мука. И вот весёлка весело скачет в маминых руках, и уже совсем скоро получается упругое тесто. Потом квашенку закрывают на квашенником и непременно ставят в тёплое место. Трижды за ночь поднимется моя мама, чтобы выхлопать квашню, а на четвёртый раз надо выкатывать шаньги, пироги, булки. Это самый важный момент. От теста отрезают кусочки и превращают их в шарики, а тесто пыхтит и пузырится, как живое. «Выходило»,—с радостью произносит мама. Шарики раскатывают скалкой, листы смазывают растительным маслом и ставят вместе с шаньгами в тёплое место, чтобы ещё вытронулись. И только тогда затопляют русскую печь. Когда протопится печь, угли из загнетки надо выгрести, чтобы не подгорели шаньги. Под накалился, теперь ставь листы, да не забудь смазать шаньги сметаной. Смотрю, как ловко управляется кочергой, помелом и лопатой мама. По запаху можно определить, испеклись ли шаньги и булки, калачи и пирожки. Какой аромат! Запах хлеба чувствуется на улице, и при виде шанег на столе—слюнки текут. Зимой мама вешает калачи на сковородник и выносит в кладовку. Сварит борщ, занесёт замёрзшие калачи, а ты ешь да нахваливаешь. Ох и вкуснятина. На всю жизнь в памяти останется образ моей мамы в белом платочке, в фартуке, с раскрасневшимся добрым лицом, катающей колобки из теста, чтобы накормить нашу большую семью. Теперь и я каждое воскресенье надеваю белый платочек и фартук и катаю колобки из теста для своих детей и внуков.

Эти заметки мне захотелось написать после того, как я прочитала «Последний поклон» В. П. Астафьева и сочинения-миниатюры наших детей о своих бабушках. И вот что я думаю по этому поводу. наших бабушек, тех, кто помнит голод в тридцать третьем году и всенародное ликование по поводу Победы в Великой Отечественной, невзгоды жизни закаляли. По-моему, они не страдали от духовного неблагополучия. Постоянство духа и жизненных устремлений позволило им выжить. У этих бабушек была основная ценность—совесть, а ещё, пожалуй, способность с удовольствием трудиться, любить и удивляться. Это же надо: при такой-то семье мудрая Катерина Петровна ещё и щенка в дом приносит, Витьке на радость. А какие песни поёт, а как умеет холодец готовить и гостей привечать, а как Витьку урезонить за обман... А сколько крепких, звонких и сочных пословиц, поговорок, присловий, присказок подавала она на всю жизнь внуку Витеньке. Ощущение

собственной значимости и полезности — вот что было важнейшей ценностью в Катерине Петровне.

А дальше — работы детей, и в каждой — полезность и значимость бабушки в жизни ребёнка. Знаю всех наших деревенских бабушек в лицо. Давно волосы их серебрятся январским снегом, но у многих просветлённые лица, и выглядят они умиротворённо и благодушно. А как же иначе? Ведь бабушка. А думай — нянюшка. Как та, великая, Арина Родионовна. Не ошибусь, если скажу, что сегодняшним детям очень нужно мудрое участие старших в их жизни. И бабушка, если она есть, может оказаться лучшим лекарем души ребёнка, его другом и спасителем. Поверьте, память человека так устроена, что он выбирает из пережитого лучшее. Лучшее выбрал и Виктор Петрович Астафьев. Это лучшее посвятил он памяти своей бабушки Катерины Петровны Потылицыной.

### И крохи — золото

Баба Валя тихонько вышла из-за стола, вся подобралась, степенно подошла к красному углу и, приподняв голову, стала усердно молиться. Правнуки Никита и Даня с удивлением смотрели на бабу Валю, а она продолжала благострельно смотреть в угол и шептать. Закончив молитву, бабушка строго осмотрела стол, собрала вместе с внуками крошечки и бережно положила их в чашку. «Собачке, пусть съест. Нельзя, чтобы хлеб без присмотра был. И крохи — золото. Хлеб наш насущный даждь нам днесь».

Любопытный Данька вытаращил глаза и заявил: «Не понял, баба Валя, не понял я».

«Всё у нас есть теперь на столе, детки, — и молоко, и каша, и картошка, и соленья да варенья. Однако на крестьянском столе рядом всегда хлеб красуется. А главное слово при нём — «насущный», значит, чтобы мы существовали с хлебушком «днесь», то есть всегда. В бесхлебном тридцать третьем году пухли мы от голода, а у мамы моей нас семь ртов было. Ходили по деревням, милостыню просили, а нас мама ни одного не отправила. Не дай Бог вспоминать, как жмых ели, крапиву, лебеду варили, лишь бы чем набить животы».

Данька снова ошалело посмотрел на бабу Валю и удивлённо протянул: «Крапиву-у-у? А ну-ка покажи, баба, язык, от неё же волдыри. Я бы ни за что не стал». — «Эх, дети, дети, малы вы ещё и не задумываетесь о цене хлеба. На булочках-то да сдобных пирогах следы от мозолистых рук наших деревенских мужиков». — «Баба, а у меня тоже вот мозоль». — «Небось, от ложки?» — «Да нет, ручку сильно давлю, когда пишу в школе».

Никита крутил средний палец перед бабой Валей, а она улыбалась и гладила по голове то одного, то другого.

«В войну посылки с сухарями на фронт отсылали, а сами хоть украдкой, да схрумкаем один-два.

Бригадир наш Савватей Васильевич, бывало, услышит хрумканье да скажет: „Девки, не шали!“.— «А у нас много сухарей, баба, приходи, дадим тебе».

Данька так жалостливо смотрел на бабу Валю, что она прослезилась.

«Кушайте на здоровье, дети мои. Хлеб нашего детства мы пронесли через всю жизнь, а вы научитесь его беречь».

### «Всё зависит от крыл»

Мы все родом из детства. И хорошее, и плохое человек получает в семье. Именно семья была, есть и, по-видимому, всегда будет важнейшей средой формирования личности.

Последний раз я закрыла ворота отцовского дома в 1998 году. Они захлопнулись глухо и печально. Захлопнулись навсегда. И навсегда остался за ними самый прекрасный, самый светлый и самый надёжный мир, который называется родным домом. Из этого дома я унесла в своём сердце частицу тепла русской избы, свет чистых небес, яркие краски полей и лесов. Тем теплом согрета вся моя жизнь, потому что память всё ещё живёт в деревянной отцовской избе, полной родных и близких, вечернего чтения «Тихого Дона», праздничных песен и маминых пирогов и шанег. Жизнь была бедной, но семья крепкой.

Сегодняшние семьи, особенно в сельской местности, живут тоже трудно, в материальном плане особенно. Силась исправить хоть как-то положение неработающих родителей, тщательно готовлюсь к родительским собраниям. Рассуждаем о проблемах воспитания, проводим анкетирование, учим хорошим манерам, говорим о том, как следить за здоровьем детей, делаем диагностику семьи и среды. Но лучше бы пожить вам, Нина Николаевна, в семье Редькиных, где семеро детей на двадцати квадратах, и попробовать пропитаться, заменить худую одежку детям, уплатить за свет, заготовить дров и просто купить необходимое (мыло, шампунь, порошок стиральный) на 400 рублей в месяц. Сложно? Невыносимо сложно. Двое маленьких из этой семьи посещают детский сад. Платить за него нечем. Долг за этой семьёй числится из месяца в месяц, а у меня язык не поворачивается отказать детям в посещении детского сада. Только здесь, в садике, они съедят яблоко, попьют сок, скушают котлетку. Истинно многодетных семей в Жеблахтах немного. Например, семья Григорьевых, где пятеро детей.

Нынешнее сочинение Вики Григорьевой, вошедшее во всероссийский альбом «Семья — ковчег спасения», заставляет задуматься о многом, и прежде всего — о материальном положении семьи. Безыскусно, по-детски, с любовью к бабушке Лизе, повествует Вика о житье-бытье своей семьи.

«У всех есть бабушки. Но моя самая лучшая. Я люблю свою бабушку за её тёплые руки, за её

ласку и за её доброту. Когда я прихожу из школы, моя бабушка встречает меня вкусной едой. А ещё моя бабушка любит вязать и убирать в доме, но я не даю ей убираться, потому что я знаю, что моя бабушка старенькая и у неё большое сердце. У нас большая семья, пятеро детей. Нам всем каждый год надо новую одежду, и даже обувь рвётся, но бабушка изо всех сил старается нам помочь: лезет в долги на три тысячи, а потом с пенсии отдаёт понемногу. Она даже себе ничего не покупает, даже галоши не может купить, а если свяжет себе носки, потом отдаст снова нам. А когда пойдёт в магазин, берёт не так, как все, — два килограмма муки, а целый мешок, чтобы для всех нажарить вкусные лепёшки. Она очень много жарит, а после лепёшек ещё и пирожки. Баба Лиза поможет в трудную минуту, порой заменяет мне и друга, и маму, и даже папу. Бабушка научила меня вязать и вышивать. Она очень добрая, у неё нет врагов, со всеми дружная. Как пойдёт на почту, так там бабушку зовут присесть. Вот такая у меня баба Лиза».

В этом году семья потеряла кормилицу. Нет больше бабушки Лизы. При работе, но без денег отец и сын Григорьевы, мать тоже без денег, но при работе. Зарплату до тысячи трудно считать зарплатой. Нетрудно посчитать доход этой семьи и понять безысходную грусть в глазах Альбины Григорьевой, матери пятерых детей. Ей от моего анкетирования ни жарко, ни холодно. Экономическая нестабильность большинства семей, а более откровенно — крайняя бедность, стала следствием ослабления роли семьи в воспитании детей. Чего уж там говорить: «бытие определяет сознание». Вот и определило: огромен рост числа детей, не согретых родительской любовью. Счастье Викино, что рядом была бабушка, о которой с такой любовью отозвалось детское сердце.

Достопочтенная действительность и современность жизни наших семей так разволновала сердце, что светлые и печальные стихи Александра Щербакова как нельзя кстати, наверное, для моих размышлений.

Что я в жизни открыл?  
 До чего докопался к сединам?  
 Всё зависит от крыл,  
 На которых летать Бог судил нам.  
 Только чтоб до конца  
 Продержаться, остаться крылатым,  
 Прилетай в дом отца,  
 Дух лечи, ставь на крылья заплаты.  
 Походи босиком  
 По траве, по лесам и по пашням.  
 В горле чувствуешь ком?  
 Значит, ты человек не пропащий.

Продержитесь, отцы и матери, жизнь меняется к лучшему, «дайте крылья» вашим детям, чтобы они всегда могли вернуться в родной дом отца.

## Рыцарь

Серёже исполнилось одиннадцать лет. Раньше он любил строить машины и даже подъёмные краны, был трактористом, шофёром, рыцарем. Со всей улицы ребятишки собирались около Серёжиного дома играть в прятки, в гуси-лебеди, в коршуна. Вот и в нынешнее лето на песке у дома дети строили скотный двор, подвозили на машинах сено, складывали его в скирды и зароды, а девочки лепили из кеси-меси бурёнок и разговаривали с ними как доярки.

Серёжа видел, как тихо прошла мимо детворы его мама. Она не окликнула его и не спросила, где младшенькие. Он давно в доме за старшего, и поэтому мама Таня часто с ним советуется: купить ли Олюшке бантики свежие или подождать, хватит ли три машины дров на зиму, либо сдать поросёнка да ещё прикупить. И Серёжка гордится этим: «Я теперь за папку». Мальчик всё посматривал на калитку, не позовёт ли его мама, и, не вытерпев, побежал домой. Мать сидела, уткнув голову в передник, плечи её вздрагивали, и Серёжка понял, что она плачет. Он тихонько прикоснулся к плечу и робко спросил: «Ты чего, мам?» Татьяна подняла голову, обняла сына и заревела ещё сильнее. «Чем кормить скотину будем, сынок? Время уходит, погода портится, а у нас сено в валках. Избегалась я, никто конные грабли дать не хочет, даже за деньги. Абы мы с тобой не отработали, что ли? Ох, горюшко мне. Да как же выжить бабе одинокой? Да как деточек моих поднять?» Татьяна всё причитала, утирала нос, глаза, тяжело вздыхала и снова бралась напричитывать: «Вторую неделю сенцо лежит, чернеет ведь. Сгниёт — и что тогда, корову со двора? А жить чем?» Серёжа сидел, опустив голову, и слушал причеты. Он знал, где их покос, совсем недалеко от деревни. Пешком дойти за час можно, если быстро идти.

Раненько утром мать снова побежала в деревню искать грабли. А Серёжа будто бы и не спал. Подхватившись, он затолкал в карман краюху хлеба, налил в бутылку молока, отыскал в гулевом деревянные грабли и вышел из дома. «Лишь бы малышня не проснулась. Испугаются, что ни меня, ни мамки нету». Шёл ходко, перекидывая грабли с плеча на плечо. Было свежо, напевали утрянку птицы, а Серёжа торопил себя: «Скорей, скорей иди, грести надо, облачка на небе».

Подошёл к покосу, по-хозяйски перевернул валок, обвёл глазами поле. На минуту ему стало страшно-вато: «Конца не видать, не справлюсь». Он вспомнил вдруг заплаканное лицо матери и стал грести. Сено высохло, валки легко скручивались, и ему радостно было смотреть на маленькие копушки. Сначала Серёжка их считал, а потом отступился. Попив молока и утерев пот, мальчишка продолжал

сгребать валки в кучки. В носу щекотало от пыли и запаха сена, цветные мухи и пауты одолевали, но Серёжа не сдавался. Пусть только мамка не плачет. Да сколько тут его, сена-то? И без конных сгребём. К обеду между большим и указательным пальцами горело, всплыли волдыри. Ничего, заживёт, зато с коровой будем, с молоком. Олюшка с Енькой вон как дуют его.

Вдруг Серёжка услышал ровное позванивание и топот. Повернув голову к колку, он увидел сначала лошадь с конными граблями, а следом и мать. Увидев Серёнку, Татьяна ахнула и снова расплакалась: «Да что же это ты, рыцарь мой, сотворил? Обыскалась я тебя, а ты звон что. Играл бы около дома, строил бы себе грабли из песка, дак нет...» Мать обнимала сына, и слёзы радости застилали ей глаза.

### Людей нет, а дома стоят себе да стоят

Людей нет давно, а дома, добротные, кондовые, стоят себе да стоят.

Корнем этого семейного древа был Феофан Руфович Афанасьев. Работящий, прижимистый, зажиточный. Сын, Тимофей Феофанович, пошёл в отца. Скорые на подъём и на работу, народили они с женой, Марией Васильевной, шестерых детей. Лиза — 1912 года рождения, Маруся — 1915 года рождения, Татьяна — 1919 года рождения, Анна — 1924 года рождения, Василий — 1926 года рождения, Константин — 1928 года рождения. Трудились от зари до зари, приучали к труду и деток. К 1930 году сколотил Тимофей Феофанович крепкое хозяйство. Во дворе красовались молотилка, жатка, поставили дом крестовый, а вот перезимовать не успели. Кровавая пятьдесят восьмая статья ворвалась в Жеблахты и вихрем пронеслась по дворам жеблахтинцев. Афанасьевых, отца и сына, заграбастали первыми. Как же... Имеют дома крестовые, амбары, бани, стайки, а к тому же у Тимофея конь, бык-производитель, коза, доски, котёл. Всего на сумму 818 рублей 45 копеек. Всё богатство «принял» жеблахтинский колхоз. А вихрь раскулачивания рвал на куски семьи и уносил их в чужие края. В Иркутскую область сослали семью Афанасьевых. В Тайшетлагере умер от общей дистрофии (от голода) в 1943 году Тимофей Феофанович. Отца, Феофана Руфовича, много позднее вернули в Жеблахты в связи с тяжёлой болезнью. Сын Тимофея, Василий, в 1945 году погиб на войне, младшенький, Костя, умер в ссылке, а Лиза и Мария, дочери Феофана Тимофеевича, к концу войны вернулись тоже в Жеблахты.

Алефтина Артемьевна Васильева (Маракова) с нескрываемым волнением рассказывает о своём роде Афанасьевых-Мараковых: «Афанасий Степанович и Пелагея Ивановна Мараковы — это мои родные дедушка и бабушка. У них было шестеро детей: Прасковья, Артемий (отец Алефтины

Артемьевны Мараковой), Евдокия, Иван, Полина, Пётр. Афанасий Степанович имел в хозяйстве лошадь. Разводил на горе сад. Сад давал хороший урожай: тунгус, челдон, белый налив, ранет Мелина. Саду радовалась вся деревня. Он был гордостью семьи Мараковых. Там каждое дерево было выпестовано Афанасием Степановичем. День — на работе, а вечер и ночь строил Афанасий дом, добротный, крестовый. Большая семья уютилась в избушке рядом».

А в 1937 году снова в деревню заглянул вихрь раскулачивания. По разнарядке найти надо было трёх «врагов народа». Нашли, конечно. В их числе был и Мараков Афанасий Степанович. Признан виновным в том, что являлся «активным участником контрреволюционной повстанческой организации, существовавшей в Ермаковском и Минусинском районах. Осуждён и приговорён тройкой унквд (от 9 марта 1938 года) к высшей мере наказания — расстрелу». Реабилитирован за отсутствием в его действиях состава преступления 2 марта 1957 года.

Сыновья Афанасия Степановича были участниками Великой Отечественной войны: Артемий погиб в Польше в 1944 году, Пётр дошёл до Берлина, брал Берлин! Среди потомков рода Афанасьевых-Мараковых есть медики, учителя, рабочие; внук Валерий строил Красноярскую ГЭС, награждён орденом Трудового Красного Знамени. Внучка Афанасия Степановича и дочь погибшего в Польше Артемия Афанасьевича Алефтина Артемьевна всю жизнь отдала учительству, спорту. Является отличником народного образования. Её фамилия внесена в энциклопедию «Лучшие люди России». Все дети, внуки, правнуки этого рода выросли хорошими людьми, достойными своих предков.

И дома, построенные этими семьями, безмолвно и крепко стоят до сих пор в Жеблахтах. Почернели только — наверное, от яростного сопротивления вихрю истории. В одном из них медпункт, в другом колхозная контора. А рядом с медпунктом всю жизнь прожил в другом доме Пётр Афанасьевич Мараков, сын Маракова Афанасия Степановича, ветеран Великой Отечественной войны. Защищал дом отца и стерёг его всю жизнь.

Людей нет, а дома стоят себе да стоят, как свидетели истории России.

### Испытание длиной в жизнь

«...И нет выше чести, нежели душу отдать за други своя!» Какие слова... Писать о войне мне, родившейся после войны, трудно. К сорокалетию Победы было много встреч с ветеранами войны, а потом были рассказы о них в местной газете. Прошло двадцать лет, нет, пролетело. От сорока семи их осталось только шесть — ветеранов войны, героев Великой Отечественной. Иногда теперь читаешь либо слышишь, что вроде и не

было никакой Отечественной, да ещё и Великой. Пытаюсь понять: что же, русского мужика просто гнали на бойню? Вот они передо мной — воспоминания, письма, фотографии людей, отдавших свою жизнь за Родину. Высокие слова?! Да. Это оттуда, из далёкого четырнадцатого века, тянется ниточка вечной людской памяти о тех, кто сердцем копьё остановил, кто страну спас. После страшного Куликовского побоища видение в день поминовения появится на Куликовом поле. Богородица, Мать Божья просила людей помнить погибших, помянуть их святой памятью. И нам, жившим, не дай Бог забыть страдальца-солдата, защитника-солдата, духом не павшего перед тьмой.

В начале двадцатого века Афанасий Степанович Мараков вместе с родителями по указу царя, как и многие семьи, был отправлен в Сибирь на обжигание. Ехали с радостью. Здесь, в Сибири, позже у Афанасия родится семья. Пелагея Ивановна принесёт шестерых: Прасковью, Артемия, Евдокию, Ивана, Полину, Петра. Семья была дружной, работающей. За землю цеплялись крепко. Афанасий Степанович с братом, Иваном Степановичем, поставили себе дома, строили взрослому детям. Помочь на Руси тогда была обычным делом. На ноги поднимались быстро. Тридцать восьмой год обезглавил семью. Афанасия Степановича вместе с И. Цепильниковым и И. Могильниковым расстреляют в Кривинских борках под Минусинском как участников повстанческой организации.

Никто из них слыхом не слыхивал о такой, но была «разнарядка» — найти в деревне трёх врагов народа. Вот и нашли. Досталась Пелагее Ивановне горькая бабья доля — вековать вдовушкой. Обиды на власть в работе да заботе забывались. В Отечественную два её сыночка, Артемий и Пётр, уходят на фронт.

Пётр дойдёт до Берлина. Это о нём напишу я к сорокалетию Победы. Это он, старый солдат, потеряв свою любимую Дадю, не вынесет горя и одиночества — уйдёт из жизни следом, а беседа с ним тёплым июньским вечером оставит в моей душе глубокий след.

Артемий Афанасьевич погибнет в 1944 году. Погибнет, освобождая Польшу от фашистских захватчиков. В руках у меня письмо Артемия с фронта своим семейщикам. Какое слово, Боже мой, какое русское, тёплое: семейщики, заединчики... Всё понятно: значит, все вместе, заодно. «Здравствуйте, уважаемые семейщики, Лиза, Аля, Нина. Посылаю я вам своё низяющее почтение и от души сердечный привет. Первым долгом я вам собчаю про свою жизнь живу сейчас ничего из госпиталя выписался 9 июня. Поехал на фронт 19 июня а поетому Лиза прощай жив буду писать буду да не поминай меня плохим. Аля а тебе посылаю родительское благословение расти и слушай мамы Лизы. Передай маме чтобы она

благословила ити второй раз на фронт. Ну и так Лиза оставайтесь дожидайте меня. Жив я буду не забуду вас передай привет всем родным и знаком. Лиза я от тебя не могу получить ни одного письма. Ну пока досвидания остаюсь жив здоров того и вам желаю счастья в жизни».

А Лиза, его Лиза, тоже дочь кулака — Афанасьева Тимофея Феофановича, имевшего шестерых детей и умершего в 1943 году в местах лишения свободы в Тайшетлагте НКВД СССР от дистрофии, — на руках с двумя девочками, Ниной и Алей, будет работать и работать не покладая рук. И будет надеяться, что вернётся её Артемий с войны. Ждать заказано. От мамы, Марии Васильевны, переняла Лиза любовь к шитью. Обшивала всю деревню. Из старья, из обносков, а слепит бабочкам обновки на загляденье. Письма на фронт Артемию писала по ночам. Слезы и молитвы Матери Божьей не спасли суженого. В своём последнем письме солдат благословит свою дочку Алю. Альбина Артемьевна, почти не помнившая отца, фронтовое письмо его с благословением будет читать в самые трудные дни жизни. Может, и правда оно помогло, и Аля, Алевка станет любимым учителем физкультуры многих поколений абаканцев и просто душевным человеком. Поэтому не было выше чести для дочери, «нежели душу отдать за други своя». В 1990 году Альбина Артемьевна отправляется в Польшу на встречу с отцом в чужой земле. Письмо из воеводства растревожило душу до невыносимости. Там было всё как в справке: «По сообщению польского агентства „Интерпресс“, Варшава, Мараков Артемий Афанасьевич, погибший 3 августа 1944 года на территории Польши, захоронен в одной из братских могил на советском воинском кладбище в городе Казимеж-Дольны Люблинского воеводства ПНР. Его фамилия внесена в списки второго издания книги „Память“».

Одновременно архив сообщает, что после окончания военных операций в городе Казимеж-Дольны было заложено большое кладбище солдат Советской Армии, которые погибли в этом районе и были сначала похоронены в разных местах поблизости. На этом кладбище похоронено 8648 солдат и офицеров, из которых около 6500 полегли в Казимеже-Дольном. Кладбище расположено на видном месте и окружено каменной оградой, при входе на кладбище находится надпись на двух языках: «Парк — кладбище воинов Советской Армии в Казимеже-Дольном».

Это поездка к отцу останется в памяти навечно. Такой кровавой и тяжёлой войны для русского народа не было, и для Али Девятое мая теперь всегда — день поминовения павших, день поминовения отца. На католической иконе увидела там Георгия Победоносца в сверкающих доспехах, а домой привезла нашего Егория. Он зло истребляет, казнит. Копьё поднимает, потому как змий — это



воплощение зла, а преграда ему — воинская доблесть, долг, подвиг, духовное борение. Таким был отец Альбины Артемьевны — Мараков Артемий Афанасьевич.

Деревня ещё долго будет чувствовать войну. Мужики перегибли, в колхозах работали в послевоенное время в основном женщины. И если появлялся заезжий солдатик-мужичок, то, как говорят, нарасхват. Нуждались в семьях в мужской силе и ласке. В 1947 году приехал в Жеблахты погостить к сёстрам Иван Фёдорович Овчинников. Фронтовик, хоть и не в первые дни войны призвался по причине принадлежности к верующей семье. Приглянулась здесь ему Лиза Маракова, звонкоголосая да работающая. Не посмотрел, что с двумя детьми, приглянулась шибко.

«Нам, детям, запомнились из воспоминаний отца события эмоционального характера, — рассказывает его дочь Мария Ивановна Овчинникова. — Помню, как он рассказывал, что физическая закалка и дисциплина, привитые ему в семье староверов, не однажды помогали ему на фронте. Служил отец в пехоте, и умение быстро окопаться, чётко выполнять команды командира было спасением для солдат при обстреле наших позиций противником. Он успевал выкапывать ямки достаточной глубины, чтобы укрыться от пуль немцев. При воспоминании о боях отец всегда жалел молоденьких солдат, которые были и физически слабее, да и моральный дух ещё не окреп у них. Страшно было всем, а им особенно. Когда я слушала отца, у меня на глаза наворачивались слёзы. Но то, что мне рассказала Аля, открыло тайну относительно рубки кур в нашей семье. Аля помнит, что папа никогда не рубил головы курицам. Это делала мама и часто упрекала за это отца. Потом он рассказал, что, видя, как петух бегал по двору без головы, он вспомнил, как однажды командиру, который бежал впереди, снесло голову осколком от снаряда, и он по инерции ещё пробежал несколько шагов без головы. На отца этот случай произвёл сильнейшее впечатление, поэтому спустя много лет после войны он не мог этого забыть. (Глаза Марии Ивановны без конца увлажняются при воспоминании о родителях.) Моему папе никогда в жизни, по-моему, не было скучно. Он работал всю жизнь, пока не слёт. Работал молотобойцем в кузнице, шорничал, сторожил, зимой чистил проруби на реке. Несмотря на ранение, я не помню его отдыхающим. Он на всю деревню катал валенки, шил сапоги, при этом сам делал берцовые гвоздики, подшивал искусно валенки. От постоянной напряжённой работы у него часто открывались раны. В моей памяти как сейчас остались строгие и добрые глаза моего отца и крепкие мускулистые руки, на которых он подтягивался на кровати долгих восемнадцать лет. В тысяча девятьсот шестьдесят восьмом году

в возрасте пятидесяти четырёх лет папу парализовало: отнялись ноги, правая рука, речь, — но мы не видели отчаявшегося человека. По-моему, для отца счастье и несчастье казались чем-то вроде стреляных гильз, далеко отброшенных могучим желанием жить и чувствовать, что жизнь — это большой подарок. Хлопочущая у стола мама Лиза все эти годы была, как солдат на посту, рядом с отцом. Хранила его. Ей бы памятник поставить за все страдания и испытания длиною в жизнь. В её жизни было трое замечательных мужчин. Мы, три девчонки от разных отцов, выросли дружными, любящими своих родителей. Это ведь очень важно».

После встречи с Марией Ивановной долго не сплю: вот она, история моей страны в лицах. Самое главное, что дети помнят своих отцов.

### Почему мы победили в ту страшную войну?

Потому что было единство всех людей, всех народностей. Потому что был дух русского солдата, потому что был надёжный тыл, были жёны, сёстры, матери, у которых тоже было великое желание дожидаться победы.

Сегодняшние дети далеки от того времени, но есть мы, учителя, помогающие прикоснуться сердцем к подвигу тех людей, кто вынес эту войну на плечах. Урок мужества «Я патриот» был потрясающим и ненадуманным. Он шёл от сердца. Детские откровения просто брали за душу.

«Для меня патриотизм — папина рубашка в клетку. Отца нет в живых, а я храню её».

«Его не понюхаешь и не попробуешь, он идёт из души».

«Я просто люблю Жеблахты, и если уеду куда-нибудь в гости, скорей домой тянет».

Так говорили дети на встрече с ветеранами войны. И совсем не говорили это слово наши гости, солдаты сорок первого года. Но как этот скрытый патриотизм звучал в их воспоминаниях о войне! И этим солдатам было что рассказать ребятам.

Сегодняшние литературные работы детей — это ещё одно прикосновение к истории России, к бесмертному подвигу советского народа в Великой Отечественной войне. Работы искренние, наивные, по-детски бескомпромиссные. И патриотические. Патриотизм этот не наносной, но идущий из души.

### «И это все о нём»

Иван — симпатичный, а на фотографии он просто красивый. Говорят, чёрные глаза — загадка, а у Вани они грустные и добрые. Чёрная упрямая чёлка чуть прикрывает высокий лоб, брови вразлёт придают лицу удивление и орлиность. Если бы я могла написать портрет моего современника...

Вот он, смуглый, худенький, нескладный, с оттопыренными ушами, пришёл в наш класс. Особая

примета—грусть в глазах. Подолгу смотрит в окно, порой даже не слышит, что к нему обращаются. Он весь узкий, длинный и чёрный, а доброта в лице—светлым пятнышком сквозь чёрное. Ванина мать спилась, он приехал к отцу, которого чуть помнил с детства. Затаённая боль Ивана серой тенью прядется у глаз.

И вдруг—улыбка, мягкая, застенчивая, какая-то извиняющаяся. Это другой Иван. На портрете он рядом с любимцем Карькой. Из-под шапки-ушанки выбились непослушные вихры, а глаза тёплые, ласкающие. Никто из одноклассников не видел в руках мальчишки кнута. Чуют Ванину доброту и заботу лошади. Завидев его, приветливо фыркают, тянутся мордой к другу, тычутся мягкими губами в его фуфайку.

Но и в этом портрете Иван не весь. Иду по пути раскрытия внутреннего облика моего современника. Композиция этого произведения проста и строга. Иван сидит у окна, сложив руки на коленях; поза спокойная, привычная. Упрямый наклон головы, взгляд, углублённый в себя, слегка сдвинутые брови. Ощущается напряжённая работа ума, усталость повзрослевшего парня. Но самое главное в портрете—руки. Только на портрете они отдыхают. Третью осень Иван работает на зернотоке, работает в две смены, освоил все зерноочистительные машины. Люди говорят, что он безотказный в работе. С ним и взрослые встают в пару. Нынче Иван получил за работу и зерно, и деньги, да только не плещется радость в Ваниных глазах—всё та же грусть. Мама об этом не знает, его мама, которую он четыре года видит только во сне.

### Домик у реки

Дети мои, Наташа, Сергей, Оля, эти страницы для вас; переверните их, прочитайте и задумайтесь: «Кто я, и зачем я живу на этой земле?» Все люди—преходящи. Добрые, злые, смешные, страшные, власть имеющие и не имеющие—все. И каждый из них оставляет в этой жизни след—злой или добрый. И от того, кто будет наполнять твою душу и чем наполнять, произойдёт рождение Человека или растление его. Душа ведь наполняется добром постепенно, благодаря родному дому прежде всего. Малая родина для меня как раз начинается с отчего дома. Здесь, по улице Ойской, стоит он окнами на реку. До боли близко мне всё здесь. Вот крыльцо, крепкое ещё, где любили вечерами после трудового дня посидеть отец с матерью. Здесь, на заветном крыльчке, отец любил «плановат» работу на следующий день; здесь, бросив фуфайчонку, мог прилечь отдохнуть в знойный полдень; здесь встречали гостей. Дом наш славился гостеприимством. В праздники на столе был резкий свекольный квас, румяные шаньги и пирожки, холодец, жаркое из русской печки, рыбные пироги... Я помню, как весело было за

столом. Лучше моей мамы никто не стряпал на селе, так казалось мне, а лучше моего отца никто не играл на баяне. Редко брал его в руки отец, но когда уж брал, инструмент выговаривал в его руках. И краковяк, и «Ночка», и падеспань, и вальс. А потом были песни. Самая заветная отца: «Ох, я млада, млада, не знала, да что в любви да есть вреда». На два голоса они пели её с мамой со слезами на глазах.

Воспоминания, воспоминания... Нахлынут волной и никак не отпускают уж тебя. Вот вечер. Мама степенно заводит квашню, мы с братом смиренно сидим рядом, отец вслух читает нам «Тихий Дон». Да как читает! Вздыхает мама, до шёпота снисходит голос отца, я боюсь шевельнуться... От тебя, верно, отец, любовь величайшая к книге. И песни ваши пою, и плясать люблю—всё от вас, всё ваше.

Больше всего смущала иконка Божьей Матери с младенцем в красном углу. Перед Пасхой белили, всё мыли и чистили. Когда дело доходило до «святого угла», мама с особой осторожностью протирала иконку—память её матери—уголок и клала красное яйцо, а старое убирала. Оно было такое лёгкое. Ответом на мой вопрос: «Почему?»—было: «Боженька потчевался, а теперь—другое. Ему на великий праздник». Долго для меня это было страшной загадкой: как—потчевался, а яйцо целое? Нет, что ни говорите, а красивый это праздник—Пасха. Отец под крышей навешивал качели, мама непременно шила мне новое платье, а Пасха ведь редко бывает солнечной да сухой,—вот я обязательно в этот день бухнусь с качели в новом-то платье прямо в лужу. Но в этот день всё прошло.

Нет в живых уже ни отца моего, ни матери,—вот только то, что содеяно ими, крепкими корешками проросло в душе моей: «Не делай людям зла. На всякий крик душевный найди слова приветов, утешения». Здесь, против нашего дома, на берегу реки Ои, часто в детстве останавливались на ночь цыгане. И мама выносила им парное молоко, хлеб. «Спустится на тебя благодать, если людям помогать будешь»,—так мудро и спокойно объясняла она мне свои поступки и действия. И никогда не забуду, как в Троицу в новом платье прибежала к своей подружке, Нине Бесхмельницыной, звать её в лес за цветами, а Нина, увидев на мне платье, резко развернулась, заплакала и ушла в дом (в семье у них было одиннадцать детей). Я вернулась домой и стала просить платье для Нины. Мамочка моя всё поняла, её сердце откликнулось на крик душевный, а я, счастливая, с платьем неслась к подружке.

Дети мои, Наталья, Сергей, Ольга, вы уже выросли и понимаете, что привязанность к семье, к дому нельзя создать нарочно, она создаётся, прежде всего, той атмосферой, которая царит в семье. И ощущения, и понимание малой родины

начинается именно с семьи, с твоей семьи, в которой ты вырос. Вспомните, как наивно вы писали в своих сочинениях: «Был в гостях и сильно затосковал по дому, по деревне. Наши Жеблахты лучше всех!» Они лучше всех и в твоих армейских письмах, сын. Иногда перечитываю их, в них твоё взросление, ощущение Родины совсем по-иному. «А вчера вышел из КПП и зачуял такой знакомый и родной запах, сразу не мог понять, что это. Потом понял: это сеном так пахнет. Немец за забором нашей части траву косил. Прямо как на дедкином покосе в деревне. Домой потянуло сразу сильно». И вправду — нет лучше Жеблахтов наших. Это и есть нравственная оседлость. Когда домой тянет — значит, там всё хорошо.

Мне посчастливилось побывать за границей (в Болгарии и Германии), но скажу вам, дети мои: нет ничего лучше Родины... В Болгарии отдыхали мы на Чёрном море, на Золотых Песках. В один из дней повезли нас на остров Робинзона. Какой же это был праздник! С настоящими Робинзоном и Пятницей, с виноградом и ракией, с морской рыбой, но всё испортили горы. Я увидела их вдрут, далеко-далеко. Они так напоминали Саяны, родные мои Саяны, которые видны вершинами где-то от Казанцево. Остальную часть праздника ваша мать проплакала в туалете — так хотелось домой, прямо сейчас, немедленно, птицей лететь в родные края. Вот когда понимаешь слово «ностальгия», вот когда так ясен и понятен смысл песни «Караваны птиц надо мной летят». А когда подъезжала к казанцевской берёзовой роще, сердце моё готово было выпрыгнуть из груди: «Мои берёзки, мои белоствольные, только у нас такие, моя Оюшка... мой народ».

С той поры прошло шестнадцать лет. «Отшумела» перестройка, а деревенька моя просто живёт и живёт. Улица, что вдоль реки, в основном из пенсионеров. Это они, как и встарь, зовут Жеблахты — Чеблахтами. Осиротел и домик моих родителей, но когда прохожу или проезжаю мимо, здороваюсь с ним, обласкаю глазами, а сердце сожмётся от грусти. Молодые семьи селятся теперь все на горе, строятся мало — тяжело, безденежье давит. Вот и вы, дети мои, расселились в свои «гнезда» — стало быть, прикипели сердцем к Жеблахтам. Хорошо это. Сколько «бурь» пронеслось через село, а оно живёт. Есть школа, моя старушка-школа, в которой учились мои дети, а теперь их дети; есть детский сад, магазины, медпункт, почта, Дом культуры, спортзал, библиотека. Всё это для вас и ваших детей. Трудно сейчас селу, очень трудно, но не теряйте веру. Здесь все ваши корни. Здесь земля моего прадеда — Левичев лог, здесь земля моих отца и матери... здесь их могилы. Всё как в песне: «С чего начинается Родина? С картинки в твоём букваре», с домика у реки, с материнской песни, с доброго слова отца.

И никто уже не скажет мне на дорожку: «Ну, с Богом». Пожелание это из уст моей матери дорогого стоит: оно хранило меня, оно берегло мой семейный очаг, оно лечило меня от печалей, потому теперь я говорю вам, дети: «Ну, с Богом. На этой земле вам жить, эту землю лелеять, ведь малая родина — это всего лишь кусочек той большой Родины, которую мы называем таким красивым и ласковым именем — Россия».

### Не сеяли, а приехали с жаткой

Возможно ли любить всех? Для художественной литературы этого вопроса нет: любовь к людям — неперемнное свойство каждого привлекательного героя и тем более каждого значительного писателя. Но для педагогики здесь много сложностей. То, что очевидно для писателя или поэта, совсем не очевидно для практического семейного воспитания. Как это — любить людей? Разве можно всех любить?

— Я не люблю лицемеров.

— Я не могу любить людей, которые меня не любят.

Вон бездельник, этот потребитель — его любить? Да тем более в наше тревожное время. И снова мы сталкиваемся с одним из самых трудных вопросов нравственности и воспитания. Если бы и в самом деле можно было любить всех людей, если бы не было бюрократов, мошенников, хулиганов — как легко было бы воспитывать детей. А ещё — если бы и отец, и мать были людьми разумными, и этот разум видели бы дети и чувствовали заботу родителей, то не было бы таких сочинений: «...я её не вижу совсем и не знаю, какое у неё сердце матери. За последнюю неделю общения я заметил, что у неё сердце холодное, твёрдое и безжалостное. Это заметно даже тогда, когда она приезжает с работы, и сразу занимается делами по дому, и не может спросить хотя бы, как у меня дела в школе и как здоровье, ну и так далее. И у меня появляется мысль, что я родной или неродной сын. Во-первых, если был бы родной, она уделяла бы внимание. Во-вторых, она мне ни в чём не помогает. И в-третьих, у неё нет времени на меня. И после этого как можно описать сердце матери?» (Ученик 11 класса.)

Как же после этих уже не детских строк убедить дитя, что он нужен маме? Нужен! Знала бы мама, что из воспитания ничего не получится, если нет сердечной тяги к людям, нет любви к собственным детям. Философы говорят, что это неперемнное условие нравственности. Вспомним биографии лучших людей России: у каждого был кто-то в семье — мать, или бабушка, или няня, — самозабвенно любивший людей. Да, это не всегда легко — любить людей. А уголь добывать в шахте легко? А работать в грохоте ткацких станков легко? А находиться в космосе по полгода легко? Почему же мы, привычные к физическому и умственному труду, не хотим дать себе труда духовного? Не

хотим думать, прежде чем сделать? Ведь дети пострадают от этого. И люди пострадают от этого. «Ну и что? — ухмыльнувшись или удивившись, скажете вы. — А мне какое дело?»

Пробить эту броню потом будет невозможно. Значит, не было в семье со стороны родителей самого важного — сердечного движения навстречу людям, близким и далёким. Однажды выросшие в нелюбви — не сделают добро людям. Добра без любви к людям не бывает.

И, наконец, последнее: знаете ли вы, сколько времени общаются теперь родители с детьми? По некоторым данным — двенадцать минут в день! А кто-то утверждает, что полчаса в день. Но и за полчаса, если нет другого выхода, надо воспитывать. Раньше ребёнка поднимали всем селом, он рос на виду у всех. Все знали, чей он, и каждый останавливал его, если он дурно вёл себя. Да и он не мог дерзить взрослым. Ребёнок знал, что его все знают, у него было представление о чести семьи, и каждое слово отца подкреплялась не только его авторитетом, но и общественным мнением. Вот это общественное мнение соседей, близких людей и воспитывало детей. Что уж говорить о самой семье? Отец и мать были непререкаемым авторитетом для детей.

Сегодняшние дети — это дети эпохи телевидения и компьютеров. Кто знает, что в голове у ребёнка, сидящего у компьютера целый день. И родители сегодня тоже озабочены другим — достижением достатка. Достаток вытесняет другую, очень важную заботу — духовную. Не отсюда ли столько бед с воспитанием детей? Мы ждём от выросших детей того, чего не дали им в детстве. Не сеяли, а приехали с жаткой.

Читаю «Последний поклон» В. П. Астафьева и всё более думаю: «А ведь он родня моя! Всё будто из моей жизни писал: песни моих родителей пели его родные, холодец Катерина Петровна готовила как мама моя, а уж пословицы, поговорки, присловья, игры — все из нашего дома, из моего детства».

Читаю детям его рассказы, вспоминаю случаи из своей жизни, и замороженные ребятишки будто вместе со мной в том счастливом времени, когда нечего было особо есть и носить, но было светло на душе, и ты не думал о том, как купить одиннадцатую юбку (десять уже есть). Мы пели хорошие песни о Родине, о школе, а наш любимый учитель истории Иван Фомич Халевин часто напоминал: «Дети, надо ложиться спать с чистой совестью».

Вот завтра снова будем читать Астафьева и плакать над «Белогрудкой». Значит, с детьми всё в порядке.

### Здесь душу легче разглядеть

Любите ли вы школу? Любите ли вы её так, как я?! Я имею право так говорить. Сорок четыре года

отшагала по школьной тропинке, из них двадцать пять лет — директором. Школа моя сельская — светлая, тёплая, домашняя. Зайдёшь в неё — и тебе навстречу слова: «Мир входящему». А в этом мире есть школьный уникальный музей «История одной семьи», где вы можете рассказать хоть раз в жизни о своём отце, матери, любимой бабушке. Вы можете принести в этот музей из дома дорогую вашему сердцу вещь и рассказать о ней. Здесь вы можете просто собраться на Печу-Кучу и поболтать по-домашнему. А ещё в школе есть картинная галерея. Чем же деревенские дети хуже городских? Тоже приходят и слушают рассказы о русских художниках, наслаждаются прекрасными полотнами Левитана, Шишкина, Васнецова, Репина, Крамского, Рериха... Живёт в моей школе рукописный литературный альманах «Маленький Пегасик». Зародился он тринадцать лет назад, и ежегодно три номера выходят в свет. Детское творчество — это и вольное мышление, и совместное с педагогами творчество. В общем, это здорово! Чего только стоят «Объяснение в любви каблукча и ступеньки», или «Диалог утюга и платья», или «О чём мечтает моя собака!» Вот уж поистине «и смех, и слёзы, и любовь». А наши школьные игры «Что? Где? Когда?», на которых всегда три команды: учителя, дети, родители! А наш физкультурно-спортивный клуб, один из лучших в районе спортивный двор — подарок президента Дмитрия Анатольевича Медведева!

Вокруг моей Печи-Кучи много хороших учителей. Они не только увлекательно учат. Мои коллеги научились не сравнивать детей друг с другом, не настаивают на получении качественного результата. Это нехарактерно для нашего учебного процесса. И, оказывается, так освобождает энергию участников этого процесса! Учительский коллектив вместе с детьми и родителями поёт и танцует, с удовольствием участвует в спортивной жизни школы, района, края. Есть в моей школе добрые традиции: например, на первой школьной линейке каждый класс дарит школе (как живому организму) букет цветов с названием. Здесь же одиннадцатиклассники ведут первоклашек к дубу и вместе с ними дают клятву, взявшись за руки вокруг дуба. Весь год в школе висит волшебный почтовый ящик. В него ты можешь опустить поздравление другу, пожелание учителю, выразить своё неудовольствие или наоборот. А почему волшебный? Да потому что ящик этот помогает понять, что происходит внутри ребёнка.

Можно многое рассказать о школе, в которой прошла моя жизнь. Не думайте, что на пьедестал хочу. Другое волнует: мне очень важно, чтобы и учителю, и ребёнку было дело до своей души. К этому направляю все свои силы и разум. К этому подвигаю учителей и детей.

Вот прочитала статью в газете «Наш Красноярский край» — «Долги наши тяжкие перед деревней», и подумалось: «Привлечь бы на эту Печу-Кучу из всех уголков Красноярского края, из самых дальних и «необразованных» деревень людей, действительно болеющих за своё село, чтобы Печа-Куча получилась не бесцельной, не пустой, а по-настоящему продуктивной». До невозможности обнищала деревня, радость ушла от мужиков и баб, давным-давно не щекочет ноздри пыль хлебная от зерносушилки. Как скажут по телевизору, что в Красноярске детский сад за двести миллионов построили либо игровую площадку для детей очередную, я начинаю думать: «Эх, деревенька моя, не забудут, может, тебя?» Столько денег у богатых скопилось, а куда их? На тот свет

не возьмёшь. Вот и строили бы для детей в сёлах, дарили бы детям радость.

В школе моей нынче всем будет радостно: пластиковые окна, новая кровля и на школе, и на спортзале, и на мастерской. А деньги выделил на всё это министр образования Красноярского края Вячеслав Владимирович Башев. Наверное, есть дело до своей души у министра. Сдержал слово! А раз слово сдержал, значит, мысли хорошие были. Я ему кланяюсь. И на школу-старушку всё люблю. Поверить не могу: похорошела! Для детей.

Для чего всё это говорю? Чтобы кто-нибудь что-нибудь услышал. Деревня — это корни города. Город-муравейник всегда подпитывался деревней. Давно с деревни начинать надо. Здесь душу легче разглядеть. С неё начинать надо.

ДиН стихи

## Александр Орлов Война и мир

### Ржев

*И никто перед нами  
Из живых не в долгу,  
Кто из рук наших знамя  
Подхватил на бегу...*

Александр Твардовский

Кто справа был, а кто был слева —  
Сейчас уже не вспомнить мне,  
Когда в окопной тишине,  
В лесах израненных у Ржева,  
Мы тосковали о войне.

От смерти землю очищая,  
Срезая жизни бурый пласт,  
Мы верили: нас не предаст  
Погибших слава фронтовая,  
Войны и мира в ней контраст.

Мы — собиратели мощей.  
Мы той же богатырской плоти.  
Вы павших имена прочтёте  
Не в глубине седых полей —  
В сердцах людей, на обороте.



Мы к этим встречам вечно не готовы.  
Под солнечный дождя полиелей  
Осиротеют горы Воробьёвы  
В изгибах отуманенных ветвей.

Неясности в смиренье ощутимы,  
Неведомо о чём, но свысока  
Беседуют в зарницах серафимы,  
И отражает их Москва-река.

И кажется, что это только снится,  
И ветер напевает дням псалмы,  
И Светлая Пасхальная седмица  
Спасает нас от годовой чумы.

Наталья Редько

## Дама из Серебряного века

Воспоминания о Г. М. Шлёнской

Каждый день захожу в электронную почту и вижу: в окне «Мой Мир» мне предлагают общение близкие люди. Среди них—Галина Максимовна Шлёнская. Её электронный адрес—«Вечные снега». Удалить его я не в силах, ведь вместе с ним исчезнет и прекрасное лицо в величественной серебристой короне волос. «Вечные снега»... Как верно был найден ею этот адрес! Раньше, до периода близкого общения и, смею сказать, дружбы с Галиной Максимовной, она казалась недоступно-странённой, нередко насмешливо-надменной. Был в ней изысканный аристократизм, присущий героиням её рассказов о поэзии Серебряного века, той далёкой, навеки утраченной жизни, окутанной вечными снегами памяти...

Позднее я узнала Галину Максимовну с другой стороны—ранимую, страдающую от жизненных невзгод, глубоко переживающую тот страшный разлом последних десятилетий, который постиг многих из нас, когда рухнули все надежды на достойную жизнь. Галина Максимовна, как талантливый педагог, особенно остро переживала перемены постперестроечного образования и фактическое изгнание из него филологических, гуманитарных дисциплин. Об этом с болью и горечью беседовали мы с ней по телефону последние три года её жизни. У нас был своеобразный ритуал: звонить друг другу каждый вечер после девяти часов и говорить не менее часа. Нередко это были и деловые разговоры о тех культурных проектах, в которых она участвовала до самого своего ухода.

Последние два года Галина Максимовна работала в филиале Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов. Сюда мы были приглашены (она—профессором, я—заведующей кафедрой) после того, как, завершив очередной учебный год, обе решили уйти из вуза, в котором проработали не один десяток лет и в разное время обе заведовали кафедрой литературы. Точнее будет сказать, что и того вуза (Красноярского государственного университета), и той любимой кафедры (кафедры истории литературы и поэтики) уже не было. А ушли мы из СФУ, который их заменил. Именно эти темы: уничтожение образования в

нашей стране, разрушение университетских традиций, унижительная зависимость преподавателей и студентов в современном вузе—были большими и страшными для Галины Максимовны. Как могло такое случиться, что профессор с бесподобной эрудицией, культурой, ясным и масштабным интеллектом, страстно желающий читать свои блистательные лекции, оказался невостребованным кафедрой литературы? Кафедрой, которая была создана ею, кафедрой, которой она заведовала долгие годы? «Как могло такое случиться?»—в который раз задавалась вопросом Галина Максимовна, но не находила ответа. Только горечь разочарования во многих бывших своих коллегах преследовала и мучила её неотступно... «Пришли другие времена, взошли другие имена»,—задумчиво любила она повторять поэтическую строку Е. Евтушенко.

Но через какое-то время боль приутихла, появились иные заботы. Судьба свела нас с новыми студентами и коллегами. В студенческой среде филиала сразу же появились поклонники преподавательского таланта Галины Максимовны. Так сложилось, что среди них не было студентов-филологов, с которыми привыкла работать профессор Шлёнская. Это были в основном студенты специальности «Реклама», «Связи с общественностью», а позже—новой для университета специальности «Журналистика». Все они сразу же включились в активное общение с профессором. Затаив дыхание, слушали её лекции по истории русской литературы и уникальной дисциплине «История культуры Санкт-Петербурга», с радостью посещали круглые столы с её участием в рамках нового проекта «Петербургские вечера на берегах Енисея», научные конференции вуза, на которых неизменно выступала Галина Максимовна...

Недавно я поняла, что знакома с Галиной Максимовной больше сорока лет. Это знакомство состоялось ещё на студенческой скамье, когда я училась на третьем курсе филфака пединститута. В начале учебного года разнеслась весть, что на факультете появился новый преподаватель—заведующая кафедрой литературы Галина Максимовна Шлёнская. В аудиторию она вошла стремительной, летящей походкой. Нас поразила какой-то

«нездешний» её вид: на ней был элегантный наряд. Надо сказать, что в дальнейшем я убедилась, насколько изящно, с большим вкусом, продумывая каждую деталь своего туалета, одевалась Галина Максимовна. Любимые её цвета — жемчужно-серый, белый, сиреневый, горчичный. Она всегда с чувством такта и меры подбирала украшения. Не носила серьги, но очень любила свой изысканный перстень с топазом. Изящно повязывала шейный платок — и вот уже совсем иначе смотрелся какой-то, на первый взгляд, простой её наряд. На той запомнившейся лекции на ней была горчичная, делавшая её очень стройной, вязаная юбка. И вот начался её яркий, содержательный, эмоциональный рассказ о литературе Серебряного века. Галина Максимовна обладала удивительной способностью влюблять в себя как в лектора с первого взгляда! Раз и навсегда. А сама она была счастлива, когда царил, окружённая восторгом своих учеников, слушателей, почитателей.

Изысканность слога, благородство жеста, аристократизм манер, эмоциональная, с яркими акцентами и глубокими паузами речь, невероятное обаяние. Эта утончённость и изысканность, как я узнала позже, проявлялась во всём: в обстановке её квартиры, в прекрасных картинах, украшавших её дом, в висящем над её любимым креслом портрете Анны Ахматовой, в той вкусно приготовленной и дивно сервированной пище, которой она угощала гостей. Отказаться было невозможно: возражения не принимались!

Позднее от внучки Маши я узнала, откуда родом была эта изысканность. По семейным преданиям, бабушка Галины Максимовны была воспитанницей фрейлины последней русской императрицы. Кстати, по тем же семейным рассказам, передававшимся как тайна за семью печатями, отец Галины Максимовны Максим Павлович состоял в близком родстве с С. М. Кировым (настоящая фамилия которого была Костриков). Максим же Павлович, справедливо опасавшийся сталинских репрессий, изменил одну лишь букву и стал Кострюковым. Галина Максимовна нередко делилась своими воспоминаниями из детства, из которых следовало, что семья геологов Анфисы Ефимовны и Максима Павловича (занимавшего впоследствии высокий пост начальника предприятия «Сибзолото») жила очень дружно. Отношения были сердечные и уважительные. Анфиса Ефимовна всегда именовала супруга по имени-отчеству. В семье росло четверо детей: у Галины Максимовны были две сестры и брат. Одно из самых ярких воспоминаний — празднование Нового года. Галина Максимовна рассказывала, что родители ставили ёлку, дети при этом очень радовались. Но счастье было тайным, ведь как только кто-то стучался в дверь, ёлку закрывали плотными шторами: родители опасались доносов фанатичных атеистов.

Думаю, что во внучке Машеньке, в воспитание которой Галина Максимовна вложила всю щедрость души, проявилась традиция этой семьи: талантливость, яркая интеллектуальная одарённость, аристократическая сдержанность в манерах. Галина Максимовна очень гордилась своей внучкой, которую воспринимала как близкое своё дитя. Собственно, тема материнства изначально сблизила нас с Галиной Максимовной и сделала её особенно откровенной со мной. Наши девочки, Машенька и Танюша, разница в возрасте которых — три года, обе стали филологами, обе увлекались словотворчеством, обе уехали учиться в другие города: Маша — в Прагу, Таня — в Петербург. Бесконечные разговоры об их судьбах и были важной частью нашего общения.

Больше всего в Галине Максимовне меня поражала та черта, которую можно назвать бесконечной творческой энергией. Кипучая педагогическая и просветительская деятельность не оставляла надежды на спокойное существование её коллегам. Мы постоянно были вовлечены в круговорот её проектов: конференции, лекции, семинары, литературные гостиные, «круглые столы», просветительские и издательские проекты. Она была настоящим генератором идей. Значение профессиональной деятельности Галины Максимовны трудно переоценить, ведь её педагогический стаж составил пятьдесят восемь лет! Она вела колоссальную научно-педагогическую работу. В Красноярском госуниверситете читала базовые лекционные курсы по истории русской литературы, проводила семинарские занятия. За свою долгую педагогическую жизнь она разработала множество интереснейших спецкурсов, которые посчастливилось слушать и нам, её коллегам: «Творчество А. Ахматовой в контексте литературного процесса XX века», «Н. Заболоцкий и поэты-шестидесятники», «Избранные страницы истории литературы Сибири», «Эволюция творческого метода в поэзии Серебряного века», «Актуальные проблемы творчества В. П. Астафьева» и другие. Долгие годы Галина Максимовна осуществляла успешное руководство курсовыми и дипломными работами. Многие её ученики стали близкими ей людьми, часто бывали в её гостеприимном доме и слушали её увлекательные рассуждения о литературе.

На протяжении многих лет Галина Максимовна исследовала творчество Виктора Петровича Астафьева. Они были близко знакомы, часто общались в кругу его семьи и друзей. Именно Галина Максимовна организовала множество встреч Астафьева с читателями. Она гордилась тем, что первой аудиторией, с которой общался Виктор Петрович, переехав в Красноярск, были студенты и преподаватели филфака КГУ. Когда Астафьева не стало, на нашей кафедре истории литературы и поэтики Красноярского государственного университета

был создан Астафьевский научно-образовательный центр. С 2002 года профессор Шлёнская руководила им. В этом центре под руководством Галины Максимовны был подготовлен ряд изданий. Среди них—Астафьевский ежегодник «Стародуб», включивший в себя материалы биографии Астафьева, его родословной, воспоминания о писателе и научные статьи о нём; были и две книги воспоминаний о В. П. Астафьеве «И открой в себе память...», которые получили широкий резонанс не только у земляков писателя, но и за пределами Красноярского края. Ведущие научные журналы России поместили рецензии и отзывы с высокими оценками этих изданий. Позднее Галина Максимовна предложила объединить две книги воспоминаний о писателе в одну. А в 2009 году эта книга стала победителем в международном конкурсе вузовских изданий. Но Галина Максимовна узнала об этом случайно. Диплом победителя в этом международном конкурсе ей вручили не на учёном совете университета, как это принято в академических кругах. Нет, ей принесла домой этот диплом некая дама из редакции газеты СФУ. Со временем был закрыт и созданный ею центр...

Творческие и жизненные планы не покидали Галину Максимовну до самого ухода. Она мечтала побывать в Америке и в Израиле, где живут её друзья. Она подготовила к изданию второй Астафьевский ежегодник «Стародуб». В нём собраны уникальные материалы о биографии и творчестве Астафьева. Но на издание это не нашлось денег. Второй выпуск «Стародуба» так и остался нереализованным проектом: он был полностью подготовлен в стенах нового нашего университета, оформлен как грантовый проект, но, к сожалению, не получил поддержки. Это стало одним из самых сильных огорчений Галины Максимовны... Последний год она мечтала о выходе своей книги к восьмидесятилетию юбилею, где были бы собраны все написанные за долгие годы исследовательские и публицистические работы. За три месяца до того, как лечь в больницу, Галина Максимовна настойчиво пригласила меня к себе,

угостила, как всегда, изысканным обедом, усадила за компьютер и попросила собрать в одну папку все материалы для будущей книги. Я всё сделала и по её просьбе скопировала на флешку. «Пусть будет у вас... Теперь я спокойна...»

Желание быть нужной, реализовывать своё филологическое призвание не покидало Галину Максимовну даже в самые тяжёлые, последние месяцы её жизни. Когда она готовилась к операции, я, по её просьбе, приносила материалы, присланные учителями на Астафьевский конкурс «Душа Сибири». Невероятным усилием воли Галина Максимовна продолжала работать и написала экспертное заключение. Я видела, как ей тяжело от обрушившихся страданий и жуткой неизвестности, но какой удивительной силой обладала она! Не было жалоб, она бодрилась, рассказывала какие-то забавные истории. Большая часть их была связана с её пребыванием в Чехии. Последний из рассказов с присущей ей самоиронией поведала она мне, узнав, что вечером на канале «Культура» будут транслировать юбилейный концерт знаменитого чешского певца Карела Готта: «Ко мне в Прагу приехал Анатолий. Отправились мы на какой-то официальный приём. Идём по лестнице, а навстречу—мужчина. Очень знакомый, но не могу вспомнить кто. Так вот, он идёт навстречу и улыбается широкой обаятельной улыбкой. Я, чтобы скрыть неловкость от собственной забывчивости, решила представить ему Анатолия: „Здравствуйте, знакомьтесь! Это мой супруг!“ Мужчина, по-прежнему радостно улыбаясь, представился Анатолию Семёновичу: „Очень приятно! Карел Готт!“». Вот такую из последних рассказанных Галиной Максимовной историй запомнила я. А было их очень много...

Никогда больше не услышу я этот прекрасный, глубокий, мелодичный голос, но навсегда он сохранится в памяти! Как останется величественный облик, прекрасное лицо в серебристой короне волос... Дама из Серебряного века, из той далёкой, навеки утраченной жизни, окутанной вечными снегами памяти...



Нэлли Щедрина

## У неё был свой Астафьев...

С Галиной Максимовной Шлёнской мы познакомились на первой Международной конференции «Астафьевские чтения», которая состоялась в Красноярске в сентябре 2004 года, почти через три года после ухода писателя из жизни. Я поехала по зову сердца, чтобы поклониться этому русскому самородку, никто меня тогда специально не приглашал. Не предполагала, что приросту к этим краям всем сердцем.

В конференции принимали участие и Красноярская краевая библиотека, и педагогический институт, и Красноярский университет, и писательская организация. Всё было продумано и взвешено, но создавалось впечатление, что Виктора Петровича, одинаково любимого всеми, «раздирают» на части, каждый из организаторов пытается сделать его самым-самым... «своим». Не хватало одного — большого сердца, которое вместило бы в себя всю глубину его личности. Такой глубиной обладало сердце Галины Максимовны. У неё был свой Астафьев, которого она не хотела ни с кем делить.

Через Г. М. Шлёнскую и началось моё постижение Астафьева не на отдалении, как писателя со своими произведениями, а максимально приближенного, через чувствование человека и специалиста-филолога, которым она щедро делилась.

Все оставшиеся дни на конференции мы были вместе. Я жадно глотала не только овсянковский дух родных краёв Виктора Петровича, но и впитывала самую различную информацию, идущую от Галины Максимовны.

На пленарном заседании она делала доклад на тему «Некоторые проблемы изучения феномена Виктора Астафьева», зал реагировал чутко, сокращалась дистанция между нею и слушателями, потому что от неё шло какое-то особое тепло и глубина постижения астафьевского творчества. Я ещё тогда не знала об особом расположении к ней Виктора Петровича. Галина Максимовна подарила мне книгу «Последний поклон Виктору Астафьеву. Прощание», открывающуюся эпитафией, обращённой к жене, детям, внукам, потрясшей меня своим трагизмом. Не знаю, стоит ли её приводить полностью... Думаю, что она всеми читана. Написанная рукою Астафьева, состоящая из шести строк, эпитафия делила его жизнь надвое — на мир «добрый, родной», который писатель

любил, и мир — «чужой, злобный, порочный», из которого он уходил. И подумалось тогда, что, приехав на конференцию с докладом о проблеме трагического в романе «Прокляты и убиты», попала в точку. Трагедия жила в нём всю жизнь, а не только в военную пору, поэтому ему нечего было «сказать... на прощание».

В сборнике «Последний поклон Виктору Астафьеву. Прощание» после официальных сообщений, завещания и письма Астафьева В. М. Ярошевой шли телеграммы-соболезнования, выстроенные в алфавитном порядке. Была телеграмма и от Солженицына. Поразила её лаконичность, глубина писательских слов и перекличка с эпитафией (как будто Александр Исаевич знал о ней ранее) и с трагической жизнью Виктора Петровича. Строчек всего пять: «Умер самобытный русский писатель, настойчивый правдолюбец. Из первых, кто чутко отозвался на нравственную порчу нашей жизни. Как никто, испытал солдатскую тяжесть войны и поднял её со дна. Мир его праху».

Дальше идут письма к Марии Семёновне, телеграммы от президента В. В. Путина, Патриарха всея Руси Алексия II, перепечатанные из газет и журналов материалы об Астафьеве, воспоминания о нём.

А дальше — большое количество фотографий, передающих скорбь людей и весь ужас потери, обрушившийся на близких и издалека прилетевших на похороны артистов К. Лаврова, А. Петренко, писателей В. Белова, В. Курбатова, М. Кураева, издателя произведений Астафьева Г. Сапронова, которого теперь уже тоже нет...

Понятно было включение снимков с губернатором А. Лебедем, помещённых в этой книге. Не ладилось в душе только одно: как же он не остановит бесчинства Красноярского Законодательного собрания, отказавшего накануне в региональной пенсии Виктору Петровичу?

Сейчас этим уже не удивить, а тогда, осознавая, сколь важным для писателя было возвращение из Вологды в родные края, непонятным становилось, как же красноярцы не могли понять и не почувствовали необходимость переезда в родные места, воспетые во многих его произведениях. Галина Максимовна была в этот момент вся переполнена негодованием, но держала дистанцию в разговоре со мной.

Завершается сборник памяти беседой Александра Чернявского с Галиной Максимовной, перепечатанной из «Аргументов и фактов на Енисее» №1–2 в январе 2002 года. Отвечая на вопросы корреспондента, она обобщила всё самое главное в Астафьеве, как будто знала об этом лучше других. Поведала о том, как критики «приклеивали ярлык деревенщика, традиционалиста, почвенника, эколога», считая, что «он не стереотипен в постановке и решении общих в его творчестве с другими писателями-современниками проблем. Уникальны жанровые формы, язык астафьевских творений способен восхищать (порой целые страницы воспринимаются как стихотворения в прозе!), а иногда и обескураживать». Галина Максимовна оставалась на стороне Астафьева и в оценке романа «Прокляты и убиты», рассказала, как он страдал по поводу восприятия книги, особенно со стороны ветеранов. А на одной из последних встреч с читателями заявил: «Я не буду врать о войне. Я был именно на такой войне. На войне было такое, чего вообще быть не может».

Галина Максимовна одна из первых — а это было в начале 2002 года, прошло всего несколько лет после появления книги в печати (если вести отсчёт, начиная с журнальной публикации, и учесть, что в первый год было гробовое молчание вокруг романа), — поняла писателя, присоединилась к некоторым авторам и озвучила принципиальную новизну романа, состоящую в том, что «впервые за всю свою историю Священную Отечественную войну ведёт Русь *расхристианившаяся*» (выделено Г. Ш.).

Самый сложный и полемический роман Астафьева «Прокляты и убиты» Солженицын назвал книгой уникальной, написанной «не офицером и не корреспондентом на правах льготного офицера, не политруком, не прикомандированным писателем, — а простым пехотинцем, «чёрным работником войны», который, воюя, и не думал, что писателем станет, а когда стал, то ещё 30 лет молчал о войне — потому что правды написать о войне было нельзя. И дождался такой возможности только к своим 70 годам» (курсив наш. — Н. Щ.). Солженицын подчёркивал «самородность языка и стихию жизни» в произведениях Астафьева, «выдвинувшего» нам правду о войне «пусть лишь к старости своих годов».

И Солженицын, и Астафьев были истинно национальными писателями. Они исповедовали свободу в жизни и в творчестве, их называли праведниками, совестью, светом России, «нашим всем». Оба нещадно трудились, каждое утро садясь за рабочий стол, чтобы найти ответы на вечно мучившие лучших людей страны вопросы, так и не найдя им разрешения: «Зачем я жил, зачем работал, зачем круглыми сутками горбился за столом? Люди от этого лучше стали? Мир улучшился? <...>

Когда эти вопросы подступают к тебе — становится страшно жить», — итожил Астафьев.

Александр Солженицын был для Виктора Астафьева одним из главных и самых дорогих литераторов, потому что он чувствовал свою близость к нему. Близость в отношении к России, которой он терзался, как и автор «Красного колеса», до последних дней: «Новой смуты, ещё одной свалки нам не пережить, не хватит на это наших ослабевших, редущих рядов, повреждённого, если не надорвавшегося, российского здоровья». Это строки из эпистолярного дневника 1952–2001 годов, изданного Г. Сапроновым к восьмидесятипятилетию В. Астафьева и названного «Нет мне ответа...».

В ноябре 1970 года Астафьев один из немногих, будучи членом правления Российской писательской организации, выступил против исключения из Союза писателей Солженицына, в защиту человека, «которому и без того выпала доля мученика в жизни и в литературе» (с. 159).

В своём обращении он пишет:

«Не довелось мне читать его романов — не люблю я читать и думать под одеялом — унизительно это для бывшего солдата и русского литератора, но и то, что я читал, напечатанное в журнале, особенно «Матрёнин двор», — убедило меня в том, что Солженицын — дарование большое, редкое, а его взашей вытолкали из членов Союза и намёк дают, чтобы он вообще из «дома нашего» убирался. А мы сидим и трём в носу, делаем вид, будто не понимаем вовсе, что это нас припугнуть хотят, ворчим по закоулкам, митингуем в домашнем кругу.

Стыд-то какой! Вчерашние бойцы, неустрашимые фронтовики и их спутницы делают вид, будто ничего не произошло и не происходит. Будто и не ведают, что кровью нашей завоеванное в мире уважение распыляется, улечивается, и те, кто был за нас, отвёртываются один за другим. Говард Фаст, Фрэнк Харди, Андре Стил и покойный Джон Стейнбек, даже Луи Арагон...

Что же — опять изоляция? Опять пресловутый железный занавес? Опять это злое: «Я не прошу вас доносить друг на друга, но прошу проникнуться друг к другу здоровым недоверием»? А ведь если так и дальше дело пойдёт и все мы по улам отмалчиваться будем — до новой беды снова докатиться возможно.

Горько и тяжело писать вам, убелённым сединами, много пережившим и передумавшим, но ещё горше и тяжелее молчать.

Честный выстрел, пробивший сердце Александра Фадеева, не даёт права молчать тем, кто пришёл сменить его на боевом и нелёгком посту.

С уважением, В. Астафьев, член правления Союза писателей РСФСР».

В годы изгнания Александра Солженицына Виктор Астафьев не перестаёт думать о нём.

В письме В. Курбатову от 1 ноября 1984 года сообщает, что был поблизости от места рождения лауреата Нобелевской премии, «где его поминают либо в шутку, либо с грустной улыбкой, качая головой, со злом никто при мне не поминал» (с. 336).

Мысль о Солженицыне приходит Астафьеву в голову, когда побывал во Франции, на могиле И. Бунина, которому мечтал поклониться, «попросить прощения за всех» (с. 406). Об этом в эпистолярном дневнике читаем в письме к К. Первалову, посланном из Красноярска в 1988 году.

А годом позже, оказавшись в Америке, Астафьев сообщает своей семье, что находится неподалёку от дома, где живёт Солженицын, и обращается к нему с письмом.

И конечно, Астафьев был среди тех, кто жаждал реабилитации Солженицына, приближал его приезд на Родину, а потом и внимательно следил за очень непростым «вхождением» в жизнь современной России писателя-изгнанника. Имя его возникает в письме неизвестному автору, где даётся характеристика времени, которое переживает страна, и тяжёлой судьбы русского человека в постперестроечное время. Как бы из низов, из народных глубин, Астафьев видит «разрушение» крестьянства как опоры державы, объясняет неготовность людей принять новые порядки. Причина в том, что «...народ настолько ослабел духовно, что и не взыскует лучшей жизни, а уж «ломить хребет за светлое будущее» тем более не станет. Он знает, что это такое, он на себе испытал все прелести «борьбы» и устремлений ко всеобщему счастью», — пишет Астафьев. И продолжает: «...Наладить жизнь, унять разброд и болтологию, разор и воровство под силу только очень сильному и дружному народу; наверное, много времени, много жертв потребуется, пока он сделается таким. Зачатки есть, но как им развиваться, когда отцы и деды, пережившие небывалые испытания, невзгоды, понеся огромные потери, прежде всего нравственные, не выдержав свободы, испутившись испытания самостоятельной жизнью, снова хотят полуроботы, полужизни, полудостатка и согласны жить под ружьём и надзором, но зато «спокойно», то есть от аванса до получки, не сводя концы с концами, зато не надо ни о чём думать, не надо ни о чём тревожиться, куда-то устремляться. <...> Мало что меняется на Руси. «Отняли копейчку, обидели юродивого, не надо молиться за преступного царя Бориса». Это когда написано-то? А вон какая ария! Злободневная и поныне...»

О некоторых подробностях встречи с изгнанником, возвращавшимся из Вермонта и захавшим в Овсянку, мне тоже поведала Галина Максимовна. Печать об этом сообщала скупно, почти не высказывались о ней собеседники. Только позже, в эпистолярном дневнике «Нет мне ответа...», читатель узнал об этой беседе.

Возвращаясь в Россию из далёкого Вермонта, Солженицын заезжал к Астафьевым. В письме Н. Гашеву от 26 июля 1994 года сообщается: «Солженицын сразу же по прибытии в Красноярск приехал ко мне в Овсянку, мы проговорили с ним часа три без свидетелей, и я кое-что успел ему показать в деревне, сводил и на кладбище, и в библиотеку, и на Енисей...»

После встречи с Солженицыным летом 1994 года Астафьев признавался в письме В. Курбатову от 3 августа 1994 года: «...беседа полноплавная, с полуслова понимали друг друга, разноточный не было — великий муж Александр Исаевич, великий! С ним общаться нелегко, ответственно, но интересно и, надеюсь, *взаимообогащающе*» (курсив наш. — Н. Щ.).

На Астафьевских чтениях в сентябре 2006 года, базой проведения которых оставался Красноярский государственный педагогический университет им. В. П. Астафьева, Галина Максимовна делала доклад о И. Бунине и В. Астафьеве. Последний день конференции проходил в стенах Красноярского государственного университета под знаком «Слово Астафьеву». Г. М. Шлёнская говорила о проблеме фанатизма в прозе В. П. Астафьева, а затем провела телемост — встречу русских критиков и учёных с исследователями творчества Астафьева в Чехии, в частности — с профессором Мирославом Заградкой.

Трепетно Галина Максимовна рассказывала мне о последнем свидании с писателем в больнице накануне его ухода из жизни, когда он попросил приготовить ему «просто омлет». Много было горечи в её словах при посещении открытой к публике в 2009 году экспозиции «Наш Астафьев» в выставочном зале «MixMax». Мне тоже передался её дух искусственно созданной праздничности вокруг дорогих писателю личных вещей.

Со смертью Астафьева как будто почва уходила из-под ног Галины Максимовны безвозвратно. Пустоту такую я и раньше чувствовала, когда были в Овсянке в доме писателя, а особенно в мемориальном музее, который был водворён на месте дома бабушки Астафьева Катерины Петровны. Помню, что Галина Максимовна даже не вошла во двор этой теперь отстроенной благополучной усадьбы, рассказывая о том, как со старым домом бабушки поступили его хозяева. После возвращения из Вологды Астафьев хотел приобрести дом, где воспитывался, но хозяева выставили неподъёмную цену.

Ударом судьбы для Галины Максимовны стал уход из Красноярского университета, подкосивший силы и здоровье, но, и перейдя в другое учебное заведение, она продолжала работать. Пришла в её сердце не обида, а отчуждение. Во время юбилейной конференции в Красноярске, когда посмертно Астафьеву была присуждена премия

Александра Солженицына, Галина Максимовна уже не выступала с докладом, пришла на заключительное заседание очень изменившаяся, как будто у неё из сердца было вынуто самое дорогое.

Во время последней нашей встречи она подарила мне много коллективных фотографий с Астафьевым участников ранее проводимых конференций и бесед с писателем. На снимках были и зарубежные гости. Из разговоров выяснилось, что у нас есть общие знакомые в литературоведческом мире. Это и профессор Мирослав Заградка из Чехии и Владислав Петрович Зайцев из МГУ, и доцент Борис Иванович Фоминых из Института русского языка им. А. С. Пушкина. Они отзывались о ней с теплотой и любовью.

Сердечность я почувствовала и при совместном посещении библиотеки в Овсянке. Работники устроили нам радушный приём, делились своими воспоминаниями об Астафьеве. Чувствовалось, что и у них в сердцах затаилась какая-то горечь, но гостей они не хотят ею обременять. Познакомилась я с хранителями и работниками А. Е. Козынцевой, Н. Я. Саковой, В. Г. Швецовою.

Галина Максимовна обладала притягательной силой, у неё много учеников, из которых выросла плеяда специалистов в разных областях. Мне повезло быть научным руководителем её ученицы Елены Шлома, которая приехала к нам в аспирантуру в Москву с уже готовой темой и солидным заделом по Астафьеву. Тема, которую Галина Максимовна для Лены порекомендовала ещё в студенчестве, встречена на нашей кафедре с большим одобрением. Лежащее на поверхности его творчества материнство было для писателя главным, своё сиротство пронёс через все годы. Самые трепетные слова в его произведениях обращены к матери, ко всему живому, что даёт жизнь. Но почему-то до такого поворота в исследованиях дело не доходило.

У Г. М. Шлэнской зрели замыслы коллективных изданий, посвящённых писателю, она предложила мне войти в редколлегию альманаха «Стародуб». Начали готовить совместно после выхода первого — в 2009 году — и второй номер. Я приглашала учёных из-за рубежа и коллег, занимающихся Астафьевым, кого знала в России.

В планах Г. М. Шлэнской тогда находился выпуск воспоминаний родных и земляков Астафьева, на выход из печати которых требовались средства, добытые с трудом. В последующие годы мы стали свидетелями того, как непросто было организовать работу по изданию материалов к биографии В. П. Астафьева. Книга «И открой в себе память...» вышла в трёх редакциях в 2005, 2006 и 2008 годах под началом главного редактора-составителя профессора Г. М. Шлэнской и редактора-составителя Н. Я. Саковой. В последний вариант 2008 года вошли материалы двух предыдущих сборников.

Отрывки своих воспоминаний Г. М. Шлэнская, зная Виктора Петровича на протяжении двух десятков лет, назвала астафьевским выражением «взаболь». На языке писателя это слово означало «способность к глубокому состраданию, душевному отклику, сердечной отзывчивости на чью-то беду». Такими качествами обладал Астафьев, хотя в последние годы слышались упреки «в не любви и даже ненависти к своему народу». «Ненависть» была обратной стороной его «мучительной любви (к народу.— Н. Щ.), за которой стояла уверенность в том, что родной народ достоин иной участи». Астафьев «выносил приговор сегодняшней жизни». А за своё пребывание в ней испытывал «светлое благодарение состоявшемуся чуду»: «Спасибо Тебе, Господи, что пылинкой высеял меня на эту землю».

Имея возможность воспользоваться архивом в Овсянке, Галина Максимовна спешила откликнуться и на последнее произведение Астафьева «Пролётный гусь», изданное в Иркутске, подаренное писателем ей во время посещения больницы в сентябре 2001 года. Хотела, чтобы материал пошёл не только в местные издания, но и в столичное, хотела привлечь внимание к самым последним этапам творчества автора. В нашем «Вестнике» МГОУ опубликована её статья о двух вариантах первоначальной концовки рассказа «Пролётный гусь», которые не вошли в окончательную редакцию.

В этой статье Галина Максимовна выступила и как текстолог, и как интерпретатор произведения, но главное — как защитник астафьевской концепции войны от яростных нападок критики в искажении писателем истории Великой Отечественной войны. Рассказ о семье Солодовниковых заканчивается трагически. Выстояв в чудовищной бойне с врагом, рядовые Марина и Данила не занимали права в мирное время на достойное человеческое существование, оттого и погибли.

В концовках обоих вариантов описано бедственное положение «народа-победителя», оказавшегося «побирушкой, кусочником на мировой паперти». В первом варианте звучит саркастическая авторская интонация в адрес «отца и учителя» и «безголовых преобразователей». Во втором — мысль о безответственности самого народа за свою судьбу.

Галина Максимовна высказала предположение о том, почему Астафьев не пошёл по первоначальному пути замысла, а закончил рассказ лаконичной фразой, отделив её от текста: «Шёл тысяча девятьсот сорок девятый год». Внешне она кажется информационной, но автор статьи называет её несущей «глубокий обличительный смысл: с окончания войны прошёл срок, по времени равный войне», но положение её победителей столь же трагично, как и участие в войне.

Этой теме посвящены последние повести Астафьева «Весёлый солдат», «Так хочется жить». Защищая его позиции по отношению к Великой

Отечественно войне, Галина Максимовна напоминает в который раз тем, кто не согласен с писателем, что он «настойчиво и с великой болью напоминал о цене Победы. А точнее, о недопустимости цены, которую народ заплатил за неё (завалили врага труппами, залили его своей кровью), и цене, которую он продолжал платить в условиях мирной жизни» (выделено Г. Ш.).

Галина Максимовна Шлёнская щедро делилась своими материалами о писателе, опубликованными в местной печати. Присланную анкету, на вопросы которой отвечал Астафьев, я использовала

на лекции для своих студентов — воспринималось живо. Открывались всё новые и новые страницы жизни и биографии писателя, ведь никто так не может близко его чувствовать, как земляки. Надо прожить с ним рядом, понять изломы в душе, простить поступки, которые он совершал. Только тогда можно оценить грандиозность личности автора «Последнего поклона», «Пастуха и пастушки», «Проклятых и убитых».

Светлая память о Галине Максимовне сопряжена с памятью об Астафьеве. Она для меня нераздельна...

ДиН стихи

Глеб Соколов

## Черновик

Я ношу свой свитер в свою полоску.  
Просыпаю дни. Выхожу к киоску.  
Нет покоя большому больному мозгу.  
Замечательная отмазка:

«Воспаление совести. Не приеду».  
Поджигаю колени к груди под пледом.  
Надо хоть за солью зайти к соседу.  
Жизнь бессмысленна и прекрасна.

Пополам делима фонарным светом,  
Темнота практически незаметна.  
По пространству комнаты, как планета,  
Я плыву к коридору. Слышно,  
Как шумит труба. Батарей греет.  
Я сажусь за стол. За окном темнеет.  
Я хочу, чтоб боль умерла скорее —  
Как солдат на дозорной вышке.

Расплодившись быстро, мыслепреступность  
Разъедает строй, как желудок — уксус.  
Разменявши ночь по дрянному курсу,  
Превратив её в уроборос,  
Как гомункул, тупо хожу по кухне  
До тех пор, пока потолок не рухнет,  
До тех пор, пока вермишель не стухнет.  
Хронос опровергает логос.

Города похожи и не похожи.  
Петербург — как старец на смертном ложе:  
Вроде вымыт, вычищен и ухожен —  
Но вскрывается разложение.  
Свет плодит наводящиеся, как выстрел,  
Идиотские слухи, скандалы, мысли,  
И газеты полнятся ускористым,  
Повсеместным их умноженьем.

В канонаде сми, обмотавшись белой  
Простыней, как флагом, я буду телом  
Незаметным. В общем, останусь целым.  
Что и требуют от народа:

Лишь бы ели, сглатывали, молчали.  
Я сижу в простыне, в именной печали,  
Будто с кем нелюбимым меня венчали,  
И он портится год от года.

Комендантский час. По проспектам шарят  
Полицаи. Прячутся в угол твари.  
Фонари горят. Голова не варит.  
Я ищу своё место в новой  
Части города. Ветер глодает пальцы,  
Прошивает меня, растянув на пьельцах,  
Постепенно, жестоко, как все скитальцы —  
Одинокий, большой, суровый.

Пусть же зубья дней тебя не пугают:  
Поезда уйдут, а друзья растают,  
А из стада всё же бредут по стаям,  
Не вини себя без причины:  
Скоро ты освоишься, без сомненья.  
Внешний мир приводит тебя в смятенье,  
Но мы все подвержены измененьям:  
Равно — женщины и мужчины.

Волшебство всегда объясняй научно,  
И не бойся тех, кто тобой приручен,  
И не верь в судьбу, не молись на случай,  
Но противься своей природе.  
Не бери сверх выдержки обязательств,  
Воздержись от травли и издевательств.

У меня недостаточно доказательств.  
Но я всё же почти свободен.

## Роман Рубанов

# Взгляд Звезды



*Вадиму Месяцу*

На кудыкину гору пошёл мужик.  
За каким таким его пёс понёс?  
Над горой кудыкиной снег кружит.  
Заметаёт следы. Все следы занёс.

Оглянулся мужик: а следов-то—нет.  
А гора кудыкина высока...  
А в избе его баба не гасит свет,  
ждёт с горы кудыкиной мужика.

А мужик присел, закурил одну,  
да и в пачке осталась всего одна.  
Под горой река, а в реке по дну  
подо льдом идёт пароход без дна.

Пароход идёт, пар стоит столбом.  
Вырастает столб изо льда, как прут.  
А мужик сидит. Темнота кругом.  
И мороз сердит. И ботинки жмут.

И дороги нет. И башка седа.  
И в душе туман, гололёд и хмысь...  
— Ах ты, Господи, Господи, вот беда,  
мне дороги теперь не найти ни в жисть...

Его баба в избе погасила свет.  
Его дети спят. Борщ в печи кипит.  
А мужик на горе ждёт-пождёт ответ  
и почти замерзает, поскольку спит.

И во сне мужику говорит Христос:  
— Коли на гору эту пришёл, тогда  
скит поставишь здесь. До седых волос  
будешь жить. Будет вера твоя тверда.

И молитвою будешь людей спасать...  
И исчез Христос, и ушла гора.  
Сын толкает его:

— Батя, хватит спать.

На кудыкину гору тебе пора.



В провинциальном городе зима.  
И полбеда, коль бродишь целый день сам,  
а то—с женой, с вещами и с младенцем,  
и заперты гостиные дома.

Но вместе с ищущим не дремлет Бог,  
Он не сидит в тепле, Он тоже ищет.  
Дом пастухов—роскошное жилище.  
Осталось лишь переступить порог,

а за порогом—целые миры,  
но и от них, как в сон, впадаешь в бегство...  
Однако время замедляет бег свой,  
покуда не принесены дары...

Ну а пока... пока все крепко спят.  
И лишь Мария вздрогнет вдруг в тревоге,  
её от сна не крик разбудит—взгляд,  
такой родной—Звезды Христа и Бога.



Петухи на палочках. Деревня.  
Праздник на дворе—Борис и Глеб.  
Вечер пахнет яблочным вареньем—  
Вкусно, хоть намазывай на хлеб.

Звёзды пропадают и мигают,  
Снова появляются в реке,  
Будто бы Господь передвигает  
Их, как шашки по большой доске.

Мы наедине бываем редко.  
Поцелуй блуждает вдоль щеки.  
А над нами сад. В саду на ветках  
Яблок спелых полные мешки.

Выпала роса, и пахнет летом.  
— Я устала,— скажешь,— понеси.  
И рассвет за нами будет следом  
Звёзды, будто лампочки, гасить.

## Вячеслав Тюрин

# Апокриф

### В разлуке

1.

Тополя в июне теряли пух—  
он летал повсюду, к одежде лип нам.  
И в конце концов небосвод набух,  
разразился ливнем.

Люди жались к стенам, искали кров.  
Мы с тобой, смеясь, подставляли руки.  
Невелик же был тогда наш улов,  
но помог в разлуке.

Нынче ветер афишные гнёт углы  
на обшарпанных тумбах, и всё поблекло.  
Соловью подражая, Бюль-Бюль-оглы  
не зальётся бегло.

Снова булькает в раковине вода,  
телевизор бубнит обо всём на свете.  
Наступают осенние холода,  
и взросят дети.

2.

Словно в бомбоубежище, целый день  
я смотрю в окно, как болван на книгу.  
Хотя ночью тоже бывает тень,  
зато меньше крику.

Населенье спокойнее. Гуще мрак.  
Конура, баланда, ошейник с цепью—  
вот и вся наука. Снаружи враг,  
и брехня давно стала самоцелью.

Раздражённый кознями сквозняка,  
ветер хлопнет дверью.  
Ничего не зная наверняка,  
не призвать к доверью.

Мир устроен сложно для простофиль,  
то есть почва требует удобрения.  
Со стола стирая ладонью пыль,  
осязаю время.

### Апокриф

Ниневия раскаялась, так что ступай восвояси,  
возвращайся к обычным делам, ешь обычную снедь.  
Ты исполнил свой долг и теперь остаёшься в запасе.  
Бойся Бога, люби—и тебе не придётся краснеть.

Это было проверкою крепости. Нравы жестоки.  
Грош базарный цена тебе, ежели ложь на устах.  
Пусть же влага дождей увлечённо поёт в водостоке,  
что Сирига осталась у Пана, цевницею став.

### Бездна

Хочу петь, но рождаю стон.  
Вижу стул и сажусь за стол,

но, как правило, захожу в тупик.  
Вижу рельсы. На рельсах—сухой тростник.

Говорящим же был ведь когда-то он.  
Я подробней хочу, но рождаю стон;

и я кашляю в сумрачной пустоте  
(я курю слишком много). Слова не те,

что хотелось бы, мне поступают в мозг.  
Между ними—война, а за ними—мост,

что соединяет мою скудель  
с миром, где трудно нащупать цель

бытия на распутье: лишь два пути  
тут наличествуют. И каким идти—

я не в курсе, хоть мне говорила мать:  
«Коль широким пойдёшь, будешь век хромать».

Ну а узкий, который избрал Христос,  
мне тяжёл, иногда доводя до слёз.

Как известно, третьего не дано.  
Я всё время падаю. Где же дно?

● ● ●  
 Всё строимся в ряды, всё шествуем куда-то;  
 куда, чёрт побери, не знаю до сих пор.  
 А с дерева листок срывается, как дата,  
 как лист календаря иль осени узор.

В неё, красавицу, взглядимся чуть подробней,  
 в иероглифику кустарника, найдём  
 возвышенность сосны и Музы голос ровный  
 услышим вдруг в дожде, несносном, проливном.

Мусоля бытия зачитанную книгу,  
 глянь, откровение какое в ней нашлось:  
 грудной крик журавлей сродни прощенья крику  
 за всё, что с нами, друг, нечаянно стярлось.

Нам было невдомёк, когда, в начале лета,  
 лелеяли мы мысль совместного житья,  
 что грянет осень и потребует ответа  
 за всё, что не сбылось, бессонница моя.

ДиН РЕВЮ

Евгений Степанов

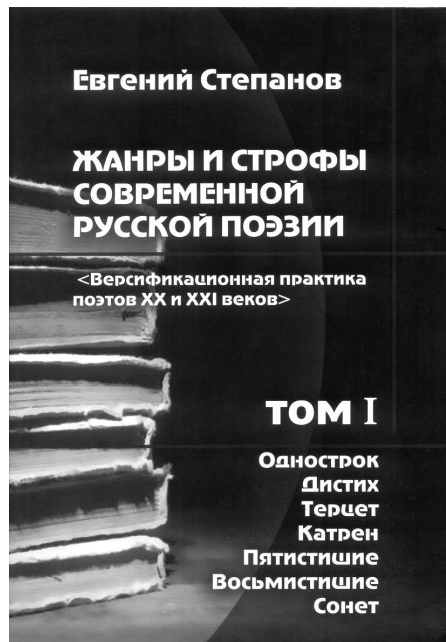
## Жанры и строфы современной русской поэзии

*Версификационная практика поэтов XX и XXI веков*

В трёх томах. Москва: «Вест-Консалтинг», 2013.— 904 с.

● ● ●  
 Безнадёжно садиться к бумаге,  
 когда на сердце нет ничего,  
 кроме слёз, этой клятвенной влаги,  
 сознавая с другими родство.

Безнадёжно таращиться в окна,  
 мерить комнату шагом, как зверь.  
 Тянет в рубище выйти на стогна  
 только русскую душу, поверь.



Евгений Степанов — филолог, лингвист и поэт, лауреат Отметины имени отца русского футуризма Д. Д. Бурлюка, международного фестиваля «ГЕЕД ВАСК» (Румыния), фестиваля имени В. Хлебникова «ЛАДОМИР» (Казань). Фонд имени В. П. Астафьева (Красноярск) признал Евгения Степанова в 2008 году в числе 11 лучших писателей России. Труд «Жанры и строфы современной русской поэзии. Версификационная практика поэтов XX и XXI веков» (издание в трёх томах) готовился к печати несколько лет. В книге представлены стиховедческие статьи и стихи Евгения Степанова, а также творчество наших талантливых современников. Ранее все эти произведения были опубликованы в журнале «Дети Ра», который выходит под эгидой Союза писателей XXI века и издательства «Вест-Консалтинг». Это антология, в которую вошли произведения десятков наших талантливых современников: Геннадия Айги, Анны Альчук, Сергея Бирюкова, Юрия Беликова, Алексея Верницкого, Андрея Вознесенского, Татьяны Виноградовой, Евгении Добровой, Елены

Зейферт, Валерия Земских, Сергея Зубарева, Елены Кацюбы, Константина Кедрова, Кирилла Ковальджи, Андрея Коровина, Нины Красновой, Вячеслава Куприянова, Евгения Лесина, Наталии Лихтенфельд, Фёдора Мальцева, Евгения Минина, Арсена Мирзаева, Андрея Мурая, Валерия Прокошина, Евгения В. Харитонов, Павла Хмары, Дмитрия Цесельчука и многих других. Выбор авторов для этой книги — инициатива одного человека, Евгения Степанова. В подготовленной к печати антологии — его личный (и, разумеется, субъективный) взгляд на современную русскую поэзию. В каждом томе широко представлены стихотворения и самого Евгения Степанова, а также его стиховедческие статьи по каждому из разбираемых в книге жанров. Они действительно крайне разнообразны: в антологии опубликованы исследования, касающиеся однострочков, дистихов, терцетов, катренов, пятистиший, восьмистиший, сонетов, верлибров, танкеток, листовертней, лингвобеленов, цифровой и визуальной поэзии, палиндромов, зауми, частушек, эпиграмм и пародий.



Екатерина Ратникова  
 Sancta Liliас



Земля в сентябре ненадолго становится раем.  
 Посёлок притих, малолюдн и неузнаваем,  
 Но ветви деревьев ещё не сквозят на просвет,  
 И воздух—как в детстве—сырой, кисловатый и чистый.  
 Зачем же так странно, так долго и горько молчишь ты,  
 И книги не в радость тебе, и тепло, и рассвет?

И я не пойму, что со мной,—как предчувствие злое,  
 Гнетёт эта зелень, седеющая желтизною,  
 Застывшая зелень, прекраснейшая из картин...  
 И мы так сейчас далеки—не взгляни, не потрогай.  
 Что—жизнь или смерть—окликает нас в памяти строгой?  
 Но каждый один перед нею—и только один.

Вот время, расставшись, болтаться по лесу, по саду,  
 Рассеянн мучиться; впрочем, пожалуй, нам надо  
 В Москву и—забыться делами, которых не счесть.  
 А нынче пойдём погуляем—нашла я заросший  
 Ничей огород, полный мяты и сливы хорошей,  
 Но, чур, только яблок невымытых—не есть!



Жаль, что знанием новым не станешь богат,  
 Поглядев, как ложится на город закат,  
 Воспеваемый многими воздухом багровый.  
 Глупо вздрогнешь, как пойманный за руку вор,  
 Не узнав чудным вечером собственный двор  
 Обнажённо-божественный, мерзостно-голый.

Есть особая правда в закатных лучах:  
 Каждый куст на виду, даже тот, что зачах,  
 Вкопан так—на авось или чью-нибудь милость.  
 Даже дом неприметный, забытый «под снос»,  
 Между двух новостроек нелепый нанос—  
 Всё теперь тем яснее, чем больше таилось.

И чем ярче лучи, тем уродливей дом,  
 Перед всеми казимый небесным судом,  
 Тем ничтожнее куст, уморённый безвинно.  
 Ты—свидетель, и жалок поэтому сам,  
 Со своей ностальгией по старым домам,  
 Со своими мечтами о саде старинном.



То было в иные годы,  
 Когда между двух веков  
 Москву покрывали воды  
 Рекламы и бутиков.

Бесследно дома тонули  
 Кварталами и поврозь  
 В богатом весёлом гуле,  
 Но мимо и как бы сквозь

Плыл дом на одном бульваре  
 С упорством святой ладьи,  
 И жили там Божьи твари,  
 Кто парами, кто один.

К окну подлетали птицы,  
 Умевшие всё успеть:  
 И ссориться, и кормиться,  
 И драться, и песни петь.

Внизу же по всем дорожкам,  
 А также по этажам  
 Изящно ходила кошка,  
 Бездельников сторожа.

Собака водилась тоже,  
 Хранила не кость—улав,  
 Но я появилась позже,  
 Лишь старость её застав.

Блажен во всех поколениях  
 Твой род, в ответвлениях всех,  
 О странник, на чьих коленях  
 Дремали ногами вверх,

С чьих рук чёрный хлеб клевали,  
 Ни крошки не сыпая вниз,  
 Чей голос встречали лаем,  
 Сходящим в счастливый визг...

То было во время оно,  
 Исчезло невесть куда;  
 Дом жёлтым был, двор зелёным,  
 А прочее—как всегда.

**Sancta Liliас**

Велик художник, что сумел создать  
Сюжет, надеждой грустной озарённый,  
О девушке, что умерла влюблённой  
И в небе не смогла не тосковать!

Она в раю, и золотом горит  
Чудесный сад, не знавший зла и муки,  
И светятся как будто изнутри  
Её одежда, волосы и руки.

Что, если прав был просветлённый принц,  
Под именем Сиддхартха нам известный,—  
И нет садов над сферой небесной,  
Ни ангелов, ни львов, склонённых ниц?

Кто жив, не видел смерти чистоту.  
Но знал художник о любви загробной  
И потому запечатлел подробно  
Живой цветок и девы красоту.

И нету больше дела до того,  
Что стало с девушкой, простой и тленной,—  
Глядят глаза с тоской самозабвенной,  
И семь светил украсили чело.

ДиН пародия

Евгений Минин

**Соображение во тьме****Откровенное**

*Осколки сна... видения... обман...  
Дрожит луна за тонкой занавеской.  
Над рукописью плачет Достоевский,  
за голову хватается Иван.*

Марина Вирта

Не спится... вдохновение... опять...  
Дрожит душа за тонкой занавеской.  
И ожидает суд прямой и веский  
Моя, стихами полная, тетрадь.  
И вот, перевернув последний лист,  
Под тонкой света лунного полоской  
Заплачет над стихами Заболоцкий,  
И схватится за строчку пародист.

**Сквозное**

*Я—сквозь себя, сквозь отражение смотрю...  
Но, выключая свет,  
легко ловлю соображение,  
что словно бы меня и нет...*

Лев Мочалов

Я помню чудное мгновение,  
когда пришла ко мне беда:  
во тьме ловлю соображение,  
соображая не всегда  
на уровне почти что геном,  
когда уже на склоне лет  
я сквозь себя смотрю рентгеном,  
хотя меня в квартире нет.

Геннадий Васильев

## ...И роли доиграем до конца

Глава из книги «Весенняя песня скворца»

С театром меня связывает прежде всего то, что я, как и моя жена Марина, — из породы активных и благодарных зрителей. И взыскательных, конечно.

Самая первая моя песня для театра прозвучала в спектакле Шарыповского театра — тогда народного, позже он стал муниципальным и получил название «Фаэтон». Я не писал её специально. Режиссёр Наталья Желтова ставила спектакль по пьесе Алексея Арбузова «Жестокие игры». Для начинающего режиссёра и любительской труппы это было серьёзной заявкой. Мы с Антоненко играли в этом спектакле. Понадобилась песня. У меня нашлась подходящая — на стихотворение Константина Симонова:

Если Бог нас своим могуществом  
Перед смертью отправит в рай,  
Что мне делать с земным имуществом,  
Если скажет он: выбирай?

И так далее. Пел её на сцене Андрей — для этого я специально научил его пяти гитарным аккордам. Ещё одну песню к тому же спектаклю я написал уже специально, на собственный текст, — она в спектакль не вошла по причине несовершенства. Но работать для театра мне понравилось. Спустя несколько лет та же режиссёр ставила «Трактирщицу» по пьесе Карло Гольдони. Опять потребовались песни. Я в театре к тому времени уже не играл — актёрские мои опыты не были удачными, но отношения поддерживал. Замечательно, что песню на сцене под аккомпанемент моего приятеля Алексея Ширинкина исполнял Сергей Сумин, которому, по собственному его признанию, медведь наступил всеми четырьмя лапами на оба уха сразу. Все три куплета он допел до конца, ни

разу не выбившись из тональности, — это была фантастика! Что искусство делает с людьми...

Потом были ещё песни к спектаклю по мольеровскому «Лекарю поневоле» — я иногда и сегодня исполняю их в сольных концертах. Текст одной из этих песен завершает настоящий раздел.

Но действительно серьёзная работа для театра началась у меня, когда познакомился с лесосибирским театром «Поиск», поэтом и (в то время) актёром этого театра Николаем Штромило и режиссёром Юрием Лобановым. Первый заказ — песни для спектакля по Булгакову, ни много ни мало — «Зойкина квартира». Я написал семь — в спектакль вошли три. Что-то режиссёр посчитал слишком прямо иллюстрирующим действие, где-то я просто не попал в его затею. Или затея изменилась — так часто бывает. Главная идея спектакля — нормальные люди играют чужие отношения, имея единственной целью как можно скорее уехать из охваченной революцией страны. Несмотря на то, что большая часть песен в спектакль не вошла, я благодарен Юре за этот заказ: сами по себе они состоялись, и я их охотно пою на концертах.

После я ещё дважды принимал посильное участие в работе над спектаклями театра «Поиск». Это была странная пьеса Эжена Щедрина и Юрия Каменецкого «До самой смерти...» — четыре «чёрных» анекдота, которые нужно было «связать» какой-то музыкально-поэтической темой. Тема сложилась — правда, прозвучала в конце спектакля в сногшибательной эстрадной аранжировке. Вторая и последняя театральная работа — песни к спектаклю по повести Михаила Булгакова «Собачье сердце». Ни одна из них в постановку не вошла.

А потом у Юры Лобанова случился инсульт, и больше он спектаклей пока не ставит.



*Из спектакля по пьесе Ж.-Б. Мольера «Лекарь поневоле»*

Простим друзьям обиды, простим коварство жёнам  
И роли доиграем до конца.

Ах, как это прекрасно—в партере, на балконе

Найти черты знакомого лица!

Злодействуя и мучась, врачау и калеча,

Пренебрегая именем земным,

Ах, как это прекрасно—их видеть каждый вечер

И каждый вечер поклоняться им!

Наш благодарный зритель, наш критик беспощадный,

Что нам сегодня приготовит он,

Когда финал наступит комедии площадной

И мы устало выйдем на поклон?

Гвоздики в целлофане, хрустящем аппетитно,

Аплодисментов терпкое вино—

Иль взгляды с укоризной, безмолвные, как титры

Прокрученного старого кино,

Забывтого и скучного кино?

Наш драгоценный зритель! Наш завсегдатай милый!

Не торопись рассерженно уйти.

Мы синяки и шишки замажем свежим мелом,

Передохнём, чтоб на помост взойти,

Чтобы по новой на помост взойти.

### Печальный романс

#### Обольянинова, бывшего графа

Станет ли кроликом бывший удав,

Бывшая курица—птицей?

Станет тапёром потомственный граф

Иль предпочтёт застрелиться?

Бросят тапёру ломаный грош,

Пальцы сорвутся с клавиш...

Хочешь не хочешь, а запоёшь,

Хочешь не хочешь—сыграешь.

Мир безнадёжно похож на мираж,

В нём так легко заблудиться.

Станет судьбой чья-то старая блажь,

Родина—заграницей.

Честь не спасти, да и жизнь не спасёшь,

Нас выбирает случай.

Бросят тапёру ломаный грош—

Он полечку отчебучит!

Жизнь развивается как-то не так

И не сулит веселья.

Будь то любовь или кабак—

Кончится всё похмельем.

Сквозь паутину похмельной мути,

В салат уронив лицо:

«Ах, господа! Все мы—бывшие люди!»—

Услышишь в конце концов...

### Романс Аллы Вадимовны

Ах, нет, я не буду, не буду

Ловить отраженье в стекле!

Моё белокрылое чудо,

Мой ангел живёт на земле.

Я крикну—он тотчас ответит,

Заплачу—и он прилетит.

И лёгкий, и быстрый, как ветер,

Уже он, должно быть, в пути.

Войдёт он—объятая раскроет

И чувства не станет беречь.

И мы с ним поминки устроим

По дням ожидания встреч.

Часы полетят, словно санки

По белому склону зимой...

Ну что же ты медлишь, мой ангел,

Единственный ангел земной?

Ну что же ты медлишь, о Боже?

Ну что ж не приходишь ко мне?

А может быть, нет тебя больше

На этой безумной земле?

Ты где-то кружишь надо мною...

Тебя—ни понять, ни обнять.

Должно быть, ночью порою

Опасно по небу летать...

Довольно. Не буду, не буду

О вечной любви на земле.

Склоняет к холодному блюду

Меня отраженье в стекле.

### Песенка китайца Газолина

На востоке есть Китай,

А в Китае есть Шанхай.

А Шанхае—мой родня,

Он скучает без меня.

Я живу Москве чумной,

Революцией больной.

Денег нету, хлеба нету,

Жизни нету никакой.

Чтоб Китай билет купить,

Надо денег накопить.

Мой пойдёт гулять туман,

Ножик спрячет на карман.

Ах, Шанхай, ты где же, где же?

Мой по улице пойдёт.

Или он кого зарежет,

Или кто его убьёт.

## Первый романс Аметистова

Ах, mon ami, ах, cher maman!  
 Вся моя жизнь — такой роман,  
 Где рядом гуляют тюрьма и свобода,  
 Тугая мошна и дырявый карман.

Я жил на севере, жил на юге,  
 Балдел на водах, сидел на воде.  
 Мои покинутые супруги  
 Создали клуб рыдающих дев.

То я, как Карл, воровал кораллы,  
 То я, как Клара, их укрывал,  
 То я в роскошных живал кварталах,  
 То я последний сухарь жевал.

Я, как медуза, менял окраску,  
 То я бледнел, то — pardon! — краснел.  
 То покупал я чужую ласку,  
 То я собой украшал панель.

Я изменял именам, как дамам,  
 В чужие судьбы влезал, как в такси.  
 Я бы, наверно, погиб, когда бы  
 Не вы, mon dieu. O, grand merci!

## Куплеты Зойки и Обольянинова

Куда ни глянь — и тут, и там  
 Хам водит дурака.  
 Страна — арена, балаган!  
 Хам водит дурака.  
 Дурак в дурацком колпаке,  
 А хам — без колпака.  
 Из года в год, рука к руке,  
 Хам водит дурака.

Куда ни кинь — и тут, и там  
 Бал правят подлецы.  
 Туда пятак, сюда пятак —  
 Всё те же подлецы.  
 Мздоимец по лицу — простак,  
 Да подлая душа.  
 Туда пятак, сюда пятак —  
 И вот уж ни гроша.

Куда свой взгляд ни положи —  
 Все требуют одно.  
 Ты в дверь им кукиш покажи —  
 Они спешат в окно.  
 Зайди с бубей, зайди с червей,  
 Монетой придави...  
 Все подлецы — одних кровей,  
 Как ты их ни зови.

## Второй романс Аметистова

Ни блеска, ни лоска,  
 Ни сна, ни рассвета,  
 Ни выпить, ни сесть, ни присесть.  
 «Пардонте, мерсите!»

Блондинки, брюнетки —  
 Да не на ком душу отвесть.  
 Швей-мотористки,  
 Кокотки-модистки —  
 За что мне такая родня?!  
 Ах, оставьте, хотя бы на время  
 Оставьте меня!

Там, за ночными окнами,  
 Месяц, как нож, кривой.  
 Я вам не шут гороховый,  
 Я вам субъект живой!  
 Расправлю лицо, улыбку сотру,  
 Услышу, как листья шуршат на ветру,  
 Как фонари качаются...  
 Как что-то где-то случается  
 Ночную порой...  
 Увы — не со мной.

Ах, бросить бы карты  
 Рубашками книзу,  
 Козырную масть заказать,  
 И дать кому надо,  
 И, выправив визу,  
 Куда — хоть куда! — умотать.  
 Гори он хоть белым,  
 Гори он хоть красным,  
 Родимый российский притон!  
 Пусть и там я не буду обласкан —  
 Свободен зато.

Там, над чужими крышами,  
 Как чаша, луна полна.  
 Не до конца я выжатый,  
 Выпитый не до дна!  
 Расправлю лицо, морщины сотру,  
 Услышу, как листья шуршат на ветру,  
 Как фонари качаются...  
 Такое под ними случается  
 Ночную порой...  
 Увы — не со мной.  
 Не со мной.  
 Увы.

## Притча о Великом Алхимике

За много веков до строительства БАМа,  
До видеофильмов с Делоном Аленом  
Господь наш из глины схимичил Адама  
И первым алхимиком стал во Вселенной.  
А из сэкономленного сырья  
Томную Еву сваял.

Но, видимо, дрогнула где-то рука  
Иль глина была нехорошей,—  
Адам стал в Эдеме валять дурака,  
И ангелам сделалось тошно.  
То он райской птице крыло оборвёт,  
Хлебнув дармового нектара,  
То с древа запретного плод украдёт,  
То Бога ругнёт под гитару.  
Господь поглядел, бороною тряхнул—  
И вниз человек спихнул.

С тех пор поменяли свой цвет небеса,  
Века потонули в болоте.  
Мы хлеб добываем свой в поте лица,  
А хочется—чтобы не в поте.  
И как-то один пожиратель молитв,  
Нуждой, как подушкой, придушен,  
Отчаявшись, Господа начал молить,  
Хоть тот его мог и не слушать.  
«Господь,—говорил,—научи хитреца,  
Как золото лить из свинца!»

Господь посмеялся. Потом помолчал.  
Раздумывал долго о чём-то.  
И бороду дёрнул. И в Божьих очах  
Запрыгал отчаянный чёртик.  
И Он человеку сказал: «Научу!  
А после—похохочу».

Истории этой не будет конца,  
Хоть новый уж век у порога.  
Хитрец своё золото льёт из свинца—  
Свинца человечесьих пороков.  
Сто раз небеса поменяли свой цвет,  
Пророков сменили пророки.  
Чем больше чеканит алхимик монет,  
Тем в людях прочнее пороки.  
Господь посмеялся, а нам до конца  
Носить в себе тяжесть свинца.



*Из спектакля Э. Щедрина  
и Ю. Каменецкого «До самой смерти...»*

Мы ценим одиночество момента  
и, кушая, не пачкаем манжет.  
Но жизнь, как будто Мёбиуса лента,  
нам то и дело путает сюжет.

На чёрта ли, на классика надейся,  
а у людей—всё так, как у людей:  
несовместимы гений и злодейство,  
но гением рождается злодей.

Любовь бежит измены, как отсрочки,  
но от любви едва ли убежишь.  
Куда б ни шёл—к одной приходишь точке,  
поскольку лентой Мёбиуса—жизнь.

Вот зелен лист, хоть осень на исходе,  
зато весной желтеет без причин.  
Вот женщина стремительно уходит,  
уходом никого не огорчив.

Её уже никто не остановит.  
Её уже как будто бы и нет.  
Но поворот сюжета наготове,  
и вот опять ломается сюжет.

Поверить ли, что, новой страстью мучась,  
мы будем жить, не опуская глаз?  
Поверить ли, что ждёт иная участь  
того, кто промахнулся в первый раз?

Вострим ли лыжи, смазываем санки,  
как ни спеши—вернёшься к одному:  
зелёный лист, желтеющий с изнанки,  
и женщина, спешащая во тьму.

Мы всё же доберёмся до финала,  
передохнём и пот сотрём с лица.  
Вот он, финал... Но мышка пробежала—  
и сказка начинается сначала,  
и будет продолжаться без конца.

75 лет со дня  
рожденияЛирическая исповедь  
Анатолий Третьяков

Анатолий Третьяков

## Лирическая исповедь

## Вера

Жизнь, что ни год, становится грубей.  
Всё кажется: беда стоит за дверью.  
И если я не верю сам себе,  
Скажите мне: кому же можно верить?

Извечная борьба добра и зла.  
Любовь и ненависть—они родные сёстры.  
Не развязать гордиева узла,  
Зато мечом его разрезать просто!

И всё же радость тоже быть должна,  
Хоть я давно забыл её приметы.  
Так степь весной пожаром сожжена,  
Но вновь трава опять по пояс летом!

## Лирическая исповедь

Когда полны высоких дум герои:  
Один ждёт бури, а другой затишья,—  
Лирическая исповедь порою  
Вмещается в одно четверостишье!

Поэтов много! Что примеры множить?  
А Пушкин всех понятней, ближе всем:  
«Я вас любил: любовь ещё, быть может,  
В моей душе угадала не совсем».

И здесь не надо прибавлять ни слова:  
Лирическая исповедь готова!

## Неотправленные письма

Давно уж писем не пишу—  
Да и писать, пожалуй, некому...  
Но я их в памяти ношу,  
И каждое теперь как реквием.  
Зачем мне помнить адреса?  
Да их и нету в настоящем.  
Лишь помню лица, голоса—  
Не бросишь их в почтовый ящик.  
Мне снятся дивные те дни,  
Как далеки теперь они,—  
Там наша молодость бушует!  
Друзья, подруги прежних лет,  
Быть может, их на свете нет?  
А я всё мысленно пишу им!

## Надежда

Этот болью и страхом наполненный дом!  
Наступают рассветы в больницах не скоро.  
И в палатах, как в камерах перед судом,  
Подсудимые ждут своего приговора.

Что-то скажут, как судьи, больным доктора?  
Но от их приговоров нам некуда деться...  
Что же? Будем терпеть—родились не вчера!  
Лишь не впасть бы на старости в детство!

## Зов

*Анжеле*

В снах забывались дни моей печали,  
Хоть поезда меня ночами мчали  
Куда-то. И всё время на восток.  
Мелькали станции, мелькали полустанки,  
Потом в тулупе я садился в санки,  
Испытывая ужас и восторг!  
Но стали путешествия всё реже,  
Хоть за окошком виды были те же:  
Высотные дома и пустыри.  
А думы были так же тяжелы,  
И вьюги ночью так же были злы  
И выли, не стихая до зари.  
В сны, как в кино, ходить я отучался.  
И ночью самовольно отлучался  
Ото всего, чем был заполнен быт.  
И не хотел я жить в плену былого,  
Но речи повторялись слово в слово—  
И знак вопроса не был позабыт!  
А был он некрасивым и горбатым,  
Как Квазимодо—я о нём когда-то  
Читал в далёком детстве у Юго...  
Мне кажется, что ты всё ждёшь ответа:  
Любил ли я? Что говорить про это?  
Вопрос не нужен—больше нет его!  
И нет тебя. И никогда отныне  
Не возгорится, но и не остынет  
Былое чувство—в снах и наяву.  
И никуда уже я не уеду,  
Раз нет тебя... Зачем вести беседу?  
Ты умерла. А я тобой живу!



Устану и глаза закрою:  
И сразу летнею порою  
Дом деревенский виден мне,  
Где кошка жмурится в окне.

На ставнях краска отслоилась,  
Гнездо давно уж не лепилось  
Усердной ласточкой. Она  
Теперь не вьётся у окна.

В канаве сточной преют листья...  
Когда приходит вечер мгlistый,  
Зажётся лампа на столе—  
Огонь цветком горит в стекле.

Вокруг родители и дети.  
И я смотрю на лица эти,  
Но у вечернего огня  
Уже давно не ждут меня.

### Грусть

Грусть приходит ночами,  
В час, когда ей захочется,  
С чернотой печали,  
С холодком одиночества.

Но волнения и робости  
Нет! Откуда им взяться?  
Я на дне жуткой пропасти,  
Так что поздно бояться.

Сделал шаг... И прощения  
Не прошу. В чём мне каяться?  
Нет ни злобы, ни мщения,  
Никому не икается.

Грусть приходит ночами,  
Только сердце не мечется.  
Никакими врачами  
Грусть, наверно, не лечится.



Ветер в роще зашумит.  
Полетят снежинки косо,  
Будут жалить, словно осы.  
Грусть мне сердце защежит.

...Обойду сугроб с опаской—  
Много ям занёс снежок.  
В поле высится стожок—  
На снегу стоит, как пасха.

### Сень

Сень—навес над алтарём...  
Ну а мы под сень деревьев  
Летом от жары уйдём—  
Пригодится даже скверик!

И, не думая о том,  
Что святого в нас немного,  
Осенив себя крестом,  
Отправляемся в дорогу.

Про алтарь забыв совсем,  
Хоть не чёртово мы семя,  
Но привычно: «Сень, а Сень!»—  
Окликаем друга Сенью.

Без молитвы мы живём,  
Бога всеу поминаем...  
Сень—навес над алтарём,  
Хорошо, хоть это знаем!

### Гражданин

Хоть мне и не родня  
Румяный долгожитель,  
Косится на меня  
Судьбы моей вершитель.  
Наверное, грешно,  
Что я на этом свете  
Подзадержался, но  
Не я, а Бог в ответе...  
Привык нужду терпеть,  
Любил мечтать, был хворым,  
Я мог бы умереть  
Однажды под забором.  
Не я такой один,  
Законами повязан,  
Примерный гражданин:  
И должен, и обязан!  
А на права мои  
Есть оговорок столько!  
За них вести бои,  
Пожалуй, мало толку.  
Владыка моего  
И живота, и духа—  
Избавит от всего,  
Прихлопнет, словно муху!  
А всё ж я не боюсь  
Ни рока, ни злодеев.  
Хоть редко, но молюсь,  
На Господа надеюсь.



## Алексей Журавлёв

# Комиссия

Комиссию ждали в среду. А приехала она в пятницу. Правда, среда намечалась в июле, а пятница состоялась аж в феврале, но это и к лучшему: в июле эта комиссия была бы совсем ни к чему. Она и в феврале-то никого не обрадовала, а уж в июле...

Тогда в Кедровом происходили события странные, если не сказать невероятные. Афанасий Петрович до сих пор не верит, что упомянутые события не привиделись ему в страшном сне, а при встрече с Равшаном или с кем-нибудь из его компании вздрагивает и настороженно оглядывается. Равшан же совершенно освоился в Кедровом и опасений Афанасия Петровича не разделяет. Подумаешь, дескать, комиссия! Жили до сих пор без комиссии—и ничего. Мало ли китайских бригад работает на просторах Красноярского края: одной больше, одной меньше... кто их считает?... Документы у всех в порядке, участковый лично проверял и ушёл вполне удовлетворённым. Договор на аренду участка у Федотова озера тоже ни у кого никаких вопросов не вызывал. Чего тогда расстраиваться?

Афанасий Петрович вздыхал, согласно кивал головой, но по-прежнему вздрагивал и оглядывался. Во всём Кедровом правду знали четверо. В своё время пришлось ввести в курс дел главу администрации, благо мужик он был нормальный, без предрассудков, и интересы посёлка чтит не меньше своих собственных; а также начальника реммастерских. Но в таких делах и одного-то бывает слишком много, а четверо—это такая куча народу, что хоть вешайся!.. Впрочем, пока всё обходилось, если кто-то что-то и подозревал, то свои сомнения держал при себе. Народ в посёлке разный, но в основном все свои, приезжих практически не было. Да и кому захочется тащиться в такую глушь? Разве что Чжан... Про него в посёлке разное говорили. Павлушка, к примеру, всем доказывал, что Чжан скрывается в Сибири от мести якудза. Далеко не все в посёлке знали, что якудза—это японская мафия, а не китайская, но Павлушку и без этого никто всерьёз не принимал. Балаболка—он и есть балаболка!

Так вот, народ разный, но совсем дураков не было, выгоду от бригады псевдокитайцев почувствовали все, причём выгоду настолько очевидную, что ни о каких сомнениях речи не могло быть.

Какие сомнения, если такая халява накатила?! Шутка ли: в посёлке не осталось ни одного пьяницы! Нет, выпивать выпивали, даже Никита сходил на поклон к Равшану и упросил немножко себя искривить по поводу выпивки. Равшан долго делал вид, что по-русски совсем не понимает, пожимал плечами, даже ругался на своём странном языке, но потом всё же поддался на уговоры. То есть выпивали, тем более по праздникам или после бани, но в меру, никаких тебе загулов на неделю с мордобитиями и примирениями, как бывало раньше. В посёлке заработал клуб, всякие кружки с секциями. Одним словом, жизнь заметно изменилась в лучшую сторону. Но ведь паршивых овец никто не отменял...

Так что комиссию Афанасий Петрович встречал в растрёпанных чувствах. Особенно после заседания «масонской ложи», как обозвал их посиделки Никита. Который, кстати, и был инициатором собрания... или заседания... совещания, одним словом.

Пришёл он, Никита то есть, к Афанасию Петровичу накануне приезда комиссии, в четверг. Вежливо поскрёбся в дверь, бочком вошёл в кабинет, долго переминался с ноги на ногу, вздыхал и мял в руках свой всенепременный кнут. Афанасий Петрович с интересом наблюдал за таинственными манипуляциями друга, но молчал, предоставляя Никите возможность заговорить первым. Тот, в конце концов, решился.

— Афанасий Петрович, ты в мастерских давно был?— начал он издалика.

— Сегодня с утра заходил, Чапая клизму вставлял. А что,—насторожился Афанасий Петрович,—стряслось что-то? Я ничего такого не заметил.

— А за что клизму-то? Чапай вроде мужик нормальный,— фальшиво заинтересовался Никита. — Все вы нормальные, пока спите зубами к стенке,— отпарировал Афанасий Петрович.— Хорошая клизма ещё никому не повредила. Ты не мямли, говори, с чем пришёл.

— Ты, Петрович, начальник, одно слово, тебе виднее,— Никита старательно делал вид, что вопроса не заметил.— Но Чапай нормальный мужик, мастерские на нём как на фундаменте стоят. А если фундамент порушить, то здание... оно, сам понимаешь, стоять не сможет. А из таких зданий...

— Никита, ты сейчас наскребёшь на свой хребет. Кнут отберу и отхожу по заднице. Говори, что надо, или выметайся, без тебя проблем хватает.

— Кну-ут?—Никита почесал кнутом в затылке и сунул его за голенище унта.— Не-е, кнут я тебе не дам, это святое. Сам ведь знаешь: трубку, лошадь и жену...

— Ну хватит трепаться,—окончательно рассердился Афанасий Петрович.— Дружба дружбой, но проблем действительно полно. Если надо что, говори по делу, а если побалакать зашёл, то время неудачное выбрал: завтра комиссия нагрянет, а Глашка до сих пор в декретном, в бумагах бардак...

— Так я как раз про комиссию эту и хотел поговорить,—оживился Никита.— Непокойно мне как-то, не к добру они прутся. Что им здесь делать в феврале? Не на рыбалку же?

— А чем тебе зимняя рыбалка не нравится?

— Да мне любая не нравится, ты же знаешь, не рыбак я. Это Сидорченко твой любитель, так он был недавно, месяца ещё не прошло. Так что не на рыбалку они едут. Ты вот знаешь, кто в этой комиссии?

— Не особо,—хмуро признался Афанасий Петрович.—Зам из администрации, Сидорченко из агрокомитета, а про остальных не знаю. Никита, кончай темнить! Мастерские-то к чему приплёл? —Мастерские—это один из кусочков мозаики, пазл, так сказать.

— Чего?—изумился Афанасий Петрович.—Ты откуда слов таких нахватался?

— Темнота!—вздыхнул Никита.—Пазлами цивилизованные люди называют то, что ты в простоте и невежестве своём называешь мозаикой. Отстал ты от жизни, утерял нить событий и утратил способность адекватно анализировать события, происходящие вокруг тебя.

— Никита,—проникновенно промурлыкал Афанасий Петрович,—а не пошёл бы ты на хрен?.. В смысле, на ферму. Ферма как раз то место, где можно наиболее адекватно...

— Петрович, ты не злился,—замахал руками Никита.—Я же не специально. Тебе бы с моё пообщаться с Равшаном, ещё не так бы заговорил! От меня уже мужики шарахаются.

— Это с чего вдруг?

— А вот как начинаю всякую заумь нести, так они пальцем у виска покрутят и стороной обходить начинают.

— Так не носи, кто тебя заставляет?

— Ага, тебе хорошо говорить,—сокрушённо вздохнул Никита,—а у меня после твоего Равшана ум за разум заходит.

— Это с чего это он мой?—возмутился Афанасий Петрович.—Не ты ли их тогда в контору притащил?

— Ну притащил...—уныло согласился Никита.— Кто же знал, что так получится?

— Да что случилось-то?—Афанасий Петрович понял, что Никита говорит серьёзно, не придурачится, как обычно, и встревожился не на шутку.—Каким боком комиссия к мастерским относится? И при чём здесь Равшан?

— Короче, так!—Никита сел в «посетительское» кресло и сосредоточенно сдвинул брови.—Есть у меня знакомый в Красноярске, хороший мужик, мы с ним лет двадцать уже знакомы. Не сказать, что друг закадычный, но приятельствуем, хоть и редко встречаемся. Так вот, звонит мне Ирек вчера вечером... Да, забыл сказать: работает он в органах. Не в ментуре, а в *органах*,—Никита поднял указательный палец и со значением посмотрел на Афанасия Петровича.—Ну, ты понял, короче. Не шишка, конечно, но и не мальчик на побегушках. Зовут его Ирек, он татарин, а имена у них... ладно, не в этом дело. Так вот, звонит он мне вчера вечером и по большому секрету сообщает, что комиссия эта не просто так едет, а был у них сигнал про наш Кедровый. Стуканул кто-то в администрацию, а оттуда переслали в органы. Что в этом сигнале, Ирек не знает, но человек ихний в комиссии присутствует. Причём самое поганое—неизвестно, кто из них...

— А что, Ирек твой не знает, с кем работает?—недоверчиво спросил Афанасий Петрович, привычным жестом доставая из стола бутылку, стопки и шмат сала.—Как-то всё это... слабо верится. Сказки Марь Ивановны. На фиг мы сдались органам этим? Что, кстати, за органы—ФСБ, что ли?

— А чёрт их знает!—Никита выглянул в приёмную, закрыл плотнее дверь и повернул ключ.—Может, ФСБ, а может, ещё какая гадость. Ирек сильно-то не распространялся, а я не расспрашивал. Но что в органах—это точно.

Выпили, закусили, помолчали, дымя сигаретами. Афанасий Петрович хотел налить по второй, но Никита отрицательно помотал головой.

— Нам, Петрович, голову надо иметь тверёзую, потому что знаешь ты прекрасно, что может понадобиться органам в Кедровом. И я знаю. И Осип из поссовета...

— Из поселковой администрации,—машинально поправил Афанасий Петрович.

— А, какая разница, как они сейчас обзываются,—махнул рукой Никита.— Чапай ещё знает, но он мужик кремень, из него клещами ничего не вытянешь. А вот Осип... если на него надавят... короче, пыток он не выдержит.

— Тыфу ты, болтун!—вздрыгнул Афанасий Петрович.—Какие пытки, что ты несёшь?

— Несёшь не несёшь...—Никита походил из угла в угол, постоял у окна, посмотрел на улицу.—Много мы знаем про нынешние органы? Дело-то ведь серьёзное, государственного масштаба. Полковник этот не шутил, когда обещал танки пригнать и тайгу прочесать. Ну ты же сам понимаешь: если

приспособить эту компанию равшановскую для стратегических военных надобностей, мы же Америку за пояс заткнём, как... как вот кнут за голенище. А мы эту стратегию на болоте прячем. То есть мы с тобой, Петрович, Родину не любим и потому есть предатели своего Отечества. А предателям на Руси во все времена...

— Никита, кончай панику наводить, и так тошно. И перестань по комнате мельтешить, в глазах рябит,—Афанасий Петрович повертел в руках бутылку, потом неуверенно предложил:—Может, ещё по одной? А то как-то плохо думается.

— Ну, давай,—неохотно согласился Никита.

Выпили ещё по одной. Пожевали сала, поглядывая друг на друга, без всякого удовольствия закурили ещё по одной: Никита, когда ходил «искривляться» к Равшану, заодно и курение выхлопотал. А Афанасий Петрович корректировать свои вредные привычки отказался напрочь: на то они и привычки, чтобы к ним привыкать!

В дверь кабинета негромко постучали. Афанасий Петрович быстро ликвидировал следы застолья, махнул рукой Никите. Тот открыл дверь. В кабинет вошёл начальник реммастерских Василий Иванович Ярошенко. По фамилии в посёлке его мало кто звал, в основном Чапаем или Чапавым—за имя-отчество и пышные усы. Василий Иванович давно уже перестал обижаться и откликался на Чапаева как на собственную фамилию. Иногда, правда, ворчал, что начал уже забывать её, фамилию эту.

— Что это вы заперлись в рабочий день?—подозрительно спросил Чапай, оглядывая кабинет и принохиваясь.—Опять водку пьянствуете?

— Вот, лёгко на помине,—обрадовался Афанасий Петрович,—только что тебя поминали. Присаживайся, у нас тут как бы совещание.

— По поводу?—Василий Иванович уселся в кресло, сложил руки на коленях и приготовился слушать.—Комиссию обсуждаем,—Никита недовольно покосился на занятое кресло и сел на стул.—Есть какие-нибудь соображения? Как, кстати, самочувствие после клизмы?

— Эх ты, трепло!—привычно посетовал Афанасий Петрович.

Василий Иванович вопросительно поднял брови, уселся поудобнее и... промолчал. Он вообще был человеком неразговорчивым, предпочитал делать, а не говорить.

— Дошли до нас слухи, что неспроста комиссия эта приезжает,—осторожно начал Афанасий Петрович.

Чапай пожал плечами и снова промолчал. Никита достал кнут, с раздражением повертел его в руках, открыл было рот, чтобы что-то сказать, но передумал. Афанасий Петрович помялся, бесцельно открывая и закрывая ящички стола, потом так же осторожно продолжил:

— Вроде бы как серьёзно заинтересовались Кедровым, в комиссию затесался некий компетентный товарищ. Информация непроверенная, но дыма без огня... сам понимаешь.

— Умеешь ты, Петрович, настроение испортить,—в голосе Чапая чувствовалась укоризна. Совершенно безосновательная, между прочим, и в иное время Афанасий Петрович не преминул бы провести среди Василия Ивановича профилактическую беседу по поводу субординации и посяганий на честь и достоинство руководства, но сейчас ему было не до этого.

— Чапай, ты колись, облегчи душу,—не вытерпел Никита.—Говорят, Колька твой в город зачастил, дела у него, видите ли, там образовались. Не он ли настучал там про наши дела?

— Не болтай чего не знаешь!—Василий Иванович поморщился как от зубной боли.—Не знает он ничего про наши, как ты выразился, дела. Кольку в город переманивают, работу предложили интересную. Я ведь как раз по этому поводу и пришёл. Ты бы, Петрович, придержал его как-нито, а?

— Чем это я его придержу?—удивился Афанасий Петрович.—Он парень молодой, ему перспективу подавай. А у нас какие перспективы?

— Перспективы у нас такие, что никаким столицам не снились,—Василий Иванович принялся загибать пальцы.—Оборудование и станки в мастерских самые современные, кровью и потом добытые. Знания под боком такие, что дух захватывает. Да ты же и сам всё знаешь! Мы тут таких дел можем наворотить, что столицы обзавидуются.

— Наворотить мы завсегда пожалуйста,—проворчал Афанасий Петрович.—А кто потом расхлёбывать будет? Мне и так уже из агрокомитета звонят, интересуются: откуда у нас такая экономия электроэнергии, угля и горюче-смазочных материалов? И что мне им говорить? Что Василий Иванович Ярошенко под старость лет научился чудеса творить и фокусы показывать?

— А что сразу Ярошенко-то?—обиделся Чапай.—Других кандидатур нет, что ли?

— Кто, например?—Афанасий Петрович вопросительно посмотрел на Чапая, потом на Никиту.—Давайте на меня всех собак навешаем. Или на Осипа. Вот, мол, глава администрации пожелал, чтобы у всех сельчан в домах было централизованное отопление, а мы что, мы только приказы выполняем. Котельную вот модернизировали по англо-американским технологиям... А если, не дай бог, там хоть один толковый мужик найдётся, в комиссии этой, да поинтересуется, что это за технологии такие и где мы их накопили? И за какие шиши?

— Петрович, не заводись,—примиряюще сказал Никита.—Гостей мы накормим, напоим и восвоемся отправим. В первый раз, что ли?

— А не ты ли сам мне только что всяких страстей наговорил?—Афанасий Петрович сбавил обороты,

остывшая. — Нет, в самом деле: на улице зима, метёт, мороз, а в посёлке ни одна труба не дымится. Как мы это объяснять будем? На ферме оборудования добавилось, в мастерских — станков, то да сё, а энергии меньше стали потреблять. Это как?

— Так зима ведь, — неуверенно предложил Василий Иванович. — Не сезон. Уборочная кончилась, посевная ещё не началась. Потому экономия.

— Угля? — ехидно переспросил Афанасий Петрович.

— Почему угля?.. Ну, и угля тоже... У нас же отопление электрическое... — Чапай понял, что концы с концами не сходятся, и сконфуженно замолчал.

— Петрович, если тебе нужен дым, то никаких проблем, дым будет, сколько хочешь, — Никита излучал оптимизм и уверенность. — Печи же никто не разбирал, затопят ради такого случая.

— С чего это затопят, если обогревалки жарят так, что хоть окна отворяй? — не согласился Афанасий Петрович. — Это надо ходить, что-то объяснить, как-то уговаривать... Потом разговор не оберётся, кляузы начнутся, проверки из Красноярска, из Ачинска... Мигом всё вскроется! И нас тогда, друзья разлюбезные, всем скопом на цугундер.

— Надо Равшана звать, — подвёл итог разговору Никита. — Он нас подбил на этот кавардак, пусть теперь сам и выкручивается.

В кабинете повисла тягостная тишина. Вот вроде и привыкли уже к Равшану и его компании, приняли, так сказать, в коллектив, но все четверо, включая отсутствующего главу администрации, всегда, каждую минуту помнили, что никакие это не китайцы, а вовсе даже инопланетяне. Странно, конечно, что инопланетяне оказались так похожи на китайцев, но... да и не похожи они, даже на китайцев. Всегда вежливые и предупредительные, они, однако, никогда не улыбаются. Никто. Ни разу! Равшан начал однажды объяснять что-то про лицевые мускулы и культурно-этнические традиции, но в итоге никого не убедил — и махнул рукой: терпите, мол, приспособятся, постепенно втянутся, научатся и улыбаться... наверное... Осип с Чапаем, возможно, и приняли всё за чистую монету, но Афанасий Петрович и Никита — они-то помнили, что Равшан с Джамшутом улыбались при первой встрече. Да ещё как улыбались! А потом у них, видите ли, мышцы перестали работать как нужно. Фигня какая-то!

И говор их чудной — не то чириканье, не то мяуканье... аж мурашки по телу. Правда, слышать его доводилось лишь Афанасию Петровичу и Никите, да и то в первые дни. По-русски, кстати, уже через месяц в бригаде Равшана говорили все. С ошибками, путая падежи и склонения, но говорили. Джамшут на бытовые темы мог объясняться вполне сносно. А вот Равшан!..

Афанасий Петрович не был особым докой в филологии... да и не особым тоже не был, а потому полагал, что Равшан говорит по-русски лучше всех в посёлке. Именно так и должен звучать настоящий богатый русский язык! Все разговоры о том, что односельчане шарахаются от Равшана как чёрт от ладана, Афанасий Петрович склонен был считать сплетнями, наветами и преувеличениями. Особенно фонтанировал сплетнями и наветами Никита. — Ты пойми, — убеждал он Афанасия Петровича при очередном разговоре, — люди так не разговаривают. С такими завитушками и выпендрёжками можно читать какую-нибудь научную хрень, а не разговаривать с бабой Нюрой в посёлке Кедровый... или Кедровом?.. у нас в посёлке, короче. Он, понимаешь, про погоду рассуждает, а я половины слов не понимаю.

— Так, может, это ты такой тупой? — отбивался Афанасий Петрович. — Я, к примеру, все слова понимаю.

— Так это ты! — всплеснул руками Никита. — С тобой он нормально, по-людски разговаривает. С тобой и Чжаном. А с остальными так, как раньше дикторы в телевизоре говорили: вроде и по-русски, а о чём — не понятно.

— Никита, ты понимаешь, что сейчас брякнул? То есть мы с Чжаном тупые, поэтому с нами как с дошколятами, а все остальные, стало быть, Спинозы. Так, что ли?

— А чёрт его знает! — Никита повертел в руках кнут, пожал плечами. — Вас с Чжаном Равшан уважает, это к бабке не ходи. Так вроде и остальных уважает, со всеми вежливый, здоровается, ни с кем не ругается... Почему с вами по-другому разговаривает, ума не приложу.

— А чего приложишь? — хохотнул Афанасий Петрович.

— В каком смысле?

— Ну, ты вот сказал «ума не приложу». Умно сказал, грамотно. Раньше так не говорил...

— Ни фигя, я и раньше это выражение знал, — запротестовал Никита.

— Знал. Но не употреблял. А знать и употреблять — это две большие разницы.

— Ага, мне бы за эти «две большие разницы» Равшан полчаса мораль читал. Типа: «Современные толковые словари однозначно трактуют ихтиологию выражения...»

— Чего-чего они трактуют?

— Да иди ты! — обиделся Никита. — С ним как с человеком, а он ржёт.

— А объясни-ка, мил друг, ихтиологию слова «ржёт», — веселился Афанасий Петрович. — То есть ты обозвал начальника сивым меринном и не поморщился?

— Попомнишь ты ещё мои слова, — Никита махнул рукой и насупился. — Спихватись, а уже поздно будет.

— Так чего спохватишься-то? — допытывался Афанасий Петрович. — Чего ты от меня-то хочешь? Чтобы я поставил Равшана в угол?

Одним словом, не внял Афанасий Петрович предостережениям Никиты. Да и как он мог внять, что предпринять? Принятое однажды решение, во многом спонтанное, отрезало дорогу назад. К тому же Равшан со своей бригадой ничего плохого никому не сделал, даже как раз наоборот. Что же его теперь, гнать из посёлка за всё хорошее? Кстати, Никита с тех пор ихтиологию с этимологией не путал, более того — приблизительно знал значение обоих слов. Тоже польза!

Народ в посёлке поглядывал на Равшана с некоторым недоумением, но не более того. Охотно обращались к нему за советом; погоду, к примеру, он предсказывал куда точнее Росгидромета. А то, что китаец так быстро научился говорить по-русски, да ещё так здорово — ну... способности у человека, бывает. Вон кузнец Иван подковы разгибает голыми руками, а двух слов без мата связать не умеет, так что же его, в китайцы записывать?

Размышления Афанасия Петровича прервал Чапай, выразительно покашляв и переспросив: — Ну что, зовём Равшана или как?

— Тогда и Осипа Тарасовича звать надо, — поддакнул Никита. — Заседание масонской ложи без присутствия одного из основополагающих членов оной является нелегитимным.

Чапай повернулся к Никите, повертел пальцем у виска, а потом кивнул утвердительно:

— Этот малахольный прав, без Осипа не обойтись. — Чего сразу малахольный-то? — возмутился Никита. — Равшан тоже выкрутасисто говорит, но что-то его ты малахольным не обзываешь. Боишься, стало быть. А меня, значит, можно? Конечно, пастуха только ленивый не обидит...

— Никита, не трюнди! — добродушно отмахнулся Афанасий Петрович. — Лучше действительно сбегай позови дружка своего, Равшана. И Осипа по дороге прихвати, я с ним только что по телефону разговаривал, он у себя в администрации сидит, тоже к комиссии готовится.

— Фигаро там, Фигаро тут... — дурашливо пропел Никита и, привычно увернувшись от скомканного листка бумаги, которым запустил в него Афанасий Петрович, выскочил за дверь.

Чапай встал, снял полушубок, шапку, повесил на вешалку, достал сигарету, закурил, придвинул кресло к столу и уселся основательно, всем видом давая понять, что разговор предстоит серьёзный. — Петрович, не в обиду будет сказано, — начал он, попыхивая сигаретой, — но мне эта партизанщина надоела. Что мы, как дети малые, под стол прячемся, тени своей пугаемся? Сам же понимаешь, что всю жизнь прятаться не получится.

— И что ты предлагаешь? — обречённо вздохнул Афанасий Петрович, ожидая самого худшего.

— Властям сообщать нельзя, всё отберут и всех по тюрягам рассуют. Так?

— Непременно рассуют, — согласился Афанасий Петрович. — Тебя, кстати, первого.

— Не важно, кого первого, а кого второго, мало никому не покажется. Прогнать Равшана и парней его тоже нельзя: во-первых, некуда им податься, а во-вторых, польза от них неисчислимая. Так?

— Так-то оно так, но ты сам посуди: сейчас польза для одного Кедрового, а могла бы быть польза для всех. Для всей страны, для всего мира!

— Ой, только не делай вид, что ты такой же малахольный, как твой дружок Никита. Вон, нефти и газа у нас немерено, золота, алмазов и прочего не считано — и что, много тебе с того навару?

— Да нисколько, в общем-то...

— А с Равшана и его бригады ещё меньше будет! Заберут их в какой-нибудь секретный институт, начнут на них деньгу грести, а нас в каталажку засунут. Это в лучшем случае. А в худшем — в расход пустят, как свидетелей ненужных. Это ж только дураки верят, что тридцать седьмой прошёл и не воротится.

— Это да, это запросто, — Афанасий Петрович достал бутылку из стола, повертел в руках, потом плюнул и решительно убрал её обратно в ящик. — Ты думаешь, Америку открыл? Да у меня уже мозги кипят от всего этого. Делать-то что?

— А надо всех собрать, коллективом помараковать и принять решение, которое всех устроит. Не только нас четверых, а всех в посёлке. Может, объявить суверенитет какой, провозгласить независимость Кедрового... как-то так...

— Чапай, ты серьёзно или придуриваешься? — всплеснул руками Афанасий Петрович. — И кто из нас малахольный? Да тебя с твоей независимостью так быстро и глубоко в болото закопают, что ты и пукнуть не успеешь. Тот же Осипенко и закопает. Он, кстати, звонил недавно, интересовался, как у нас дела, не летают ли тарелки всякие, не видать ли в округе человечков зелёных. Как думаешь, для чего он звонил?

— Да погоди ты с Осипенко, — возразил Чапай, не очень, впрочем, уверенно. — Закопать нас сейчас не так-то просто, зубы обломают. И полковник твой со всей своей техникой летом ускакал несолоно хлебавши, и наблюдатели его, которые тут целый месяц сидели, ничего не учуяли. Хрена им, а не Кедровый! Это раньше мы...

— Во раздухарился! — замахал руками Афанасий Петрович. — Чапай, ты, когда молчаливый, мне больше нравишься. Ты что, всерьёз веришь, что Осипенко так просто тут людей оставлял? И звонил он потому, что соскучился?

Ответить Чапай не успел. Открылась дверь, первым вкатился Осип Тарасович Подопригора, глава поселковой администрации, а по совместительству глава масонской ложи, добродушный и, по слухам,

любвеобильный колобок ста шестидесяти четырёх сантиметров роста. Многие, обманутые внешностью и добродушием Осипа Тарасовича, были впоследствии неприятно поражены его хваткой и быстротой ума.

За ним порог вежливо перешагнул Равшан, кивком головы поздоровавшись с Чапаем и пожав руку Афанасию Петровичу. И последним в комнату просочился Никита, быстро притворив дверь и закрыв её на ключ.

Осип оглядел кабинет, хмыкнул и похлопал Никиту по плечу:

— Людей четверо, стульев три, угадай с одного раза: кто будет сидеть стоя?

— Конечно, безобидного пастуха всякий может обидеть, — ворчал Никита, отпирая дверь и неся из приёмной ещё один стул. — Уж извините за тавтологию.

— Растёт молодёжь! — хохотнул Осип, оглядев Никиту с головы до ног. — Слов разных нахватался. Нам, старикам, за вами не угнаться. А ты что это, Никита, себя пастухом величаешь? Это летом ты пастух, а сейчас... э-э, запоматывал, кем ты у нас числишься?

— Оператором биоконтекста, — буркнул Никита и попытался шмыгнуть в кресло, но был безжалостно остановлен Осипом и препровождён на стул.

— Ошибаешься, молодой человек, — Осип сел на другой стул, назидательно поднял палец одной руки, второй рукой приглашая Равшана занять кресло. — Ты у нас числишься заместителем уважаемого Равшан-джана, самым главным и самым единственным заместителем. А это значит — что? — Ничего это не значит, — кисло ответил Никита, демонстративно ёрзая на стуле.

— И опять ошибаешься! Это значит, что, кроме тебя, запереть дверь на ключ некому. Причём не эту дверь, а в приёмной. Как я понимаю, разговор будет не для чужих ушей?

— Правильно понимаешь, Осип, — Афанасий Петрович проследил, как Никита недовольно сходил в приёмную, запер дверь на ключ и вернулся на свой стул. — В свете сложившихся обстоятельств и прибытия таинственной комиссии назрела необходимость в принятии каких-то решений. Желательно кардинальных.

— А какие такие особые обстоятельства у нас сложились? — Осип по очереди оглядел собравшихся. — Равшан-джан, может, вы заметили какие-то обстоятельства? Или ты, Василий Иванович?

Равшан хотел что-то ответить, но Афанасий Петрович жестом остановил его:

— Это вопрос риторический, отвечать на него не обязательно. Осип, ты не прикидывайся валенком! Есть информация, что в комиссии присутствует некий представитель компетентных органов. Очень компетентных. Поскольку был сигнал. То

есть кто-то накапал про наши дела. И это — очень серьёзные обстоятельства!

Осип достал платок, тщательно вытер лицо и шею, потом встал, снял пуховик и шапку, пристроил их на вешалке рядом с одежкой Чапая, достал пачку сигарет, предложил Равшану.

— Я не курю, — вежливо отказался Равшан. — Но вы можете курить, мне это не повредит, а вас перевоспитывать уже поздно.

— Золотые слова! — поддакнул Никита и открыл форточку.

Все закурили, посматривая друг на друга и переваривая услышанное. Первым молчание прервал Осип Тарасович.

— Насколько достоверна эта информация? — спросил он Афанасия Петровича.

— Процентом на восемьдесят, — серьёзно ответил Никита.

— Это проблема, — согласился Осип и посмотрел на Афанасия Петровича. — Я вижу по твоему смурному лицу, что новости ещё не кончились. Давай вываливай.

— Из агрокомитета пришёл запрос, требуют объяснить большую экономию электроэнергии, угля и горюче-смазочных материалов.

— Запрос официальный?

— Ну как тебе сказать... подписан замом Сидорченко.

— Это ерунда, отобьёмся!

— Если бы не комиссия, я что-нибудь наврал бы. А комиссия пройдёт по домам, зайдёт на ферму, в мастерские — и всё всплывёт. Не дураки же они, чтобы очевидные вещи не заметить.

— Ко мне сколько раз приезжали всякие разные — и ничего не заметили, — возразил Осип задумчиво. — Впрочем, это всё летом было и по осени. Хотя Сидорченко твой приезжал зимой, недели три назад, тоже ведь ничего не заметил.

— Так он на рыбалку приезжал, а не с официальным визитом, — возразил Никита.

— Тоже верно, — нехотя согласился Осип и пытливо посмотрел на Афанасия Петровича. — Добивай до конца, вижу ведь, ещё что-то припас.

— На днях звонил Осипенко, это тот полковник, что летом был здесь с вояками. Спрашивал, как у нас дела, не летают ли тарелки, не бегают ли по лесам зелёные человечки. Значительно так спрашивал, хоть и посмеивался. Я вот и не знаю, кого больше бояться, Осипенко или комиссии этой.

— Бояться никого не надо, — впервые заговорил Равшан. — Не существует неразрешимых проблем. Вы не сделали ничего дурного. Почему вы должны кого-то бояться?

— Равшан-джан, вы знаете, что такое «компетентные органы»? — со вздохом спросил Осип.

— Да. СобираТЕЛЬНЫЙ термин. Я могу перечислить одиннадцать федеральных образований, которые в той или иной степени являются компетентными.

И Федеральная служба безопасности — не основное из них.

— Я предлагаю... — начал Чапай.

Афанасий Петрович замахал на него руками, но Чапай упорно продолжил:

— Я предлагаю предметно обсуждать конкретные проблемы, но с учётом того, что Равшан может не совсем понимать, о чём идёт речь.

— Скоро в Кедровом обматерить некого будет, одни Цицероны и Спинозы кругом, — проворчал Осип Тарасович, закуривая новую сигарету. — Вот, кстати, первая проблема: половина посёлка говорит как по писаному.

— Я поговорю с ребятами, они такой колхоз включат, что у комиссии уши завянут, — отмахнулся Чапай. — Типа, надо лапши на уши навешать, чтобы с панталыку сбить. Никаких подозрений не вызывает. Что делать с котельной? И с фермой? И с отоплением в домах?

— А это сейчас Равшан-джан растолкует, что и как нам делать. Растолкуешь, Равшан-джан? — ироническая улыбка Осипа разительно контрастировала с тревожным огоньком в глазах.

— Если комиссия не приедет в посёлок, все наши проблемы решатся или какие-то останутся нерешёнными? — непроницаемым тоном спросил Равшан, глядя поочерёдно то на Осипа, то на Афанасия Петровича.

— Ты что это удумал? — всполошился Осип. — Только смертоубийства нам не хватало для полного счастья!

— Разве я говорил про смертоубийство? — удивился Равшан. — Зима, февраль, метели. Дорогу может занести снегом так, что ни одна машина не проедет. Кстати, на какой машине обычно приезжают комиссии?

— Смотря какие комиссии, — пожал плечами Афанасий Петрович. — Осипенко на танках приезжает, им никакие заносы не страшны. Да и откуда заносы? За последние две недели ни одной метели не было.

— Заносы будут, главное, чтобы они не помешали жизни посёлка.

— Посёлок потерпит, — твёрдо ответил Осип. — А если они приедут на танке? Или на «Урале»? У Сидорченко есть пара «Уралов» с будками, сам видел.

— На ферме мы устроим такой запах, что ни у какого органа, даже самого компетентного, не появится желания заходить внутрь, — неторопливо продолжил Равшан. — Работники фермы на это время отдохнут, мы им сообщим, что проводятся ремонтно-профилактические работы. Чертежи по котельной мы нарисуем такие, что никто ничего в них не поймёт, а саму котельную поставим на профилактику. В ближайшие дни сильных морозов не предвидится, система устоит при минимальном давлении. А вот с отоплением в домах

сложнее, наши обогреватели только на первый взгляд электрические.

— Да будет вам дым из труб, столько дыма, сколько нужно, — вмешался в разговор Никита. — Я по посёлку пробежусь, шепну кому надо, что если печки не затопить, тариф на электричество увеличат втрое, — завтра утром в посёлке снег будет чёрным от дыма и копоти. Ещё ругаться будете, что... Минутку, а что значит «на первый взгляд»? А чем мы тогда отапливаемся? Там же вилка, которую нужно втыкать в розетку!

— Никита, тебе какая разница? — терпеливо, как маленькому, втолковывал Афанасий Петрович. — За свет ты стал больше платить? Не стал! Дома теплее, чем с печкой? Теплее! И топить не надо. А вилка — это чтобы лишние вопросы не задавали. Что ты заволновался?

— Да я не волнуюсь, — пожал плечами Никита. — Просто как-то... странно, что ли...

— Пора бы уже привыкнуть, — проворчал Чапай. — Не первая странность и, думаю, не последняя. И все их рано или поздно придётся как-то объяснять. Ну спровадим мы эту комиссию, а через месяц приедет другая. Кто-нибудь что-нибудь унохаёт, шепнёт другу, кто брякнет подруге... Не век же нам под столом прятаться.

Осип крикнул, потербил себя за ухо, хотел что-то ответить, но только развёл руками и потянул из пачки новую сигарету.

— Осип, ты сколько сигарет за день выкуриваешь? — поинтересовался Афанасий Петрович.

— Две пачки, — усмехнулся Осип. — И можешь не льбиться, зарплата у меня приличная, на «Мальборо» хватает.

— Да я не об этом, — отмахнулся Афанасий Петрович. — Обратился бы к Равшан-джану, он бы тебя по благу испрямил, кучу денег бы сэкономил. — Почему по благу? — удивился Равшан. — Мы готовы помочь любому...

— Это дяди шутят, — раздражённо перебил его Чапай, — вместо того чтобы по делу говорить. Так и будем хиханьки хихикать? Пригонит полковник танки — сразу не до смеха станет! А он ведь пригонит, с него станется...

— Василий Иванович, с кем это вы сейчас разговаривали? — вежливо поинтересовался Осип, задумчиво глядя на огонёк сигареты.

— Ну... вообще... — стушевался Чапай.

— А не надо вообще, — так же вежливо продолжил Осип. — Не вы ли предлагали «конкретно и предметно»? Вот и покажите пример.

— А что я-то сразу? — огрызнулся Чапай. — Других кандидатур нету, что ли?

— Повторяешься, Василий Иванович, — ехидно хихикнул Никита.

— Хорош цапаться! — Афанасий Петрович примиряюще поднял руки и повернулся к Равшану. — Но вообще-то Чапай прав, долго мы в окопах не

просидим, рано или поздно всё всплывёт. Надо решать, как дальше жить станем. И без тебя, Равшан, мы ничего не придумаем. Давай излагай свои соображения.

— Я не совсем понимаю, отчего такое беспокойство,— Равшан вопросительно оглядел собравшихся.— Мы ведь не сделали ничего плохого, не нарушили никаких законов...

— Ошибаешься, Равшан-джан,— вздохнул Осип.— Я, не сходя с места, могу перечислить с десятков законов, которые мы нарушили. А если покопаться в кодексах, то ещё десятки два можно выкопать.— Я имею в виду человеческие законы, основанные на логике и здравом смысле.

Все дружно хмыкнули и пригорюнились, избегая смотреть друг на друга.

— Видишь ли, Равшан-джан, судить нас будут по законам писаным,— невесело сказал Осип, выразив тем самым общее мнение,— а логики и здравого смысла в них— как ума у Февральки бабы-Маниной. То есть практически нисколько! Такая вот закавыка...

— А вас действительно могут судить?— не поверил Равшан.

— Могут, могут,— покивал Никита,— ещё как могут! Им только дай волю, так всех по лагерям растолкают.

— Говоря «им», вы имеете в виду вашу власть?— уточнил Равшан.— Но ведь это ваша власть. Или нет?

— Равшан-джан, разговор этот долгий и... скажем так, непростой,— Осип крикнул, потерев себя за ухо и оглядел собравшихся.— Мы и сами-то не совсем... я вот, к примеру, тоже вроде власть, и Петрович как бы... Одним словом, отложим на потом! Давай пока по делам насущным. Например, с комиссией как быть?

— Мне надо подумать,— вежливо сказал Равшан, поднимаясь с кресла и направляясь к двери. В дверях он задержался и ободряюще улыбнулся Осипу:— А приезд комиссии, я надеюсь, задержится на неопределённое время.

После ухода Равшана в комнате на несколько минут воцарилась тишина. Не мёртвая, не гнетущая, а просто тишина. Рабочая такая. Мужики переглядывались, дымили сигаретами, пожимали плечами, опять переглядывались.

Перспектива оказаться в лагере никого особо не испугала, даже Никиту, который наводил панику в основном для Равшана— что называется, «работал на публику». Но неприятностей можно было огрести по полной, и неприятностей неслабых. Это понимали все, думали об этом не первый день и совещание уже не первое устраивали, но все предыдущие собрания заканчивались ничем.

Первым попытался заговорить Осип Тарасович, но только он открыл рот, как Никита вдруг вскинулся и ломанулся в приёмную. В комнату он

вернулся совершенно ошарашенным, держа ключ от входной двери в вытянутой руке, словно боялся об него обжечься или замараться.

— Дверь закрыта на ключ,— пояснил он,— сам же закрывал, точно помню. И ключ в замке торчит. А Равшана нет! Они что, сквозь стены умеют ходить?

— Ага, этот фокус я уже видел,— засмеялся Осип.— Сквозь стены они не ходят, но ключ через дверь как-то умеют поворачивать. Так что он дверь отпер, вышел в коридор и оттуда опять запер. Не бери в голову... Делать-то что будем? Непокойно мне как-то...

— Непокойно ему,— неучтиво проворчал Никита, кладя ключ на стол и вызывающе усаживаясь в освободившееся кресло.— А нам, можно подумать, спокойно. На небе вон уже вторую неделю ни облачка, а этот фокусник...

— Ни облачка, говоришь?— хмыкнул Чапай, подошедший к окну, чтобы пошире распахнуть форточку.— А это что, по-твоему?

Все дружно подошли к окну. На улице мело. Причём мело основательно. И по всему видно было, что к ночи пурга лишь усилится.

— Как они это делают?— жалобно спросил Никита. Афанасий Петрович поплевал через левое плечо и что-то прошептал. Осип покосился на него, хмыкнул и опять повернулся к окну.

На улице мело.

Утро выдалось чудесным. В смысле— завывал ветер, небо смешалось с землёй, и снег падал ото всюду, даже снизу. Весело насвистывая, Афанасий Петрович орудовал лопатой: снегу намело едва ли не по пояс. Одной проблемой меньше, думал он, есть время подумать, проанализировать, прикинуть варианты.

Неторопливо позавтракав, он побрёл к конторе, с трудом ориентируясь в снежной круговерти. Это просто совпадение, думал он, случаются совпадения и похлеще. Сибирь всё-таки, здесь метели в порядке вещей. Как же в Сибири без метелей? Да ещё зимой. Тем более в феврале. В прошлом году вон неделю мело, трактор до трассы добраться не смог, хорошо хоть тракторист не замёрз, в тайге не заплутал, пешком до посёлка добрался. А Равшан просто как-то умеет погоду угадывать. Мало ли...

Размышления Афанасия Петровича прервались весьма неожиданно: около конторы стоял знакомый агрокомитетовский автобус. А рядом с автобусом красовался диковинный снегоборщик, который Чапай с Чжаном и Равшаном собрали на прошлой неделе.

— Идиот я старый!— покаянно сообщил Афанасий Петрович подошедшему Чапаю.— Кретин! Недоумок! Гнать меня поганой метлой. Как же это я забыл про ваш агрегат? Совсем из головы вылетело...



— Это не ты идиот, а я! — Чапай с ходу оценил обстановку и хлопнул шапкой оземь. — Ну Федька, ну удружил. Да я ж его живьём в снег закопаю! Наизнанку выверну! Я ж ему...

— А за что? — прервал разошедшегося Чапая Афанасий Петрович. — Человек ночь не спал, за народ радел, работал, пока мы с тобой дрыхли. Ты ему руку пожми и премию выпиши, потому что заслужил. То, что у его начальников головы дырявые, — так то проблемы начальников, а не Федьки. — А кто его просил?.. — продолжал бушевать Чапай. — А почему его кто-то должен просить? — парировал Афанасий Петрович. — Тебя кто-нибудь просит, чтоб ты работал?

— Ты просишь, — Чапай поднял и отряхнул от снега шапку, — с помощью ведёрной клизмы и скипидарных припарок. А где сам стахановец-то? — Федька-то? Да в конторе, наверное, где ж ему быть.

— Ёлки-моталки, — всполошился Чапай, — он же сейчас трепаться начнёт да хвастаться.

Мужики опрометью бросились в контору. Оба понимали, что если Федька начнёт распространяться про тонкости и нюансы, достаточно будет одной пяди во лбу, чтобы заподозрить что-то неладное. И тогда хана! Непонятно, какая именно, но точно хана. А поговорить Федька любил!..

В конторе было непривычно оживлённо. Осип Тарасович на правах хозяина пожимал руки, справлялся о здоровье, предлагал чай или кофе — одним словом, излучал радушие. Федька, слава Богу, стоял в сторонке и участия во всеобщем оживлении не принимал. Чапай на всякий случай протолкался к нему поближе, на ходу пожимая руки и улыбаясь. А Афанасий Петрович попробовал перехватить инициативу.

— Господа члены комиссии, — громко сказал он, привлекая общее внимание, — что же мы в приёмной толкаемся? Предлагаю переместиться в актовый зал поселковой администрации. Места там побольше, столы со стульями опять же... Познакомимся, обсудим план предстоящей работы, подкрепимся с дороги.

— А-а, вот и главный засоня объявился, — хохотнул Осип Тарасович. — Боишься, что чай с кофеом весь выпьют? Не боись, возместим!

Он ухватил Афанасия Петровича за локоть и отвёл в сторонку.

— Ты где болтаешься? — заворчал он вполголоса. — Ладно, что я тут на шухере стоял, перехватил компанию и сюда затолкал. Засыпались бы враз! — Ну и лексикон у тебя, Осип, — удивился Афанасий Петрович. — С чего вдруг?

— Тренируюсь, — хохотнул Осип. — Надо же как-то лапши на уши навешивать.

— А что вы здесь-то топчетесь? — удивился Афанасий Петрович. — Надо было сразу в администрацию, договаривались же...

— Умный ты, — хмыкнул Осип, — почти как Равшан. А я вот дурак, выходит. Понадеялся на пургу, а Федька твой все планы поломал...

— С чего это он мой? — огрызнулся Афанасий Петрович. — И какие планы? Что вообще происходит?

— В конторе у меня народ авралью включает батареи и прячет обогревалки, — вздохнул Осип. — Наверное, уже попрятали, пора выдвигаться.

— А как же?.. — оторопел Афанасий Петрович.

Осип махнул рукой и пошёл приглашать всех в актовый зал администрации. Комиссия, недовольно ворча, направилась было к дверям, но тут Сидорченко увидел Василия Ивановича и решил, видимо, подсобить Афанасию Петровичу, с которым весьма приятно сотрудничал, заработать плюсик в глазах комиссии.

— Ну ты, Иваныч, гигант прямо-таки, — загудел он, приобнимая Чапая за плечи и горделиво демонстрируя членам комиссии, — в такую метелицу умудрился так быстро дорогу расчистить. Чем ты её, кстати, чистил? Что у вас там за монстер стоит?

И тут Фёдор решил, что наступил его звёздный час, выступил вперёд и начал увлечённо вещать: — Этот «монстер», как вы изволили выразиться, является совместной разработкой на базе ремонтных мастерских посёлка Кедровый. Максимальная ширина захвата снегоборочного комбайна двенадцать метров, минимальная ширина не ограничена. В работе комбайна использован совершенно оригинальный принцип, предложенный инженером Чжаном...

Пока Афанасий Петрович лихорадочно соображал, как, не вызвав подозрений, прервать красноречие Фёдора, Чапай продемонстрировал прекрасную реакцию.

— А ты почему здесь до сих пор? — напустился он на Фёдора, сделав вид, что только сейчас его заметил.

— В каком смысле?.. — растерялся Фёдор.

— У нас народ с шестого стана выбраться не может, дорогу перемело, а ты тут лекции читаешь. Бегом ноги в руки! Вечером заскочишь в контору, премию тебе выпишем за то, что молодец и всё такое, а сейчас дуй на работу, люди ждут.

Фёдор попытался что-то сказать, выражая всем своим видом безграничное удивление, но Чапай шустро вытолкал его в коридор, продолжая на ходу втолковывать необходимость срочно обеспечить доставку людей с занесённого снегом стана.

Афанасий Петрович удивление Фёдора понимал и разделял: шестой стан находился у чёрта на куличках, в сорока километрах от Кедрового. Там и летом-то редко кто появлялся, а зимой там делать совсем нечего, туда даже охотники с рыбаками не забредали, потому как реки или озера рядом не было, а охотиться по буеракам, окружающим шестой стан, не представлялось возможным. Почему Чапай брякнул именно про

шестой стан, впоследствии он и сам не мог сказать, только разводил руками да пожимал плечами.

Оставалось только надеяться, что никто из членов комиссии географией угодий посёлка Кедровый не интересовался и привязать неведомый шестой стан к конкретной местности не смог бы. Сидорченко смог.

— Шестой стан? — переспросил он задумчиво. — Это у Медвежьего ручья который?

— А ты откуда знаешь? — глупо спросил Афанасий Петрович, холодея от понимания: засыпались.

Сейчас всё выплывет наружу, и комиссия рванёт в город с сенсационной новостью. А затем в Кедровый коршунами слетятся мвд, фсб и прочие стервятники. А там и фсин подоспеет с «чёрным воронком» и охраной.

— Обязан потому что по роду деятельности, — туманно ответил Сидорченко. — Ну, людей надо вызволять, это дело святое. А мы пока в администрацию, тут у тебя действительно тесновато.

Афанасий Петрович засуетился, подхватил свой портфельчик, потом слепо стал открывать и закрывать ящики стола, как бы разыскивая некие бумаги, неотлужно необходимые для работы комиссии. Вышедший из ступора Осип повёл комиссию к автобусу, Афанасий Петрович заторопился следом, понимая лишь одно: фсин на неопределённое время откладывался. Почему Сидорченко промолчал, какие он имел резоны для этого — предстояло разбираться позже. В крайнем случае, придётся организовать незапланированную рыбалку с ящиками коньяка и прочими деликатесами.

На улице на глаза Афанасию Петровичу попался Фёдор, который, бормоча что-то себе под нос и пожимая плечами, брёл к своему «монстеру». Усадив комиссию в автобус и махнув рукой: дескать, езжайте, я подойду попозже, — Афанасий Петрович догнал Фёдора.

— Ты куда собрался, мил человек? — спросил он участливо.

— Так Чапай же... там дорогу замело... — залепетал сбитый с толку Фёдор. — На шестой стан... люди же...

— Ты никак совсем сдурел, — вздохнул Афанасий Петрович. — Ну какие люди сейчас на шестом стане? Тебе голова для чего дана? Как ты со своим агрегатом на шестой стан пробьёшься?

— А запросто пробьюсь, — оживился Фёдор. — Это же зверь, а не агрегат. У него же ходовая часть совершенно уникальная. Понимаешь, там...

— Стоп, стоп! — перебил его Афанасий Петрович. — Верю! Молодец! Но на шестой стан ехать не надо, нет там никого. Отгони свой комбайн к мастерским... хотя нет, улицы в посёлке почисти, а потом отгони. И на сегодня свободен, отдыхай.

— А премия?.. — осмелел Фёдор.

— Ну, раз Чапай обещал, значит, сделает. Сказано же, чтобы вечером заскочил, вот и заскакивай.

Повеселевший Фёдор побежал к своему комбайну. Лишняя копейка ему была во как нужна: жена на сносях, двое детей, родители престарелые... Так что недоумение быстро сменилось удовлетворением, Фёдор выкинул лишние мысли из головы и, весело насвистывая, поехал чистить улицы Кедрового. А Афанасий Петрович, терзаемый нехорошими предчувствиями, направился в администрацию, перебирая в голове возможные варианты развития событий.

В актовом зале администрации царила рабочая атмосфера, атрибутами которой стали богато сервированные столы, хлопочущий Осип Тарасович и оживлённый разговор, прерываемый смехом и весёлыми восклицаниями. Сидорченко хитро подмигнул Афанасию Петровичу, похлопал его по плечу и хохотнул:

— Не журишь, Петрович, где наша не пропадала, пока ихняя рот разевала. Сунь свой портфель куда-нито и подсаживайся к столу. Комиссию баснями не кормят, сам знаешь.

Афанасий Петрович разделся и подсел к столу. Наконец-то он смог разглядеть членов комиссии. И удивился, не встретив ни одного незнакомого лица, со всеми он неоднократно встречался в «коридорах власти». Казачок, стало быть, засланный, но вряд ли это что-то меняло кардинально, наличие «компетентного» товарища дамкловым мечом висело на голове, портя настроение и лишая аппетита.

Во время застолья и непринуждённой болтовни неожиданно выяснилась причина прибытия комиссии. Кто-то из односельчан прислал анонимку на адрес председателя Законодательного собрания края, в которой жаловался на бесхозяйственность руководителя агропромышленного комплекса, который бросил в лесу технику в количестве трёх единиц, чем обрёк оную на разграбление вандалами.

У Афанасия Петровича отлегло от сердца: техника действительно находилась в лесу, но вины ничьей в этом не было, а был самый что ни на есть форс-мажор в виде непреодолимой силы природы. Прошлая зима была снежной, весна — дружной, и весенние потоки размыли напрочь и дамбу ограждения, и дорогу к третьему стану, где и находилась означенная техника в виде «болотного» экскаватора, бульдозера и тентованного газ-66. На восстановление дороги средств не было, техника была законсервирована и даже накрыта временным навесом, соответствующие бумаги написаны и направлены по адресам. Чапай иногда заикался, что газ-66 пригодился бы по бездорожью, но на совет поехать и забрать вздыхал, разводил руками и говорил нелитературно.

Далее работа комиссии покатила по накатанной колее. Проверили планы и отчёты, полистали бумаги, посмотрели графики. Выслушали жалобы

бабы Ньюры о том, что «проклятые басурмане» за- теяли известить жителей Кедрового, напущая на них газы зловонные из подозрительного комплекса, в который превратили привычную, двадцать лет стоявшую и никого не отравлявшую ферму. Попы- тались проинспектировать означенный комплекс, но амбре колоссальной силы не позволило этого сделать. Вызванный пред светлы очи комиссии инженер Чжан клятвенно уверил, что источник неприятного запаха будет устранён к вечеру, мак- симум к утру следующего дня, после чего был отпущен почти благосклонно. За м по промышлен- ному развитию заинтересовался экономией угля и ГСМ, получил чертежи реконструированной котельной, полистал их с умным видом, ни черта не понял, но обещал организовать совещание по внедрению передового опыта.

Представитель отдела образования, миловид- ная женщина среднего возраста в непременных очках—какой же учитель без очков!—изъявила желание проинспектировать все три школы посёл- ка. После недолгих переговоров она согласилась посетить одну школу, ту, что находилась практи- чески через дорогу от администрации. Походив по классам, посмотрев на ультрасовременные интер- активные доски, установленные практически в каждом классе, на демонстрационные проекторы и компьютерные классы, представитель отдела образования выразила уверенность в том, что остальные школы оборудованы не хуже этой, по- лучила горячие заверения в том, что всё обстоит именно так (что, в общем, вполне соответствовало истине),—и сочла свою миссию выполненной.

Одним словом, работа комиссии была вполне рутинной и благополучно катилась к прощальному банкету, когда вдруг тот же зам по промышленно- му развитию изъявил желание посетить ремонт- ные мастерские. Члены комиссии, засидевшиеся в помещении, с удовольствием поддержали ини- циативу, тем более что пурга улеглась и посёлок Кедровый предстал во всей красе. Искрился снег, заставляя прикрывать глаза и щуриться, горделиво высились величавые сосны и ели, радовали глаз расчищенные улицы и многочисленные дымы из не менее многочисленных печных труб. Дымов было слишком много, Никита явно перестарался, но никто из членов комиссии на это излишество внимания не обратил.

До ремастерских решили прогуляться пешком, дабы размять ноги и подышать свежим воздухом. По дороге к комиссии присоединился Равшан, который был представлен комиссии как бригадир бригады временных рабочих.

И вот на территории ремонтных мастерских Афанасия Петровича, Осипа Тарасовича и Чапая ждал удар, которого они никак не ожидали и к которому были совершенно не готовы: на терри- тории мастерских как ни в чём не бывало стояли

«болотный» экскаватор, бульдозер и «шишига», то есть ГАЗ-66. Члены комиссии обратили внимание не на технику—мало ли какие трактора и бульдозе- ры могут находиться на территории механических мастерских,—а на реакцию Чапая. Тот выглядел совершенно ошарашенным, переводил взгляд с чудесным образом объявившейся техники на чле- нов комиссии и обратно и буквально потерял дар речи. Работники мастерских, высыпавшие во двор, выглядели ничуть не лучше своего начальника.

— И как это понимать?— прервал всеобщее заме- шательство зам по промышленности, обращаясь почему-то к Афанасию Петровичу.— Это, надо полагать, та самая техника, якобы брошенная на разграбление вандалам?

— Не знаю,— залепетал мгновенно взмокший Афа- насий Петрович,— надо сверить номера, проверить по документам. Техника, она же это... друг на друга похожа... Может, это совсем другие трактора, про- сто мы тут разговаривали про них, вот и кажется, что это те же самые, а они, может, совсем другие... — Ну что же, давайте проверим,— охотно согла- сился зам по промышленности.— Где у вас тут контора?

Ещё не очухавшийся Чапай повёл было всех в свой кабинет, но тут в разговор неожиданно вмешался Равшан.

— Я могу объяснить возникшее недоразумение,— как всегда вежливо сказал он,— поскольку имею непосредственное отношение к появлению здесь этих машин.

— А вы кто?— удивился зам по промышленно- сти.— Извините, не расслышал вашу фамилию... — Моя фамилия Чжан,— невозмутимо ответил Равшан,— я инженер, бригадир рабочих и род- ственник инженера Чжана.

Осип Тарасович крикнул, с остервенением потёр уши и полез за сигаретами, сделав неприметный жест, после которого работников мастерских как ветром сдуло. Чапай потихоньку стал приходить в себя, щёки его пунцово зарделись: он стал осо- знавать, чем может грозить его растерянность.

— Ну хорошо, объясняйте,— неуверенно согла- сился зам,— а то вон Василий Иванович явно не в курсе.

— Эту технику на территорию мастерских до- ставила моя бригада,— Равшан был всё так же невозмутим.

— И каким же это образом, позвольте спросить? — С помощью воздушного шара, вернее, дири- жабля.

— Вот как?— недоверчиво хмыкнул зам по про- мышленности.— Что-то я про такие дирижабли не слышал. Экскаватор на базе ЕК-270? Тонн трид- цать весит, не меньше! Это каких же размеров дирижабль?

— Три метра в длину, метр восемьдесят в попе- речнике.

— Фантастика! И показать сможете?

— Разумеется. Завтра. Сегодня дирижабль занят, доставляет продукты и оборудование на шестой стан, где людей задержала пурга. Завтра— милости просим!

— Ну хорошо,— неуверенно согласился зам,— завтра так завтра. Хотя мы планировали сегодня закончить. Тем более что инцидент исчерпан, техника на месте, в целости и сохранности. Но дирижабль— это интересно! Это очень интересно! Придётся, видимо, задержаться...

— Не стоит,— успокоил его Сидорченко,— я всё равно собирался задержаться в Кедровом, надо решить несколько вопросов в частном, так сказать, порядке. Завтра погляжу на это чудо техники, а на днях заскочу к вам и всё детально обскажу.

— Вот и прекрасно!— обрадовался зам по промышленности, которому, по всей видимости, очень не хотелось ночевать незнамо где, да ещё тратить на это свой кровный выходной день, заработанный якобы кровью и потом.— Ну а мастерские-то осмотрим, раз уж пришли?

Осмотр мастерских привёл комиссию в полный восторг. Зам порывался буквально завтра устроить расширенное совещание глав муниципальных образований с целью довести до всех передовой опыт, показать, как надо хозяйствовать, рачительно беречь и неустанно приумножать.

Сидорченко похотывал, со знанием дела объяснял, пояснял и демонстрировал. Василий Иванович только уныло кивал головой, совершенно выбитый из колеи своим фиаско. Равшан скромно удалился, сославшись на неотложные дела.

После осмотра мастерских наконец-то дошла очередь и до протального банкета, который прошёл по многократно проверенному сценарию: пили, закусывали, болтали о том о сём, но ни слова о делах. Даже Чапай немного взбодрился, хотя до конца так в себя и не пришёл.

Когда комиссия после продолжительного пожимания рук и похлопывания по плечам убыла-таки восвосяси, Сидорченко насмешливо сказал, ни к кому конкретно не обращаясь:

— С метелью это вы хорошо придумали! Если бы не ваш пацанчик на своём агрегате, вернулись бы мы несолоно хлебавши.

— Что значит «придумали»?— вяло возмутился Осип.— Метель— она и в Африке метель... в смысле, в Африке реже, а в Сибири гораздо чаще. Зима на дворе, между прочим. Не забыл? А у «пацанчика», между прочим, своих пацанчиков двое и скоро третий будет.

— Забудешь тут с вами,— хмыкнул Сидорченко и вдруг захохотал, хлопая себя по бёдрам и крутя головой.— Нет, ну это надо же было догадаться: у меня, говорит, на шестом стане люди от метели прячутся, надо за ними сбегать по-быстрому.

— Не сбегать, а на дирижабле слетать,— буркнул Афанасий Петрович, чем вызвал очередной взрыв хохота.

Смеялись все, даже Чапай.

— Расслабились вы, мужики,— отсмеявшись, неожиданно серьёзно, даже жёстко сказал Сидорченко.— Столько проколов за один раз. Волкову зачем туфту подсунули? Он, между нами, девочками, очень хорошим инженером был до своего замства и диплом не в подземном переходе покупал. Поймёт, что надули, обидится, и тогда вам всем мало не покажется: он, когда обидится, очень нехорошим бывает.

— Не поймёт. И не обидится,— возразил неслышно подошедший Равшан.— Чтобы что-то понять в тех чертежах, мало быть инженером, даже хорошим.

— Значит, приедет ещё раз, чтобы разобраться— и с котельной, и с дирижаблем,— наседали Сидорченко.

— Встретим, накормим, напоим, спать уложим,— отмахнулся Афанасий Петрович.— Ты, Валерий Палыч, лучше вот что скажи...

— Кормильцы, иху мать!— не унимался Сидорченко.— Не руководство, а детский сад какой-то! Осип, ты же калач тёртый-перетёртый, ты же всё на семь ходов вперёд продумываешь. Как же ты так лопухнулся?

— По какому праву вы разговариваете со мной таким тоном, господин временно исполняющий обязанности?— набычился Осип.— Мы с вами на брудершафт не пили...

— Как это не пили?— засмеялся Сидорченко.— Сколько раз пили!

— Тем не менее, это не даёт вам права...

— Даёт, даёт,— весело перебил Сидорченко,— ещё как даёт! Вспомни хотя бы прошлый год, Ергаки...

— А что Ергаки?— Осип пожал печами раз, другой, потом махнул рукой и засмеялся.— Да, в Ергаках было весело! Но всё равно это не даёт...

— Да ладно тебе!— Сидорченко хлопнул Осипа по плечу.— Напортачили ведь, признайся. А всё почему?

— Потому что инициативные все, спасу нет! Один дорогу чистит, никого не спросив, второй бульдозеры таскает почём зря...

— Да, кстати,— Сидорченко повернулся к Равшану,— господин Циаль...

— Равшан!— твёрдо сказал псевдокитаец, бригадир псевдокитайцев.

— Ну, Равшан так Равшан,— пожал плечами Сидорченко.— Какого, извините, чёрта вы эти бульдозеры с экскаваторами таскали?

— А разве не они были причиной приезда комиссии?— удивился Равшан.— Афанасия Петровича ждали крупные неприятности. Теперь техника находится на положенном месте, причины возможных неприятностей устранены.

— Вот так вот из верных предпосылок делают совершенно неверные выводы, — сокрушённо вздохнул Сидорченко, — несмотря на всю остроту ума и невероятный багаж знаний. Вы могли хотя бы посоветоваться?

— У меня не было возможности посоветоваться, я слишком поздно узнал об этой технике, — Равшан начал понимать, что что-то сделал не так. — Но ведь машины действительно стояли в лесу под снегом, а сейчас...

— Да пусть бы они там ещё сто лет стояли! — в сердцах всплеснул руками Осип.

— Я вас не понимаю, — грустно сказал Равшан. — Полное отсутствие логики и здравого смысла.

— Не о том говорим, — вмешался Афанасий Петрович. — Валерий Палыч, обрисуй кратко ситуацию, как ты её видишь и понимаешь. Чтобы, так сказать, расставить точки над «ё».

— Во, спохватились, — хмыкнул Сидорченко. — Заговорщики из вас никудышные, я бы даже сказал — совсем никакие.

— Где уж нам! — согласился Афанасий Петрович. — Академиев не кончали, в компетентных органах не служили...

— Думаешь, вычислил? — прищурился Сидорченко.

— А разве нет? — с вызовом отпаривал Афанасий Петрович.

— Догада! — усмехнулся Сидорченко. — А что мы, как неродные, на улице стоим? Я уже, к примеру, подмерзать начал. А не осталось ли там чего недопитого и недоеденного?

Равшан осуждающе покачал головой. Осип с опаской покосился на него, но всё же ответил:

— Осталось, как не остаться. И недопитое есть, и недоеденное.

— А может, к нам пойдём? — засуетился Афанасий Петрович. — Марфуша блинов напекла, холодец у нас отменный...

— Разговор предстоит долгий и конфиденциальный, — покачал головой Сидорченко. — Так что сначала разговор, а уж потом блины.

Прошли в актовзый зал. Работники администрации комиссии встречали не в первый раз, так что дело своё хорошо знали: на столах, количество которых, впрочем, сократилось до одного, стояли свежие приборы, бутылки, фужеры, огурчики, помидорчики... Ни тебе анчоусов с ананасами, ни тебе икры красной или чёрной. Всё своё. Рыба с соседнего озера, разносолы с грядки, мясо практически вчера ещё мычало или хрюкало. Дескать, живём в деревне, пища экологически чистая, но не особо разнообразная, так что не обессудьте.

Выпили по одной, степенно закусили, поглядывая друг на друга. Равшан пить не стал, но еде отдал должное. Первым заговорил Осип.

— Курилки у нас нет, не предусмотрено, а курить хочется. Система вентиляции здесь хорошая,

продуманная, так что предлагаю дымить не отходя от кассы. Пепельницы на столе. Некурящие потерпят?

Некурящие в лице Равшана махнули рукой: дескать, что с вас взять, валяйте.

— Итак, ситуация, как я её вижу, — начал Сидорченко, закуривая вместе с остальными. — Летом прошлого года в Кедровом появились некие товарищи, которые поразили руководство посёлка необычайными способностями и представились инопланетянами...

— Что значит представились? — вмешался Осип, но Сидорченко остановил его нетерпеливым движением руки.

— Давайте я сначала скажу то, что намеревался сказать, а уж потом буду отвечать на вопросы, — продолжил он, со значением оглядывая собравшихся. — У меня есть некоторые основания полагать, что так называемая бригада Равшана не совсем инопланетяне. Или совсем не инопланетяне. Но точно не китайцы. Кстати, Равшан (если вас больше устраивает такое имя), с каких пор и каким образом вы вдруг стали родственником инженера Чжана?

— Я не стал, я был. Наше родство очень отдалённое, очень, — невозмутимо ответил Равшан, вежливо положив надкушенный маринованный огурчик на тарелку и промокнув рот салфеткой. — Тем не менее, у меня есть достаточные основания... ну и так далее. У моих друзей — а я считаю себя вправе называть здесь присутствующих моими друзьями — может сложиться впечатление, что я их обманул. Мы крайне редко лжём, и это не тот случай. Продолжайте, пожалуйста.

— Ну-ну... — неопределённо проворчал Сидорченко и продолжил: — Руководство посёлка решило скрыть факт появления инопланетного космического корабля ото всех, в том числе от жителей собственного посёлка, наивно намереваясь утаить здоровенное шило в тонюсеньком мешочке. И, как ни странно, до сих пор им это удавалось, несмотря на то что половина населения посёлка подозревает, что с китайской бригадой не всё в порядке, а половина этой половины уверена, что Равшан с друзьями прибыли с другой планеты или из другого измерения...

— Я бы назвал другие цифры — тридцать процентов и десять процентов, но вполне разделяю ваше недоумение, — Равшан пожал плечами и, извиняясь, приложил руку к груди. — Возможно, население посёлка Кедровый лучше, чем вы о них думали. Но я вас опять перебил, продолжайте, пожалуйста. — Я тоже ничего не подозревал до вчерашнего дня, — продолжил Сидорченко, подмигнув Афанасию Петровичу. — Вернее, смутные подозрения были, но подозрения к делу не пришьёшь. А вчера у меня состоялся очень занимательный разговор с неким полковником Осипенко, в результате

которого многие мои представления о мире, в котором мы живём, и о нашем месте в этом мире значительно изменились. Пересказывать разговор я не имею права; надеюсь, полковник сам скажет то, что считает возможным. Он должен быть здесь с минуты на минуту.

— А кто его сюда пригласил? — хмуро спросил Осип. — Вы? И зачем, спрашивается?

— Полковника Осипенко пригласил я, — возразил Равшан. — Он не совсем тот, кем вы его считаете. Как и Валерий Павлович, впрочем.

— Валерий Павлович, надо полагать, служит в тех самых компетентных органах, о которых мы говорили вчера, — Осип оценивающе оглядел Сидорченко. — Никогда бы не подумал.

— И это тоже. Но не только. И не столько, — непонятно ответил Равшан.

— Осип, а как ты представлял себе работника компетентных органов? — заинтересовался вдруг Сидорченко. — Квадратная челюсть, стальной взгляд, бицепсы, трицепсы, кобура под мышкой?..

— Зря хихикаешь, — насупился Осип. — Я их не представлял, я на них в своё время насмотрелся до тошноты.

— Да, я в курсе, — кивнул Сидорченко. — Но ты же понимаешь: в любом деле возможны перегибы и издержки. Если оценивать...

— Не надо мне читать «Отче наш», — поморщившись, перебил его Осип. — Я не пацан сопливый, а ты не багюшка. Делом надо было заниматься, а не... Такую страну просрали! Я вам этого не могу простить. И не хочу. А со мной... да, типа, издержки. Ты лучше скажи, что начальству своему будешь докладывать? Ведь будешь?

— А как же! — ухмыльнулся Сидорченко. — Непременно доложу. Вот, дескать, невзирая на трудности, а, напротив, героически их преодолевая, руководство посёлка, не щадя живота своего и остальных частей тела, доставило упомянутую технику к месту ремонта и обслуживания.

— И всё? — недоверчиво переспросил Осип.

— Ну, могу попробовать представить Петровича к медали, а тебя к ордену, — хмыкнул Сидорченко. — Только вряд ли прокатит, с орденами сейчас напряг. — А если серьёзно? — настаивал Осип.

Ответить Сидорченко не успел. За окнами послышался шум подбегавшей машины, хлопнула дверца, раздался стук в дверь.

— Ага, вот и тёзка твой пожаловал, — подмигнул Сидорченко Осипу.

— Почему тёзка? — удивился Осип.

— Ты Осип, он Осипенко — чем не тёзки?

— Тьфу на тебя! — ругнулся Осип и пошёл открывать дверь.

Осипенко пришёл не один, за его спиной робко маячил Никита.

— А этот что здесь делает? — нахмурился Сидорченко.

— Вот, поработал разводящим, — полковник цепко оглядел собравшихся, по очереди пожал всем руки. — Одного часового снял, другого поставил. «Этого» я ещё по прошлому разу помню, пусть присутствует. Моя фамилия Осипенко, если кто ещё не в курсе. С Осипом Тарасовичем мы как-то встречались, с Валерием Павловичем тоже знакомы, хоть и заочно, а вас я не знаю...

— Василий Иванович Ярошенко, руководитель реммастерских, — представился Чапай. — Народ кличет Чапаем, я не обижаюсь.

— Народ всегда прав, но не всегда оригинален, — изрёк Осипенко. — А вы, как я понимаю, и есть господин...

— Равшан, — поспешно перебил его Равшан.

— Да? Почему именно Равшан? — удивился Осипенко. — Впрочем, хозяин барин. Итак, господа заговорщики и государственные преступники, об чём речь?

— Речь об том, господин полковник, — Осип глядел исподлобья: похоже, полковник ему не особо нравился, — как было всё хорошо, пока не стало совсем плохо. А также о бабах и рыбалке.

— Рыбалка — это хорошо! — с энтузиазмом откликнулся Осипенко. На задиристый тон Осипа внимания он не обратил. Или сделал вид, что не обратил. — Сам бы с удовольствием на рыбалку съездил. А приходится вот по районам мотаться, тайны выпытывать да секреты выведывать у местного населения, которое так и норовит объехать тебя на драной козе да лапши на уши навешать, потому как оно, население то есть... — полковник оглянулся на стоящего Никиту: — А ты что стоишь, мил-друг? Присаживайся, вон и стульчик свободный в наличии имеется. Тем более что речь и о тебе идёт, потому как...

— А нечего было авторитетом давить и погонями отсвечивать, — возразил осмелевший Никита, присаживаясь к столу. — Вы бы к нам по-человечески — и мы бы к вам со всей душой...

— Во, блин, жизнь полосатая! — всплеснул руками Осипенко. — Я же ещё и виноват оказался!

Равшан вдруг поднял руку, привлекая к себе внимание, и что-то сказал... что-то настолько непонятное, что Афanasий Петрович не разобрал ни слова. Сидорченко удивлённо заморгал, а полковник подобрался и нахмурился. Улыбку с его лица как ветром сдуло. Он пожевал губами, кидая быстрые взгляды то на одного, то на другого. На лице его аршинными буквами было написано желание выгнать всех к чёртовой матери и запереть двери — для соблюдения и во избежание. Но полковник почему-то своё желание пересилил и отрывисто спросил у Равшана:

— Где и когда?

— Предположительно в районе Челябинска, — ответил Равшан по-русски, чуть заметно пожав плечами, — сроки уточняются, но скорее всего —

пятнадцатого, от десяти минут до половины десятого местного времени.

— Неделя всего... Комплекс успеете расконсервировать?

— Вы слишком много ждёте от наших специалистов, — вздохнул Равшан. — Мы круглые сутки на объекте, но... Если бы вы сообщили координаты хотя бы месяц назад...

— Я тоже не волшебник! — буркнул полковник, наливая себе рюмку водки. — Да вы ещё со своей доморощенной конспирацией.

Осипенко махом выпил и захрустел огурцом, о чём-то напряжённо размышляя.

Заговорщики, они же государственные преступники, переглядывались, но в разговор не вмешивались, понимали, что происходит нечто важное, серьёзное. Увереннее всех держался Сидорченко, но и он нет-нет да и поглядывал на полковника вопросительно.

— Ладно, лирика всё это! — полковник решительно отодвинул от себя рюмку и требовательно посмотрел на Равшана. — Сами-то справитесь?

— Совсем без последствий не получится, — Равшан виновато развёл руками, — радиус действия и мощность, сами понимаете... У нас авральный режим, так что вынужден вас оставить, извините. — Проводи господина... э-э-э... Равшана, дверь на ключ закрыта, — повернулся полковник к Никите. — Ничего, они сами с усами, — отмахнулся тот.

Сидорченко смотрел вопросительно, а остальные ехидно засмеялись, вспоминая забавную сцену с ключом и радуясь, что хоть чем-то могут уেষь бравого полковника.

Осипенко обернулся на дверь актового зала, потом с подозрением посмотрел на Никиту, встал и вышел за двери. Вернулся он несколько огорошенным, но, надо отдать ему должное, умело сделал вид, что ничего особенного не произошло, а люди, умеющие проходить сквозь стены, попадают ему буквально на каждом шагу.

— Объяснит нам кто-нибудь, в конце концов, за каким чёртом мы здесь собрались? — пошёл в атаку Осип. — Водку пьянствовать и разговоры разговаривать?

— Кстати, о водке, — полковник плотоядно потёр руки и подмигнул Чапаю. — А не накатить ли нам грамм по несколько, господа заговорщики, потому как душа просит и для разговора полезно? — Отчего ж не накатить с хорошим человеком? — ответил за Чапая Афанасий Петрович. — Выпивка дармовая, закуска тоже.

Накатили, закусили обстоятельно, закурили. Некурящий Осипенко поморщился, но возражать не стал.

— Итак, что мы имеем? — спросил он и сам же ответил: — А имеем мы за рыбу деньги и три вагона головной боли. Но давайте по порядку... Сколько километров от вашего посёлка до трассы?

— Ну, шестьдесят пять, — нехотя ответил Осип. — А при чём здесь это?

— Вот! Шестьдесят пять, — полковник назидательно поднял палец — а сотовые у вас работают не только в посёлке, но и в сорока километрах от него, сам проверял. И Интернет такой скоростной, что скоростнее не бывает. И двадцать каналов телевидения без всяких антенн. А за что вам такое счастье, как думаете?

— Так вышка же у нас, — Осип и Афанасий Петрович недоумённо переглянулись.

— И кто вам эту вышку поставил? — наседал полковник.

— Ну... — пожал плечами Осип. — Это ещё до меня было. Приехала бригада, пригнала технику, поставила вышку и уехала. И в чём вообще дело-то? За Интернет и прочие удовольствия мы платим исправно, задолженность практически нулевая.

— А дело в том, что никто вам вышку не ставил.

— То есть как это не ставил? Вон же она стоит!

— Вышка стоит. А хозяина у неё нет! Организация, в которую вы платите за удовольствия, не имеет к этой вышке никакого отношения. То есть совершенно никакого! Палыч, подтверди.

Сидорченко согласно покивал головой.

— Я со своими нехилыми возможностями концов не нашёл, — задумчиво продолжал Осипенко. — Валерий Палыч, тоже не обиженный возможностями, копал долго, но откопал от мёртвого осла уши. Рекбус! Кроксворд! Идём дальше. Вышке семнадцать лет, никто её не реконструировал, не модернизировал, а сотовые работают все. Даже Интерком, который организовался всего пять лет назад. И цифровое телевидение, о котором семнадцать лет назад ещё и разговоров не было, шпарит вовсю. И вот я спрашиваю вас: как такое может быть? Не знаете? И я не знаю!

Осипенко вышел из-за стола и стал расхаживать из угла в угол, засунув большие пальцы за ремень португеи. Публика потерянно молчала, ожидая продолжения. Первым не выдержал Чапай.

— Ну, вышка, эка невидаль. Вызвать специалистов, пусть посмотрят, — неуверенно заговорил он. — Тут вон инопланетяне под боком, а вы про вышку. Далась она вам!

— Ну, инопланетяне, эка невидаль, — передразнил полковник, — вызовем специалистов... кстати, о специалистах: вашу вышку осматривали специалисты не слабые, и все в один голос пожалы плечами. Не знаем, говорят, что это такое, и весь разговор! — Так не бывает, — хмыкнул Чапай. — Отдайте нам с Чжаном, мы её до винтика разберём...

— Так нету там никаких винтиков, — развёл руками Осипенко. — И не разбирается эта зараза в принципе.

— Как это? Всё разбирается! — настаивал Чапай.

— А вот не разбирается — и всё тут! Стоит монолитный блок, вернее — несколько монолитных

блоков, подходит силовой кабель, и никаких соединений или сочленений. Блоки эти взрывать вот только не пробовали, а на всё остальное они начхать хотели. И кабель этот... подходит-то он подходит, но откуда—так и не нашли. Вот такие вот пироги... А ты говоришь—«инопланетя-яне»...

— Фигня какая-то,—выразил общее мнение Никита.— Жили не тужили, и вдруг всё гуртом на наши головы. А когда вы это всё облазить успели? — Зря мы тут, что ли, целый месяц казённые харчи продали? — усмехнулся Осипенко.

— Во как! — вскинулся Никита.— А тарелка, значит, для отвода глаз?

— Почему? — удивился полковник.— Тарелку как раз и искали. А вышка и всё остальное—это так, попутно. Вот если бы ваши равшаны сразу на меня вышли... столько времени потеряли...

— У тебя что, на лбу написано, что на тебя надо выходить? — возразил Сидорченко.

— Не умничай, сам тоже хорош,—огрызнулся Осипенко.— А что, мужики, не накатить ли нам ещё по рюмашечке?

— Вы с Палычем накачивайте, а нам, пожалуй, хорош,—выразил общее мнение Осип.

— Не врут, стало быть, про Кедровый, что народ тут с ума сошёл и водку перестал пить,—полковник с сожалением отодвинул рюмку и встал.— А вообще, мужики, вы меня удивили: столько времени секретничали, столько чудес наворотили, взять тот же биокомплекс, котельную или агрегат ваш снегоуборочный,—и никто до сих пор ни сном ни духом. Достоинство уважения! Вот и продолжайте тем же макаром. А мне пора: служба.

— К-к-как это пора? — от удивления Афанасий Петрович даже заикаться начал.— Вы ж ничего не сказали, не объяснили...

— Много будешь знать—скоро состаришься,—засмеялся Осипенко.— А ты и так уже не мальчик, так что береги здоровье.

— Прискакал, наговорил с три короба, водки дармовой попил, а по существу дела ни слова не сказал,—набычился Осип.— Так дела не делаются, полковник! У тебя служба, это понятно, это святое, а мы тут как же? И так уже собственной тени пугаемся, сухари сушим и носки тёплые вяжем...

— А кто ж вас просил... — начал было Осипенко, но вмешался Сидорченко.

— Вот ты, Осип, спрашивал, что я буду докладывать начальству,—мягко сказал он.— Отвечаю: ничего! У начальства свои заботы, а у нас свои. Так что живите как жили. До сих пор ничего не всплыло, будем надеяться, что и дальше Бог милует. Чем сможем—поможем, но и вы тут не расслабляйтесь, хотя бы станы не путайте да трактора по воздуху не таскайте.

— А что вы тут про Челябинск с Равшаном говорили? И на каком языке? И вообще, кто вы

такие, полковник Осипенко и врио Сидорченко? — Осип крепко сжал кулаки, так, что побелели костяшки.

— Да свои мы, свои,—успокоил Осипенко.— Такие же люди, как вы, только знаем побольше да возможностями располагаем. А про Челябинск... сами узнаете. Или не узнаете, если Равшан успеет, так это даже лучше. Ну, всё, мужики, мы с Палычем отчаливаем, труба зовёт.

Полковник пожал всем руки и пошёл было к дверям, но с полдороги вернулся.

— Да, вот ещё что,—сказал он, жестом поторавливая Сидорченко.— Через недельку-другую в Кедровый перебазировается ретрансляционная установка с сопутствующими и персоналом, так вы уж солдатиков не обижайте, они хорошие, хоть и из нашего ведомства.

— И что эта установка будет ретранслировать? — заинтересовался Чапай.

— А кто сказал, что она будет что-то ретранслировать? — подмигнул полковник.— Она просто будет, этого вполне достаточно. Ну, всё, бывайте здоровы!

Хлопнула дверь, на улице взревел мотор — и ответственные гости сгинули, будто их не было вовсе.

Осип задумчиво подержал в руках бутылку, но наливать не стал, отставил в сторонку. Все хмыкали, крикали, чесали в затылках, избегая смотреть друг на друга.

— А не кажется ли вам, господа конспираторы, что нас только что поймали в грубой форме? — спросил задумчиво Осип.

— Не перегибай, Осип Тарасович,—откликнулся Афанасий Петрович.— Сказали ведь, что помогут чем могут. А всё знать нам, видимо, ни к чему.

— А вышку эту я расколупаю,—пристукнул кулаком по столу Чапай.

— Зачем? — удивился Никита.

— А из принципа! Не может быть такого, чтобы не разбиралась,—сказал Чапай с такой убежденностью, что рассмеялись все, даже озабоченный Осип.

На улице опять мело. Ничего необычного, в Сибири так бывает. Особенно в феврале.

А эту шибко сомнительную байку мне поведал сам Афанасий Петрович, когда в очередной раз уламывал меня перебраться к ним в Кедровый. Я не то чтобы сильно упираюсь, но как-то всё не решусь. Сколько лет уже в Степановке, и Любушку тут свою схоронил, и с соседями ладим. Да и рыбалка тут не чета кедровской: ленок, хариус, таймешата попадают... Карась тоже хорош, конечно, особенно если в сметане пожарить, но всё равно не то, не то...

А байка завиральная, спору нет! Китайцы в Кедровом живут, сам видел. И вышка стоит, тоже верно. У нас вот до сих пор связи нет никакой,



и телевизор, кроме ряби, два канала показывает, и Интернета отродясь не было. А в Кедровом всё любо-дорого, по полному ассортименту.

Хотя, если с другой стороны глянуть, на кой мне тот Интернет? Жил столько лет без Интернета—и ничего! Разве что с сыновьями пообщаться, а то позвонить-то мне некуда, а сам я разве что в Ирбейское раз в неделю выбираюсь... Да и рыбалка, опять же...

Афанасий-то всё про здоровье талдычит: дескать, не молоденький уже, мало ли что, а в Кедровом инопланетяне подлают так, что хочетом

скакать будешь. Ну, инопланетяне не инопланетяне, а народ в Кедровом не хворый, это точно!

Афанасий-то смурной какой-то был, курил много, а вот пить почти не стал. Всё про метеорит челябинский рассуждал. А что про него рассуждать: упал себе и упал, никого ведь не побил.

Ладно, если ещё звать будет, соглашусь, пожалуйста. На рыбалку далековато ездить, да где наша не пропадала. Под старость лет, может, на компьютере научусь, а то всё как деревня лапотная. Инопланетя-яне, ёксель-моксель!.. Надо же так придумать!..

Литературное Красноярье · ДиН стихи

Олег Миндалёв

## Неумение жить



Неумение жить для одних может быть наказанием,  
А другие живут, не заботясь о завтрашнем дне.  
Не прошу никого, чтобы те верный путь указали мне,  
И плыву на своей, для других непонятной, волне.

Никому, никогда, ни на что не ропщу и не жалуюсь,  
Благодарен судьбе за подаренный мне каждый миг.  
Как мальчишка, порой всякой мелочи искренне радуюсь,  
Каждый новый рассвет я встречать улыбаясь привык.

Но уносит река, по законам коварного времени,  
Всё вперёд, приближая отметку последнего дня.  
А ещё с каждым днём я всё больше теряю доверие  
К похвалам тех людей, кто ответные ждёт от меня.

Опыт свой не берусь второпях называть некой мудростью,  
Всё, что я приобрёл, без труда уещаю в багаж.  
Иногда на пути возникают нелепые трудности,  
Но кручу колесо и мотаю свой километраж.

Сотни разных дорог в нашей памяти вряд ли останутся.  
Много правил, но я никогда их не знал наизусть.  
Неумение жить мне давало отсрочку от старости,  
Может быть, потому до сих пор научиться боюсь.

### Перекрёсток

Благодаря? Нет—вопреки  
Тому, что Мир наш слишком тесен,  
Мы грязь дорог ногами месим,  
Но друг от друга далеки.

Одни и те же фонари  
Сквозь мрак ночей ведут нас к дому:  
Ты—к одному, а я—к другому,  
Маршрут свой снова повторим.

Судьбы нелепая игра:  
Тебе попутно, мне навстречу  
В дней хороводе бесконечном  
Спешат осенние ветра.

В постелях разных видим сны,  
И веет в них одна прохлада.  
Но, несмотря на все преграды,  
Мы в жизни встретиться должны.

Блуждая в серой пустоте,  
Я верю, что однажды просто  
Найдём заветный перекрёсток  
Непредсказуемых путей.

Василий Димов

# Москва по понедельникам

Роман-история

*Всем шагающим в ногу со временем посвящается*

## От автора

Если писать одну правду, тебя могут привлечь за клевету. Поэтому иногда лучше разбавить её вымыслом. Данный роман и есть пример такого синтеза.

## Часть 1

### *Drang nach Osten*

*Далеко не всегда герои-символы уходят вместе с превозносившей их эпохой. Нередко они изменяют самим себе и своему прошлому. Без стеснения пристраиваясь к эпохе следующей.*

*Эгоизм как высшая форма человеческой искренности.*

*Искренность как высшая форма человеческого эгоизма.*

1.

Экран.

Сотни начищенных до блеска сапог безупречно вычерчивали сотни прямых параллельных линий. Превращая геометрию в искусство.

На военном тренировочном плацу.

В окружении непреступного кирпичного забора.

Однако ни пронзительного командирского «левой-правой», ни пугающего грохота сливавшихся воедино шагов слышно не было. Приказы потеряли голос. Всё вокруг замолкло. И только таинственно-сладостные звуки одинокой трубы ненавязчиво доносились откуда-то сверху. Сквозь безоблачную летнюю тишину. Будто музыкальное сопровождение немого фильма.

Безымянная мелодия для безымянной постановки.

В армейском театре под открытым небом.

Неужели кто-то наблюдал за всем происходящим? Неужели у кого-то всерьёз возникло желание придать этому ничем не примечательному, однообразному зрелищу мягкости и даже поэтичности?

Или, может, кому-то просто захотелось дать свободу собственной фантазии?

Труба не звала.

Труба пела.

Просветлённые лица марширующих то неожиданно приближались, то так же неожиданно отдалялись. Кинокамера выбирала крупные планы по своему предпочтению и вкусу. И хотя все лица были вроде бы разные, настроение, молодость и одинаково короткая стрижка делали их похожими друг на друга.

В этот солнечный день юные воины, казалось, забыли о тяготах службы и выглядели свежими и подтянутыми. Они напоминали переодетых в военную форму ангелов. И такое сравнение не было далеко от истины.

Музыка их объединяла.

Музыка их вдохновляла.

Но не на подвиги.

На жизнь.

Геометрия не случайно превращалась в искусство.

На то была чья-то воля.

Солдаты чувствовали повышенное к себе внимание и с трудом скрывали смущение.

Это было видно по глазам.

И яркому румянцу на щеках.

Сам же невидимый наблюдатель не смущался.

Он не мог оторваться от экрана.

Он заряжался энергией.

Кино ему нравилось.

Тем более что это был единственный сеанс для единственного зрителя.

Сон затягивался.

И просыпаться зритель не торопился.

Сон — состояние магическое.

2.

Мать плакала.

Жалобно, тихо, безутешно.

Вчера вечером она кое-как ещё держалась, сегодня же — будто прорвало. Поток слёз не иссякал с самого рассвета, грозя смыть прочный домашний мир. Не спасало ни присущее ей умение держать себя в руках, ни самовнушение, ни успокоительное.

Под стать материнскому настроению даже погода за окном выдалась не по-августовски мрачной. Будто лето решило поиздеваться над календарём и человеческими привычками.

Мать плакала.

Но она ничего не могла с собой поделать.

Никогда прежде её душа не разрывалась между счастьем и тревогой. Никогда прежде мать не переживала так за своего сына. Нет-нет, она ничуть не жалела, что его по окончании школы направляли учиться за границу. Наоборот, этим особым доверием она гордилась. Престижный университет. Престижная специальность. Далеко не перед всяким молодым восточным немцем открывалась столь реальная перспектива. Однако буквально за несколько часов до отъезда сына радость вдруг исчезла, сердце заныло, а во всегда спокойном поведении матери появилась чуждая её характеру нервозность.

Мать плакала.

И всем своим слезам верила.

Сейчас она была полностью во власти страха и неизвестности. В ней, похоже, одновременно проснулись все мыслимые родительские инстинкты. При этом больше всего её пугали пять лет предстоящей разлуки. Уже сама мысль о том, что буквально с завтрашнего дня её единственный ребёнок начнёт жить по чужим законам и под чужим надзором, разжигала в ней ревность. И бороться с этим неведомым ей до сих пор чувством было невыносимо трудно. Она ни с кем не хотела делить своего сына. Она ни с кем не хотела делить, как она считала, исключительно ей одной вверенное право поощрять его или наказывать. Будучи убеждённой атеисткой, мать вдруг даже вспомнила о Деве Марии. Но только вспомнила. Просить же ни о чём не посмела. Впрочем, она толком не знала, о чём просить и как это делать. Такого сомнительного опыта у неё ещё не было. Она никогда не позволяла себе опускаться до подобной беспринципности. Потому что беспринципность была для неё равносильна предательству. И в первую очередь — по отношению к непрекаемым жизненным идеалам. В которые она искренне верила. И ради которых она готова была пойти на любые жертвы. В том числе и на личные.

Мать пребывала в растерянности.

Она знала, что сейчас ей неоткуда ждать помощи.

И даже сочувствия.

Мать плакала.

Все её тайные мечты о блестящей карьере сына сегодня утром вмиг потускнели, ушли на задний план, уступив место более конкретным, земным проблемам. Оптимизм пропал. Не спасало и воображение. Между настоящим и будущим образовалась непреодолимая пропасть. Ведь отныне всё, что связано с её сыном, должно было решаться

где-то далеко, за тысячи километров, без её непосредственного участия. И если в предыдущие месяцы мать рассуждала о его университетских успехах уже как о свершившемся факте, то сегодня она поняла, что путь к этим успехам лежал и через её страдания.

Это было ужасное открытие.

За окном гудел ветер.

За окном продолжала тянуться унылая, ничем не примечательная вчерашняя жизнь.

Мать плакала.

Она напряжённо ходила из угла в угол крошечной родительской комнаты.

Не поднимая головы.

То и дело вытирая слёзы насквозь промокшим носовым платком.

Сегодня ей казалось, будто она отправляет своё любимое чадо на фронт. И что бы ни говорили о Советском Союзе, о социализме, о вечной дружбе между двумя великими народами, а воспоминания о войне даже спустя десятилетия не давали покоя. Мать хорошо помнила речи фюрера из уличных репродукторов. Помнила победоносные кадры отечественной кинохроники под звуки духового оркестра. И ей с трудом верилось, что русские простили немцев за все их прошлые грехи. А если к этому добавить немногословные жуткие рассказы мужа, воевавшего на Курской дуге и чудом оставшегося с головой на плечах, то становилось совсем не по себе. Правда, сегодня было другое время. Тем не менее, матери не раз приходилось читать в газетах и слышать с экрана телевизора знаменитое русское: «Никто не забыт! Ничто не забыто!» И она ни на секунду не сомневалась в искренности этих пафосных, но в то же время угрожающих восклицаний. Русские уже давно убедили немцев: таких слов они на ветер не бросают. Поэтому, с точки зрения памяти и логики, опасаться действительно было чего. К тому же нужно было учесть множество национальных особенностей народа-победителя, которые с особенностями немецкими порой никак не сочетались. Так что рассчитывать юному созданию на лёгкую, беззаботную жизнь среди бывших врагов его родителей вряд ли стоило. Во всяком случае, на первых порах. Пока не удастся зарекомендовать себя их преданным другом и единомышленником.

Единственное, за что мать была спокойна, так это за идеологическую стойкость сына. В чём в чём, а в идеологии восточные немцы перещеголяли даже своих учителей-победителей. Теперь сему наивысшему искусству дисциплины и морали они могли сами кого угодно научить. Усердное всенародное покаяние и самоперевоспитание не прошли для нации впустую. За считанные послевоенные годы она преобразилась. В передовиках эфдэтовской молодёжи числились самые дисциплинированные и благонадёжные, самые проверенные из

проверенных. Гэдээровские власти не скрывали, что учёба в СССР была для всех «самых» золотой олимпийской наградой за их активность. И одновременно серьёзным авансом на будущее. Поэтому, отправляясь на пять долгих лет в братскую страну, молодые люди стремились любой ценой оправдать оказанное им доверие. Без усталости и капризов они учились совершенствовать социализм. Быстро смирившись с безжалостным русским климатом и неустроенностью местного быта, они перенимали бесценный исторический опыт. И, надо сказать, у большинства из них это здорово получалось. Нередко даже примерные советские сверстники, не без юмора и ехидства, отмечали не свойственную иностранцам чрезмерную правильность восточных немцев. Их работоспособность и закалку, а порой и их спортивную, полувоенную выправку. Без преувеличения, потомкам победителей было чему поучиться у младших братьев по соцлагерю. Хотя успехи «младших», как правило, в СССР никогда никем не замечались.

Но всё же не идеологией единой жил рядовой гэдээровский обыватель. Сегодняшний печальный вид матери служил тому доказательством. Впервые в жизни она с трудом узнала себя, на секунду остановившись перед зеркалом. Впервые в жизни она по-настоящему задумалась о своём возрасте.

Мать плакала.

Периодически прикрывая лицо руками.

Она боялась своим плачем ненароком разбудить сына. Время до отхода поезда ещё было. Пускай отдохнёт перед дорогой, наберётся сил. Когда он теперь поспит в тёплой домашней постели? О комфорте и порядках московского студенческого общежития она могла только догадываться. Однако то, что они мало чем будут напоминать уют родной ростокской квартиры, сомнений не вызывало. И хотя мать воспитала своего ребёнка терпеливым, самостоятельным и отнюдь не избалованным, она знала: трудности будут. Поэтому и жалела его заранее. Даже при непоколебимом уважении к советской стране на любовь и сострадание её граждан она, честно говоря, не очень рассчитывала. Она не могла представить себе русских в мирной, созидательной жизни. Русские вызвали в её сознании несколько иные ассоциации. И освободиться от уже давно сформировавшихся стереотипов не получалось. Но всё равно, какие бы испытания судьба ни уготовила сыну на чужбине, мать надеялась, что там он не растеряется и сумеет выбраться из любого трудного положения. В конце концов, его будущее было, прежде всего, в его руках. А к борьбе он был готов с детства. Несмотря на нежный возраст, он уже успел многому научиться. Мать, как и рекомендовавшие его на продолжение учёбы школьные учителя, верила во все его многочисленные таланты и способности.

Он только внешне производил впечатление беззащитного, скромного, интеллигентно-книжного подростка. Характер же у него был на зависть сильным. Независимо от сложности ситуации, он всегда ставил перед собой максимальные задачи. Независимо от сложности задач, он всегда находил оптимальное решение.

Он умел застенчиво промолчать. Он умел убедить. Он умел переубедить. Он умел вовремя выступить. Он умел временно отступить. Он умел, не переоценивая, оценить. Он умел делу не навредить. Он умел глубоко спрятать свои чувства. Но он умел и скупое приоткрыть своё сердце. Он умел привлечь к себе внимание. Он умел наперёд просчитать и не просчитаться. Он умел пойти на компромисс и согласиться. Он умел своего добиться. Он умел подчинить и подчиниться.

Мать знала наизусть лучшие качества сына.

Она по праву гордилась ими и была уверена, что в ближайшие пять лет они, конечно же, приумножатся. Поэтому там, наверху, его непременно заметят и признают. Там, наверху, для него быстро найдут достойное место. Родная партия обязательно протянет ему крепкую руку. У партии было хорошее чутьё на «своих». Мать не сомневалась, что по окончании учёбы из него сделают серьёзного государственного мужа. Всем известно: многие высшие чины тоже были выходцами из простых семей и тоже начинали с нуля, без связей и влиятельных покровителей. Результаты — на первых полосах центральной газеты страны. Достижения — в учебниках по новой истории.

Новая Германия нуждалась в новых талантах.

Новая Германия не имела права разбрасываться своим главным достоянием.

Мать тоже кое-что смыслила в государственных делах. К тому же, специалист по дошкольному воспитанию и библиотекарь по совместительству, она не без основания считала себя прирождённым психологом и в сыне никогда не ошибалась. По крайней мере, до сих пор его жизнь это упрямо подтверждала.

Мать плакала.

Но легче ей от этого не становилось.

Сегодня она неожиданно почувствовала себя брошенной и одинокой. Мужа вчера вызвали в Берлин. В Штази хотели ещё раз побеседовать с отцом ростокского активиста. Так что ни поддержать, ни утешить убитую счастьем-горем мать было некому. Мало того, могло произойти неоправданное. Длительное монотонное хождение по комнате настолько усыпило её бдительность, что она не заметила, как пришла пора будить сына. Ведь так они могли опоздать на берлинский поезд. А там — и на московский. Хорошо, что все вещи были собраны. Хорошо, что умещались они в одном-единственном, оставшемся ещё с далёких военных времён небольшом чемодане. Спасало

и то, что дом находился всего в нескольких кварталах от вокзала. Поэтому была ещё надежда успеть.

Мать в панике ворвалась в комнату сына.

Сын в панике вскочил с постели.

Сон оборвался.

Однако сейчас было не до сна.

Судьба висела на волоске.

Видеть столько ужаса в глазах друг друга матери и сыну ещё никогда не приходилось. Но времени на вопросы и оправдания, как и времени на приготовленный с вечера завтрак, у них не было.

Далее всё происходило автоматически.

Автоматически продолжали литься и нескончаемые материнские слёзы.

### 3.

Райхсбан не подвёл.

Ростокский дизель-поезд прибыл в Берлин почти по расписанию.

Муж встречал жену и благословлённого на учёбу спецслужбами сына, как договорились, в центре платформы. И, несмотря на то, что до отхода московского поезда оставалось более двух часов, от Лихтенберга до Остбанхофа решили добираться на такси. Довольно редкий случай для скромного семейного бюджета. Однако сегодня экономия выглядела бы настоящим кощунством. Столь знаменательный день был равносителен долгожданному празднику.

Причём совсем не важно, что на лицах сейчас он отсутствовал. Главное, что он присутствовал в душах.

По дороге все молчали.

Никто ни с кем даже не пытался заговорить.

Да в этом, наверное, и не было необходимости. В такой ситуации любые слова теряли смысл. Всё равно все трое думали об одном и том же. Всё равно ничего нового сказать друг другу они уже не могли. Ёжась от противного холода, каждый только пытался хоть чуть-чуть согреть руки. Скрывая внутренние переживания, каждый пристально, не отрываясь, смотрел в своё закрытое окно. Правда, увиденное там тоже вряд ли могло заинтересовать. Обычно приветливая берлинская погода сегодня не отличалась от обычно отвратительной ростокской. Серость длиннющих столичных проспектов сливалась с серостью навалившегося на них столичного неба. У общего настроения не было ни малейшего шанса на исправление. К тому же сильный порывистый ветер вдруг ещё больше усилился. А через какое-то время и вовсе пошёл дождь.

Матери показалось, что сейчас она плачет не одна.

Но на её слёзы никто внимания не обращал.

Будто их не было.

Путешествие по мокрому Берлину заняло меньше получаса. Автомобильные пробки помехой не

стали. Выйдя из такси, отец сразу же взял инициативу в свои руки и быстро, по-предводительски, повёл семью за собой. На перроне уже собралось много народу, и временами приходилось буквально протискиваться между кучками людей и чемоданов. Иногда спотыкаясь или наступая кому-нибудь на ноги. Не всегда успевая извиниться за свою неуклюжесть или неосторожность.

И тем не менее, всем троим было приятно оказаться в такой непривычной сутолоке. Всем троим было приятно почувствовать себя среди равных и одновременно среди избранных.

Это чувство дорогого стоило.

Предстояло только найти квадратный метр свободного места. Чтобы обустроить своё ожидание. А там и до прощания недалеко.

Расположились ростокцы под вокзальными часами.

Родители старались смотреть по сторонам.

Сын же смотрел себе под ноги.

Уже из окна вагона Ральф попробовал улыбнуться, но... не получилось. Помешал протяжный гудок локомотива. А через несколько секунд поезд тронулся.

Тяжело вздохнув, толпа провожающих всколыхнулась.

Её потянуло вслед за поездом.

Расставание выдалось не из лёгких.

В ход пошли зонты, ленты и носовые платки.

У кого-то в руках появился гэдээровский флаг.

Ральф подумал, что его провожает вся Германия.

Впрочем, в этой промокшей от дождя мысли не было чрезмерного преувеличения.

Отныне юный активист на самом деле перешёл в более престижную весовую категорию.

Отныне он становился человеком международного масштаба.

На глаза новоиспечённого студента неожиданно навернулись настоящие детские слёзы.

Он попытался было по-мужски их сдержать, дрожащим пальцем прижав очки к переносице.

Чтобы скрыть свою слабость перед соседями по купе.

Но не получилось.

Тем временем наступил самый ответственный момент.

Родители судорожно замахали руками.

Родители оставляли любимого сына наедине с новой, взрослой жизнью.

Они были горды.

Они были счастливы.

Для них тоже начиналась новая жизнь.

Хотя и не без привкуса горечи.

Ещё один гудок прозвучал как прощальный.

Отец рукавом вытер со лба пот.

Мать беспомощно взглянула на мужа.

Они обнялись.

Мать плакала.

## 4.

Когда выглядываешь из-за угла, всегда нужно помнить, что со спины тебя могут видеть из-за другого угла.

Это—закон.

И предостережение.

Для любого игрока.

Независимо от того, в какую игру ты ввязался и на каких условиях.

Тем более если она сопряжена с риском.

Во всяком случае, с риском для твоей карьеры и твоего светлого будущего.

Ральф всматривался в неведомый ему советский мир не без робости. Пока он не знал, каких сюрпризов и каверз можно от сего мира ждать. Поэтому в первую очередь он надеялся только на себя самого. Для начала это был весь его ресурс.

В Москве Ральф стал работать над собой и своим образом ещё усерднее.

Ведя игру аккуратно и осмотрительно.

Из всех путей, что ведут к признанию, он не стал выбирать полегче и покороче. Для него понятия «работа», «борьба», «будущее» имели похожий смысл. Немец серьёзно вникал в свой второй родной язык. Охотно разговаривая со всеми профессорами и студентами на разные темы. Он легко знакомился практически с каждым. Правда, близко к себе подпускал лишь тех, кто хоть чем-то выделялся на фоне однотонно-скучной советской массы, кто умел самостоятельно мыслить или, по крайней мере, привлекал своей незаурядной внешностью и поведением. Ведь тот, кто был постоянно на виду, мог быть потенциально интересен и для компетентных органов. Ральф не формально создавал себе окружение. Он тщательно отбирал материал для работы. А вот какие с кем сложатся личные отношения, его не особенно волновало. До личного Ральф пока ещё не дорос. С такого рода частностями он собирался разобраться позднее. Не только в серьёзных, но и в различных второстепенных вопросах будущий историк-КПССовет предпочитал не торопиться. Страх ошибки над ним довлел. Он внимательно присматривался к многочисленной университетской армии. Выжидал, сопоставлял, оценивал. Запрягал, на первый взгляд, медленно, но добросовестно и скрупулёзно. Получая поистине профессиональное удовольствие от этого процесса.

Ральф выстраивал свою схему студенческой жизни.

Ральф привыкал к необычному для него укладу.

И никогда не пренебрегал сомнениями.

Как ни странно, но немцу сразу не понравилось повсеместное отношение к нему как к иностранцу. Его искренне раздражало типично советское слащавое заискивание перед всем зарубежным. Хотя от различных поблажек, которые почему-то причитались в Стране Советов гражданам других

государств, он, разумеется, не отказывался. Однако справедливости ради стоит признать: в отличие от заносчивых иностранцев, пользовался ими тихо, молча, не афишируя. Общительному Ральфу хотелось, чтобы и в аудиториях, и в общежитии все поскорее забыли о его чужеземном происхождении, чтобы воспринимали его как равного, без лишних комплексов и церемоний. Ему хотелось отличаться от других иностранцев. Ему хотелось, чтобы его считали «своим». И буквально за два-три месяца он без видимого труда этого добился. Отчего уважения к нему на всём историческом факультете мгу лишь прибавилось. Молодому неприхотливому немцу и в самом деле нравилось жить с русскими сверстниками в одной комнате. Бесконечно спорить с ними и, не в последнюю очередь, от души веселиться в шумных компаниях.

Несколько сложнее складывались отношения у Ральфа со своими земляками, которых в университете, к его удивлению, училось немало. В отличие от простоватых потомков Михайло Ломоносова, эти смекалистые юноши и девушки оказались здесь не случайно и требовали к себе нестандартного подхода. Ральф прошёл с ними одну и ту же гэдээровскую школу и отлично понимал, что не только ему придётся придирчиво выискивать недостатки в своих соотечественниках, но и сам он будет находиться под их неусыпным перекрёстным наблюдением. Наверняка и подробные докладные придётся всем писать часто и по содержанию во многом одинаковые. Порядки в восточногерманском землячестве иногда были даже похлестче многих советских. Коэффициент доносительства в его стройных и непоколебимых рядах достигал почти ста процентов. Гэдээровская безопасность гордилась подобными показателями. Вот уж где нелегко было сыграть на опережение. Вот когда ни в коем случае нельзя было ошибаться. Всё напрямую передавалось в спецотдел посольства. Оправдания же там в расчёт не принимались. Зато молниеносно принимались решения. Даже самый незначительный проступок мог в одночасье перевернуть дальнейшую судьбу ещё вчера образцового эфдэтовца. Порой пустяковое недоразумение становилось роковым. Гэдээровская родина ошибок не прощала. Она немедленно отказывалась от услуг ненадёжных. Става на карьере несостоявшихся специалистов жирный несмыываемый крест.

Ральфу предстояло действовать на два фронта.

Ральф настраивался на две победы.

Если не считать науку.

И хотя времени ему катастрофически не хватало, он умудрялся успевать многое. Расходуя силы и энергию целенаправленно, экономно, продуманно. А везде, где того требовала ситуация, Ральф без колебания проявлял инициативу и свои лидерские качества. Этому у юного активиста было не отнять.

Массам всегда нужен лидер.  
Его ценили.  
Его хвалили.  
На всех собраниях.  
По любому поводу.

Старшие советские товарищи никогда не жалели для него хоть и однообразных, но всегда броских эпитетов. Постоянно ставя в пример лентяям, троечникам и прогульщикам. К праздникам и всевозможным годовщинам ему регулярно объявляли благодарности, награждали всякими бесполезными сувенирами и бесчисленными почётными грамотами. С размахистыми красными знамёнами и портретами Ленина. За подписями уважаемых партийных и университетских начальников. Ральф надолго застолбил себе центральное место на обитой бордовым бархатом факультетской доске отличников. Сам того не ведая, он становился в глазах однокурсников живым воплощением пламенной советско-гэдээровской дружбы. Преподаватели удивлялись, как этот юный иностранец сумел так быстро овладеть русским языком. С какой лёгкостью он общался со всеми, кто его мало-мальски интересовал. Да, у него действительно были способности, не признать которые было невозможно.

Авторитет Ральфа рос изо дня в день.

Теми же темпами накапливался и опыт.

И что интересно, в окружении немца не было ни врагов, ни соперников. Ни тайных, ни явных. Наоборот, к числу желающих с ним подружиться можно было отнести почти весь курс. Поэтому и задачи, поставленные перед будущим историком берлинскими спецслужбами, несколько упрощались. Ведь он учился и работал среди тех, кто хотел видеть в нём друга. А значит, доверие к нему было гарантировано. Оставалось лишь тонко и умело этим доверием воспользоваться.

Немец старался.

У немца всё получалось.

И он быстро привыкал к успехам.

Изо дня в день фиксируя их на бумаге. Вести полноценный дневник Ральф, конечно, позволить себе не мог. А вот письма в родной Росток шли каждую неделю, на пяти-шести страницах и всегда полные счастья и восторга. Полные счастья и восторга, приходили оттуда и не менее длинные ответы.

Это были самые радостные дни недели.

Семья, школа, страна переживали за своего примерного воспитанника.

Поддерживали и вдохновляли.

«Делай с нами, делай как мы, делай лучше нас»<sup>1</sup>.

Все они были одной сплочённой командой.

Молодой, но уже с чемпионскими традициями.

И кто знает: может, когда-то Ральф станет их верным капитаном?

5.

То, что Москва являлась не только столицей Страны Советов, но и центром всей коммунистической цивилизации, в двадцатом веке признавало практически всё человечество. При этом одна его половина непоколебимо верила во все без исключения её революционные начинания и эксперименты, другая — столь же непоколебимо все большевистские лозунги, тезисы и их зримые воплощения ненавидела.

Мир чётко делился на коммунистов и на их не менее пламенных антиподов.

Ральф, разумеется, как и подавляющее число его соотечественников, относился к первой, то есть к прогрессивной половине. Ральф был идеальным продуктом марксистско-ленинского учения. Он уже с детства имел богатое представление о Москве. И, нужно отдать ему должное, патристическими советскими кинолентами и популярными картинками из школьных учебников оно не ограничивалось. Ральф много читал. Ральф знал почти всех русских классиков. Был знаком по фотографиям со всеми советскими вождями и некоторыми героями-революционерами. Не зря же он собирался рано или поздно стать настоящим политиком. А уж как и где делается настоящая политика, из кого растят самых преданных, ответственных и красноречивых государственных деятелей, в ГДР знал каждый. Из этого в Берлине никогда не делали секрета. Скорее, наоборот: восточно-немецкая демократия гордилась своими идейными связями с советскими братьями. Гордилась и всеми силами эти связи из года в год укрепляла. Укрепляя тем самым и собственную власть.

Все тропы к берлинским вершинам вели через Москву.

Так что можно с уверенностью сказать: молодому человеку из скромного, невзрачного Ростока повезло. С первых же шагов самостоятельной жизни он оказался в городе, который, без преувеличения, называли воплощением мирового коммунизма и без которого, с учётом особенностей эпохи и его юношеских максималистских планов, ему никак нельзя было обойтись.

Ральф оказался в нужном месте в нужное время.

С нужными рекомендациями.

И нужными убеждениями.

У него появился шанс не только получить образование, но и на практике подготовиться к его достойному применению в будущем.

Немец глубоко вдыхал московский воздух.

Немец ежедневно приобщался к грандиозным советским свершениям.

Теперь молоткасто-серпастое красное полотнище развевалось над Кремлём и в его честь. А просыпался он по утрам вместе со всеми жителями .....

1. Самая популярная программа телевидения ГДР.

одной шестой части земной суши под бодрые звуки советского гимна.

И даже слова его выучил наизусть.

Постоянно повторяя их во время короткой зарядки.

Одной мечтой стало меньше.

Одной реальностью—больше.

И всё же для серьёзных отношений с Москвой у Ральфа в первые месяцы учёбы попросту не хватало времени. Лекции. Семинары. Собрания. Беседы с преподавателями и разного рода кураторами. Общественная нагрузка в землячестве. Ответственные визиты в посольство. Почти все вечера напролёт—в библиотеках. Даже развлечения—исключительно в стенах родного общежития и только по выходным. И то без особых экспромтов, по расписанию. Права на свободное время у Ральфа не было. О каком же близком знакомстве с Москвой могла идти речь?

Откуда ему, немцу, было знать, что люди в этом городе чаще живут чувствами, нежели расчётом и разумом. Тогда как будущий историк привык интересоваться лишь сухими конкретными фактами и только на их основе выстраивал свои отношения с миром. Всё абстрактное было не его стихией. Всё абстрактное не внушало доверия. Уж слишком оно отдаляло от идеалов.

Поэтому поначалу Ральф не понимал, что судьба привела его в город, в который можно влюбиться как в живое существо. И который, как живое существо, способен на искренность и взаимность.

Ситуацию спасла весна.

Первая московская весна Ральфа.

С наступлением тепла его потянуло на волю. Подальше от каждодневного однообразия и суеты. Подальше от серых университетских аудиторий и поднадоевших лиц. Нет-нет, занятия, конечно, прогуливать он не начал, общественными нагрузками ни разу не пренебрёг. Это было святое. Однако с приходом весны отношение ко всему обязательному стало всё-таки немного прохладнее. Более того, при первой же возможности, никому не говоря ни слова, Ральф уезжал в центр Москвы, где и пропадал нередко до позднего вечера. Очень скоро в старой части города у него появились «свои» маршруты, которые он чередовал в зависимости от погоды и настроения. А в приглянувшихся кафе или ресторанах немец позволял себе не только передохнуть, съесть салат «Столичный» и полюбившуюся котлету по-киевски, но и неторопливо, с вдумчивым видом молодого интеллектуала, выпить пару бокалов сухого грузинского вина. Но об этом в письмах родителям примерный сын никогда не упоминал. В конце концов, первый маленький личный секрет был тоже признаком нарождавшейся взрослости.

Ральф мужал.

Ральф искал себя—и находил.

Первая московская весна довольно серьёзно изменила отношение будущего историка к жизни. В его однообразно-монотонном ритме стали вдруг появляться даже проблески романтического вдохновения. И хотя стихи писать он не начал, тем не менее иногда, блуждая по едва освещённым вечерним переулкам, Ральф напевал себе под нос мелодии популярных гэдээровских шлягеров, которые полюбил ещё в школе.

Ну разве мог он раньше представить, что быть один на один с городом—это ни с чем не сравнимое удовольствие? Оказывается, и не злоупотребляя свободой, можно почувствовать её вкус.

Через какое-то время отношение Ральфа к людям стало менее настороженным. Он перестал избегать чужих взглядов и научился смотреть собеседнику в глаза. Он больше уже не стеснялся улыбнуться в ответ совершенно незнакомому человеку. Ему даже нравилось, когда во время прогулок на него вдруг кто-нибудь обращал внимание. Правда, эта маленькая внутренняя контрреволюция происходила с ним, как правило, за пределами *alma mater*. А уже несколько часов спустя, в университете или в общежитии, всё возвращалось на круги своя. Немец продолжал вести себя как прежде. Ни в чём не противореча своему устоявшемуся образу и ещё в Германии расписанной по пунктам роли. Он продолжал избегать непредсказуемости и ненужных рисков. Он делал всё, чтобы его сугубо интимные открытия остались незамеченными для окружающих. Никто не должен был знать, что загадочный иностранец бывает не только таким, каким все привыкли его видеть. Да и ему самому не следовало об этом часто вспоминать.

Пускай и с опозданием, но Москва немца приняла. Она нашла ему место в своём необъятном сердце. И немец стал задумываться о постуни-верситетских перспективах. Он совсем не прочь был связать будущее с этим городом. Понятно, что, как патриот своей страны, он не собирался поселиться здесь навсегда и уж тем более заводить семью. Строить семейную крепость нужно было на родине, поближе к родителям. И всё же Ральф был уверен, что ему придётся ещё не раз приезжать в Москву. Заниматься тем, чем он собирался заниматься, без учёта мнений советских товарищей выглядело утопией.

Постепенно немец открывал для себя мир большого города. И одновременно сам становился частью этого мира. В ту весну он впервые ощутил, что, кроме учёбы, посольства и прочих обязанностей, существует ещё другая жизнь. И хотя на эту тему он мог пока лишь фантазировать, Ральфу всё же казалось, что однажды он к этой другой, закулисной жизни прикоснётся. Рано или поздно Москва откроет перед ним свои тайны. И немец ею овладеет.

В этих надеждах он не был далёк от истины. Уж так сложилось исторически, что Москва всегда из



кожи вон лезла, стараясь всем угодить. Это было в её характере. Она не любила никому ни в чём отказывать. Нередко вступая с собой в противоречия. И, как никакой другой город, дорожила многочисленными слухами о своей сказочной гостеприимности.

«Москва—щедрая душа!»

«Москва—открыта для любых страстей!»

В Москве всегда каждому гостю что-то да выпало. Кому—политика и рубиновые звёзды Кремля, кому—девушки, водка, икра, кому—балет и всемирно известный Большой. Кому—достаточно было неторопливых, вальяжных прогулок в едва приметном скверике напротив Большого. Вот почему все ступавшие на горячую московскую землю всегда стремились раскрыть себя здесь полностью, от души, с поистине русским размахом. Надо было доказать, что ты достоин такого внимания. Что ты лучший из лучших. А без амбиций какой был смысл приезжать в Белокаменную?

Иначе, правда, не имело смысла.

Можно ещё упомянуть и тех, кто приезжал в советскую столицу с более прозаичными целями и мечтами—зарабатывать на хлеб или постигать науки... Впрочем, провинциальные трудяги и студенты тоже люди, поэтому всё вышеперечисленное в той или иной степени им тоже было не чуждо.

## 6.

Перед самыми майскими праздниками между лекциями к Ральфу подошёл незнакомый человек и, можно сказать, по-приятельски, с улыбкой предложил отойти в сторону и поговорить. На вид ему было лет тридцать—тридцать пять. Высокый, широкоплечий, с короткой стрижкой и, что особенно бросалось в глаза, совсем не по-советски модно одетый. Представился незнакомец не сразу, а только после того, как они с гэдээровцем уединились в дальнем конце факультетского коридора, на максимально безопасном расстоянии от любопытствующих Ральфовых однокурсников. В СССР редко кто из русских мог позволить себе одеваться на уровне западных иностранцев. И это, конечно, привлекало внимание.

Прочитав золотистые буквы на пурпурной корочке предъявленного удостоверения, будущий историк не на шутку заволновался. Во-первых, до сего дня с советскими спецслужбами сталкиваться ему не приходилось. А тут вдруг такая честь. Во-вторых, живого сотрудника КГБ он рисовал в своём воображении, мягко говоря, иным. В этом же—ничего сурового, ничего сверхъестественного, ничего героического и в помине не было. Наоборот, он был похож на человека, который сам старается держаться подальше от спецслужб. Да и говорил он довольно расплывчато и не всегда понятно о чём.

За исключением предупреждения никому не рассказывать об их встрече и ещё двух-трёх отчётливо сформулированных вопросов, всё остальное вполне можно было принять за розыгрыш. Правда, в отличие от внешнего вида чекиста, содержание его не совсем вразумительного монолога Ральфа не очень-то удивило. Скорее всего, человек пришёл на несколько минут, на разведку, и даже не собирался начинать серьёзного разговора. Ему нужно было лишь познакомиться и договориться уже о встрече по существу, в спокойной, деловой обстановке. Подальше от университетской территории.

Подальше от лишних глаз и языков.

Наверняка следовало ждать какого-то предложения.

Хотя студент-первокурсник не очень и понимал, чем конкретно он мог быть полезен столь важному визитёру, однако интуиция и эфдэтовская логика его не подвели. Рассуждал он в правильном направлении. Люди из КГБ случайно ничего не делают. И уж тем более не приходят к иностранцам без причины. А точнее, без распоряжения своего начальства. Люди из КГБ зря время не тратят. Оно для них—тоже оружие.

Владимир Владимирович, а именно так представился широкоплечий модник, разумеется, был специалистом высокой квалификации. Иначе работу с иностранцем ему попросту не доверили бы. Поэтому можно было не сомневаться, что этих самых нескольких минут ему было достаточно, чтобы определить всю дальнейшую жизнь немца. Кадровый дзержинец не только всё до мелочей замечал, но и по-актёрски безупречно делал вид, будто сам ничего не замечает. Для Ральфа же, как ни странно, этакая мнимая лёгкость и непосредственность общения были в тот момент спасением. Уж очень ему не хотелось признаваться в своём волнении. Правда, через несколько минут он взял себя в руки. А после внушительных слов: «Ваши немецкие товарищи в курсе»,—и вовсе воспрянул духом. Оставшееся время немец держался уже свободно. Причём настолько, что даже пытался понравиться Владимиру Владимировичу. Он хотел произвести впечатление самостоятельного, надёжного и уверенного в себе человека. Другого подобного шанса у него могло не быть. Вот почему сей импровизированный блиц-экзамен ему необходимо было выдержать только на отлично.

Ральф напряг всю свою волю.

Ральф заставил себя в себя поверить.

И выбрался из нелёгкого положения.

Он осознавал, какое испытание посылала ему судьба и как важно ему было сейчас утвердиться. И не в последнюю очередь—в собственных глазах.

Комсомольца-эфдэтовца можно было поздравить с первым заслуженным успехом. Понравиться кадровому чекисту с первого взгляда дорогого стоило.

Разговор оборвался неожиданно, одновременно со звонком об окончании перерыва. Создалось впечатление, будто мерзкий дребезжащий звук застал обоих врасплох. Во всяком случае, так выглядело со стороны. Товарищу немцу пора было бежать на следующую лекцию. Он не хотел заходить в аудиторию после её начала, на виду у всего курса. Хотя о лекции он думал сейчас меньше всего.

Расставание получилось несколько скромным.

Зато доброжелательным и естественным.

Напоследок чекист, модник и артист в одном лице удостоил Ральфа открытой улыбки и крепкого мужского рукопожатия. Что чекисту начинающему, конечно, не могло не польстить.

Ральф спешно удалялся в длинном тоннеле коридора.

Словно летел навстречу великим свершениям.

Владимир Владимирович, застыв тёмным силуэтом, не торопился. Проводив немца изучающим взглядом, он выждал, когда студенты разбредутся по аудиториям, и только потом направился к выходу. Уже совершенно другой походкой, без улыбки, но в хорошем рабочем настроении.

Визит удался.

Визит вошёл в историю.

Копия отчёта сохранилась в архиве.

Ральф мог бы таким отчётом гордиться.

Время и место своего первого шпионского рандеву немец запомнил на всю оставшуюся жизнь.

Двадцать седьмое апреля.

Восемнадцать тридцать.

Гостиница «Белград-2».

Кафе на первом этаже.

Последний столик справа.

7.

Два дня и две ночи тянулись для Ральфа невыносимо мучительно и долго.

Он никого не замечал.

Ни с кем не разговаривал.

И нервничал, не зная, куда себя деть.

Даже подготовка к весенней сессии вышла из графика, хотя и трудно было в такое поверить.

В юной голове царила полная неразбериха.

После таинственной беседы с человеком из советской госбезопасности всё навалилось в одночасье. И любопытство, и неведение, и ответственность, и чрезмерная серьёзность, и гордость вперемешку с тщеславием, и невероятные амбиции, затмившие своим размахом амбиции привычные, ежедневные, и, что особенно подливало масла в костёр, чуть-чуть обыкновенного страха. Плюс масса новых ощущений, до сих пор неведомых и не поддающихся конкретному словесному определению. Плюс страстное желание поделиться всем произошедшим с отцом и матерью. В эти

трудные дни родителей ему не хватало больше всего. Но, увы, они находились слишком далеко. Других же проверенных людей, кому бы будущий историк доверял как самому себе, у него не было. Ни там, на родине, на берегу Балтийского моря, ни здесь, в Москве, на Ленинских горах. Поэтому строгое предупреждение Владимира Владимировича хранить молчание об их встрече в данном случае теряло всякий смысл. Разглашать секрет изначально было некому.

На главную встречу своей жизни Ральф собирался как на интимное свидание. Мылся, брился, подстригался. Белая рубашка, отглаженные брюки, любимый сине-жёлтый полосатый галстук. Выход из общежития — на полтора часа раньше. Неторопливая прогулка по переулкам Старого Арбата — для самоуспокоения. Спасибо календарю. Спасибо весне. Она была как нельзя кстати. Под тёплыми солнечными лучами не только легче дышалось, но и легче думалось. Мыслей же накопилось немало. И каждая требовала неотложного разбирательства и безошибочного решения. Ральфу хотелось предусмотреть всё до мелочей, чтобы не разочаровать Владимира Владимировича. При этом в первую очередь надо было подтвердить бытующее в сознании русских мнение о врождённой немецкой организованности и пунктуальности.

Для начала это был самый правильный ход.

Так что в нужные моменты о патриотизме будущий историк тоже не забывал.

В конце концов, он был немец.

И не беда, что не арийских кровей.

Около половины седьмого, незаметно опустив в широкий карман швейцара трёхрублевую купюру, неброско, но празднично одетый молодой человек вошёл в гостиницу на Смоленской площади. Можно было, конечно, эти деньги сэкономить, однако тогда в качестве пропуска пришлось бы подтверждать своё иностранное происхождение и показывать гэдэровский паспорт.

Ральф не стал привлекать к себе лишнее внимание.

Ральф решил сразу включиться в действие и предпочёл игру в конспирацию.

Он спешил опередить события.

Он рвался в невидимый бой.

Сегодня навсегда заканчивалось его детство.

И за оставшиеся считанные секунды до назначенной встречи ему удалось придать собственной походке мужской солидности, а внутреннему состоянию — деловитости и хладнокровия.

Будущий историк чувствовал, что великие события не заставят себя долго ждать.

Он был на пути к ним.

Итак, вечером двадцать седьмого апреля в интуристовской гостинице «Белград-2», напротив мида, начался, без преувеличения, самый героический период жизни с виду неприметного

гэдээровского интеллигента. А точнее, его многолетнее плодотворное сотрудничество с наиболее авторитетной и отчаянной секретной службой мира, внушавшей ужас не только разного рода врагам, но и друзьям, и даже «своим». Ральф всегда преклонялся перед этим великим советским мифом. А двадцать седьмого апреля он стал его неотъемлемой микроскопической частицей.

Если бы на Лубянке существовала доска почёта для сексотов, то ангельскому личику в круглых брехтовских очёчках на ней обязательно нашлось бы место.

Дверь в кафе Ральф открывал с неподдельной уверенностью его завсегдатая. Приглушённый свет. Ненавязчивая музыка. Уютная обстановка. Посетителей практически не было. Лишь двое подвыпивших «особых» русских о чём-то негромко спорили за стойкой бара. За последним столиком справа, в спортивном джемпере с золотистым трилистником на груди, сидел Владимир Владимирович, занятый чтением журнала. И каково же было удивление гэдээровца, когда, подойдя ближе, он увидел в руках чекиста не всенародно любимый в Союзе журнал «Огонёк», а запрещённый для свободной продажи западногерманский «Stern». Мелькнула даже мысль о маленькой запланированной провокации. Или, точнее, о первой проверке на идеологическую прочность. Но подавать виду было нельзя. Любая проверка — тоже часть рискованной, полуподпольной работы. Которых предстояло ещё наверняка немало. И к которым нужно было быть готовым всегда.

Ральф принимал любой вызов.

Ральф чувствовал в себе силы.

Сейчас он мог доказать свою идейную состоятельность на любом уровне.

С сегодняшнего дня он не случайно попадал в чьё-то подчинение.

Он считал, что заслужил это право.

Ка-Гэ-Бэ — притяжение магическое.

## 8.

«Добрый вечер!» прозвучало без видимого волнения.

— Добрый, добрый, присаживайся...

Приветливо улыбаясь, Владимир Владимирович оторвался от журнала. Его голос казался ещё мягче и непринуждённое, нежели два дня назад.

— Я надеюсь, ты от кофе не откажешься... Ничего, что я сразу перешел на «ты»?.. Мне кажется, так будет проще... К чему формальности?... Деловым отношениям они только мешают... Да и разница в возрасте у нас не очень большая...

— Конечно... На «ты» удобнее... А от кофе я не откажусь, если не очень крепкий...

— Крепкий в наших заведениях не делают... О крепком нужно специально просить бармена... Ты что, первый раз в московском кафе?..

— Нет, но кофе я не увлекаюсь...

— Тогда можно чай, лимонад... Или что-нибудь покрепче... На твой вкус...

Немец насторожился. Опять, как и с журналом, возникло подозрение.

— Нет-нет... Спасибо...

— Не стесняйся, Ральф... Мы же сейчас не в студенческом общежитии... Я, между прочим, не так давно тоже студентом был и на себе не раз испытывал, что такое «сухой закон»... Не бойся, здесь оперотряд нас не застанет... Здесь его не бывает... Мы в безопасности... И вообще, с этой минуты ты больше не должен ничего бояться... Теперь ты как за каменной стеной... Тебе надо научиться везде ощущать себя как дома...

— ...

— Предлагаю заказать, например, бутылочку грузинского вина... Я угощаю... За встречу... В конце концов, мы же имеем право отметить наше знакомство?... Или ты не в настроении?... Чего замолчал?..

— Не знаю...

— Ральф, не стесняйся... Будь смелее... Здесь мы свободны... Здесь ты можешь расслабиться... И с вином нам будет гораздо веселее... Давай устроим себе маленький праздник... Ты ведь никому не торопишься... И я на сегодня все свои дела закончил...

Стоило Владимиру Владимировичу едва заметно махнуть рукой в сторону стойки бара, как тут же из-за спины немца появился семенящий официант в фирменном бордовом костюме. С чашкой дымящегося кофе и открытой бутылкой «Гурджани» на подносе. У Ральфа даже создалось впечатление, будто тот стоял где-то за кулисами наготове и только ждал сигнала. Впрочем, скорее всего, именно так оно и было. Вряд ли будущий историк был тем новичком, с кем подобный сценарий разыгрывался впервые. В этот вечер наверняка всё происходило по уже давно отработанной схеме. Чекисты не очень-то склонны к импровизации. Тем более в ситуациях, когда можно спокойно обойтись и без неё.

— У тебя есть друзья в Москве?..

— Пока нет...

— Никого?!..

— Никого...

— Совсем никого?!..

Ральф покачал головой.

Владимир Владимирович, хотя и знал всё окружение Ральфа пофамильно, всё-таки не ожидал столь откровенного ответа.

— Ты меня удивляешь...

— ...

— Как можно почти год прожить в Москве и не иметь друзей?... Ну надо же!.. Впервые встречаю такого иностранца... Ты вроде нормальный парень... Общительный, начитанный, симпатичный... У тебя прекрасный русский... И вдруг...

Это какое-то недоразумение... Между прочим, большинство иностранцев, откуда б они ни приехали, всегда гордятся тем, что у них здесь много друзей... Московские компании—это тоже своего рода достопримечательность... Неужели тебе одному совсем не скучно?... Или ты все вечера проводишь в библиотеке, а выходные на выставках?... Нужно срочно что-то делать... Нужно исправлять положение...

Слово «срочно» вызвало у немца непроизвольную улыбку. В такой шуточной манере ему ещё ни с кем в Москве разговаривать не приходилось. Да и к такому странному развитию событий он готов не был. Владимир Владимирович ему нравился. Совершенно искренне. Но что скрывалось за всей этой непредвиденной и чрезмерной мягкостью? А ведь точно что-то скрывалось.

Напряжение не спадало.

— С этой минуты можешь считать меня своим первым московским другом... Если ты не против, конечно...

— Спасибо... Спасибо за доверие...

— Не надо так официально... Ты правда можешь на меня рассчитывать...

— Как же тогда быть с известной русской поговоркой «дружба дружбой, а служба службой»?.. Меня ей ещё в немецкой школе научили...

— Это только кажущееся противоречие... На самом деле одно другому не мешает... Ты скоро в этом убедишься... На нашем с тобой опыте... Сомневаешься?... Ну хорошо... Смотри... Встретаться с тобой мы будем четыре раза в месяц... И давай договоримся, ну, например, так: три раза—по службе, а один раз—по дружбе... Идёт?... И ты увидишь, что в нашем случае одно без другого просто не может существовать...

— ...

— По службе ты будешь приходить ко мне в кабинет... В центре, рядом с площадью Дзержинского... Раньше она Лубянской называлась... Там будем обсуждать наши текущие вопросы, проблемы, планы... А для дружбы мы выберем опять же, например, вот это кафе... Кроме иностранцев и «своих» русских, здесь никого не бывает. Свободный столик в углу нам всегда обеспечен... Можно спокойно поговорить и даже отдохнуть... Между прочим, на втором этаже есть очень уютный ресторан... Он чем-то зимний сад напоминает... Прекрасное обслуживание, отличная кухня, одна из лучших в Москве... Сюда любят приходить дипломаты и западные бизнесмены... Внизу, в подвале,—бар с модной музыкой и весёлой публикой... До четырёх часов утра... А если понадобится, можно и продлить удовольствие... Уже при закрытых дверях... Всё в нашем распоряжении... Так почему не совмещать службу с дружбой, полезное с приятным?... Хотя бы раз в месяц... В твоём возрасте об одной учёбе думать вредно... Причём

вредно и для самой же учёбы... Ну, разве я не прав?... Думаю, что в душе ты со мной согласен...

— ...

— Чего молчишь?... Оглянись вокруг... Надо быть современным человеком во всём... Нельзя отставать от жизни... Опоздаешь сейчас, потом не наверстаешь... Университет—это не только учебники, лекции, оценки в зачётке... Это ещё и молодость...

И хотя Ральф ни на секунду не позволял себе расслабиться, вино он пил не без удовольствия. Всё было как полагается за русским дружеским столом: с тостами, пожеланиями, обещаниями. Ни намёка на повышенную серьёзность ни в чём. Но вот что действительно нравилось немцу, так это то, что, в отличие от других русских, Владимир Владимирович с вином не торопился, наливал помалу, смаковал. И можно было не опасаться быстро опьянеть. Да и сам он держался.

— Я знаю, что у первокурсников со временем туго... И всё же какой день недели у тебя посвободнее?..

— Воскресенье, наверное...

— Очень хорошо... Тогда на воскресенье я дам тебе одно нетрудное задание... Пойдёт?..

— Пойдёт...

— В конце каждой недели тебе нужно будет писать для меня небольшой отчёт... На две-три страницы... Всё, что покажется тебе подозрительным, надо будет изложить на бумаге... В произвольной форме, простыми предложениями... Кого бы это ни касалось—иностранцев, русских... Студентов, преподавателей, гостей в общежитии... И самое главное, твоё мнение по поводу этих событий и этих людей... Желательно в деталях, чтобы лучше разобраться в ситуации... И не бойся ошибиться... Не бойся первых впечатлений и резких оценок... Они порой бывают самыми объективными и точными...

— Хорошо...

— А в понедельник, к половине десятого утра, будешь приходить ко мне на Дзержинку... Насколько я помню, первая пара у тебя физкультура, на которую вы, иностранцы, как правило, никогда не ходите... Только постарайся не опаздывать... Потом целый день меня не поймать... Понедельник—день тяжёлый, расписан по минутам, и у нас с тобой будет всего полчаса... На всякий случай я оставлю тебе номера своих телефонов... И рабочий, и домашний... Мало ли... Может быть, понадобится срочно со мной связаться... Не стесняйся, звони в любое время... По любым вопросам... Ночью тоже... Отныне все твои проблемы становятся нашими, общими... И решать их нам предстоит вместе... Кстати, без серьёзного повода тоже можно звонить... Договорились?..

— Договорились...

— Сейчас, я думаю, нам неплохо бы заглянуть вверх, в ресторан... Пора и поужинать... Иначе у

нас не совсем по-русски получается: пить — пьём, а закусывать — не закусываем... Какое у тебя любимое в Москве блюдо?..

— Котлета по-киевски...

— Отлично!.. Я к ней тоже равнодушен... Сейчас ты её попробуешь в лучшем исполнении...

— ...

— Да, чуть не забыл, этот журнал можешь забрать с собой... Он тебе пригодится...

Владимир Владимирович протянул Ральфу «Stern».

— Полистаешь на досуге, считаешь на своём родном, развлечёшься... Мне показалось, там есть кое-что любопытное... К тому же картинок всяких соблазнительных полно... Посмотри, посмотри... Желательно даже показать его своим знакомым... Соседям по комнате, например, товарищам по группе... Товарищам товарищей... Ну и так далее... На твоё усмотрение, разумеется... Кому считаешь нужным... Понаблюдай за реакцией... Послушай комментарии... Если попросят что-то перевести, не поленись, переведи, поспорь, подискутируй, но своего истинного мнения никогда не навязывай... Позволь собеседнику себя выразить... Может быть, тебе, как иностранцу, он что-нибудь такое скажет, чего не скажет никому из своих... Потом обо всём подробно напишешь в отчёте... Кстати, ещё... Мой тебе маленький совет: если хочешь получить от русского интересную информацию, для начала постарайся убедить его в своей искренности... Надо, чтобы он тебе чуть-чуть посочувствовал... Надо, чтобы он в тебя поверил, проникся к душе... Понимаешь?... И он сам раскроется... Просто для этого может потребоваться время... Никогда не торопись, потерпи... Поделись с ним какой-нибудь задушевной историей, придуманной тайной, бредовой идеей... Ну, или что-то в этом роде... Сходи в кино, в бар, погуляй по городу... Не бойся расслабиться, не бойся сентиментальности... Поверь мне, русский человек непременно ответит тебе тем же... Это у нас в крови... Тебе, как немцу, надо об этом всегда помнить... — Буду стараться...

— Молодец... Такой ответ меня впечатляет... Ты правда серьёзный парень... Но имей в виду, без друзей в нашей работе никак не обойтись... Пора, пора ими обзаводиться... В них залог твоих, точнее, наших успехов... Присмотрись внимательнее вокруг...

Ральф неожиданно почувствовал, как мягкости в голосе чекиста несколько поубавилось.

Выбор роли может быть добровольным, но исполнение её до конца не исключает принуждения.

## 9.

Девушку звали Наташа.

Симпатичную блондинку с длинной, как из русской народной сказки, косой будущий историк

заприметил буквально с первых дней учёбы, однако до серьёзных мыслей и тем более действий дело долго не доходило. То храбрости немцу не доставало. То чёткого представления о том, как с девушкой ему себя вести. А чаще всего элементарного, но главного — времени.

Училась Наташа на одном с Ральфом курсе. И в общежитии жила на одном с ним, четырнадцатом, этаже, на проспекте Вернадского. Встречались они едва ли не каждое утро в лифтовом холле, когда отправлялись в университет на занятия. Причём зачастую, будто ненароком, переглядывались. А изредка даже оказывались рядом и смущённо, исподлобья друг другу улыбались. Но только так, чтобы никто больше этих улыбок не заметил. На том скупое подростковое общение заканчивалось. Из переполненного лифта будущий историк обычно вылетал без оглядки и, размахивая солидным портфелем-дипломатом, мчался к троллейбусной остановке. Учёба, как родина, звала всегда. И скидок на личную жизнь не делала. Понятно, что хрупкая девушка Наташа никогда за немцем не попевала и всякий раз обиженно, с упреком смотрела ему вслед. Ральф же из игры выбывал. Нежные девичьи надежды таяли, что называется, прямо на глазах. Впрочем, не попевал за реактивным немцем никто.

И вот однажды, в воскресенье, собравшись после обеда погулять на Ленинские горы, Ральф всё там же, на четырнадцатом этаже у лифта, но на сей раз совершенно случайно, вновь столкнулся с Наташей. Очутившись с девушкой один на один, без свидетелей, он наконец осмелился заговорить. Назвал своё имя, вежливо спросил её. Произнёс в ответ, что ему очень приятно, и, поинтересовавшись её настроением, предложил пойти погулять вместе. Наташа не поверила собственным ушам. Её милое спокойное личико тут же преобразилось. Она настолько обрадовалась первому живому слову уже давно приглянувшегося ей иностранца, что даже не пыталась скрыть восторженных эмоций. И моментально, не раздумывая, изменила заранее намеченные планы. А точнее, просто о них забыла.

Обстоятельства в тот воскресный день Ральфу откровенно благоволили.

Благоволила и погода.

По обоюдному согласию на Ленинские горы юная пара пошла пешком. Чуть-чуть романтики и лирики для первой прогулки было просто необходимо.

По дороге говорили обо всём, что приходило в голову. И меньше всего — об экзаменах и предстоящей летней практике. Наташа оказалась не такой уж и молчаливой, какой её поначалу рисовал в своих робких фантазиях юный Вертер. Задавала массу неожиданных вопросов: о Германии, о Берлине, о немецком комсомоле, о маме с папой, почему по субботам он редко приходит на танцы,

есть ли у него в Германии любимая девушка, какие девушки ему симпатичны, что читает в свободное время, чем интересуется ещё, кроме истории. И к каждому из вопросов немец относился серьёзно, давал внятное, исчерпывающее объяснение. По-другому он не умел. К тому же ему нравилось быть объектом внимания обаятельной девушки. Впервые в жизни ему нравилось нравиться.

Наташа была без ума от Ральфа.

Наташа не давала Ральфу перевести дух.

Девушке из старинного города Архангельска было интересно буквально всё. И она пользовалась случаем. Придумывала всё новые вопросы. Завязывала дискуссию. Легко меняя серьёзный вид на улыбку. Кто знает, может быть, ей выпал шанс. Ведь до этого счастливого воскресенья она ещё никогда ни с одним иностранцем так долго и на такие сокровенные темы не общалась.

Тот день стал днём открытий для обоих.

Впервые Наташа чувствовала себя счастливой.

Ральф впервые задумался о личном.

Стрелки на часах никого не интересовали. Прогулка затянулась до самого вечера. А когда начало темнеть и немного похолодало, Наташа рискнула без разрешения взять Ральфа под руку и слегка, по-дружески, к нему прижалась. Немца такая вольность несколько удивила, однако виду он не подал.

Ему было приятно.

Для него это были неведомые до сих пор ощущения.

На мгновение ему даже стало жарко.

Но лишь на мгновение.

Ральф быстро пришёл в себя.

Чтоб отвлечься, он попросил свою спутницу рассказать что-нибудь о её родном городе. Он любил познавательные лекции, чего бы они ни касались. И был удивлён, когда узнал, что Наташа родом из тех же мест, что и сам Михаил Васильевич Ломоносов. Вот так совпадение! Для любого студента, истинного патриота МГУ, это был небезразличный факт. Авторитет красавицы в глазах Ральфа сразу и существенно вырос.

Рассказ о славном городе Архангельске растянулся на всю обратную дорогу. Ральф с серьёзным видом кивал головой и не смел прерывать его вопросами. Впрочем, вопросы в данном случае не имели смысла. Наташин рассказ настолько изобилдовал ссылками и фактами, что после этого вечера немец мог похвастаться знанием истории уже четвёртого советского города. После Москвы, Ленинграда и Волгограда.

Расставаясь, Наташа и Ральф договорились в следующую субботу пойти вместе на танцы, а потом — к Наташе в комнату. Обе соседки, с которыми она жила, были родом из Подмосковья. На выходные они часто уезжали домой, к родителям, а возвращались в понедельник утром, уже прямо на занятия. Столь заманчивое приглашение Ральф

воспринял с энтузиазмом, но внешне это опять не проявилось. Сдержанность для эфдзётовца — всё равно что для джентльмена трость и шляпа. Хотя немец сразу представил, как будет здорово после шумной дискотеки уединиться в тишине с интересной русской девушкой и при свете настольной лампы, вопреки всем драконовским общежитским запретам, выпить с ней по бокалу вина. Тем более что все дела он сделает заранее, и никуда не нужно будет спешить.

Напоследок, пообещав с нетерпением ждать следующей субботы, Наташа игриво поцеловала иностранца в щёку. Это был её второй «риск» за вечер.

Иностранец не сопротивлялся.

Несмотря на то, что это произошло в холле общежития, на людях.

Иностранец окончательно сдался.

Добровольно.

И о прогулке не жалел.

Перед дверью своей комнаты он на несколько секунд остановился.

Ральф пребывал в непривычном для себя психологическом состоянии.

Хорошо, что соседей по комнате не оказалось дома.

И хорошо, что отчёт для Владимира Владимировича он написал ещё с утра.

Браться за ручку и бумагу в тот вечер не имело смысла.

Ему хотелось поскорее лечь в постель.

Нет, не спать.

А только закрыть глаза.

## 10.

Быть по призванию историком, а по жизни математиком — пожалуй, самое перспективное сочетание для начинающего политика. И каковы бы ни были карьерные амбиции, в конечном итоге именно эти два таланта определяют его профессиональный уровень и характер, его профессиональное будущее.

Молодые люди с такими незаурядными способностями стараются проявлять себя стратегами и тактиками во всём. Они не умеют строить свои отношения с окружающим миром просто и однозначно. Они — прирождённые дипломаты и к каждой мелочи относятся осторожно, придирчиво, ответственно. Выискивая в любой ситуации скрытые подвохи и хитросплетения. Постоянно стремясь во что бы то ни стало раскрыть хоть какой-нибудь заговор. Жить поиском врагов — у них в крови. Ну а когда реальных врагов найти не удаётся, они не стесняются их придумывать. С врагами им жить намного легче. Жизнь без врагов им кажется неполноценной. Впрочем, понять и даже оправдать будущих политиков можно. Где ж ещё, как не в борьбе противоположностей, представится возможность доказать свою профпригодность?

Причём и к настоящим врагам, и к надуманным отношение у них одинаково решительное. Вот почему с историками-математиками зачастую не только бессмысленно спорить — иногда им даже опасно задавать вопросы. Ну а если задал, пеняй на себя. В советские времена это проявлялось особенно наглядно.

Гром грянул внезапно, среди всегда безоблачного Ральфова неба.

Буквально через несколько дней после знакомства с Владимиром Владимировичем.

И по вине человека, который, в отличие от неугоминого гэдэровца, за целый год учёбы ничем не отличился и на которого до того дня вообще мало кто обращал внимание. Скромное поведение. Средняя успеваемость. Невзрачная внешность.

Минут за десять до начала семинара по истории КПСС все уже сидели на местах. Ральф, по привычке, — в середине последнего ряда, в передние его никогда не тянуло. Это было в его стиле — находиться в тени и в то же время держать в поле зрения всю аудиторию. Каждый копался в своих учебниках и тетрадях. Каждый не на шутку нервничал. И вдруг в этот напряжённый момент к немцу поворачивается один из сидевших впереди одногруппников (тот самый, тихий, неприметный) и во всеуслышание спрашивает: — Ральф, а ты Ницше читал?

Все двенадцать человек, вмиг оторвавшись от науки, замерли. Кто — удивлённый вопросом. Кто — в ожидании ответа. Но ни те, ни другие в ту секунду даже не подозревали, что, в отличие от страны большевиков, где имя великого пророка эпохи нигилизма всё-таки никогда официально не запрещалось, в братской социалистической Германии оно произносилось исключительно шёпотом, в жиденьком кругу диссидентов-интеллектуалов. И практически было там вне закона.

У Ральфа перед глазами перепутались все строчки. Он не поверил, что услышанное относится к нему. Для комсомольца-эфдэтовца это было равносильно вопросу, считает ли он Гитлера своим соотечественником. Такой силы удар Ральф ещё никогда не получал. И от кого??? От этого невзрачного середняка! Троечника и лентяя! Сердце застучало молотом.

«Что ему от меня надо?..»

«Откуда он может знать о Ницше?..»

«Наверняка провокатор...»

Ральфу вдруг показалось, что ему объявили войну.

Настоящую.

Вероломную.

Мировую.

«Нет... Владимир Владимирович здесь ни причём... О проверке не может быть и речи... Здесь дело серьёзнее... За ним точно кто-то стоит...» Но времени на раздумье не было. Нужно было

срочно что-то ответить. Чтобы убедить всех в своём спокойствии.

— А ты читал?.. — приглушённо и несколько безразлично произнёс Ральф.

Он спешно задействовал все свои актёрские способности, которых, кстати, в его багаже талантов оказалось немало. И о существовании которых до этой минуты даже он сам вряд ли подозревал.

Ральф будто заманивал жертву в ловушку.

— Нет... Я пока ещё нет... — почти с сожалением произнёс тихоня. — Но мой старший брат пытался читать... «Рождение трагедии» книга называлась... Но потом бросил, не потянул... Сказал, что сначала надо всех древних греков наизусть выучить... — Может быть, твой брат и Солженицына пытался читать?.. — резко перехватил инициативу Ральф.

И не просто перехватил. А заставил содрогнуться всех без исключения присутствующих.

Любое оправдание из уст перепуганного одноклассника потеряло смысл ещё до его произнесения.

Прозвучавшее, как удар колокола, имя автора запрещённого «ГулаГа» сыграло решающую роль, и сразу стало ясно: диалог окончен. Враг повержен! Всего одной фразой! За считанные секунды! Немец даже не удосужился поднять голову и посмотреть в глаза своей жертве. Ральф сыграл по высшему разряду. И максимум на публику. Такой находчивости, такому хладнокровию мог бы позавидовать любой профессионал.

Это — от рождения.

Это — от природы.

Это — всем талантам талант.

Ральф праздновал победу.

Он чувствовал себя — нет, не победившим гладиатором — он чувствовал себя Цезарем.

Преподав урок выскочке, Ральф вознёс себя до небес. Жаль только, что свидетелей у этого урока оказалось не так много. Жаль, что это не произошло перед лекцией, на глазах у всего курса. А ещё бы лучше — Ральф пустился фантазировать — в присутствии Владимира Владимировича.

Ошарашенного жёсткостью немецкого товарища тихоню резко развернуло на сто восемьдесят градусов, и он, поверженный и обиженный, молча уткнулся в учебник по главной советской науке.

Желание общаться с иностранцем моментально пропало. Как пропало и всякое любопытство. Корить же себя за случившееся было поздно. Тихоня понял, что он допустил непростительную ошибку. Понял недвусмысленный намёк и предпочёл замолчать. Иначе разговор мог вообще принять для него опасный, если не роковой, оборот. И всё из-за пустяка, из-за какого-то Ницше! От иностранца такого подвоха он явно не ожидал. Оказывается, иностранцы тоже бывают разные.

Аудитория вновь принялась судорожно шуршать страницами книг и тетрадней.

Никто в аудитории на комментарий, конечно же, не осмелился. Ницше вряд ли произвёл на кого-то впечатление. А вот имя Солженицына долго отдавалось эхом в головах будущих историков. Рисковать? Зачем? Ради чего и кого? В подобной ситуации выступить в защиту легкомысленного товарища мог, пожалуй, лишь сумасшедший. Ведь об этом сразу после семинара стало бы известно в учебной части и потом в деканате. А там подобной вольности, скорее всего, не простили бы. Попасть в чёрный список неблагонадёжных не хотелось никому. «Пришить» политику могли при первом же случае. На партийных факультетах каждый студент знал цену своему месту в университете. Поэтому воцарившаяся тишина никого не удивляла. Это была знаковая тишина. Хотя кому-то, может быть, и было противно за собственную трусость.

Ситуацию «исправил» преподаватель.

Он, как обычно, на пару минут раньше вихрем ворвался в души студентов, и без вступительных излишеств началось занятие. Все настолько боялись своего дотошного и неуклюжего доцента, что о произошедшем инциденте быстро забыли. По крайней мере, до конца этого полуторачасового испытания.

Тихоне в тот день не повезло дважды. Ему первому из группы пришлось демонстрировать правильное понимание одной из программных статей Владимира Ленина. Внятно у него не получилось. И преподаватель обошёлся с ним тоже без церемоний.

## 11.

Ральф не стал дожидаться воскресенья и в тот же вечер, в четверг, в читальном зале общежития принял за недельный отчёт для Владимира Владимировича. Уж очень ему не терпелось поскорее доложить о происках коварных врагов и победоносном блицкриге. Он не хотел упустить ни малейшей подробности. Потому что именно в подробностях надо было проявлять свои способности и умение. К тому же по свежим следам легче было сформулировать личную позицию.

Подающий надежды юный гэдээровский дзержинец помнил, что Владимир Владимирович интересовался в первую очередь его мнением.

Ральф ушёл в работу с холодной головой.

И горячим сердцем.

Писалось в удовольствие.

Перечитывалось для проверки с ещё большим удовольствием. Каждое слово, каждая строчка не только протокольно воспроизводили все детали произошедшего, но и мастерски их дорисовывали. Мастерства хватило на целых три убористых страницы. Три убористых страницы о ничтожном трёхминутном сюжете!

Дебют вышел поистине гроссмейстерским.

Гэдээровец сам себе нравился.

Писатель, прокурор и беспощадный марксист-ленинец торжествовали в одном лице.

В творческом плане Ральф ещё никогда так не выкладывался. У несчастного одноклассника не было ни малейшего шанса на оправдание или хотя бы снисхождение. На бумаге рождался убедительный образ начинающего антисоветчика. В бескомпромиссной интерпретации начинающего чекиста.

Трудно сказать, насколько конкретно этот донос повлиял на дальнейшую судьбу несостоявшегося ницшеанца. Но то, что из восьми экзаменов и зачётов летней сессии три он впоследствии не сдал и над ним нависла угроза отчисления, говорит само за себя. Пересдать же эти «заваленные» предметы ему в учебной части почему-то не разрешили. Да, можно, конечно, предположить случайное совпадение. Однако, вспоминая разные странности и подлости советской студенческой жизни, можно в этой случайности резонно усомниться.

В самом начале второго курса незадачливому студенту предложили «в виде исключения» продолжить учёбу на заочном отделении. Что в переводе на реальный житейский язык означало отслужить для начала два, а то и все три года в славных Вооружённых силах. И уж потом, повзрослев и образумившись, претендовать на диплом историка МГУ. Как ни сопротивлялся бедолага, как ни ходил он по высоким начальникам, всех уговаривая и собирая подписи в собственную поддержку, — всё было тщетно. На подписи нескольких десятков студентов деканат, по большому счёту, плевать хотел и в своей доброте остался непреклонен: либо в заочники, либо отчисление за неуспеваемость. Увы, такова была обычная университетская практика. По вопросам, от которых пахло диссидентством, учебный олимп никогда не отменял уже объявленных решений. И всё оттого, что принимались они в совершенно другом месте. Точнее, на другом, более высоком олимпе.

В отличие от «зелёных» студентов, профессора-доценты старались ошибок не совершать и позицию грозного деканата поддерживали. Они редко противились университетской карательной системе. Им не хотелось терять свои «тёплые» места. Несмотря на звания, они ведь были всего лишь наёмными служащими и тоже находились в зоне досягаемости того, другого олимпа.

Было отчего тихоне отчаяться.

Было отчего опустить руки.

К занятиям его так и не допустили. А с октября на факультете его больше не видели. И стал ли он, в конце концов, поклонником Ницше, никто никогда не узнал.

Одним студентом на истфаке стало меньше.

Одним солдатом в стране больше.

Ральф же учебные проблемы одноклассника с майской историей напрямую никак не связывал.



Во что, как ни парадоксально, отчасти верилось. Ему же Владимир Владимирович не докладывал о коэффициенте полезного действия его аналитических опусов. И в этом смысле совесть Ральфа была чиста. Во всяком случае, формально. Мало того, среди подписей на заявлении во спасение студента-неудачника можно было легко разобрать и знакомую всем немецкую фамилию.

Она стояла одной из первых.

Рядом с другими фамилиями из его группы.

Ральф не любил нарочито выделяться из коллектива.

За что неоднократно получал похвалы от своего лубянского шефа.

Весь курс был восхищён неожиданным великодушием гэдээровца.

Иностранцы редко реагировали на то, что лично их не касалось. Их эгоизм всегда бежал впереди их иностранского паровоза. Так они были устроены. Так у них было заведено. Защита же двоечников и всяких безобразников считалась в университете поступком мужественным и рискованным. Поэтому сострадание просыпалось лишь иногда, и то в основном среди своих.

Ральф в очередной раз не сплеховал.

Ральф в очередной раз заслужил уважение.

Тем самым в событии трёхмесячной давности была поставлена окончательная точка.

Сомнения одноклассников рассеялись.

Единоголосно.

Посоветовавшись, они пришли к выводу, что в инциденте с тихоней великий германский философ Фридрих Ницше был ни при чём. «А его соотечественнику и потомку Ральфу в тот весенний день просто изменило настроение», — дружно решили товарищи.

Оспорить это решение не смог бы даже сам Ральф.

## 12.

Русская девушка учила немца танцевать.

Немец, не замечая никого вокруг, старательно, хотя и неуклюже, повторял незнакомые ему до сих пор энергичные модные движения.

Причём от него требовалась не столько спортивно-музыкальная сноровка, сколько покорность строгому учителю. И он, позабыв на какое-то время о своей неприступности, беспрекословно покорялся.

Периодически соскакивающие на кончик носа очки и слегка растрёпанные волосы это подтверждали.

Ральф превосходил самого себя.

Ральф был неузнаваем.

Такой художественной гимнастики он себе ещё никогда не позволял.

Сегодня, в отличие от предыдущего раза, его совсем не раздражали громко ревущие динамики.

Сегодня он их практически не слышал. Не смущала будущего немецкого историка и теснота битком набитой студенческой дискотеки-столовой. А удивлённо-ироничные взгляды невестребованных одиночек, наблюдавших за этим необычным уроком со стороны, до адресата попросту не доходили, растворяясь в мерцающем полумраке.

Послушный ученик не отвлекался от занятия даже в коротких перерывах между песнями.

Он был весь в танце.

Он был увлечён.

И одновременно сосредоточен.

Всё, что происходило не с ним, оставалось без его внимания. Он пожирал взглядом лишь своего учителя.

Ему некогда было оглядываться.

Ему жалко было впустую растрчивать свои эмоции.

Пожалуй, впервые в жизни Ральф подходил к развлечению с такой ответственностью. Не зря же он готовился к походу на дискотеку целую неделю. Во всяком случае, морально и психологически. Статус активного отдыха неожиданно поднялся в его сознании до статуса учёбы и работы. Поднялся, соответственно, и статус русской девушки из Архангельска. Как это произошло, Ральф сам не совсем понимал. Но ведь произошло.

И влиять на ситуацию он был не в силах.

Да у него и не было такой задачи.

Наташа полностью забирала внимание немца.

Она действительно была сказочно красивой. И в этот субботний вечер в честь нового иностранного друга она, конечно, старалась выглядеть ещё краше, ещё привлекательнее, ещё желаннее.

Ральф восхищался собственным вкусом.

Ральф не мог нагордиться собственным выбором.

И Наташа его не подводила.

Она не только сводила гэдээровца с ума, но и с удовольствием справлялась со столь подходившей ей ролью учителя танцев. Наташа не стеснялась своей педагогической придирчивости и чувствовала себя как на сцене. Наташе хотелось быть настоящей примой этого вечера. И как минимум для Ральфа она ею была. Понятно, что провинциальной русской девушке нравился далеко не весь дискотечный репертуар, однако темперамента и энтузиазма ей хватало даже на ту музыку, которая не совсем сочеталась с её вкусами и хореографическими фантазиями.

Сегодня у Наташи всё получалось женственно, раскованно, с настоящей балетной лёгкостью.

В вихре танца летало не только её тело.

Вместе с телом летала и её окрылённая душа.

Но главным было всё время держаться поближе к немцу. Главным было публично засвидетельствовать своё право на особые с ним отношения.

Медленный танец подходил для этого идеально.

Появлялась возможность в романтическом порыве положить голову на плечо Ральфу.

А перед тем, глядя глаза в глаза, заботливо поправить взмыленную чёлку германского рыцаря... или хотя бы воротничок его рубашки. В этот вечер диджей работал будто на заказ, не скупясь на лирическое настроение. За что все разбившиеся по парам были ему благодарны.

Наташа буквально прилипла к партнёру.

Их пара казалась ей идеальной.

И не только с танцевальной точки зрения. Она игриво улыбалась и смеялась. А иногда для разнообразия чуть сердито надувала свои пухленькие губы и строила причудливые гримасы.

На зависть многим своим однокурсницам.

Вызывая ревность некоторых своих однокурсников.

Ральф же, послушно исполняя отведённую ему партию, во все тонкости и хитросплетения женской психологии не вникал. Точнее, по неопытности он их просто не понимал. Да и не до них ему было сегодня. Мир для него окончательно ещё не разделился на две половины — мужскую и женскую. Мир чувств для него был пока ещё единым и непорочным. Ральф лишь только догадывался о неизбежности такого радикального разделения.

И не торопился с выводами.

Он жил ожиданием.

Которое его не обмануло.

Ровно в полночь дискотека объявила отбой.

Точность по-советски всегда отличалась принципиальностью на грани варварства.

Музыка оборвалась без предупреждения, на середине медленной песни. И свет включили резко и самый яркий. Организаторам, видимо, доставляла удовольствие эдакая маленькая экзекуция.

Выразив недовольство традиционно дружным свистом, студенты стали нехотя разбредаться по комнатам. В расписании же гэдээровца на эту ночь значилась более сложная программа. Прежде чем тайно отправиться в гости к девушке, ему надо было незаметно прихватить спрятанную в чемодане под своей кроватью бутылку вина. А для этого надо было проявить поистине лучшие чекистские качества. До сих пор будущий историк ещё ни разу так не рисковал. Вездесущий оперотряд в ночное время, особенно по выходным, дежурил с удвоенной энергией и в сопровождении высоких комсомольских функционеров. Показательно не делавших снисхождения ни для кого. Ни для отличников, ни даже для иностранцев. Испортить жизнь любому студенту им не составляло труда. Зато нередко доставляло удовольствие.

Но сегодня у Ральфа был уникальный случай, и его ничто не могло напугать.

Сегодня юный дзержинец был неуправим.

И, как подобает достойному профессионалу в сложных моментах, безупречен.

Уже спустя несколько минут они с Наташей мило беседовали, запершись в её комнате.

Сидя на краю аккуратно заправленной кровати. С гранёными стаканами в руках.

Под сладковатые французские шансоны её старенького катушечного магнитофона, привезённого ещё из Архангельска.

Темы диалога менялись часто и легко.

Но об учёбе опять не было ни слова.

Учёба не вдохновляла.

Хотелось чего-то возвышенного.

Необыкновенного.

Хотя говорили всё больше о пустяках и глупостях.

Немец спросил разрешения и снял туфли.

В носках он почувствовал себя по-домашнему.

Наташа тоже сменила «шпильки» на тапочки.

Уночи появились конкретные ощущения.

Уощущений появились конкретные очертания.

И вполне конкретные желания.

Торопиться было некуда.

Впереди — воскресенье.

И всё же нетерпение пробивалось наружу.

Уже имея представление о взрослой жизни, Ральф предложил тост:

— За прекрасный вечер!

Наташа не стала скрывать своего восторга от такого смелого предложения.

### 13.

Ральф лишился девственности, даже не вспомнив наутро, как всё произошло.

А может, он просто решил обезопасить себя от избыточных эмоций и умышленно не придавал этому событию слишком большого значения.

В конце концов, ни на его учебные будни, ни на его карьерные устремления первая ночь, проведённая наедине с девушкой, повлиять не могла.

К понедельнику переживания окончательно поутихли, сознание, протрезвев, встрепенулось, и всё вошло в свою привычную колею.

Чёткий график вновь стал главным мерилем существования немца. С Наташей они продолжали встречаться в основном в лифтовом холле. В основном молчаливыми улыбками. А на занятия, как и прежде, спешили порознь, на разных скоростях и с разными планами на день. Со стороны даже могло показаться, что советско-гэдээровская love story уже закончилась, по-настоящему так и не начавшись. Но примерно через неделю, в перерыве между семинарами, русской красавице удалось отловить Ральфа для серьёзного разговора и буквально припереть его к стенке. Прямо на глазах у однокурсников.

Хватка у Наташи оказалась не по-девичьи крепкой. Застав своего иностранного друга врасплох, она на удивление быстро уговорила его пойти с ней в следующее воскресенье в кино. Ей даже не

понадобилось прибегать к заранее продуманной хитрости и показывать купленные в предварительной кассе билеты.

Наташа ликовала: одного её обаяния оказалось достаточно для победы.

У Ральфа же после этой неожиданной встречи остался неприятный осадок.

Потом он до самого воскресенья нервничал из-за своей необдуманной и поспешной сговорчивости.

Ральфу не нужны были привязанности.

Ральф боялся потерять свободу.

Но данное девушке обещание пришлось сдерживать.

Правда, когда они возвращались из кинотеатра, он об этом уже не жалел. Знаменитую на весь Советский Союз «Бриллиантовую руку» немец смотрел с восторгом, полтора часа смеялся вместе с переполненным залом. Он даже забыл, с кем пришёл в кино. Посмотрев в сторону своей спутницы всего лишь раз, и то в момент, когда та тоже громко смеялась.

В каком-то смысле Ральф действительно был уникален.

Наряду с типично советским образом мышления у него постепенно вырабатывалось и полноценное советское чувство юмора. Юмора, который для большинства иностранцев, независимо от знания языка и количества прожитых в СССР лет, всегда был непостижимой тайной, частицей неразгаданной русской души.

После этого фильма у немца настолько улучшилось настроение, что он пригласил Наташу в бар на чашку кофе и кусочек шоколадного торта «Прага». Ну любил будущий историк на досуге, по воскресеньям, побаловать себя московскими сладостями. По немецким меркам, это была высшая форма ухаживания за девушкой. И Ральф поддержал этот высокий статус.

Наташа сияла от счастья.

Наташа торжествовала.

Она всю нахваливала торт и тут же не преминула рассказать о своих кулинарных способностях.

Окончательно уверовав в магическую силу своей неземной красоты.

В другой раз, каким-то чудом достав два билета, она уговорила Ральфа пойти в театр.

Смотрели «Мастера и Маргариту» на Таганке.

Ему опять понравилось.

Потом бывали в других театрах.

В музеях.

На вднх.

В планетарии.

Опять в кино.

И даже в зоопарке.

Отношения между Ральфом и Наташей начали приобретать вполне устойчивую форму. Иногда они сидели рядом на лекциях. Иногда вместе

писали конспекты в библиотеке. Иногда вместе обедали в профессорской столовой. Что для студентов считалось почти ресторанным шиком. А когда Наташины соседки уезжали к родителям в Подмосковье, Ральф оставался у неё ночевать. Дни и недели незаметно переросли в месяцы — первый, второй, третий. Дуэт постепенно складывался, их частое появление на публике вдвоём уже никого не удивляло. Всё так, может быть, и продолжалось бы. И русской красавице удалось бы растянуть эти ровные семейно-дружеские отношения до окончания университета.

Но однажды Наташа потеряла над собой контроль.

Не выдержала.

Чисто по-женски поторопилась.

В лирическом порыве неосторожно признавшись, что хочет выйти за него замуж.

Что хочет иметь от него ребёнка и готова уехать с немцем хоть на край света.

Ничего более страшного до той минуты будущей историк в своей жизни не слышал. Это было сущее испытание. Он едва не потерял сознание. Ему вдруг показалось, что такой ужас может произойти и в реальности, помимо его воли и разума. Вдруг уже ничего не изменить? Вдруг Наташа уже беременна и от него скрывает, а вся эта интрига заранее просчитана?

Уставившись в невидимую точку, перепуганный немец снял дрожащей рукой очки и стал их долго и тщательно протирать. Мало того, что без очков он почти ничего не видел, от услышанного у него пропала речь.

Это было не просто молчание.

Ральф будто перенёсся в другой мир.

Он вспомнил маму.

Вспомнил папу.

Вспомнил их замечательный тройственный союз.

И тут же представил свою будущую «полунемецкую» семью, своих будущих «полунемецких» детей.

В двухкомнатном ростокском интерьере.

С кучей шумных родственников из далёкого северного Архангельска.

Наташа почти сразу поняла, что сказала что-то не то. Она растерялась, начала бессвязно извиняться, оправдываться. По нежным розовым щекам полились слёзы. Но... было поздно.

Ошибку было не исправить.

И беззвучный приговор, увы, не обжаловать.

Наташа попыталась выжать из намертво замолчавшего немца хоть слово — безуспешно. Её бессмысленные путаные объяснения Ральфа не интересовали. Как и не интересовала его её будущая судьба.

Он лежал без движения.

Без дыхания.

Жестокий и холодный.

Он покинул чуждую ему реальность.

Полностью уйдя в себя.

В том состоянии он забыл о Москве и университете.

Забыл об интернационализме, опоясанном красными и синими галстуками.

В ту минуту высокая идеология ему изменила.

Как изменила ему и незапятнанная честь комсомольца-эфдэётовца.

Видимо, в будущем историке взорвался накопленный не одним поколением местечковый великогерманский шовинизм.

Хотя—кто знает, может, шовинизм здесь неуместен. А истинная причина скрывалась глубже.

В подсознании.

Или в физиологии.

Впрочем, причина особого значения не имела.

Она в любом случае была не более чем поводом.

От Ральфа требовали то, чего он не мог и не хотел дать.

От Ральфа требовали то, что принадлежало не только ему одному.

Но ещё родителям.

Росток.

Всей Германии.

К сожалению Наташи, её истеричные рыдания так и остались не услышанными.

Ушёл Ральф, не произнеся ни слова.

Судьба отношений была решена.

Точнее, их просто не стало.

Немец в тот вечер решил расстаться со своей первой девушкой навсегда. Хотя её настойчивые попытки помириться продолжались ещё несколько месяцев. Однако сила женского обаяния оказалась небеспредельной. И даже музеи с театрами не помогли.

Теперь немец выезжал по утрам на полчаса раньше, чтобы не встречаться с Наташей в лифте. А когда задерживался, не ленился спускаться пешком с четырнадцатого этажа. И так он оберегал себя от ненужных встреч целых полтора года.

Он избегал не только саму Наташу, её соседок и подруг, но и её одноклассников. Он ни с кем из них не здоровался и не стеснялся своей чёрствости.

Ближе к концу третьего курса будущий историк случайно узнал, что мечта русской красавицы из Архангельска всё-таки сбылась.

Она вышла замуж.

Счастливым избранником оказался аспирант с биофака—будущее научное светило из Сенегала.

Двух недель знакомства и трёх ночей в одной постели им вполне хватило.

Свадьбу, на которой присутствовала добрая сотня гостей, включая сенегальского посла в Москве, сыграли в дорогом интуристовском ресторане. А уже через несколько месяцев, бросив университет, Наташа навсегда отправилась к тёплым

берегам Атлантического океана, на свою новую африканскую родину.

По сему поводу Ральф лишь с облегчением вздохнул.

И без сожаления вырвал из памяти эту смутную страницу своего прошлого.

Одним страхом в его жизни стало меньше.

Одной частицей свободы—больше.

#### 14.

Вопреки прогнозу погоды на последней полосе газеты «Правда», вторая половина декабря выдалась не просто холодной. К рассвету восемнадцатого числа столбик термометра соскользнул к роковой отметке «минус сорок» и вот уже третий день не поднимался ни на миллиметр. Немец сначала подумал, что термометр испортился. Но радио эту мысль быстро опровергло.

Впервые за полтора года жизни в Москве Ральф столкнулся со столь вызывающим коварством стихии, а по-русски говоря—с настоящей зимой. Для него, как и для большинства московских иностранцев, слово «мороз» приобрело в эти дни совершенно не надуманный зловеющий смысл. Особенно болезненно это ощущалось, когда по утрам приходилось минут по пятнадцать-двадцать ёжиться на продуваемой всеми ветрами остановке в ожидании транспорта. Подпрыгивая и пританцовывая. Как же здорово, что мама ботинки на размер больше прислала. Интуиция её никогда не подводила. Так что теперь на ноги удавалось натянуть сразу четыре пары носков. Мама—великая умница. А вот тёплое шерстяное кашне и натуральную кроличью ушанку, которую можно было накрепко завязать под подбородком, Ральф купил лично, на собственные сбережения. Ещё в сентябре, в гуме. И в своём предвидении тоже не ошибся. Не только особые папины, но и мамины гены считал он своим достоянием.

Надежды немца, что к понедельнику мороз хоть чуть-чуть ослабнет, увы, не оправдались. Начиная с первых новостей, каждые четверть часа радиоточка суровым голосом призывала всех москвичей одеваться теплее и в случае обморожений немедленно обращаться в ближайшую больницу. А если учесть, что жизнь в городе никто не отменял и выходить на улицу всё равно приходилось, то не прислушаться к такому призыву было смерти подобно. Без всякого преувеличения.

Русская зима не шутила.

Русская зима в полную силу источала свою истинную «русскость».

Тяжко было тем, кто приехал в Россию впервые.

Тут уж было не до «Времени года».

И не до «Лебединого озера».

На Лубянку немец отправился экипированным практически во всю одежду, которая имела у него в наличии. Гардероб почти опустел.

Вид Ральфа впечатлял.

Кроме него самого, всех.

И не было ничего удивительного в том, что Владимир Владимирович не сразу узнал родного гдээровца. А когда узнал, тут же вспомнил кадры советской документальной хроники: колонны бредущих по разрушенному Сталинграду пленных фашистов. Понятно, что делиться этими мыслями вслух чекист не стал. Сын воевавшего на Курской дуге немецкого солдата мог бы обидеться. Не зря же Владимир Владимирович ещё во время учёбы в Высшей школе КГБ писал реферат о политкорректности по отношению к бывшим противникам.

Пригодилось.

Вместо неприятного для немецкого товарища сравнения из уст товарища советского прозвучал вполне безобидный, привычный юмор.

— Ральф, где твои сани и упряжка с собаками?..

Ты похож на потерявшегося во льдах полярника... Каких в кино обычно показывают... Только бороды не хватает... И свисающих с неё сосулек... Разве у вас в Германии сильных морозов не бывает?..

— Не-е-ет, таких не бывает... Иначе бы немцы, как доисторические существа, вымерли... Чтобы в таком холоде жить, надо в нём родиться...

— От природы надо ждать чего угодно... Человек должен ко всему приспосабливаться...

— Нет, я ещё не приспособился... И не уверен, что когда-нибудь приспособлюсь... Тогда точно и сани, и собаки понадобятся...

— Давай снимай свой противоморозный скафандр, здесь тепло... Иначе вспотеешь, а потом выйдешь на улицу и точно в ледышку превратишься... Не дай Бог, ещё простудишься, заболеешь... Что мы без тебя делать будем?.. О ценных кадрах нужно заботиться... Ценные кадры нужно беречь... Давай-давай, поактивнее... Сейчас мы тебя отогреем... Да и с отоплением у нас полный порядок, к батарее не притронуться...

В кабинете находились ещё двое незнакомых Ральфу людей. Приблизительно одного с Владимиром Владимировичем возраста. И, судя по их специфическому молчаливому взгляду, одной с ним профессии. Они внимательно слушали немца, но старались не выдавать своего интереса. Чувствовалось, что ради него они сюда и пришли. Хозяин кабинета никого никому представлять не стал. То ли это была гэбэшная манера такая, то ли у него имелись свои соображения на сей счёт. И разговаривал он с Ральфом, будто они в кабинете сидели одни.

У Владимира Владимировича было не совсем рабочее настроение. А довольно громко работавший радиоприёмник это настроение подчёркивал. По «Маяку» передавали популярные арии из опер и оперетт по заявкам слушателей. На письменном столе стояла уже открытая бутылка трёхзвездочного армянского коньяка и четыре

рюмки. Разломанная плитка шоколада «Гвардейский» и несколько долек мандарина лежали рядом на общепитовском блюде. Ничего не упускающий из виду будущий историк, разумеется, не мог не обратить внимания на эту странную торжественность — в понедельник, с утра, да ещё в столь серьёзном учреждении. Однако не стал придавать значения такой по московским житейским меркам мелочи. В конце концов, ему уже не раз приходилось видеть с утра выпивающих русских, причём солидных тоже. И чаще всего это случалось почему-то именно по понедельникам. Да, любили русские понедельник. Наверное, в этот день у алкоголя был особый вкус.

— Присаживайся, Ральф... Не стесняйся и не удивляйся... У нас сегодня праздник... Пожалуй, самый главный праздник в нашей жизни...

— ?..

— Не смотри на меня так удивлённо, он и к тебе относится не в последнюю очередь... Сегодня — День чекиста... Двадцатое декабря... Запомни этот день... И занеси его в свой личный календарь... Тебе придётся ещё много раз его отмечать... Независимо от того, где ты будешь находиться... И в каком будешь звании... У нас в ГДР наверняка тоже есть подобный день... Если нет, значит, когда-нибудь обязательно будет...

У юного дзержинца от неожиданности аж выпрямилась спина. Ему стало стыдно, ведь он ничего не знал о таком дне. Иначе поздравил бы Владимира Владимировича первым. Но оправдываться не имело смысла. И он, поправив очки, решил направить развитие сюжета в дежурное рабочее русло.

— Я тут бумаги принёс...

— Бумаги — хорошо... С этим ты справляешься на пятёрку... Я их потом посмотрю... Сейчас у нас к тебе более серьёзное дело...

Разговор пошёл вдруг и от имени остальных присутствующих.

Ральфу пододвинули свободный стул.

Немец занервничал.

Он всегда нервничал, когда чего-то недопонимал.

Один из молчавших незнакомцев посмотрел на часы и тут же взялся разливать коньяк. Владимир Владимирович мгновенно преобразился и, надев висевший на стуле чёрный пиджак, поднял рюмку первым. На сей раз тост его был обстоятельным и длинным. Без лишней застойной философии и многозначительного юмора. Всё — по сути. Всё — по делу. Устами тамады говорил профессионал и патриот. Человек ответственный, бескомпромиссный и убеждённый. Короче говоря, чекист.

Ральф слушал со всей серьёзностью и гордился, что работает вместе с этим человеком.

Он искренне радовался, что в этот важный день оказался рядом с ним.

Надо же было так случиться, что двадцатое число выпало как раз на понедельник!

Владимир Владимирович, не прерывая пламенной речи, положил руку на плечо немецкому товарищу.

Хрупкая немецкая спина стала ещё прямее. — По поручению руководства и от имени коллег я хочу вручить тебе, Ральф, в честь нашего общего праздника памятный подарок... Ты заслужил его... И в моих словах нет ни грамма формальности... Ты заслужил его своим отношением к работе... Своим трудолюбием и одновременно творческим подходом ко всему, что вокруг тебя происходит... Мы ценим и твою находчивость, и твои незаурядные способности... Ты многое уже успел доказать... Хотя мы уверены, что главные твои достижения, конечно, ещё впереди... И здесь, в Москве, и у себя на родине, в братской Германии... Из тебя вырастет чекист с большой буквы... А я лично готов хоть сейчас пойти с тобой в разведку и, если понадобится, в бой... За твоё здоровье, Ральф!.. Мы поздравляем тебя!..

У будущего историка перехватило дыхание.

Ральфу не верилось, что всё сказанное — о нём. И вообще, неужели эти люди собрались ради него?

Владимир Владимирович достал из стола небольшую, перевязанную красной лентой коробку и протянул её взволнованному Ральфу.

— Это самый лучший советский фотоаппарат «ФЭД»... А расшифровывается название — Феликс Эдмундович Дзержинский... Пускай он прослужит в твоих руках не один год... Надеюсь, что с помощью этого аппарата ты очень скоро научишься видеть мир таким, каким его видел великий Железный Феликс... Ты научишься... Я уверен, обязательно научишься... За недолгое время нашего знакомства я в этом уже убедился... Кстати, ваше посольство в курсе всех твоих успехов... Мы не могли с ними не поделиться нашими мыслями о твоей работе... И в тот же день они прислали нам ответ на целых двух страницах... Твои соотечественники тоже тобой довольны... Они тоже верят в тебя и твоё будущее... Но об этом, я думаю, они сами тебе скажут...

Ральф покраснел.

А коньяк жару только добавил.

Юному дзержинцу стало вдруг неловко и даже немного стыдно за столь пафосное внимание к его скромной персоне. Ведь ничего особенного он пока ещё не совершил. И ничего героического в его биографии пока не числится. Но, с другой стороны, если его старания отметило высокое начальство, значит, он на правильном пути. Если об этом узнают в Берлине, значит, появятся перспективы. Вот бы его родители сейчас обрадовались. Вот бы они сейчас похвалили друг друга за отличное воспитание сына. И фотоаппарат им наверняка

понравится. Тем более с таким названием. Да, будет о чём рассказать им в Ростке во время летних каникул. По секрету, конечно. Мама и папа — проверенные люди.

Немец шмыгнул носом.

Казалось, он вот-вот пустит слезу.

И было отчего.

Ему пожали руку даже незнакомцы, так и не проронившие за всё время ни слова.

Без сомнения, это было братское рукопожатие. Всепонимающее и многообещающее.

Для полноты ощущений не хватало только настоящей военной формы.

Ральф охотно бы сейчас её примерил.

Независимо от количества звёздочек на погонах.

Не важно, русскую или гэдээровскую.

Уж очень хотелось отдать честь.

Под козырёк.

Но фантазии быстро оборвались.

Первый тост оказался последним.

И на то имелась веская причина: такой день на Лубянке заранее расписан по минутам.

Хозяин кабинета посмотрел на часы.

То же самое движение проделали за ним и другие участники мини-торжества.

Все резко заторопились.

Бережно уложив бесценно-ценный подарок в портфель, Ральф резво облачился в свой скафандр. Ему не терпелось выйти на улицу и, оказавшись наедине с собой, заново мысленно перевернуть всё произошедшее.

Помечтать о будущем.

Сейчас его энергии позавидовал бы любой.

Сейчас ему не были страшны никакие холода.

На прощание Владимир Владимирович удостоил гэдээровца традиционного похлопывания по плечу.

Но сегодня оно ощущалось более солидным.

Более братским.

И мужским.

Отключившись на миг от всего официально-го, чекист не без иронии вообразил, как через несколько минут на сорокаградусном морозе немецкий товарищ вновь превратится в несчастного сталинградского военнопленного из документальной хроники.

Правда, уже награждённого.

За «боевые» заслуги.

## 15.

Комната Ральфа находилась в боксе с ещё одной комнатой, в которой тоже жили будущие историки, но четвёртого курса: двое русских и болгарин. Немец с ними особо не дружил. Разница в три-четыре года всё-таки сказывалась. Встречались они в основном по утрам, в тесноватой общей прихожей, перед дверью умывальника или туалета. И дальше обмена односложными приветствиями и ещё не

проснувшимися улыбками общение никогда не заходило. Кроме специальности, по большому счёту, их ничто не связывало. Каждый жил со своими проблемами, в своём кругу знакомых, и их пути за пределами этой прихожей никак не пересекались.

В отличие от гэдэровца-трудоголика, его старшие соседи за полтора года до выпуска к учёбе изрядно поостыли. Красные дипломы и аспирантура в планы их не входили. А общественная работа энтузиазма не вызывала. К тому же студентам двух последних курсов полагался второй выходной в неделю для научной работы. Понятно, что наукой занимались единицы. Свободного времени — хоть отбавляй. И эта излишняя вольготность, конечно, во всём давала о себе знать. Влиял на атмосферу в соседней комнате и заводной южный темперамент. Добродушного толстого болгарина, который внешне скорее напоминал молодого Сергея Бондарчука в роли Пьера Безухова, нежели неуёмного балканского гайдука, постоянно тянуло на приключения. И оба русских соседа по комнате все его начинания поддерживали. То они вместе гуляли у общих друзей или устраивали застолья в ресторанах за «болгарский» счёт, то шумные компании собирались у них в комнате. При этом люди приходили самые разные, и не только университетские, и не только студенты. Иногда так случалось, что некоторые из них, засидевшись допоздна, там же оставались ночевать. А иначе как бы они объясняли на выходе оперотрядовцам столь позднее пребывание в общежитии? Да ещё, как правило, в изрядном подпитии. Можно было и в милицию угодить. Поэтому все жившие в общежитии после одиннадцати вечера своих гостей никогда не отпускали. Их тайно держали у себя до утра. Трогательно деля с ними свои узкие постели. В противном случае неприятностей вряд ли бы удалось избежать. И гостям, и хозяевам. Последним — вплоть до выселения.

Так что по утрам в прихожей Ральф периодически сталкивался с лицами совершенно неизвестными и порой довольно странного вида. Правда, из-за спешки он не очень к ним приглядывался, хотя и здоровался со всеми. Воспитание обязывало.

Но вот как-то раз случилось, что он просто не смог не задержать свой взгляд на одном из незнакомцев. Небритый, в разорванной рубашке и едва стоявший на ногах персонаж попался на глаза гэдэровцу впервые. Причём на Ральфа он уставился с не меньшим удивлением, чем тот на него. И даже пытался произнести что-то членораздельное. Но... не тут-то было. Всё ограничилось обыкновенным животным мычанием да невразумительной пьяной жестикуляцией. Немец обомлел. Таких ярко выраженных героев он ещё не встречал. Потом он долго пребывал под впечатлением от этой встречи. Нельзя сказать,

что он испугался, но осадок всё равно остался неприятный. Особенно от разорванной рубашки. А когда после занятий Ральф вернулся домой, в дверь неожиданно постучал болгарин и попросил зайти к нему на несколько минут:

— Один мой русский друг хочет с тобой познакомиться... Пожалуйста... Прошу тебя... Я ему уже пообещал...

Ну что вежливому гэдэровцу оставалось делать? Ну как он мог отказать соседу-старшекурснику в таком пустяке? Хотя интуиция подсказывала, что речь идёт именно о том жутиком утреннем типе. Интуиция сработала точно.

Кроме «того самого», в комнате Пьера Безухова больше никого не было.

Небритый русский друг полусидел-полулежал на незаправленной кровати болгарина. К вечеру его вид ничуть свежее не стал. Видимо, выпивал он уже не один день подряд. И хотя рубаха на нём была сейчас другая, не рваная и отглаженная (скорее всего, гостеприимный хозяин поделился своим гардеробом), она не спасала. На отглаженном фоне лицо русского выглядело немногим лучше, чем утром. Даже о возрасте по нему нельзя было толком судить. Да, наверняка он был старше немца, но вот насколько, немец мог лишь предполагать. Может, лет на пять, а может, на все десять. Впрочем, будущего историка это абсолютно не волновало. Как не волновало его и всё происходившее в этой до отвращения прокуренной комнате. За полтора года соседства он заглядывал сюда лишь считанные разы, и то случайно. А сваленная в углу гора пустых бутылок из-под водки, коньяка и портвейна смотрелась естественно и уместно. Она всё объясняла. Но оправданием в глазах немца не выглядела. Впрочем, за полтора года жизни в общежитии он уже многое повидал.

— Ральф, познакомься, это мой друг, художник... Вчера мы немножко здесь погуляли... От души... Жалко, тебя с нами не было...

В знак приветствия Ральф изобразил улыбку.

В ответ, едва собравшись с силами и приподнявшись с кровати, русский тоже попытался улыбнуться.

— Да, мы правда немножко здесь погуляли... И правда, что от души...

В дальнейшем разговор едва клеился. Это были сплошь банальные, короткие, ничего не значащие фразы. Болгарин даже испытывал некоторую неловкость от ситуации. А его угловатые пространственные реплики ничего не могли исправить. Улыбки улыбками, но говорить на самом деле было не о чем. Нетрезвому с трезвым всегда трудно найти общий язык.

Болгарин предложил сесть.

Русский предложил закурить.

А когда Ральф выдал из себя, что не курит, русский тут же, не раздумывая, закурил сам. То,

что на улице минус сорок и окно не открыть, его не волновало. Дышать окончательно стало нечем.

Ральф с трудом терпел.

Зато сигарета, похоже, слегка привела заторможенного художника в чувство. И он неожиданно взялся помочь хозяину навести никому не нужный косметический порядок. Из дружеской солидарности, наверное.

На столе, рядом с крупно нарезанной болгарской брынзой и дорогим деликатесным сервелатом, будто по мановению фокусника, возникла новая литровая бутылка «Столичной». Судя по всему, алкоголь в этой комнате никогда не заканчивался.

Немец попытался возразить, но его в два голоса быстро уговорили:

— Одну-единственную рюмку, за знакомство... От одной нельзя отказываться... Сам Бог велел...

Чтобы не затягивать бессмысленные посиделки, норму вежливости Ральф выпил безупречно, до дна.

Не запивая, не закусывая, не комментируя.

И даже выдохнул демонстративно. Как это делают азартные русские пьяницы.

Со стороны это выглядело более чем убедительно.

Немца зауважали.

Однако уговорить его на новый подвиг у разгульного дуэта не получилось: Немец проявил немецкую гвёрдость. Причём не только на словах — выражение его лица тоже не вызывало сомнений.

Будучи наслышанным о принципиальности и комсомольской правильности соседа, болгарский Пьер Безухов решил обойтись без осложнений и... отступил. К тому же он знал, насколько загружены втрокурники. А по Ральфу действительно было видно, что сегодня он устал. Но болгарин не хотел отпускать «правильного» соседа в «неправильном» настроении. И не только ради своего московского друга. С «правильными» следовало вести себя осторожнее. На всякий случай их нужно было опасаться. С «правильными» нужно было дружить.

Этой святой заповеди эмгэушной жизни студенты следовали и на четвёртом, и на пятом курсах. Вылететь из университета можно было и перед самой защитой диплома. Со справкой о неполном высшем образовании в кармане. И с повесткой на призыв в армию.

Пристально, не без хитрецы в глазах посмотрев поочерёдно то на строгого немца, то на русского, болгарин предложил заключительный тост. За советско-гэдээровско-болгарскую дружбу.

И Ральф на провокацию поддался.

Сознательно.

Тоже на всякий случай.

Согласившись превратить её в финальный компромисс.

Горько вздохнув, он молча сам взял тяжёлую бутылку и до краёв наполнил свою рюмку. После чего все трое дружно рассмеялись.

И от души чокнулись.

Болгарин смеялся громче всех.

Пьер Безухов безошибочно сориентировался в обстановке и был от себя в восторге. Врождённое южное лукавство и опыт старшекурсника сыграли свою роль. Ситуацию удалось спасти. В результате все растались на оптимистической ноте и без фальши на лицах. Мало того, с уходящего соседа болгарин взял обещание в ближайшее время непременно увидеться вновь. Добрые соседи должны общаться чаще. К тому же приближался Новый год, и искать особого повода было не нужно.

Немец настолько торопился уйти, что даже не заметил своего обещания.

На том и попрощались.

Без лишнего панибратства.

И пустых заверений в дружбе.

Через пятнадцать минут, даже не разобрав свой дипломат, Ральф был уже в постели.

Обычно рано он не ложился.

Но сегодня он устал.

И на учебники сил не осталось.

От двух полных рюмок водки и сигаретного дыма чуть-чуть кружилась голова.

Но возмущение иссякло не сразу.

«Как они могут столько пить?..»

«И повод всегда находят...»

«И деньги...»

Чего хотел от него этот русский, Ральф так и не понял. «Пьяница, каких в Москве немало...» Но немец не стал заострять на этом внимание. Сам факт знакомства с художником, человеком искусства, всё же слегка смягчил неприятный осадок.

И прежде всего — от утренней встречи.

## 16.

Мороз не ослабевал.

Вот уже вторую неделю он продолжал оставаться главной составляющей мироощущения. Жизнь потеряла интригу. Превратилась в арктический калейдоскоп. Надолго погрузилась в пучину сорокаградусного однообразия. Пулей на факультет, пулей с факультета. Половина всех разговоров — о погоде и о прогнозах. Ни одного серьёзного плана на день, ни одного каприза без учёта показаний обезумевшего термометра. Да, нечасто человек вспоминает о своей зависимости от природы.

Каждое возвращение домой, особенно по вечерам, когда уже больше никуда не нужно было выходить, воспринималось как величайшее из блаженств. В этот счастливый момент право на тепло становилось для промёрзшего до костей тела важнее всех остальных его прав. Впрочем, о существовании остальных оно попросту не вспоминало. Во всяком случае, пока хорошенько



не отогревалось у раскалённой отопительной батарее. Благо при советской власти умели топить.

Едва успев оттаять после улицы, Ральф отправился на кухню ставить чайник. Горячий чай с лимоном—это единственное, что помогало ему поскорее забыть о холоде и сосредоточиться на делах. Сегодня немец даже не пошёл ужинать в столовую. Вчера перед закрытием там было немногочисленно и как-то неуютно. Поэтому наизусть выученному меню он сегодня предпочёл любимую булку «Калорийную» с изюмом и плавленый сырок «Дружба», купленные после занятий в факультетском буфете. Эта нехитрая провизия выручала Ральфа всегда, когда столовая надоедала. Или когда он в неё попросту не успевал. Экономия, конечно, тоже учитывалась. Сухой паёк считался привычной едой для любого студента. В том числе и для «зажиточного» иностранца.

Чайник закипел быстро.

И только немец собрался снять его с плиты, как перед ним возникло знакомое лицо.

Это был художник, друг болгарина.

Тот самый.

Он улыбался.

Ральф узнал его не сразу. У русского был вполне человеческий вид. Более того: одетый в дорогую импортную дублёнку, он производил впечатление приличного и совсем не бедного человека.

— Ральф, привет... А я за тобой... У меня два пригласительных в Дом кино... На премьеру...

Хорошо, что Ральф ещё не успел взять в руку чайник, иначе он мог бы его уронить. Будущий историк смотрел в упор на сияющего художника и не понимал, о чём идёт речь. Он был уверен, что из-за прошлого пьянства произошла какая-то путаница.

— У нас мало времени... В восемь тридцать начало... Плюс дорога...

— А мы разве договаривались?..

— Нет... Но заранее договориться было невозможно... Пригласительные мне принесли полчаса назад... Мои друзья-киношники... Я сам этого не ожидал... Всё произошло спонтанно... Вот я сразу и подумал о тебе... Я живу недалеко отсюда...

— М-да,—это всё, что услышал художник в ответ.

В эти напряжённые минуты немец Ральф окончательно осознал, что он больше всего не любит в русских—их непредсказуемость и болезненную страсть к сюрпризам. Они всегда стремятся удивлять окружающих. И всегда тем, чему с удовольствием удивляются сами. О чужих вкусах они рассуждают исключительно через призму своих собственных и никогда не считаются с чужим временем. И потому даже самые благие по сути намерения порой оборачиваются для других неудобствами, раздражением, проблемами. Ну какую ещё реакцию мог вызвать у только что вернувшегося домой Ральфа предстоящий выход

на чуть ли не пятидесятиградусный мороз? А если к этому ещё добавить не выпитый горячий чай, не съеденную любимую булку с сыром, не написанный конспект очередной работы Владимира Ильича Ленина и возможный завтрашний «неуд» по истории КПСС, то нарочитое Ральфово немногословие становилось вполне объяснимым и понятным. Правда, понятным лишь ему одному. Потому что художник продолжал упорно и с нетерпением ждать. Конечно, можно было от этой затеи наотрез отказаться. Но, в принципе, она была отнюдь не плоха. И в Доме кино, о котором немец много слышал, он никогда не был. И сам фильм наверняка должен быть интересным, всё-таки премьера. Да и этот странный русский, что Ральфу, безусловно, льстило, пришёл в такой холод ради него.

Хотя всё это выглядело слабым утешением. Если утешение в данном случае вообще подходило к определению состояния немца.

К вскипевшему чайнику Ральф так и не приоткрылся.

Он не знал, что ему делать.

Ему казалось: к какому бы решению он сейчас ни пришёл, всё равно оно будет ошибочным.

Немец замер посреди кухни.

Между газовой плитой и художником.

В ожидании собственных действий.

Однако в одном он не сомневался: русскому было наплевать на его учёбу и его личные планы. «Наверное, эти художники живут по каким-то своим законам... А может, законов для них просто не существует...» И всё же на отказ смелости не хватило.

Приглашённый обречённо вернулся к себе комнату, начав процесс одевания.

Пригласивший озабоченно проследовал за ним, поглядывая на часы.

— Третий свитер не надевай... Потом будет жарко... Мы же идём не по улице гулять... Туда поедем на такси... Назад я тебя тоже привезу...

Слово «такси» имело для немца магическое значение. Ещё с доуниверситетских времён. И хотя он никак не отреагировал на прозвучавшее предложение, ему понравилось повышенное внимание к его персоне. И тем не менее, общий настрой от этого не изменился.

Немец продолжал медленно облачаться во всё то, что ещё меньше часа назад с ненавистью с себя снимал.

Надел он, не раздумывая, и третий свитер.

И четвёртый бы надел, если бы он у него был.

При вынужденном внешнем повиновении уж очень ему хотелось сделать хоть что-нибудь наперекор непрошеному гостю. Этакую символическую маленькую пакость. Пусть даже во вред себе. Поэтому и одевался он не столь быстро, как мог бы. — А если такси сразу не поймает?..

— На улице зелёных огоньков— море... Их больше, чем пешеходов...

Первый раунд немец проиграл: машину поймали сразу. Замёрзнуть он не успел, а по дороге ему действительно стало жарко.

Следующий раунд проиграли уже оба: несмотря на щедро оплаченные старания водителя, к началу сеанса всё-таки опоздали.

Русский злился.

Немец торжествовал.

Но недолго.

В Доме кино натопили на славу.

Не только третий, но и второй свитер в конце концов пришлось снять.

Русский сделал вид, что этого не заметил.

Немец сидел с горой свитеров на коленях.

Кино переместилось на второй план.

Впрочем, фильм Динары Асановой «Жена ушла» с Еленой Соловей бури восторга ни у кого не вызвал. Ни у зала в целом, ни у отдельных зрителей. К выдающимся его никак нельзя было отнести. Незамысловатая женская мелодрама. И по сюжету, и по режиссуре. В меру оригинальная. В меру советская. Не в меру сентиментальная и достаточно предсказуемая.

По окончании сеанса у русского и немца были похожие выражения лица. Они даже понимающе друг другу улыбнулись. Однако до обсуждения дело не дошло. И без того всё было ясно.

Кино примирило.

Когда Ральф вновь надевал свои бесчисленные свитера, русский неожиданно бодрым тоном озвучил вторую часть задуманной им программы.

Предложение поужинать в ресторане или в кафе проголодавшийся студент встретил уже теплее. Точнее, с осторожным энтузиазмом.

Для занятий время всё равно было потеряно.

Даже с «неудом» можно было смириться.

А вот принесённые в жертву чай, булку и сыр ещё можно было компенсировать.

— Не пугайся... Всё будет быстро, на такси...

— ...

Слова художника с делом не разошлись. Прямо у выхода стояли несколько зеленовато-жёлтых «Волг».

Русский сел впереди.

Немец с озабоченным видом—сзади.

— На Калининский, в «Ивушку», и поскорее,—скомандовал художник.

## 17.

Несмотря на безжалостный мороз, далеко не всем москвичам сиделось дома.

Свободных мест в кафе, конечно, не оказалось. Но после трогательного собеседования художника с метрдотелем столик моментально организовали. Причём в лучшем углу зала, с видом на вечерний Новый Арбат. Это была одна из немногих улиц

столицы, которая до утра и в любую погоду освещалась столь же ярко, как Кремль.

Под наивно-задушевную скрипку город из огромного окна смотрелся впечатляюще.

Вот она—великая Москва!

Вот он—светлый образ!

Романтики—хоть отбавляй.

И мороз по ту сторону стекла ничем не угрожал. Наоборот, он, подобно лирику, вдохновлял.

Шампанское в металлическом ведёрке со льдом, красная икра и апельсины появились на столе уже через пару минут. И только после этого художник протянул немцу меню и спросил, что они будут заказывать. Ему хотелось не просто накормить иностранца. Ему хотелось его угостить по-русски. Ему хотелось устроить своему новому знакомому приятный вечер.

— Но ты уже всё заказал... Больше ничего не надо... Я не очень голодный...

— Разве это еда?... Это же так, на закуску... Приложение к шампанскому... А в меню ты выбери что-нибудь посерьёзнее, на горячее... Мы же пришли сюда поесть... Значит, мы должны поесть так, чтобы этот ужин нам запомнился... Для себя я знаю что заказать... Я здесь бываю довольно часто и ещё ни разу не ошибался... Между прочим, таких мест в Москве немного... Если хочешь, могу и тебе посоветовать... Севрюга по-московски... Её здесь готовят ну изумительно, свежую, прямо из Сибири... Точно не пожалеешь... Все иностранцы её обожают... Иногда ради неё даже специально сюда приходят...

— Это рыба или мясо?..

Русский едва сдержался, чтобы не рассмеяться. Но сдержать улыбку всё-таки не смог.

— Нет, это не мясо... Это самая вкусная на свете рыба... Запечённая в сметане... С картошкой, белыми грибами... И если к ней ещё добавить ломтик сочного лимона с веточкой свежей южной зелени, получится настоящий кулинарный шедевр... Без преувеличения, севрюга—наша национальная гордость... Поверь мне... Иностранцы от неё с ума сходят... Попробуешь—пальчики оближешь... Так что мясо всегда лучше готовить дома, а в ресторане нужно есть рыбу... Хорошую рыбу у нас в магазины редко завозят... Зато здесь она бывает...

Ральфу понравилось такое суждение.

Логичное и довольно похожее на истину.

А ещё ему понравилось, как виртуозно русский открыл бутылку.

Можно было приниматься за шампанское.

И за икру тоже.

За полтора года жизни в Москве немец ел икру в первый раз. Но признаться в этом не решился. Достаточно уже было прокола с севрюгой. Он не любил, когда к нему относились покровительственно-снисходительно. К тому же с улыбкой. Владимиру Владимировичу подобное он, понятно,

прощал. Но с чекистом были совершенно иные отношения. Здесь же отношений пока не было никаких. Да и о перспективах вряд ли стоило задумываться. Хотя икра Ральфу, несомненно, нравилась. И ел он её с таким удовольствием, с такой поэтичностью, с какой, наверное, многоопытный гурман ел бы неведомый диковинный деликатес. При этом сочные шарики-икринки и сухое шампанское, с точки зрения немца, прекрасно сочетались. Что стало для него неожиданным открытием.

«Надо же, у этого русского неплохой вкус», — мысленно констатировал он.

— Ты занимаешься живописью?..

— Я сам толком не знаю, чем занимаюсь... Никогда не задумывался... Да, вроде бы живописью... Во всяком случае, на живопись немного похоже... Если не быть совсем уж придиричивым...

— А в каком стиле?..

— О, это трудно сказать... В разном настроении по-разному видится... Поэтому, чтоб не путаться, я с конкретными определениями не дружу...

— Странно. Как же можно не знать, чем конкретно ты занимаешься?..

— Нет, чем я занимаюсь, я-то, конечно, знаю... Вот только не знаю, как это назвать... Честно говоря, мне всё равно... Пускай об этом думают другие, зрители... Кто хвалит или ругает, тот быстро находит нужные слова... Человек же по природе — критик... И каждый для себя — последняя инстанция... На месте автора глупо прислушиваться к чужим мнениям... Иначе от автора тогда ничего не останется... Я предпочитаю быть глухим...

Ральф смотрел на художника и не совсем понимал, о чём тот говорит. С художниками ему ещё не приходилось общаться. У будущего историка было несколько иное представление о человеке искусства и искусстве вообще. Искусство, например, должно учить. Искусство должно воспитывать. Искусство должно воплощать красоту, в конце концов. А что же это за искусство, если сам автор не может дать ему определение? И как можно не прислушиваться к мнению зрителя? Ведь ради зрителя всё и создаётся. «Нет-нет, или он скромничает, или лукавит... Если болгарин представил его как художника, значит, он художник... Зачем болгарину было врать?.. А может, он не воспринимает меня серьёзно?.. И ему правда безразлично моё мнение?.. Вот кто я для него?..»

— Давай выпьем за искусство, — Ральф посмел взять инициативу на себя.

Ему не хотелось, чтобы этот ужин напоминал ресторанные встречи с Владимиром Владимировичем, когда он по большей части пребывал в роли статиста или подчинённого. После трёх тостов немец уже не только не вспоминал о том, с какой злостью он собирался в Дом кино, но и особо не переживал по поводу своих нарушенных учебных

планов и несостоявшегося чаепития. Уж очень ему нравилось под утончённую скрипку вкушать икру и смотреть на вечерние огни главного проспекта СССР. Уж очень ему нравилось с бокалом шампанского в руках непринуждённо рассуждать об искусстве, и живописи в частности. И хотя в данные понятия они с художником вкладывали во многом различный смысл, всё равно гармония вечера от этого не нарушалась.

Ральф ощущал прикосновение к богеме.

Ральф по-новому смотрел на себя со стороны.

К моменту замены пустой бутылки на следующую подоспела и разрекламированная сибирская севрюга. На специальном металлическом блюде. Ароматная, запечённая, с корочкой. Оставалось только выжать ломтик лимона.

Если бы раньше гэдэровцу сказали, что можно получать такое удовольствие от еды, он бы ни за что не поверил. Естественно, маловыразительная ростокская кухня не дотягивала до уровня московской, он это уже давно понял. Но даже по московским изысканным меркам севрюга произвела фурор.

Отныне художник стал для будущего гэдэровского историка непререкаемым кулинарным авторитетом.

Ральф уже простил ему ту первую встречу. Точнее, то состояние, в котором он его встретил в общежитии всего несколько дней назад.

Сейчас даже не верилось, что это был один и тот же человек.

«Поразительно...»

Впрочем, типично русскую способность легко превращаться из застенчивых интеллигентов в откровенно безобразных пьяниц, а на следующий день как ни в чём не бывало вновь принимать безобидный вид, немец наблюдал уже не впервые. «Сегодня он абсолютно другой... Интересно, он сам это чувствует?.. Что делать, наверное, это их национальная черта...»

— Ральф, смотри, снег пошёл...

Эта новость, как и произнесённое иностранное имя, моментально долетела до соседних столов. Особо любопытные сразу завертели головами.

Но этого любопытства немец не заметил.

Он смотрел в окно.

Там, на улице, стало ещё красивее.

Как в сказке.

Которая идеально подходила и к скрипке, и к шампанскому, и к ненавязчивой беседе.

— Если в сильный мороз вдруг начинается снег, то холод должен ослабнуть... Хотелось бы, чтоб эта примета сбылась... Кстати, мы совсем забыли, уже через четыре дня Новый год...

— Да, кстати...

— Это мой любимый праздник... Хотя у нас, у русских, он, наверное, у всех любимый... А ты где собираешься его встречать?..

— Ещё не думал... В общезжитии, скорее всего... Как в прошлом году... Других идей пока нет...

— Может быть, встретим вместе?... Что скажешь?... Меня пригласили в одну интересную компанию... Большая богатая квартира в сталинском доме... Со вкусом обставленная, в европейском стиле... Качественная японская аппаратура... Народу будет много... Хозяин гарантирует веселье до самого утра... Мне уже приходилось там гулять... Ещё, что я знаю точно, будет шикарный домашний торт и настоящий свежий арбуз, из Египта... Подумай... Очень неплохой вариант... Если мы придём вдвоём, это будет для всех приятным сюрпризом... Ты же знаешь, как у нас относятся к иностранцам... Внимание к тебе будет обеспечено... И в первую очередь—со стороны девушек... А многих из тех, что придут, я хорошо знаю—одна краше другой... Хоть на конкурс красоты выставляй... Среди них, между прочим, есть и неглупые... Из приличных семей... Вот увидишь, не пожалеешь...

— Да, новая компания—всегда какая-то загадка... Я, в принципе, не против... А в каком районе?... — В самом престижном, на Кутузовском... В двадцать четвёртом доме... Рядом с домом, где живёт Брежнев... Там почти всё правительство живёт... От проспекта Вернадского полчаса на машине... Не волнуйся, проблем никаких не будет... Можешь на меня положиться... Независимо от времени и твоего состояния, я обещаю вернуть тебя в общезжитие в целости и сохранности... Не сомневайся, у меня большой опыт...

— Насчёт опыта не сомневаюсь... Но ещё неизвестно, в каком состоянии ты будешь...

— В каком бы ни был...

— Однажды я тебя уже видел...

— То было стечение обстоятельств...

— ...

— На Новый год всё будет по-другому...

— Посмотрим...

— Отлично, договорились...

— ...

— Тогда за наступающий!... Чтобы и в новом году нас не покидала удача...

— Не покинет...

— Мы ей не позволим...

— Не позволим...

Речь немца постепенно теряла чёткость и последнюю «правильность». Тосты, один за одним, превратились в формальность. Хотя количество их росло. На появление третьей бутылки Ральф уже не отреагировал. Как и не отреагировал на то, что покидали они кафе последними.

В обнимку.

Едва держась на ногах.

По дороге, в такси, русский затащил народную песню.

Длинную.

Пьяную.

Громкую.

Но до конца немец песню не дослушал.

На заднем сиденье его быстро укачало.

И он, свалившись набок, уснул.

На следующий день будущий историк впервые за полтора года своей безукоризненной репутации прогулял занятия. Даже ради главного семинара по специальности, начинавшегося в половине первого, он не смог подняться с постели. Однако ни товарищам по группе, ни изумлённым соседям по комнате ничего объяснять не стал. Хотя что Ральф должен был им объяснять?

При этом, как ни странно, совесть его не мучила. Уж слишком плохо ему было, не до совести.

Славный ужин в «Ивушке» обернулся наутро несколькими литрами воды, выпитой взахлёб, долгим поиском очков, которые почему-то обнаружили под кроватью, и частичной потерей памяти, которая ни через день, ни через два так и не восстановилась.

Но о предложении художника встретить вместе Новый год Ральф не забыл.

«Почему бы и нет?..»

«Пора расширять круг знакомых...»

«Этот русский хоть и странный, но что-то в нём всё-таки есть...»

«Правда, есть...»

## 18.

Народная примета дала сбой.

Художник ошибся.

Потепления, к сожалению, снег в Москву так и не принёс. Мало того, утром тридцать первого декабря мороз побил рекорд двух последних недель, приблизившись вплотную к минусу сорока пяти. И не было никаких гарантий, что и он не будет бит.

Ни в приметы, ни в метеослужбу, ни в разум природы никто уже не верил.

Ну и зима!

Даже привыкшие к морозам москвичи начали возмущаться. Что уж тогда было говорить об иностранцах—существах в большинстве своём тепличных, привередливых и капризных. Живописные рассказы о русской красавице-зиме, слышанные на родине ещё до приезда в Москву, потеряли для них всякую волшебность. А самым чувствительным к холодам не оставалось ничего, кроме как перейти на валенки. При этом валенки в обувных магазинах продавались почему-то исключительно огромных размеров и только грязно-чёрного цвета. Да, со стороны выглядело довольно комично. И передвигаться по городу в таких неуклюжих «гигантах» было не совсем удобно. Однако сами иностранцы ни того, ни другого либо просто не замечали, либо делали вид, что не замечают. Мода, надменность и юмор потеряли для них актуальность—они не согрелись. Актуальной была только зима, от традиционного добродушия

которой не осталось и следа. Число испуганных си-бирскими рекордами росло изо дня в день. Москва держала оборону. Даже к прогульщикам на работе стали временно относиться снисходительно. Зима умудрилась настроить против себя всех — и москвичей, и иностранцев, надолго потеряв свою привлекательность. Зима потеряла чувство меры. Не пощадив даже праздничную ночь. Нежная улыбка розовощёкой русской красавицы окончательно сменилась леденящим воображение оскалом. Метеосводки по радио приходили как новости с фронта. Затаив дыхание, их слушала вся страна. А на экранах телевизоров чаще строгих людей в белых халатах появлялся только Генеральный секретарь ЦК КПСС. Хотя ни одно его выступление с погодой связано не было. И на неё, на погоду, эти занудные генеральные речи, увы, не влияли.

Но людей, кроме злосчастных морозов, больше ничто не интересовало.

Всё остальное казалось жалким к ним приложением.

В ближайшие сутки все обречённо, с ужасом ждали минут пятьдесят.

И каждый готовился выживать как мог.

У Ральфа же неожиданно возникла проблема несколько иного свойства. Последний приход на Лубянку и проведённый с художником вечер открыли гэдээровцу глаза на его не совсем эстетичный внешний вид. Надо было что-то предпринять. У страха, вызванного поистине глобальным холодом, появился серьёзный конкурент.

И это был тоже страх.

Страх оказаться в новогоднюю ночь объектом косых насмешливых взглядов и шуток.

Немец посчитал своим долгом в элитном обществе, в окружении незнакомых молодых людей выглядеть элегантно и достойно.

Пора было выходить на более светский уровень.

А для этого, хочешь не хочешь, надо было жертвовать сверхутоплённостью.

Вместо уже практически склеившихся свитеров вновь появились школьный выпускной костюм, светлая рубашка, галстук. Вместо пуховой куртки — пальто. Вот только кроличьей ушанке не нашлось альтернативы. И всё же немец решил под горлом её не завязывать.

Понятно, что Ральф не сразу пришёл к такому радикальному решению. Он устроил себе настоящий экзамен. Не пропустив за день ни одной метеосводки, он долго взвешивал все «за» и «против».

И всё же решился.

Это волевая победа над собой моментально сказала на настроении. Будущий историк сам удивлялся своей неожиданной смелости. В некотором смысле — рискованной и безумной. Он не сомневался, что его геройство сегодня вечером наверняка не останется без внимания гостей. Конечно, русских трудно удивить чем-то подобным.

Риска и безумия им самим не занимать. Но хотя бы художник уж точно должен это заметить. Ведь в первую очередь именно ради него немец и старался.

Ральфу не терпелось реабилитироваться за свой предыдущий внешний вид.

И он заводил себя, как ребёнок.

Оказывается, примерных и правильных тоже может охватывать азарт.

Да ещё какой!

Ральфу хотелось поскорее уехать из общежития. Впервые!

На всю ночь!

Ральф предвкушал необычный праздник в новой интеллигентной компании.

А заодно гордился своей победой над холодом.

Из его коллег-иностранцев, пожалуй, никто не был способен на такой поступок.

Те — наоборот, вспоминая родные края, утешались.

Утеплялись, ругались, жаловались.

И в конечном итоге — смирялись.

Для них Новый год, как и холод, превращался в календарную неизбежность. От которой вряд ли можно было ожидать открытий.

Ральф же оказался натурой более творческой.

И более решительной.

За полчаса до появления художника будущий историк был уже при полном параде. Хорошо, что соседи по комнате все куда-то разбежались. Поэтому никто не мешал вдоволь крутиться перед зеркалом, совершенствуя собственный праздничный образ. Репетировать взгляд и жесты ему ещё никогда не приходилось.

Ральф сам себе нравился.

Он даже родным гэдээровским одеколоном надушился крепче обычного. Чтобы до утра не выветрилось. Единственное, чего пока не хватало немцу, так это жизнерадостной улыбки. Хотя с улыбкой торопиться, наверное, не следовало. До главного боя кремлёвских курантов было ещё почти четыре часа. И не менее важно было раньше времени не перегореть.

Ральфу давно запала в душу русская поговорка: как Новый год встретишь, так весь год и проведёшь. Было в ней что-то фатальное. И сейчас появлялась возможность на своём опыте эту фатальность проверить. Так что, готовясь к празднику, студент второго курса одновременно заботился и о своём будущем. Несмотря на то, что до приезда в Москву он понятия не имел о суеверии.

Впервые немец столь педантично и обстоятельно готовился к выходу в люди.

Впервые он был столь придирчив к своей персоне.

Сегодня он понял, что нравиться самому себе — это сродни искусству. В то время как нравиться другим — это, скорее, труд.

Сегодня Ральф умело совмещал эти две задачи.

Сегодня Ральф был во всём максималистом. Хотя, с другой стороны, можно было не стараться и не идти на такие жертвы.

Иностранцы в Советском Союзе нравились почти всем, почти всегда, почти во всём. Независимо от того, чем они занимались и как они выглядели. Независимо от того, в какие дома и компании они попадали. За любым столом к ним относились с особым пиететом. И к ним почему-то автоматически возникало доверие. Даже если они его и не заслуживали.

Статус иностранца являлся ключом к большинству добродушных советских сердец.

И чужеземные господа-товарищи ключом этим охотно пользовались. Сбои случались крайне редко, и то по недоразумению.

Ральф совсем забыл, что в Москве он самый настоящий иностранец.

Но на практике же он пока ещё не испытывал потребности в этом привилегированном статусе.

Ему хотелось выделяться среди равных.

То есть заслуженно.

Ему хотелось побеждать в честной борьбе.

То есть по-мужски.

Вооружившись всеми своими достоинствами, Ральф, в конце концов, собрался в поход за очередной победой.

Его ждали новые откровения.

Его ждала феерическая ночь.

И ожидание было взаимным.

Новый год—явление магическое.

## 19.

И хозяйева, и гости, узнав, что друг художника—гэдэровский студент, оживились.

Во всяком случае, одной интригой вечера сразу же стало больше.

Пускай не американец, не англичанин и даже не финн, но всё равно «оттуда», из-за границы. Иностранец—этим всё сказано.

Висевшие в прихожей часы показывали ровно десять.

Народ был в сборе.

Народ потихоньку расслаблялся.

Как может расслабляться трезвый русский народ.

В самой большой комнате одновременно работали телевизор и магнитофон. В углу, рядом с утопающей в огнях ёлкой, что-то очень задушевное пела под гитару долговязая девушка. А несколько внимательных слушательниц в перерывах между нудноватыми самодельными песнями громко ей аплодировали.

В соседней комнате любители спорта азартно спорили о хоккее. Чувствовалось, что собрались болельщики.

Остальные, не имевшие склонности ни к пению под гитару, ни к спорту, тоже не сидели молча.

Короче говоря, каждый по-своему дожидался приглашения за стол. И заодно пытался создать у незнакомых гостей первое впечатление о себе.

Праздничный процесс стартовал.

Но Ральфа он коснулся не сразу.

Почётному гостю дали время на адаптацию.

Для начала немец не прочь был отогреться, присмотреться к обстановке, почувствовать то-нальность вечера. Конечно, его тут же и с радостью приняли бы в любой мини-коллектив. Однако проявлять инициативу по отношению к иностранцу у русских было не принято. Инициатива, а с ней и право выбора, должны были исходить от него самого. Мало ли какие у него вкусы и предпочтения? Тем более что вкусы иностранцев русские всегда ставили выше собственных. А тут ещё столь серьёзный молодой человек. В очках. Будущий историк. И наверняка отличник.

Проявлять себя Ральф не торопился.

Впереди была целая ночь. И трудно было предугадать, как развернутся события. Утопая в несмолкаемом многоголосии и соблазнительных кулинарных ароматах, доносившихся из кухни, он приглядывался к московскому быту изнутри. Ему было интересно посмотреть, как живут москвичи. Ведь все полтора года немец общался в основном с теми, кто жил в общежитии. То есть с иногородними. С москвичами же он виделся только мимоходом, на факультете, и в частную квартиру попал впервые. И вдруг—сразу в элитную. Хотя немец даже не представлял себе, ни кто её хозяйева, ни чем они занимаются. Но в том, что это был не типичный московский дом и обитали в нём не типичные труженики, сомнений не возникало. Оказывается, и в Советском Союзе можно было жить с комфортом, который у большинства строителей коммунизма ассоциировался только с Западом.

Художник быстро сориентировался в ситуации и незаметно предложил Ральфу приземлиться в свободном углу, на «нейтральной» территории.

К жарким мужским спорам о хоккее, как и к сольному концерту у ёлки, ни того, ни другого не тянуло. Наблюдать со стороны было куда забавнее. Немца радовало, что его спутник, знакомый буквально со всеми, не отходил от него ни на шаг. Чувство ответственности в человеке Ральф ценил особенно высоко. А отдельные реплики русского друга—уместные, немногословные и с колючим юмором—не только вызывали улыбку на лицах рядом сидящих, но и придавали немцу уверенности. Даже любопытствующие взгляды, которые периодически он перехватывал, сегодня его не смущали.

Сегодня у него был защитник.

Во всяком случае, на это можно было рассчитывать.

Сам же будущий историк, хоть и удостоился особого внимания, до образа типичного иностранца не дотягивал. Для окружающих он выглядел скорее загадкой. Войти в контакт с ним хотели бы многие. Но пока никому не хватало решительности. В присутствии иностранца и к тому же на трезвую голову русские всегда страдали избытком интеллигентности. Им мешала стеснительность. Если, конечно, они были интеллигентами по природе.

Поэтому все ждали повода.

И это несмотря на то, что наполненный бокал был уже у каждого. И каждый что-нибудь да попивал. Но занятие сие выглядело скорее предварительным, разминочным и в праздничную реальность вписывалось символически.

Выпивание настоящее, по-русски, ещё не начиналось.

Склонный к протокольной точности, гэдэровец насчитал на сервировочном столике девятнадцать марок разных крепких напитков. Плюс шампанское, плюс по четыре сорта белых и красных вин. Выбор поражал. Такую шикарную коллекцию можно было встретить только в труднодоступных барах «Интуриста» и в валютных магазинах «Берёзка». «Видимо, хозяева — довольно состоятельные люди или очень влиятельные... Или как-то связаны по работе с Западом...» Ещё Ральф насчитал двадцать девять человек присутствующих — восемнадцать мужчин и одиннадцать женщин. Включая его и художника. Даже для большой, по сравнению с ростокской, квартиры это было многовато. Тем не менее, места в доме хватало всем. А лёгкая суетола во время перемещений никого не раздражала. Праздник — он и есть праздник.

Выпив на пару с художником по глотку предложенного им белого мартини, Ральф оживился. Он понимал, что от дополнительного интереса к нему всё равно никуда не деться. Так лучше было изначально не относиться к этому чересчур серьёзно и не комплексовать. В конце концов, он пришёл сюда с другом встречать Новый год, а не устраивать свою личную жизнь. История с однокурсницей Наташей ещё не успела выветриться у него из головы. Поэтому, чтобы не нарваться на новые ненужные приключения, немец решил нравиться всем сразу.

Нравиться каждому по отдельности было слишком хлопотно. А только кому-то одному — слишком опасно.

Найдя подходящий повод, Ральф широко улыбнулся.

И получилось кстати.

В ту же минуту прозвучала команда: «За стол!..»

Все зашумели.

Засуетились.

Не зная, кому какое место занять.

Но через несколько секунд стало ясно, что всё заранее расписано на специальном листе. И от придуманной хозяевами схемы никуда не уйти.

Дед Мороз и Снегурочка (они же — переодетые хозяева) называли всех поимённо.

Естественно, будущего историка посадили рядом с художником.

С другой стороны его соседкой оказалась... девушка, уезжающая через две недели на постоянное жительство в Израиль.

Об этом Ральф узнал из первых её слов.

Хотя и не сразу сообразил, о чём идёт речь.

20.

Изменник Родины.

Он же — враг народа.

Он же — просто предатель.

Эти грозные слова были знакомы с детства не только каждому советскому патриоту, но и гэдэровскому тоже. Впрочем, на каком бы языке они ни произносились, смысл их всегда предельно конкретен и одинаково беспощаден.

Независимо от того, к кому они относятся и на чём основаны.

Напрасно такими словами никогда не разбираются. Даже самые аполитичные и бездушные.

У этих слов особый смысл.

И особый запал.

Ну как ещё мог отреагировать идеологически выдержанный Ральф на откровения рыжеволосой соседки по столу? На её демонстративно-пренебрежительное отношение ко всему советскому и социалистическому? На возмутительные высказывания в адрес взрастившей её страны? Между тостами за уходящий год она несколько раз повторила, что скоро её ждёт встреча с настоящей, исторической родиной. Что с «этой» её уже ничто не связывает. Запад помог, свобода восторжествовала, и мечта всей её несчастной семьи наконец-то сбылась.

— Мечта?.. О чём?.. — с несвойственным иностранцам ехидством поинтересовался немец.

— Ральф, вам трудно нас понять... Вы — иностранец... Вы — из другого мира...

Хотя о том, из какого мира был Ральф, за столом знал только он один.

Вместо продолжения диалога немец внимательно посмотрел на свою соседку. Однако следов страданий ни в её глазах, ни в её широкой веснушчатой улыбке не обнаружил. Наоборот, своей активностью она превосходила всех остальных. И одета она была во всё иностранное, модное и дорогое.

«Врёт ведь, наверняка врёт...»

Ещё в Германии, перед поездкой в Москву, Ральфу компетентно объяснили, почему некоторые советские граждане убегают из Союза. Причём всех их называли предателями. В Восточной Германии

подобного рода негодяи тоже встречались. И не столь уж редко, как об этом писали местные газеты. Ральф, будучи убеждённым комсомольцем-эфдэтовцем, знал этим людям подлинную цену. Такие продавали Родину ради личной выгоды. Таких публично клеймили и презирали. Таких чёрными чернилами вычёркивали из славной гэдээровской истории.

Но что Ральфа возмущало больше всего, так это то, что об отъезде эмигрантки и вообще о стране-агрессоре Израиле за столом говорили без осуждения, совершенно спокойно, в чём-то даже по-деловому. Выпивая, закусывая, под весёлую музыку. Все! В том числе и его друг-художник. У немца создалось впечатление, будто он находился не в кругу советских товарищей, а среди нигилистов и потенциальных врагов. Вот тебе и московская элита. Вот она, компания-достопримечательность. Ральф с трудом себя сдерживал. От возмущения у него внутри всё кипело. И хотя никаких резких слов произносить вслух он не рискнул, можно было не сомневаться: мысленно он их повторил не один раз. И наверняка столько же раз вспомнил своего наставника Владимира Владимировича.

Правда, ближе к двенадцати ночи еврейско-эмигрантская тема почти полностью себя исчерпала. Её стали заменять анекдоты, разные смешные небылицы и просто бессвязная праздничная болтовня. А после выступления по телевидению прописанного по соседству Генерального секретаря ЦК КПСС, загадав под бой курантов по двенадцать желаний, все с проливающимися бокалами бросились друг к другу целоваться. С этого момента поводов для недовольства у немца больше не возникало. Он всей душой влился в коллектив.

Ральфу пришлось расщедриться на целых двадцать восемь поцелуев. Рыжеволосой изменнице Родины тоже досталась частичка неподдельной «иностранной» нежности. А куда было немцу деваться? Из новогоднего образа нельзя было выходить. Ральф даже пожелал «настрадавшейся» еврейской красавице счастливого пути. И, на всякий случай, мира на всём Ближнем Востоке.

Спасибо водке.

Спасибо шампанскому.

Сочетание этих двух непохожих напитков стремительно освобождало от стереотипов, направляя застольное настроение в полноценное праздничное русло. К тому же гостям было предложено так много всего диковинного и аппетитного, что всё хотелось ну хотя бы попробовать. Причём все блюда, даже самые экзотические, великолепно сочетались и с водкой, и с шампанским. Остановиться не получалось. Да и не хотелось. Следующего подобного застолья могло и не случиться.

Ровно в два часа ночи по Москве, в честь наступившего Нового года в Европе, художник

неожиданно взял слово и, попросив приглушить музыку, предложил тост за иностранного гостя.

Произнёс он его стоя.

Это был маленький шедевр ораторского искусства.

Такого приятного сюрприза Ральф не ожидал. Столько комплиментов раскрасневшийся от похвал гэдээровец даже от собственной любимой мамы никогда не слышал. Он и не предполагал, что у него так много достоинств. Вернее, был приятно удивлён, что его русский друг столь внимательно к нему присматривается.

Значит, не только знает ему цену.

Но и ценит.

А тут ещё в придачу к тосту по телевизору передали песню на немецком языке.

Полный восторг!

Крики и аплодисменты!

И вновь многочисленные объятия и поцелуи.

Но уже в более горячем исполнении.

Девушки были от Ральфа без ума.

Сразу после сладковатого гэдээровского шансона они хором стали требовать танцев.

И почти сразу они начались.

Немец был нарасхват.

Под любую музыку.

Но особенно, что и следовало ожидать, под медленную.

Чтобы никого не обидеть, Ральф принимал все приглашения. Хотя сам инициативу не проявлял. И ни к кому крепко не прижимался. Имея уже определённый дискотечный опыт, с одной и той же девушкой будущий историк больше двух раз подряд не танцевал. Мало ли... Вдруг разве-селившиеся девушки неправильно его поймут? А именно так бы они и поняли.

Осторожность Ральфа не покидала.

Отношения с Наташей послужили ему серьёзным уроком на всю оставшуюся жизнь. Сейчас же вокруг него крутилось с десяток таких неотразимых Наташ.

Музыке не было конца.

И шарканью по дубовому сталинскому паркету тоже.

Перерывы между танцами предназначались только для короткого тоста. Пожалуй, это была единственная возможность перевести дух. И посидеть минуту на стуле.

Спасибо водке.

Спасибо шампанскому.

Однако ровно в три часа ночи обстановка в доме резко изменилась. Началась прямая трансляция хоккейного матча из Америки. Между тамошними профессионалами и советскими чемпионами. Теперь стало ясно, почему ещё с вечера так много говорили о хоккее. И для русских, и для американцев это было событие, выходящее за рамки спортивного состязания. На кон выставлялись



национальный престиж и глобальное политическое превосходство. Кто кого? И с каким счётом? Холодная война приобретала конкретное очертание. Точнее, конкретные тактические задачи и беспощадные силовые приёмы.

Большинство тут же намертво прилипло к телевизору. При этом музыку никто не выключал, и наиболее рьяные поклонницы Терпсихоры, тон среди которых задавала израильская эмигрантка, продолжали отплясывать по полной программе. От танцев народных до сверхмодных. Не замечая ни мерцающего разноцветного экрана, ни запинавшегося от волнения комментатора, ни периодически вскакивающих со своих мест болельщиков.

Танцы и одновременно хоккеем по телевизору на всю громкость—это тоже по-русски.

Надо было выбирать.

И Ральф свой выбор сделал не задумываясь.

При всём безразличии к спортивным зрелищам он присоединился к болельщикам. Веселье в кругу непрерывно танцующих девиц ему порядком надоело. А тут у него появился шанс просто посидеть рядом с художником, пообщаться. Но тот, к огромному сожалению немца, посматривал на него только изредка. Чтобы поделиться впечатлениями от матча. Художник был весь в игре. Художник был там, за океаном. Шайба, клюшки и драки между здоровенными мужиками, оказываются, интересовали его не меньше, чем остальных.

Ральф не верил своим глазам.

Он всегда почему-то считал, что массовая любовь к спорту—это удел пролетариата. Хотя против самого пролетариата и пролетарских страстей будущий историк, конечно же, ничего не имел. Более того, после каждой заброшенной шайбы в ворота американцев он, размахивая руками, синхронно со всеми вскакивал со стула с душевными воплями: «Ура!!!»

И вместе со всеми стоя выпивал положенную по такому случаю рюмку.

А шайб в этой встрече было заброшено немало.

Спасибо водке.

Спасибо шампанскому.

Они меняли отношение к спорту.

Они меняли отношение к советскому зрителю, советской богеме и советскому азарту.

Это был первый и последний хоккейный матч в жизни, который Ральф смотрел от начала до конца. С финальной сиреной он даже забыл, что до хоккея происходили какие-то другие события.

К всеобщей радости, маленькую ледовую войну длиной в шестьдесят минут чистого времени русские выиграли с разницей в две шайбы.

На глазах у всего мира.

И назло всему миру.

Праздник потом продолжался ещё долго.

Но о Новом годе уже почти не вспоминали.

Как любой праздничный повод, он себя исчерпал.

Гораздо чаще и в подробностях все вспоминали массовые потасовки и забитые голы.

Победа над американцами, да ещё на чужом льду, казалась более важным событием.

Событием, которому предстояло стать частью эпохи.

## 21.

Очень хотелось пить.

И сильно болела голова.

Будущий историк очнулся в полной темноте. Не понимая, ни где он, ни что с ним. Лишь через несколько секунд до него дошло, что он не в родном общежитии. Что лежит не в своей постели. Что раздет, но без пижамы. А рядом, под одним с ним одеялом, спит кто-то ещё. Причём настолько рядом, что чувствуется тепло чужого тела. Боясь пошевелиться, немец стал прислушиваться к тишине, однако не обнаружил ни звука. Как и не обнаружил в голове ни одной здоровой мысли.

Ральфу пришлось изрядно помучиться, прежде чем новогодние приключения хотя бы частично вернулись в его умиряющее от жажды сознание. И лишь благодаря напряжённым усилиям хрупкая цепь событий начала медленно восстанавливаться.

Правда, не совсем в протокольной последовательности и только до момента окончания хоккейного репортажа из Америки. После триумфа советского патриотизма связь обрывалась. Мозг попытался было сопротивляться собственному бессилию, но... безрезультатно. Дальше предположений и догадок дело не сдвинулось. Провалов в памяти было гораздо больше, чем самой памяти.

Впрочем, с тем, что происходило после хоккея, можно было разобраться потом, на протрезвевшую голову. Но вот кто лежал рядом сейчас? Ральф даже не мог понять, мужчина это или женщина. Чтобы понять, наверное, надо было прикоснуться к телу. Но как? В темноте можно ненароком что-нибудь натворить. Вдруг в тот самый момент человек проснётся? Что он подумает? Ладно, если это всё-таки художник. Он уже почти свой. А если это кто-то другой? А если это спит рыжеволосая еврейская красавица, которая с такой навязчивостью каждый раз танцевала с Ральфом? Худшего варианта нельзя было придумать. Немец не знал, куда себя деть. И вообще, ему с детства не нравилось ночевать в гостях, даже в деревне у родной бабушки. Не говоря уже о том, чтобы спать в чужом доме, в одной постели с кем-то чужим.

Как такое могло случиться? Почему художник не отвёз его в общежитие, как обещал?

А ведь обещал.

И если рядом спит не он, то тогда где он сейчас? Неужели он оказался ненадёжным?

Немец сразу вспомнил свою первую встречу с ним.

Пьяная физиономия... Рваная рубашка...

Немец злился.

На свою доверчивость.

И на ненадёжность художника.

На всю русскую нацию.

Но злость не помогала.

Она, наоборот, мешала сосредоточиться.

Провоцировала.

На нервной почве Ральфу захотелось пить ещё больше.

Горло не просто пересохло.

Его будто обклеили изнутри шершавой бумагой.

Что делать, будущий историк не знал.

Однако терпеть эту муку было невозможно. Она была сравнима с нечеловеческой пыткой.

Оставалось импровизировать.

На свой страх и риск.

То есть отправляться за водой вслепую.

Босиком.

В трусах и без майки.

Не умирать же от жажды.

И он не умер.

В конце концов, похмельные страхи оказались преувеличенными.

Реальность немца пощадила.

И дверь быстро нашлась, и кухня, и долгожданная холодная вода. И выключатель Ральф с ходу нащупал в прихожей. И по пути ему никто не встретился. Видимо, в доме все спали, если в доме вообще кто-то был.

На часы немец внимания не обратил и лишь с облегчением вздохнул, удостоверившись, что это именно та квартира, куда вчера его привёз художник. Подозрительным и странным показалось только то, что на кухне было убрано и неестественно чисто. А в комнате, где ночью происходили основные баталии, кроме отрешённо мигавшей огнями одинокой ёлки, больше ничто о празднике не напоминало. Немец даже не пожелал сделать лишний шаг в сторону и заглянул в открытую дверь.

«Неужели у всех хватило сил разехаться по домам?.. Правда героический народ...»

«Их даже пьянство сломить не может».

Впрочем, рассуждать о расторопности хозяев и мобильности гостей не имело смысла. Все они, как и сам полузабытый праздник, стали уже достоянием прошлого. Сейчас для немца гораздо важнее было выяснить, кто лежал с ним в одной постели.

И сделать это надо было деликатно, без шума, не включая свет в спальне.

Юный дзержинец на сей раз не растерялся.

С темнотой он разобрался, как опытный подпольщик. С помощью обнаруженных на кухне спичек Ральф осторожно подкрался к кровати, несколько раз почти беззвучно чиркнул и без

труда убедился, что ложе с ним делит не кто иной, как художник.

Это был самый терпимый вариант.

Немец успокоился.

К тому же он и на главный вопрос для себя ответил, и жажду утолил.

Теперь можно было ещё немного поспать.

На пару с русским.

А там, глядишь, голова в норму придёт. И память более-менее восстановится.

Он даже не стал искать свою одежду. Наверняка она была где-то аккуратно сложена.

Когда будущий историк вновь забирался под одеяло, его посетила неожиданная мысль.

Всё-таки очутиться в постели с мужчиной в бессознательном состоянии—одно дело. Ложиться же с ним рядом в здравом уме—это уже совсем другое и довольно необычное ощущение.

Ральф боялся разбудить художника.

Ральф вытянулся в линию.

Как гимнаст.

Выбора не было.

Но выход был.

Поскорее уснуть.

Чтобы поскорее окончательно проснуться.

И уехать в общежитие.

К своим делам и проблемам.

При этом в голове даже мысли не мелькнуло о холоде за окном.

Тепло чужого тела его уже не смущало.

## 22.

Когда художник растормошил друга, уже наступил вечер второго января.

Ощущение праздника ещё никогда так не изменяло Ральфу. Русское веселье навязало ему не только собственное миро-, но и времяощущение.

В такое трудно было поверить.

Отлаженная гэдээровская система дала сбой. А успокоительные интонации отлично чувствовавшего себя художника казались спросонья издевательством.

В общей сложности немец проспал больше суток, хотя поначалу он подумал, что всего несколько часов.

— Не переживай, Ральф... Не стоит расстраиваться из-за ерунды... Это с каждым может случиться... Тем более по неопытности... Жизнь в Москве богата на приключения... Ну а праздник есть праздник... Зато в следующий раз уже будешь знать: водку шампанским никогда не запивают... И коктейлем эту смертельную смесь не называют... Я предупреждал тебя, но ты же упрямый... Уверял меня, что тебе нравится... Что у вас в Германии многие любят так делать... Может быть, любят, да, и делают... Но не в тех количествах, которые ты осилил за одну ночь... Ладно, приходи скорее в себя...

— Вот я отличился...

— Главное, что ты оказался способен на подвиг... Ты пил, никому ни в чём не уступая, от души... И не только я это заметил... Даже когда не кричали «До дна!», ты всё равно до дна пил... Будто ставил себя всем в пример... Как настоящий русский... И не пропустил ни одного тоста...

— Но пропускать ведь неприлично... Мне все об этом говорили... Если бы ты меня заранее предупредил, я бы иногда пропускал...

— Вначале ты держался... На пару часов тебя хватило... Когда же я понял, что тебе достаточно, что пора передохнуть, ты меня уже не слушал... Ты слушал всех, кроме меня... А после хоккея тебя было просто не остановить... Ты болел, как за своих... Будто тебе больше всех хотелось отпраздновать победу...

— ...

— Потом, не забывай— ты иностранец... За столом все постоянно искали повод выпить с тобой... Неужели ты этого не понимал?.. Хотя тебе, по моему, всё очень даже нравилось... Ты был в восторге, что русские позаимствовали у немцев слово «брудершафт» и со всеми пил безотказно... Твоя доброта и покладистость особенно впечатляли девушек... Не знаю, может, тебе просто целоваться хотелось... Ты даже не дожидался, когда тебе нальют, ты наливал себе сам... Это же не могло продолжаться вечно... То водка, то шампанское, то водка, то шампанское... Ну и закончилось тем, чем закончилось...

— А почему ты меня в общежитие не отвёз?..

— На градуснике было минус пятьдесят... Я выходил на улицу первого днём— когда ты ещё спал в кресле... Пытался поймать такси, чтобы тебя потом, как багаж, в него погрузить,—бесполезно... Я простоял на холоде около получаса—ни одна машина не остановилась... Ноги онемели, руки тоже... Я готов был заплатить любые деньги... Но ни один водитель даже не притормозил, чтобы спросить: «Куда и сколько?..» В новогоднее утро у нас всегда такая история... А для троллейбуса или автобуса ты был не пассажир... Да и я был не в лучшей форме, сам понимаешь... Нас либо забрали бы в милицию, либо мы замёрзли бы где-нибудь по дороге... Нас не спасло бы даже повышенное содержание спирта в крови...

— Выходит, что я спал больше суток?..

— Это несложная арифметика... Если считать с момента твоего первого засыпания, больше часов на пять-шесть, наверное... Правда, из кресла я тебя ещё поднимал обедать... Но лучше я бы этого не делал...

— Обедать?..

— Да, ты ещё тост произносил... Минуты на три... Как партийный секретарь...

— ?!..

— А вареники помнишь?..

— Вареники... Это что?..

— Как пельмени, только с творогом... По-моему, тебе они понравились...

— ...

— И арбуз не помнишь?..

— ...

— Тогда ты и торт не помнишь... На котором кремом было написано: «Freundschaft»...

— Не помню...

— И соседей из квартиры напротив...

— Нет...

— А что помнишь?..

— Хоккей помню...

— Ну ты даёшь... Хоккей ещё в шесть утра закончился... Вот когда завелась настоящая карусель... На радостях от победы...

— ...

— После вареников ты ещё всю танцевал... Все поражались твоей выносливостью... А как ты русские песни хором со всеми затягивал... Я даже удивился, откуда немец столько наших песен знает... Специально учил, что ли?.. Многосерийное кино можно было снимать... Тебя на целых два часа хватило... Но после этого ты опять сел в кресло и отключился уже окончательно... На виду у всех... Вот мы с хозяином и решили перенести тебя в спальню... Разули, раздели, уложили... Ты не сопротивлялся... Точнее, ты не подавал признаков жизни...

— Какой ужас... Какой позор... Надо мной, наверное, все смеялись...

— Не придавай этому значения... Все были пьяны... И вряд ли наутро об этом вспомнят...

— И девушки тоже?..

— Да, многие наши девушки пьют не хуже мужиков... Ты разве не заметил?..

— Когда в компании сам пьёшь, не очень-то смотришь, сколько пьют другие...

— Верно... В этом смысле и пьянеть лучше раньше... Потом уже не замечаешь, до какого состояния напиваются остальные...

— Моя рыжеволосая соседка тоже напилась?..

— Ещё как... И всем вешалась на шею...

— Мне тоже?..

— И тебе...

— И что?..

— Не бойся, ничего... Я не дал ей тебя на растерзание... Я тебя оберегал... И не только от неё... Когда ты уже напился, к тебе многие клеились...

— Хоть ты и смеёшься, всё равно за это спасибо... Я больше никогда не буду столько пить... Этот Новый год будет для меня хорошим уроком...

— Я даже лёг рядом с тобой сразу, как понял, что рыжеволосая тоже остаётся... Чтoб не опередила... Ей море было по колено... Такой я её ещё никогда не видел...

— Ты меня спас...

— Ты понял, что мы спали вместе?..

— Да, я ночью один раз вставал... Вообще, я не люблю ночевать не дома...

— Ну а если я тебя в гости приглашу и засидимся допоздна, у меня-то ты останешься?... В моём доме бояться некого, кроме меня самого... Я живу один...

— А девушка у тебя есть?..

— Я разведён...

— Такой молодой и уже разведён?..

— Мы, русские, как правило, рано женимся... И разводимся тоже рано...

— И дети у тебя есть?..

— Есть...

— Так ты—папа?!.. Надо же...

— У нас папами и раньше становятся... Много фантазии для этого не нужно...

— А сколько тебе лет?..

— Я старше тебя на четыре года...

— Откуда ты знаешь, сколько мне?..

— Я в КГБ работаю...

— Правда?..

— Не бойся, шучу... Вы, иностранцы, при слове «КГБ» всегда аж вздрагиваете... Вот они вас запугали... Ну разве я похож на гэбэшника?..

— Похож...

— Да?!..

— Правда похож...

— А ты что, с ними знаком?..

— Не бойся, я тоже шучу...

— Иностранцы обычно так не шутят... Они никогда не шутят над тем, чего сами боятся...

— Ты ещё и психолог...

— Совсем чуть-чуть... На общественных началах... В свободное от художеств время... У нас в стране совсем не быть психологом нельзя...

Стук в дверь спальни.

— Да, идём!!!

— Куда идём?..

— Пойдём выпьем чай с хозяевами... Они уже заждались тебя... Даже яблочный пирог испекли специально... А ровно в восемь будет машина... Я уже такси заказал... Отвезу тебя, а сам дальше поеду... Ты помнишь, что у тебя послезавтра экзаме́н?..

— Помню... И, как ни странно, даже помню, по какому предмету... А хозяева что за люди?..

— Он—лётчик... Летает на международных линиях... То в Африку, то в Латинскую Америку, то в Европу... Она—его жена... Хорошие ребята... Я думаю, что в этом доме мы ещё будем с тобой бывать...

— Мне стыдно сейчас перед ними появляться... Что они о немцах подумают?..

— Не бери в голову... Они—свои люди...

— Еврейка уже ушла?..

— Иди быстро умывайся... Ушла, и причём навсегда... Ей пора чемоданы паковать... Представляю, сколько их у неё... Через два дня она улетает в Вену...

— В Вену?..

— Все евреи в Израиль через Вену летят... Это их главная дорога... Да, на полке в ванной новая зубная щётка лежит, зелёного цвета, я специально для тебя прихватил... Давай бегом...

— А ты пока извинись за меня перед хозяевами...

## 23.

На первую в наступившем году встречу с Владимиром Владимировичем Ральф отправился в плохом настроении.

Мучила совесть.

И не без причины.

Очередной отчёт немца выглядел как никогда кратким и сухим. Стыдно было комсомольцу-эфдэётовцу признаваться в своём пьянстве, которое за минувшую неделю случилось дважды. Да и о новом русском друге не хотелось пока упоминать. Зачем на интеллигентного человека заранее вешать какие-то подозрения? Даже о рыжеволосой изменнице Родины—ни строчки. В конце концов, если всему её семейству дали разрешение на выезд, значит, эти люди никакой опасности для советской власти уже не представляют. «В спецслужбах о них наверняка и так всё известно». Вот и получалось, что на сей раз писать отчёт было не о чем. Ведь за последние дни, кроме неожиданно завязавшейся дружбы с художником и небывалого по размаху веселья, ничего существенного ни с будущим историком, ни вокруг него не происходило. Всё более или менее важное происходило исключительно внутри него самого—в душе и в мыслях.

По дороге на Лубянку немец старался предугадать ход предстоящего разговора.

Анализируя свой писательский труд, он одновременно и винил себя, и оправдывал.

Он не совсем понимал, где проходит та невидимая линия раздела между личным и служебным. Кто определяет границу?

Как она выглядит?

И насколько его сугубо частная жизнь в реальности является его, частной?

Да, с сегодняшним отчётом, наверное, ещё можно было кое-как выкрутиться, свалив всё на праздник и начало зимней сессии. На это надежда ещё теплилась. Но вот что делать в будущем? Постоянно и подробно признаваться во всех своих тайнах? Превращать регулярные отчёты в страницы автобиографии? А как быть с увлечениями и слабостями собственного эго? Хотя, с другой стороны, утаить что-либо от Владимира Владимировича было всё равно невозможно. Эта затея была бесполезной и к тому же очень опасной. Владимир Владимирович всегда обращал внимание на детали и всегда докапывался до истины. Его гипнотические способности видеть насквозь всё и вся сомнений не вызывали. В этом он также был в высшей степени профессионал. Мало того, он мог

иметь и параллельные источники информации. И, скорее всего, их имел.

Чем меньше остановок оставалось до станции «Дзержинская», тем больше Ральф переживал.

Его бросало то в жар, то в озноб.

И на то имелась причина.

Торжественный приём, который устроили гэдэровцу в День чекиста, по идее, должен был стать определяющим в его дальнейшей судьбе. Во всяком случае, в то утро можно было в этом не сомневаться. Ведь чествовали его как настоящего героя. Одна речь Владимира Владимировича чего стоила, произнесённая в присутствии коллег, с рюмкой коньяка в руке, стоя. И вот на тебе. Не успели герою вручить ценный подарок и поблагодарить за активность, как вся эта активность через неделю скатилась по наклонной. Он ни разу не воспользовался фотоаппаратом. И даже в инструкции не заглянул. Хотя подарок явно был сделан с расчётом.

Ральф чувствовал себя виноватым.

Ральф обещал себе исправиться

Тяжестью всего своего хрупкого тела он медленно открывал дверь лубянской крепости.

Ступал на красную ковровую дорожку.

Поднявшись на второй этаж и сняв шапку, немец на ходу причесался. Что обычно делать забывал. Внешний вид, конечно, никакой роли в этой ситуации не играл, но хоть как-то надо было компенсировать недовольство собой. А заодно отвлечься.

Уже собравшись постучать в дверь, он вдруг застыл. На двери грубой советской кнопкой была прикреплена от руки написанная записка: «Входить без стука!»

Выдержав подготовительную паузу, Ральф осторожно, будто крадучись, вошёл.

Владимир Владимирович сосредоточенно стучал на печатной машинке. От процесса он оторвался лишь на секунду, чтобы молча протянуть руку юному коллеге. И дал жестом понять: нужно немного подождать.

Не произнеся ни слова, немец с деловым, понимающим видом опустил на свой дежурный стул.

Довольно необычно было наблюдать за печатающим на машинке мужчиной. Но Владимир Владимирович не просто механически перепечатывал текст, а сочинял его, не заглядывая при этом ни в какие другие бумаги. Вся информация бралась из головы. Ни черновика, ни шпаргалки для подстраховки не было. И печатал он со скоростью, которой могла бы позавидовать любая секретарша. Видимо, это была срочная работа. «Вот что значит советская госбезопасность... Чекист должен уметь всё... И должен быть ко всему готов...»

Ральф следил не только за движением рук чекиста.

У немца неожиданно появилась возможность внимательно разглядеть лицо своего наставника.

Ведь в разговоре далеко не все нюансы можно уловить.

Сейчас же под электрический камнепад гэдэровской печатной машинки «Эрика» они сами бросались в глаза. И главное, что для Ральфа стало невероятным откровением: Владимир Владимирович и художник показались ему чем-то друг на друга похожими. Чем конкретно, немец сразу понять не мог. Уж слишком не вовремя пришла ему в голову эта мысль. И слишком неправдоподобной казалась она на первый взгляд.

Для более детального сравнения юный дзержинец попытался было представить себе лицо художника.

Но попытка закончилась неудачей.

Кроме глаз, ничего вспомнить не смог.

И всё-таки в этом сходстве он не сомневался.

Ральф настолько отвлекся от беспокоивших его ещё несколько минут назад проблем, что даже улыбнулся своему странному открытию.

Он любил делать открытия.

И никогда не упускал шанса себя вдохновить.

Тем более в трудную минуту.

В то же мгновение, резко вытащив отпечатанный лист из машинки, Владимир Владимирович посмотрел на немца и искренне обрадовался его хорошему настроению.

«Похож...»

«Очень похож...»

«Вот бы художник знал...»

## 24.

— С наступившим тебя, Ральф!.. И с началом сессии... Извини, что заставил ждать... Мне нужно было срочно закончить один важный документ... Но сейчас я в твоём распоряжении... Честно говоря, я почему-то думал, что сегодня ты не появишься... Всё-таки Новый год — тяжёлый праздник... Хотя у нас, у русских, лёгких праздников не бывает... Начиная с красных дней календаря и заканчивая чисто семейными посиделками... Ну так мы устроены... Да что я тебе объясняю... Ты, наверное, теперь не хуже меня всё знаешь... Я вижу, Москва потихоньку перестраивает тебя на свой лад... И праздничные трудности тебя только закаляют...

— Во время праздника всё как раз очень даже легко... Тяжело потом...

— Сочувствую, сочувствую... Это правда, чем веселее сам процесс, тем тяжелее его последствия... Без богатырского здоровья за нашим столом никак не обойтись... Зато будет что вспомнить, когда вернёшься домой, в Германию... У вас там, насколько я помню, не так бурно всё происходит... Вы, немцы, к чувству меры поуважительнее относитесь...

— По-разному бывает...

— У нас по-разному, к сожалению, не бывает... Гулять так гулять... Всей улицей... Всем городом...

Всей страной... Пока душа наизнанку не вывернется... Иностранцам, особенно западным, это в первую очередь в глаза бросается... Хотя многие из них в восторге от русского застолья... А есть, между прочим, такие, которые ради этого к нам и приезжают...

— Веселье, как и искусство, тоже требует жертв...  
— О, ты рассуждаешь уже как завсегдатай богемных компаний,— произнёс Владимир Владимирович с таинственной улыбкой.— Не всегда услышишь такое от студента-отличника... Молодец... Учёбу надо регулярно разбавлять отдыхом... Иначе сил на неё просто не хватит... Нужны ещё какие-то стимулы... Не только же из пятёрок и зачётов состоит жизнь... Да и красный диплом сам по себе—невелика ценность...

Будущий историк не стал реагировать на этот то ли шуточный, то ли провокационный тон. Он даже взгляд отвёл, чтобы случайно не проколоться. Мало ли что скрывалось за этой игривостью. А за ней обязательно что-то скрывалось. И немец лишь пожал плечами, будто всё сказанное не нуждалось в комментариях.

— Когда я учился в Берлине...— продолжил чекист.

— В Берлине?!..

— Да, сначала несколько месяцев в Мюнхене... Потом год в «Гумбольдте»... В общей сложности два года стажировался...

— И по какой специальности?..

— Немецкая филология... Так что мы с тобой почти коллеги, гуманитарии...

Владимир Владимирович мгновенно взлетел в глазах Ральфа ещё выше. Юный держинец даже слегка позавидовал тому, что русский и на Западе побывал, и в Берлине столько времени пожил. Тогда как он, немец, о Западе и не мечтал, а в Берлине был всего раз, на школьных каникулах с родителями.

С приездом в Москву у Ральфа периодически стал проявляться комплекс провинциала. Особенно в моменты, когда кто-нибудь из студентов спрашивал, из какого города он родом. Ведь большинство русских, кроме Берлина, других немецких городов просто не знали. А если кто-то и знал, то зачастую путал, где они находятся—на западе или востоке. О Ростке же, как правило, никто ничего не слышал. Поэтому иногда, едва скрывая раздражение, будущий историк давал ещё и уроки гэдээровской географии.

— Теперь понятно... А я всё время удивлялся, как можно так свободно и без акцента говорить по-немецки, не живя в Германии...

— Вот в этом ты как раз не прав, Ральф... Чему, чему, а иностранным языкам в наших школах учат довольно прилично... Но я сейчас не об этом... Так вот, когда я учился в Берлине, один из преподавателей настолько творчески относился к нашим

занятиям, что каждый понедельник заставлял нас, десятерых иностранцев, писать сочинение на тему «Как я провёл выходные»... И получали мы по две оценки сразу: одну за язык, а вторую—за качество отдыха... При этом после проверки он часто читал мои сочинения вслух, ставя меня в пример другим студентам: учитесь у русских отдыхать... И я охотно со всеми делился своим опытом... От желающих не было отбоя... Ни днём, ни ночью... Думаю, что в этом смысле ты тоже способный ученик... Ты ведь теперь тоже отчасти наш, русский... Или?... Или ты в этом ещё сомневаешься?..

Ральф, учув подвох уже во второй раз, не стал акцентировать внимание на последнем «или» и попробовал сменить тему.

— А друзья в Берлине остались?..

— Друзья—нет, но коллеги остались... Время от времени мы даже встречаемся... На разных совещаниях... В Москве, в Берлине или ещё где-нибудь... Но чаще перезваниваемся, конечно... И в основном—тоже по служебным делам... Свобода для нас—слишком большая роскошь... Так что пользуйся ей, пока учишься... С нашей профессией не просто иметь друзей...

— А в Германии часто приходится бывать?...— своими вопросами Ральф старался потянуть время. Чтобы меньше его осталось на отчёт...

— Могу только сказать, что не столь часто, как хотелось бы... Я вообще любитель путешествовать... Всё равно куда, всё равно с кем... Я уже много где бывал... В детстве я даже мечтал стать моряком... Без шуток... До самого десятого класса... Ну а потом...— Владимир Владимирович рассмеялся.— Увы, морская романтика не выдержала конкуренции с реалиями сухопутными... Вот мы и сидим сейчас с тобой в этом кабинете...

— ...

— Ладно, пора нам спускаться с праздничных небес...

Поправив очки, немец протянул своё письменное домашнее задание.

— Ну, что там происходит в университете?.. Там ведь всегда что-нибудь происходит...

Ральф напряжённо смотрел на шефа, не зная, что ответить. Интуиция предостерегала: врать нельзя. Уж лучше промолчать.

Владимир Владимирович прочитал неполную страницу рукописного текста и отложил его в сторону.

Его тон стал ещё мягче.

И эта чрезмерная, вкрадчивая мягкость не могла немца не насторожить.

Тревога оправдалась.

— Всё нормально, Ральф... Новый год—нелёгкое испытание... Он отнял у тебя много сил... По глазам вижу... Да и к экзаменам, небось, по ночам готовишься... Какого числа заканчивается сессия?.. — Восемнадцатого...

— Я на две недели уезжаю в командировку... И думаю, будет лучше, если мы сделаем так... Сдавай спокойно экзамены, отгуливай каникулы и приходи ко мне, скажем, в последний понедельник января... К тому моменту я уже буду на месте... И ты наверняка отойдёшь и от сессии, и от праздников... Постарайся к нашей следующей встрече написать отчёт за весь месяц сразу... Точнее, почти за полтора... Желательно поподробнее... Бумаги и чернил не жалея... Gut?..

— Gut...

— Времени хватит?..

— Хватит...

— Ничего не забудешь?..

— Ничего...

— Но только отдыхать не забывай... Ходи в кино, в театры, в гости... Приятное общество—залог хорошего настроения... А хорошее настроение необходимо и для учёбы, и для работы... Оно всегда провоцирует на какие-то новые идеи, планы... А иногда и на новые привязанности... Да, кстати... Как тебе твой новый друг, художник?.. По-моему, он неплохой парень...

Ральф едва сумел сохранить самообладание.

То, чего он больше всего боялся, случилось.

Владимир Владимирович не промахнулся.

Это был сильный удар.

Но главное—точный.

Немцу мгновенно стало ясно, что сам он тоже на крючке. Видимо, «пишущие» студенты—не такая уж и редкость в родной alma mater.

— Трудно сказать... Я его ещё мало знаю...

Лицо шефа изменилось.

В один миг немец реально осознал, где он сейчас находится, в какое время живёт и за какие идеалы ему предстоит бороться всю оставшуюся жизнь.

С этой минуты игра закончилась.

Владимир Владимирович говорил прямым текстом.

На одном дыхании.

Словно перед ним была огромная аудитория.

Модник и эстет вмиг превратился в матёрого бойца.

Таким своего шефа Ральф ещё не видел.

— Из всей твоей новогодней компании к этому парню нужен особый подход... Понаблюдай за ним внимательно... Меня интересуют его знакомые, его связи с иностранцами, его отношения с другими художниками, его планы... И запомни: интеллигенты—это самая неблагонадёжная, гнилая публика... Они только пытаются выглядеть чистыми и благородными... На самом деле это обыкновенные продажные люди... Независимо от конкретного рода занятий и таланта... Писатели, музыканты, художники... Почти все они считают себя непризнанными гениями и ради мифической славы готовы на всё... Таких Запад берёт под свою опеку и завязывает с ними дружбу... Сам

понимаешь, не бескорыстную... А кто платит, тот и музыку заказывает... Причём музыка у них всегда одна—антисоветская... Вот почему ни на минуту не замолкают разные «вражьи» голоса... Вот откуда берутся диссиденты... К сожалению, у них немало и скрытых сообщников, с виду ничем не примечательных... Хитрых, коварных... Именно их мы должны выявлять в первую очередь... Потому что на них, с виду кротких и незаметных, держится вся подрывная деятельность... Понимаешь?.. Нам нужно быть каждый день начеку...

— ...

— Если бы ты знал, сколько у нас врагов... Увы, но гораздо больше, чем друзей... Мы окружены со всех сторон... Не будем бдительными—проиграем... И моя страна, и твоя... Все мы вместе...

Владимир Владимирович встал и прошёлся по просторному кабинету.

Ральф вновь поправил очки.

От волнения у него даже чуть-чуть вытянулась шея.

Вся серьёзность, с которой говорил шеф, сразу передалась и ему. Это был не банальный гёбэшный ликбез. Это было руководство к действию.

Игра и правда закончилась.

Юный дзержинец почувствовал себя на настоящей войне. А невидимой, как принято было её называть, она казалась только тем, кто оставался от неё в стороне. И знал о ней по книжкам.

Ральф ловил каждое слово своего боевого командира и корил себя за те непутёвые мысли, которые ещё несколько часов назад мелькали в его не до конца остывшей от праздника голове. Ральф благодарил судьбу за то, что эти мысли были известны лишь ему одному.

— Когда вы встречаетесь в следующий раз?..

— Послезавтра...

— Где?..

— Я обещал прийти к нему домой...

— Ему что-то нужно?..

— Ничего, просто так, в гости...

— Кроме тебя, там кто-нибудь ещё будет?..

— Думаю, нет...

— Отлично... Займись им...

— Я понял...

— Не хочу тебя заранее разочаровывать... Может быть, он парень и неплохой... В чужую душу ведь не залезешь... Таких, как он, в Москве много... Тем не менее, знать о нём надо всё... Особенно обращай внимание на мелочи... На любые... Даже самые необычные... Лишними они не бывают... И обязательно зафиксируй их на бумаге... По ним можно будет судить о более серьёзных вещах... Учись психологии... Это путь ко всем человеческим тайнам... Если возникнет что-то срочное, меня найдут по тем телефонам, которые я тебе дал... Они работают круглосуточно... Не бойся, по ним можешь говорить всё открытым текстом...

Только вначале назови своё имя... Ральф, это наша профессия — знать всё...

— ...

— И обо всех...

Чекист достал из ящика стола белый конверт и протянул его немцу.

— Здесь сто рублей...

— ?!..

— Они тебе понадобятся... Вдруг придётся пригласить художника в ресторан или бар... Или нужно будет срочно взять такси... Ну, или купить вино, водку, чтобы поехать к кому-то в гости... Мало ли что ещё... Не стипендию же тебе тратить... Ты должен держать себя уверенно и независимо... И запомни: лишь уверенные в себе люди вызывают доверие...

— А если он вдруг спросит, откуда у меня столько денег?..

— Не переживай, русскому в голову не придёт задать такой вопрос иностранцу.

## 25.

Два поворота — и на месте.

От общежития на проспекте Вернадского до улицы Каховка Ральф добрался на машине всего минут за десять.

Но ему показалось, что время пролетело ещё быстрее. Он даже не успел настроиться на встречу, а уже стоял перед измазанной красками дверью.

С завёрнутой в газету бутылкой вина под мышкой.

И двумя апельсинами, торчащими из кармана куртки.

Художник обитал в одноподъездной двенадцатиэтажной коробке грязновато-белого цвета, каких в Москве были тысячи. В десятке шагов от оживлённой дороги. На первом этаже. Причём сам этаж казался настолько низким, что квартира производила впечатление скорее полуподвала, нежели полноценного жилого помещения. В общем-то, это была даже не квартира, а эдакая малогабаритная, хотя и двухкомнатная, мастерская-спальня. В которой, помимо сложенных штабелями картин без рам и разбросанных повсюду ремесленных принадлежностей, невероятным образом умещались ещё огромный трёхстворчатый гардероб и почти детская по размерам тахта.

Сомнений не было: в такой не совсем стандартной обстановке мог жить лишь человек, полностью поглощённый своей работой.

Другой же непременно задохнулся бы от недостатка воздуха и свободного пространства.

При этом несколько странно смотрелось огромное зеркало на стене в прихожей и целая батарея дорогих мужских одеколонов на декоративном столике перед ним. Как в парикмахерской.

Впрочем, обстановка для гэдэровца особого значения не имела. В родном Ростове он с детских

лет жил в квартире пролетарского типа и отсутствие высокого потолка, лишних квадратных метров и повышенного комфорта воспринимал как должное. А вот всплеск эмоций, которым его встретил хозяин, Ральфа искренне удивил.

Так радостно его ещё никогда и нигде не встречали.

На душе потеплело.

Впервые слово «дружба» наполнилось для немца столь трогательным содержанием.

Все недобрые подозрения Владимира Владимировича на какое-то время потеряли для немца остроту. Да, ненадолго, но всё равно это было приятное начало.

Художник не совсем подходил под образ врага.

И Ральф, отдавшись чувствам, не стал с ходу себя ни в чём убеждать или переубеждать.

Зачем торопиться?

Ральф пустился в открытое плавание.

По ситуации.

В конце концов, он пришёл в гости.

К творческому человеку.

И другу.

Хотя гэдэровец, конечно, сознавал, что интерес к художнику со стороны КГБ не был случаен. Уж слишком настойчивым и убедительным оказался ему тон последнего разговора с шефом. Наверняка в Комитете что-то было известно. И всё равно верить в худшее Ральфу не хотелось. К тому же Владимир Владимирович сам не исключал возможности ошибки. Мысленно повторив его многозначительный пассаж: «Может быть, он парень и неплохой... Таких в Москве много...» — немец решил именно его взять за основу своих будущих отношений с русским другом. И удачнее варианта нельзя было придумать. Это был идеальный и своевременный внутренний компромисс. Лучшее из всех возможных начал.

Ральф вдыхал запах свежих красок.

Художник предложил расположиться на кухне.

Другого места для приёма гостей в доме попросту не было — что неудивительно.

Осчастливив хозяйский стол грузинским вином и марокканскими апельсинами, юный дзержинец выбрал излюбленную позицию — поближе к окну.

Чтобы на всякий случай и улица, и вход в подъезд не выпадали из поля зрения.

Дружба — дружбой, а задатки тактика — это инстинкт.

Сейчас по ту сторону стекла видны были только высоченные горы-сугробы — совместное творение последнего ночного снегопада и местных дворников.

Художник, поздравив немца с успешным началом сессии, принялся за дело. В первую очередь он хотел как следует накормить отличника. Ведь тот жил в студенческом общежитии и питался в основном в студенческой столовой. А сейчас, после



экзамена, наверняка и вовсе был голоден. Ещё в «Ивушке» он убеждал немца, что в ресторане всегда лучше заказывать рыбу, тогда как дома надо готовить мясо. Вот он и собрался удивить немца вкусным мясным ужином. В экзотическом для иностранца исполнении. И рассчитывал на эффект не меньший, нежели произведённый севрюгой по-московски. Поварские амбиции — особый род амбиций. Тем более если поварское дело — не основное занятие повара.

Из холодильника-лилипута «Морозко», точь-в-точь такого же, как у Ральфа в родном Ростке, стали появляться заранее подготовленные продукты. Гадээровцу бросилось в глаза обилие свежей, явно не московской зелени. Сразу посыпались вопросы. Откуда это зимой? Где купил? Сколько стоит? Он даже выучил несколько новых слов: «киндза», «тархун», «рехан». Узнав, что эти странноватые слова грузинские, а вся зелень аж с самого Кавказа, принялся хвалить грузинскую кухню. Однажды вездесущий немец уже обедал в грузинском кафе на Арбате, и ему очень понравилось. К тому же там постоянно звучала народная музыка, на стенах висели красивые горные пейзажи и копии старинных фотографий воинов в национальных костюмах — прямо как в музее.

«И вино у них отличное... И мягкий белый сыр... Всякие приправы, соусы... Говорят, у них и культура богатая... Я обязательно когда-нибудь на каникулы съезжу в Грузию... Многие о ней говорят... Не зря же Пушкин и Ахматова её любили...»

Позже выяснилось, что поклонником всего грузинского был и художник. Ему не раз приходилось бывать в Тбилиси. Да и по всей Грузии он успел поездить.

Принесённая немцем бутылка «Гурджаани» оказалась очень кстати.

Всегда приятно обнаружить общие вкусы.

От общих вкусов недалеко до общих мыслей.

А там — вместе к общим целям.

Вот так, неожиданно, нашёлся и первый повод выпить.

Отказаться было невозможно.

Художник многозначительно посмотрел на Ральфа.

Немец намёк понял.

Выразив готовность во всём помогать хозяину, он собственноручно взялся открыть бутылку.

И получилось мастерски.

Вино полилось в бокалы.

Художник одобрительно кивнул.

Ему не терпелось произнести тост, который он приготовил заранее.

Ральфу опять достались одни комплименты.

Красивое слово — тоже праздник.

Немец вписался в новый интерьер.

Будто заполнил собой нишу, созданную специально для него.

26.

— Всё... Вино, конечно, отменное, но ошибок Нового года я уже не повторю... Такой опыт — больше, чем просто опыт... До сих пор не пойму, как после того сумасшествия я весь следующий день просидел в библиотеке... И ещё кучу толстых книг пролистал, писал конспекты... А иначе бы я не сдал экзамен... Это только русские лентяи и двоечники думают, что иностранцам преподаватели оценки за иностранный паспорт дарят... — Не переживай, Ральф... Во-первых, я так не думаю... Во-вторых, сегодня мы будем пить исключительно вино... И только грузинское, оно лёгкое... У меня тоже есть кое-какие запасы... Причём из самой Грузии, из Кахетии, родины их вина... Лично привёз... Но ни с водкой, ни с шампанским мешать мы не будем... Обойдёмся без новогодних коктейлей... Это беда многих иностранцев... По неопытности, наверное... А может, от желания поэкспериментировать...

— Я имею в виду и количество тоже... Если так продолжится, в Германию я вернусь алкоголиком... Сколько раз мы с тобой встречались, столько раз пили... Всегда находился повод... И всегда важный... От которого нельзя отказаться... У меня, между прочим, ещё два экзамена впереди... И ни к одному из них я ещё и не начинал готовиться... Не знаю, как другие всё успевают... У меня со временем сложности...

— Не скромничай, Ральф... У тебя в зачётке с первого курса одни пятёрки... И до конца учёбы будут одни пятёрки... И красный диплом тебе гарантирован... Такого студента, как ты, ещё поискать надо... Даже среди наших, русских, это большая редкость...

— По-моему, ты мне льстишь...

— Да, случилось у нас с тобой раз-другой не по правилам... Ну и что?... Не только же над учебниками всё время сидеть... Так любая наука опротивеет... Даже любимая... Каждому человеку нужен отдых... Нужно разнообразие и чуть-чуть легкомыслия... Мы же не роботы... Нужны свежие ощущения... Новые приключения... Иногда полезно поменять ритм жизни и атмосферу... Отличники в первую очередь имеют на это право... Разве нет?..

— Ты рассуждаешь прямо как...

— Как кто?..

— ...как один мой русский знакомый...

— Мы, русские, все так рассуждаем... Даже те, кто вслух этого не произносит... Вы же, иностранцы, по-другому слеплены... Для вас работа важнее всего... Вы родились для неё и живёте для неё... А для нас она — мера, скорее, вынужденная... Мы не живём на работе... Мы живём после работы... Поэтому у нас и билеты во все театры — дефицит... И свободных мест в ресторанах не найти даже днём... Хотя ты же знаешь: наши люди зарабатывают совсем немного... А всё, что есть в кармане,

могут потратить с друзьями за один присест... И что самое интересное, с утра, когда им будет плохо, жалеть об этом не будут... Пойти в ресторан на последние деньги—для русского человека это нормально... Взять займы, чтобы с комфортом проехать на такси,—такое тоже случается... Нас трудно переделать... Да мы и не хотим быть другими... Не думаю, что многие иностранцы способны на подобное безрассудство... Для вас безрассудство—не комплимент... Потому что оно никак не сочетается с вашим представлением о работе...

— А ты был за границей?..

— Не был... Знакомые рассказывают...

— Русские?..

— И иностранцы, и русские...

— Но иностранцы ведь разные бывают...

— Не сказал бы, что уж очень вы отличаетесь друг от друга... Если только в нюансах...

— Ты хочешь сказать, я похож на американца?!.. Или на француза?..

— Ну, не деньгами, конечно...

— Ты так рассуждаешь, потому что за иностранцами наблюдаешь здесь, в Союзе... А люди, приехавшие в чужую страну, в чём-то действительно ведут себя одинаково... И иначе, наверно, быть не может... Их всех объединяет одна общая черта—непохожесть на вас, на русских... Разве нет?.. Тебе нужно самому куда-нибудь поехать... Хотя бы раз... Хотя бы на неделю... Тогда твоё мнение, скорее всего, изменится...

— Я бы прямо сейчас рванул... Меня уже давно во многие страны приглашают... И в дальние, и в ближние... Но КГБ не выпускает...

— КГБ?..

— Да... Ка-Гэ-Бэ...

— Ты диссидент?..

— Они полстраны считают диссидентами...

— Но среди этой половины существуют же и реальные диссиденты... Послушай «Голос Америки» или «Свободу»... Ты ведь знаешь, в какое время мы живём...

— В какое?..

— Ты что, газет не читаешь и впервые слышишь о холодной войне?..

— Я всего лишь художник...

— Я сейчас не о тебе...

— Бог с ними, с остальными... За других не отвечаю... Но я тут при чём?.. Чего комитетчики хотят от меня?.. Что я им плохого сделал? Разве это преступление—поехать за границу или иметь друзей-иностранцев?.. Ну есть у меня знакомые западные немцы, голландцы, итальянцы и даже американцы... Ну кому плохо оттого, что я хожу с ними в рестораны, провожу с ними время, показываю им Москву?.. Кому плохо оттого, что иногда они покупают мои работы?.. И на мои картины находят свои любители... Что тут такого?.. Пускай я плохой художник... Пускай я самый плохой из

самых плохих... Какое Комитету до этого дело?.. Ну какое?.. Неужели у страны нет других проблем?.. Мне хочется размазывать краски на холсте—я и балуюсь... Это—моё, личное... И больше никого не касается... А раз люди покупают, значит, им нравится... Значит, им по вкусу... Не так ли?.. На ветер же никто деньги выбрасывать не будет... И уж тем более иностранцы...

— А может быть, спецслужбам не нравится содержание твоих работ?.. Вот и ответ...

— Ни в одной моей картине нет ничего политического... Ни в одной...

— Смотри что подразумевать под политикой...

— Это их надо спросить, что они под ней подразумевают... Это по их специальности...

— А стоят твои картины дорого?..

— За прошлый год одиннадцать штук продал... По сто долларов...

— В валюте?!..

— Нет, мои покупатели платят рублями, чтобы меня не посадили... Зачем давать лишний повод гэбэшникам?.. У нас за валюту восемь лет без разговоров дают... Один мой знакомый уже два года как сидит...

— Ты зарабатываешь огромные деньги!..

— Да, немаленькие... Хотя смотря с кем сравнивать... Но я же их ни у кого не отнимаю... Я получаю плату за свой труд... И не более... Я ведь должен покупать холст, краски, на что-то жить... Что тут политического?.. И тем более антисоветского?..

— У тебя уже были сложности?..

— Нет, пока ничего серьёзного... Стараюсь вести себя осторожно... Но кому приятно постоянно ощущать петлю на шее?.. Мне гораздо спокойнее находиться у кого-то в гостях, нежели в собственной квартире... Разве всё это нормально?.. Если в ближайшее время ничего не изменится, придётся переезжать на съёмную квартиру... Придётся прятаться...

— На Лубянку уже вызывали?..

— На саму Лубянку, к Феликсу, ещё нет... Но в Москве у нас в каждом районе есть своя, местная Лубянка... Вот туда в прошлом году пару раз вызывали... Какие-то дурацкие вопросы задавали... Четыре часа пришлось там просидеть... До сих пор вроде бы без последствий... А вот то, что родная милиция в мою квартиру зачастила, мне не нравится... Понятно, что участковый приходит сюда не по своей инициативе... Ему позвонили, приказали... Он всего лишь исполнитель... И заодно провокатор... Так и ждёт, что я сорвусь, отвечу грубо... Пока терплю... Но мне надоели его ухмылки, намёки... Всё время одно и то же... Плюс вечно подозрительные взгляды соседей... Да и телефон на прослушке...

— Откуда ты знаешь?..

— Голландцы сказали...

— Голландцы?.. А они откуда знают?..  
 — У них в газетах каждый день о КГБ пишут... Для них запретных тем нет... И разбираются они в нашей советской системе гораздо лучше, чем мы с тобой... У них с информацией полная свобода... Это у нас ни о чём таком не пишут... Партия не велит... А там—сколько мнений, столько партий... Они всех наших известных диссидентов по именам знают... Знают, за что каждый из них сидел или сидит... Знают, в каком лагере... И какую статью приписали... В их защиту там митинги устраивают... О них книжки пишут, фильмы по телевизору показывают... Это здесь их за людей не считают... А на Западе их уважают...  
 — Может быть, твои друзья—шпионы?..  
 — Понятия не имею...  
 — Впрочем, ты можешь об этом не знать...  
 — Они никогда ни о чём подозрительном меня не просили... Ни о чём секретном не спрашивали... И даже книжек запрещённых ни разу не дарили... Хотя знаю, что всегда что-нибудь с собой привозят... У них в Москве и без меня полно друзей...  
 — Ты любитель таких книжек?..  
 — Не могу сказать, что уж прямо любитель... Но если что-то заинтересует—конечно, найду... Бывает, зачитываюсь разными интересными текстами... В Москве многие этим занимаются...  
 — Сейчас телефон включён?..  
 — Нет... При гостях я его выключаю... Но ты не бойся... Ни милиции, ни Комитета... Сюда они приходят, только когда иностранцев уже нет... К чему лишние свидетели?... Так и на международный скандал нарваться можно... Гэбэшники—народ смыслённый... Для них главное—вывести тебя из равновесия, запугать... А с запуганным можно делать всё, что угодно... Запуганный человек себе ведь не принадлежит... Гэбэшников хлебом не корми, дай поиздеваться над кем-нибудь... Они любят унижать... Это у них профессиональное... Это у них наследственное, ещё от Феликса... Чужой страх всегда придаёт смелости... А иногда и наглости...  
 — Может быть, ты преувеличиваешь?.. Не зря же у вас говорят: у страха глаза велики...  
 — Нет, всё объясняется легко... С политичным взять не могут, потому что брать не за что... Вот и придумывают интриги... Надеются, что я сам проколюсь... От них можно ждать чего угодно... Я даже не удивлюсь, если окажется, что они бывают здесь в моё отсутствие... Во всяком случае, пару раз такие подозрения уже возникали... Но ты всё равно не бойся... С моими знакомыми иностранцами пока ещё ничего не происходило... И визы им продолжают давать... И из страны выпускают без проблем... И на таможне обыскивают не дольше, чем других... Значит, они не столь опасны... Если исходить из логики... Значит, и я не такой уж и враг...

— А я никого не боюсь... Пусть хоть сейчас придут... Что можно со мной сделать?... Арестуют, что ли?... Это моё право: с кем хочу, с тем и общаюсь... Неужели можно запретить с кем-то дружить?..  
 — ...  
 — Если тебе нужна будет помощь, можешь на меня рассчитывать... У нас в общежитии на каждом этаже телефон есть... И дежурные сидят круглосуточно... Вдруг что—не стесняйся, звони...  
 — Номер вашего этажа у меня записан... Я несколько раз по нему болгарину звонил...  
 — Приеду в любой момент... Вряд ли меня кто-нибудь тронет... Я могу и в землячество, и даже в посольство пожаловаться... В конце концов, я иностранец... А с иностранцами у вас считаются...  
 — Спасибо, Ральф... Спасибо... Ты—настоящий друг... Обычно братья по соцлагерю такие же трусливые, как и большинство наших, русских... У вас ведь жизнь там не намного слаще совдеповской... Хотя формально вы в иностранцах числитесь...  
 — А как же твой друг, болгарин?..  
 — Он—исключение... Он может себе чуть-чуть свободы позволить... У него отец—высокий дипломат... Он в посольстве в Москве больше десяти лет проработал... И связи у него здесь на самом верху... Думаю, на Лубянке тоже... Так что болгарина точно не тронут... За него можно быть спокойным...  
 — Он у тебя тоже картины покупает?..  
 — Как-то раз купил одну... Два года назад... Долго выбирал... То одну хотел, то другую... Целый день у меня просидел... Искал подарок на пятидесятилетие своему отцу... А тот—большой любитель авангардной живописи... Наш общий знакомый художник дал ему мой номер телефона... После этого мы и подружились... Почти каждую неделю видимся... Однажды он даже со своими родителями меня познакомил, когда те в Москву приезжали... Сейчас они в Софии живут... Нормальные люди, интеллигентные... Они и правда знают толк в современной живописи... И на коммунистов совершенно не похожи... Их коллекции, судя по фотографиям, любой западный миллионер позавидует... Без шуток... Вот тебе и Болгария, шестнадцатая республика...  
 — А с настоящими диссидентами ты знаком?..  
 — С настоящими?... Что ты имеешь в виду?..  
 — Ну, с политическими...  
 — Кого-то в компаниях вижу иногда... Но особой дружбы ни с кем нет... Они все странные, не от мира сего... Все считают себя героями, революционерами, подпольщиками... А потом, как с ними дружить, если они никому не доверяют?.. Они всего боятся и вздрагивают от любого шороха... Они почти все уже сидели... Те же, кто ещё нет, со временем обязательно сядут... Иначе просто быть не может... За ними круглые сутки следят... За их друзьями, за их родственниками...

Это профессиональные антисоветчики... И это их собственный жизненный выбор... Я для них — так, сочувствующий, не более... Хотя за сочувствие в нашей милой стране парой лет лагерей запросто наградить могут... В один прекрасный день окажешься где-нибудь за полярным кругом... Там даже летом температура выше десяти градусов не поднимается... Насочувствуешься по полной программе...

— Есть такая статья — за сочувствие?..

— Слава Богу, такую ещё не придумали... Зато других полным-полно... Откроешь Уголовный кодекс — глаза разбегаются... На любой вкус... Знаешь, какие фантазёры на Лубянке работают?.. О-о-о... О них легенды слагают... Фантазии — их призвание... Они не только статьи и параграфы умеют грамотно подгонять, но и медицинские диагнозы на своё усмотрение ставить... Какая разница — в тюрьму или в психушку?.. И там, и там решётка... И оттуда, и оттуда раньше срока, как правило, не выпускают... Если вообще выпускают... — Не вижу связи между всеми этими ужасами и тем, чем ты занимаешься...

— И я не вижу... Но для того и работает ктб, чтобы находить даже то, чего нет в природе...

— А ты член Союза художников?..

— Конечно, нет... Для этого надо участвовать в официальных выставках... Иметь рекомендации, характеристики... А кто их даст?.. Таких, как я, туда близко не подпускают... Там считают, что такие, как я, только дискредитируют великое советское искусство... В том Союзе всё расписано на годы вперёд... Для своих, заслуженных и почётных... Там даже собственная парторганизация есть, которая и руководит всем... А потом, что мне там делать?.. Все картины тамошних членов одну от другой не отличить... Ты не бывал на таких выставках?.. Сплошная скука... Нет, это не для меня... — Выходит, ты художник нелегальный...

— Получается, так... Поэтому по закону я обязательно должен где-то работать... Хочу я этого или нет... Иначе могут посадить за тунеядство... Эта статья у нас очень популярна... И попадает под неё в основном интеллигенция... И в основном — «сочувствующая»... Между прочим, в нашей стране самый высокий в мире процент заключённых с высшим образованием... И здесь мы впереди планеты всей... А художников среди них сколько!.. Ты даже не представляешь, Ральф... Пора уже галереи с музеями в лагерях открывать...

— М-да...

— Вот я и тружусь за свою свободу... Уже почти полтора года... Во славу Родины и партии... Дворником в нашем замечательном микрорайоне...

— Дворником?!.. О Gott!..

— Да-да, настоящим дворником... Правда... Не смотри на меня удивлённо... По утрам, с пяти до десяти часов, через день... На полставки... Летом

подметаю... Зимой снег разгребаю... Не работа — сплошное наслаждение... Здоровый образ жизни... И на весь день нескончаемый заряд бодрости... Выгляни в окно: видишь, какие сугробы я наворотил?.. Чтобы соседи реже сюда заглядывали по заданию участкового...

— ...

— Так что с метлой и лопатой я управляюсь не хуже, чем с кистью и красками...

— Всё это похоже на сюжет для детективного романа... Может быть, тебе начать писать?..

— За роман без хэппи-энда у нас тоже могут посадить... По тем же причинам и на те же сроки...

## 27.

На второй год жизни в Москве Ральф отметил про себя одну закономерность: для русских во время застолий вина и водки никогда не бывает много.

Иногда не хватает вдохновения.

Иногда бывает мало сил.

Но и то, и другое случается крайне редко.

Первый ужин у художника не выпал из рамок жанра.

Будущий историк осторожничал только сначала, всё ещё находясь в плену новогодних воспоминаний. Однако под натиском новых впечатлений и перспектив старые довольно быстро потеряли актуальность. На Ральфа неожиданно обрушилось столько ценной информации, что ради неё он готов был принести себя в жертву очередному русскому застолью. Которое хоть и разворачивалось на малогабаритной советской кухне, но символическим никак не выглядело.

Хозяин старался.

Хозяин старался даже больше, чем он это делал обычно, принимая других дорогих ему гостей.

Хозяин оказался художником во всём.

У него был богатый опыт дружбы с иностранцами, и он без труда находил со всеми общий язык. Но в данном случае иностранное происхождение Ральфа значения не имело. Оно практически не ощущалось. Тем более что будущий историк и по характеру, и по менталитету был скорее похож на своего, на русского.

Ральф на самом деле не вписывался в привычные интуристовские стандарты. И одет он был неброско, как среднестатистический москвич. И веяло от него каким-то совсем не «иностранным» теплом.

С ним было легко.

И естественно.

Он во всём казался гораздо понятнее и доступнее, нежели западные туристы.

Он отличался не только отменным знанием русского. В нём одновременно сочетались душевность и азарт. Он не выставлял напоказ свой эгоизм. Что для иностранца являлось несомненной редкостью.

Хозяин старался изо всех сил.

Он подходил к вечеру творчески.

И сам получал от этого удовольствие.

После нескольких тостов гэдээровец почувствовал себя свободно и непринуждённо. Ну, конечно, не как дома. Но уже и не как в гостях. Влияло на ситуацию ещё и то, что сегодня ему не надо было оправдываться перед собственной совестью за пьянство. Ведь он находился на спецзадании. Можно даже сказать, что все его действия и поступки были санкционированы самим Владимиром Владимировичем. С одной стороны, это был замечательный ужин, с другой — успешное начало серьёзного дела.

Ничего не скажешь, удачное совмещение. Поэтому вино не только поднимало Ральфу настроение, но и повышало коэффициент его полезного действия.

В тот вечер в фаворе была грузинская классика. «Гурджаани».

«Цинандали».

Для разнообразия — красное «Мукузани».

Разговор затянулся далеко за полночь. Время для обоих потеряло значение. Тем было много и разных. От конкретных политических до бессмысленных схоластических. Однако искусства они ни разу не коснулись. И о работах художника, как ни странно, не было произнесено ни слова. Сам мастер инициативу не проявлял. Немец же, хотя периодически об этом и вспоминал, выискивая подходящий момент, в конечном итоге так его и не нашёл. Постоянно что-нибудь да отвлекало.

Сначала готовилось экзотическое блюдо. И за любопытным действием хотелось понаблюдать.

Потом был ужин.

Размеренный.

С обилием тостов.

Серьёзных и не очень.

Потом гэдээровец настолько втянулся в интересовавший его диалог, что отвлечься уже не мог и о самом творчестве художника даже забыл.

Ну а потом на столе возникло полусладкое «Ахашени», которое успешно продолжило грузинскую эстафету.

Застолье — искусство принуждения.

Но важно, чтобы гость это принуждение не испытывал.

Хозяин старался.

Вечер набирал обороты.

И ничто уже не могло изменить его ход.

С появлением четвёртой бутылки вина наступило время московского десерта.

В виде эксклюзивного шоколадного торта «Птичьё молоко» и разного рода советских «кухонных» вольностей.

Анекдотов, слухов и сплетен.

С пикантным диссидентским привкусом.

Вперемешку с многочисленными смешными историями от первого лица.

Художник оказался довольно талантливым рассказчиком и, войдя в роль, не замолкал ни на минуту. Он был в артистическом ударе. Каждая его фраза, каждый жест сопровождались выразительными гримасами.

Ральф с восторгом внимал.

Поддерживал все тосты.

И иногда сам охотно их продолжал.

Получалось.

Очень даже получалось.

С ароматным красным вином и необычайно вкусным тортом все эти полные юмора и самоиронии истории очень даже сочетались. Глубоко в них немец, конечно, не вникал. Потому что отличить реальность от вымысла было невозможно. Зато моментами было действительно смешно. От души. От всей немецкой души.

Ральф открывал для себя новый жанр.

Русского застольного искусства.

Жанр, которого в трезвой форме не существовало.

Подобно большинству иностранцев, он смеялся продолжительно и громко. Но о конспирации художник не вспоминал. Привлечь внимание бдительных соседей сегодня он не боялся.

Впрочем, хорошенько распробовав «Ахашени», они оба забыли об их существовании.

С каждой новой историей, с каждым выпитым бокалом шпионский иммунитет юного дзержинца постепенно ослабевал. Пока не исчез совсем.

И произошло это помимо его воли.

Захлестнули эмоции.

Захлестнуло вино.

Захлестнула юность.

Право на личную жизнь, хоть и пьяную, взяло верх.

В итоге Ральф потерял не только чувство времени.

Но и мысленную связь с благословившим его на весёлую жизнь Владимиром Владимировичем.

Тем не менее, выполнению задания ничто не мешало.

На кухне у художника немцу было сытно, тепло и уютно. В общежитие не тянуло. Поэтому он не стал возражать, когда заботливый хозяин предложил остаться заночевать. Более того, в душе он обрадовался, что не надо было выходить на улицу, ловить такси. В таком состоянии даже единственное спальное место, разделённое с хозяином, гостя вполне устраивало.

После новогодней ночи это уже совсем не выглядело чем-то странным.

К тому же в квартире больше никого не было.

Рекомендацию лечь к стене, чтобы ночью не свалиться с тахты, Ральф принял без колебаний.

Но на этом праздник не закончился.

Бутылка десертного вина оказалось не последней.

Немец сбился со счёта.  
Немец полностью доверился хозяину.  
Тот покорил его своим гостеприимством.

## 28.

Ральф проснулся от ощущения, что лежит на тахте в одиночестве.

С вечера поводов для тревоги вроде бы не было, но всё равно студент насторожился. «Куда он делся?.. Ложились ведь вместе... Может, что-то случилось?.. Или я опять сутки проспал?..»

Сон как рукой сняло.

А с ним и груз остаточной нетрезвости.

Ральф вскочил с тахты.

«Похоже, это всё-таки утро...»

Часы показывали начало десятого.

Растрянность нарастала. Ни во второй комнате, ни в ванной художника не было. Ну не КГБ же его выкрало? Немец не знал, что делать. Как выбраться из идиотской ситуации. Мимоходом он с умным видом заглянул за шкаф и потрогал замок входной двери—без толку. «Нет, без ключа не открыть...»

Ральф занервничал по-настоящему.

Почувствовав себя в заточении.

Такого с ним ещё не было.

Отбросив крайности, он пришёл к выводу: случилось какое-то абсурдное, типично русское недоразумение. Правда, и эта невнятная мысль особого оптимизма не прибавила. Ничего серьёзного в голову не приходило. Не через окно же вылезать! Тогда точно соседи милицию вызовут. И неизвестно, чем всё закончится. Оставалось только беззвучно скулить и ждать.

И вдруг... ясность внесла неожиданно обнаруженная на полу у тахты записка. Когда Ральф резко вскочил, он просто её не заметил. Зато сейчас обрадовался ей, как найденному счастью.

«Убегаю отбывать трудовую повинность. Пиво и «Боржоми» в холодильнике. Буду через три часа, в десять. Если проснёшься раньше, не скучай».

«О Gott!.. Эти русские могут свести с ума... Можно же было вчера предупредить...»

Возмущению Ральфа не было предела.

Он несколько раз даже выругался.

По-русски.

На сердце отлегло.

Раздвинув шторы, немец впустил в дом живой свет.

За окном шёл снег.

А вот вчерашнего сугроба как не бывало. Кому могло помешать это оборонительное сооружение?

Немец удивился.

Хотя уже много раз зарекался не удивляться ничему, что связано с русскими.

Достав из холодильника бутылку «Боржоми» и с жадностью отпив добрую половину, он с удовольствием снова завалился на тахту. В его

распоряжении было ещё около часа, можно и подремать.

Однако спокойствие продлилось недолго.

Спустя несколько минут на кухне раздался стук в окно.

После ночных политоткровений художника можно было вообразить любую причину этого, как показалось гэдээровцу, грохота.

Но непременно зловещую.

И, как следствие, правдоподобную.

Сказать, что Ральф испугался,—значит, превратить истину в сухой протокол.

Тело чуть не подпрыгнуло.

А очки чуть не греснули в сжатом кулаке.

Откинув одеяло, немец замер в полудвижении. Подобно застигнутой врасплох перепуганной канцелярской мышке. Нет, ещё не попавшей в роковую мышеловку, но уже всем своим существом учуявшей недоброе.

Ральф был уверен, что стук имеет прямое отношение к нему.

Иначе вряд ли его реакция была бы столь импульсивной и болезненной.

Романтический образ бойца невидимого фронта мгновенно померк. Сейчас это был, скорее, антиобраз. Недостойный ни доски почёта, ни начальственных благодарностей с подарками, ни тех служебных перспектив, которые он себе рисовал. Таких чекистов суровая летопись чекизма ещё не знала.

Хотя самому Ральфу было сейчас не до образов.

Он почти умер.

Он представил себе все возможные варианты.

От более или менее реальных—до мистических.

От соседей, милиции и гэбэшников—до любимых мамы с папой, возмущённых тем, что их непорочное чадо ночевало в одной постели с другом.

Тем временем стук повторился.

И даже настойчивее, чем в первый раз.

Поднявшись с тахты, немец прокрался пару метров на цыпочках и, прижав дрожащим пальцем очки, выглянул из-за дверного косяка в сторону кухонного окна.

«О Gott!..»

На сердце вновь отлегло.

Да так отлегло, что от эмоционального перепада чуть не подкосились ноги.

За окном стоял художник.

Улыбающийся.

Розовощёкий.

С лопатой в руке.

Он утопал в клубах морозного пара.

—Как ты?.. Проснулся?.. Всё хорошо?.. Я увидел, что ты шторы раздвинул...

У Ральфа хватило сил лишь робко пожать плечами.

—Мне осталось совсем чуть-чуть... Буду минут через пятнадцать...

Ральф опять ничего не ответил.  
Разозлённый нелепостью произошедшего и приступом собственной трусости, немец больше уже не ложился.

Но и одеваться не торопился.

Его лихорадило.

Допив солоноватый остаток грузинской минералки, он стал через окно наблюдать за художником, который всюду размахивал отнюдь не богемным орудием труда.

«Поразительно... Его в любой момент могут посадить, а он работает с таким энтузиазмом, будто от него зависит чистота всех московских улиц...»

«У русских всё по-другому...»

«И зачем надо было в окно стучать?.. Чтобы слышали все соседи?.. Вот тебе и конспиратор... Пришёл бы и здесь задал свои бессмысленные вопросы... Интересно, кому может быть хорошо после нескольких литров вина?..»

«А ему, похоже, совсем неплохо на свежем воздухе... Со стороны и не подумаешь, что у этого образцового дворника интеллигентские привычки и утончённые вкусы... Что его любимое блюдо — сэврюга по-московски... И он не упускает случая сходить в Дом кино на премьеру... При этом рабочая телогрейка сидит на нём вполне по-рабочему... Пожалуй, пора ему на какую-нибудь стройку века отправляться... Сколько новых неповторимых сюжетов сразу появится в его творчестве... С комсомольским задором и соцреалистическим размахом... Вот бы на Лубянке обрадовались... Его бы сразу в Союз художников приняли... Со всеми характеристиками... И благодарность непременно объявили бы с занесением в личное дело... К перевоспитанным всегда повышенное внимание... Общество ими гордится... Их любят в пример ставить... Чтобы другим не было повадно глупости делать...»

«Неужели всем этим подпольщикам и авангардистам приходится через день менять кисть на лопату?.. Хотя нет, большинство же по лагерям сидит... Там лопату или топор уже ни на что не меняют... Рисуют, небось, только простым карандашом, и то по ночам, при свечах... Если силы после работы остаются... А про галереи и музеи он, наверно, от себя добавил... Рассказы про лагерь лишь у не сидевших героически звучат...»

«Этот ещё хорошо устроился... Спецслужбам, похоже, действительно придаться не к чему... Иначе возиться бы не стали... Но если он в разговорах со всеми такой же смелый, как со мной, тюрьмы не избежать... Это вопрос времени... Голландцы с американцами не спасут... За связь с ними, наоборот, ещё больше накрутят... На Запад только известных диссидентов обменивают... И фильмы не обо всех там снимают...»

«Откуда в нём эта безумная энергия?... Помоему, с таким старанием даже сами дворники

не работают... А может, физические нагрузки его вдохновляют?... Тогда спортом надо заниматься... Наверняка придёт сейчас в отличном настроении... Судя по улыбке... Откуда этот пустой оптимизм?... Откуда эта уверенность в себе?... Впереди же нет будущего... Странные они все... Климат... Точно, климат их такими сделал...»

Ральф настолько растворился в злости и собственных наблюдениях, что скрип открывающейся двери застал его врасплох.

Джинсы немец торопливо натягивал уже в присутствии художника.

## 29.

— А зачем ты сугроб развалил?.. Он так удачно маскировал твою квартиру... Теперь при открытых шторах нас можно прямо с остановки рассматривать... Не говоря уже обо всех входящих в подъезд... Любопытных вокруг много... И не только соседей...

— Да мне самому жалко... Начальник участка велел... Сказал, что жильцы первого этажа жалуются на нехватку дневного света... Не мог же я все сугробы снести, а перед своими окнами оставить... Представь себе, как бы это выглядело... С начальством мне ссориться нельзя... Выгонят с этой работы — другую не найду... Что тогда?.. А потом, мне здесь удобно... Я уже привык, рядом с домом... И начальник — нормальный мужик... Я сегодня три часа помахал лопатой, а он, добрая душа, мне целых четыре записал... Простил меня, что я проспал...

— Неужели такие начальники бывают?..

— Мне, во всяком случае, повезло...

— И с зарплатой повезло?..

— Сорок шесть рублей шестьдесят восемь копеек... Со всеми вычетами... Кровные... И я ими горжусь... Без иронии... Это же моя официальная работа... Кстати, завтра у меня получка... Неплохо бы такое дело отметить...

— Нет, у меня через четыре дня экзамен... По научному коммунизму... Знаешь, сколько прочитать надо?... Два десятка статей одних «классиков»... А сколько ещё старого материала... Плюс конспекты всех лекций придётся показывать... Нет... Пора собираться...

— Не кисни, Ральф... Ты что, первокурсник, что ли?... Тебе одного дня хватит... Куда сейчас спешишь?.. Ты же и так всё знаешь... На лекции ходил?.. Ходил... Конспекты писал?.. Писал... На семинарах в дискуссиях участвовал?.. Участвовал... И наверняка был лучшим в группе... Таким, как ты, нужно выдавать зачёты с заранее проставленными пятёрками... Всё равно до конца учёбы там других оценок не будет... Ты прямо как Владимир Ильич в молодости... Круглый отличник, заядлый общественник, примерный товарищ... И хотя на революционера внешне ты

не похож, преподаватели всё равно от тебя в восторге... У них рука не поднимется четвёркой тебя обидеть... Ты создан для доски почёта...

— Это тебе болгарин сказал?.. Он всё придумывает... И вообще, он далёк от всего учебного... Он даже не знает, что творится на его курсе... А с нашего он ни с кем не общается... Да и на занятия ходит лишь тогда, когда ему уже совсем делать нечего... Теперь мне понятно, почему многое ему прощается... Папа—высокий дипломат, этим всё сказано... Вот кому диплом уже точно гарантирован... И о карьере не надо беспокоиться...

— Бог с ним, с болгариним... Сейчас он ещё спит... А мы, между прочим, уже проснулись... Неплохо бы перекусить... И желательно горяченького... Омлетик, например... Не смотри на меня осуждающе... Ты ведь тоже есть хочешь... С бодуна всегда голод мучает... Это признак здоровья, между прочим...

— Не-е-ет... Завтракать я буду в общегитии... Здесь это добром не кончится... Я же знаю вас, русских... Омлет—только повод... Потом будет вино—для аппетита... Потом перейдём к красивым тостам за дружбу между народами... Потом будет что-то ещё—для хорошего настроения или для тонуса... А как не выпить за успех безнадежного?.. Это же наш любимый тост... А потом уже будет совершенно всё равно—литр, два или три... Когда-нибудь мы с тобой в вытрезвитель попадём... — Ральф, успокойся...

— После Москвы мне придётся лечиться от алкоголизма, и я не уверен, что вылечусь... Мои родители получают инфаркт, если узнают, как я готовлюсь к экзаменам... И это без преувеличения...

— Ну хорошо... А ты встань на моё место... Как я могу отпустить бедного студента в общегитие голодным?.. У нас так не принято... Даю тебе честное слово: сегодня ни водку, ни вино мы пить не будем... Только чуть-чуть пива... Чтобы прийти в чувство после вчерашнего... У меня в гардеробе для особых случаев спрятана коробочка отличного чешского пива... Из чешского посольства приятель привёз... Он там в ресторане официантом работает... К горячему омлету с ветчиной, грузинским сыром и грузинской зеленью—это супер... Не торопись... В общегитии тебя так не накормят... — Мне хорошо знакомо это скромное русское «чуть-чуть»... На практике оно не имеет ничего общего с тем, что значит это слово по словарю... Вы его не по назначению используете...

— А какой обед я тебе приготовлю!.. Такого ты никогда не ел—ни в Германии, ни в Союзе...

— Вот видишь, что я и говорил... Мы ещё не начали завтракать, а ты уже—об обеде... Потом будет ужин... Потом—десерт и что-нибудь ещё, спрятанное для особого случая и полноты удовольствия... И всё закончится сном, больше похожим на потерю сознания... А утром без завтрака опять

не получится... Ты не сможешь отпустить бедного студента голодным—у вас так не принято... За столом же всё пойдёт по очередному кругу... И уже будет не важно: с вином, пивом или минеральной водой... По-моему, всё это напоминает сумасшествие... Бесконечное пьяное сумасшествие...

— Ладно, давай решать задачи по мере их поступления... Я сейчас займусь омлетом, а ты пока послушай музыку, полистай альбомы... У меня их всего три, зато над каждым можно сидеть часами... — ...

— Тебе нравятся импрессионисты?.. Одно время они были у нас в большой моде... А ещё есть Дали и Петров-Водкин... К пиву они очень подходят... — Да, особенно Петров-Водкин... Ладно, давай готовь завтрак... Кажется, я правда проголодался... От злости, наверное... Альбомы можно всегда посмотреть... Поставь лучше спокойную музыку... Для начала хотелось бы отойти от вчерашнего... Да, кстати, почему ты вчера не показал мне свои работы?.. Они засекречены?.. Или ты не доверяешь моему вкусу?..

— Не знаю... Ты промолчал, а мне как-то не хотелось навязываться... Да и зачем они тебе?.. — ?..

— Мои работы—на любителя... В них нет ничего выдающегося... Ни масштабности, ни музейности... И зрители похвалами меня не балуют... Даже те, кто не боится высказывать своё мнение... — Ну, может быть, я тебя похвалю...

— Похвалить-то нетрудно... Весь вопрос, что стоит за этим... Художник и зритель—из разных миров... У них нет ничего общего...

— Откуда такая уверенность?..

— Если бы ты знал, насколько все авторы отвратительны и капризны... На самом деле их не интересует чужое мнение... Потому что к своим фантазиям они относятся как к некоему абсолюту... А разговоры о высоком смысле искусства—это либо замаскированная лесть, либо споры ни о чём... И всегда лишний повод для конфликта... Зачем нам с тобой играть в художника и зрителя?.. Жизнь гораздо богаче и интереснее... Давай лучше будем просто друзьями... К чему нам надуманные сложности?.. Ещё не хватало, чтобы мы ругались и обижались друг на друга... Тем более из-за пустяков...

— Но я же должен иметь представление, чем занимается мой друг... А потом, может быть, мне любопытно, насколько он капризен и отвратителен... — Зачем?.. Люби меня просто как друга... Смотри, как мило мы с тобой завтракаем и беседуем...

— Да, всё это замечательно... Но я не думаю, что для серьёзных отношений одной любви достаточно... Мне хочется узнать человека изнутри... Я хочу видеть и подводную часть айсберга... А иначе что это за дружба?.. Иначе получается слишком примитивно...



— Как же у вас, у немцев, всё основательно и принципиально... Такое впечатление, что вы с детства рассуждаете как взрослые... Хорошо, я покажу тебе кое-что... После обеда... Вот только без рюмки водки в моих «шедеврах» трудно будет разобраться... Нет, я не издеваюсь над тобой... С первой же работы ты сам это почувствуешь... Авангард — не для трезвого ума...

— Понятно... Кто бы сомневался, что всё пойдёт именно по этому сценарию?... А где твоё честное слово, что ни вина, ни водки не будет?... Забыл?... — На тот момент оно правда было честным... Просто ситуация, ты же видишь, меняется...

— Хорошо, пусть будет по-твоему... Я и сегодня напьюсь... Ещё больше, чем вчера... Чтобы максимально оценить твоё гостеприимство, кулинарные способности и авангардное творчество... И завтра мне будет опять плохо... Ещё хуже, чем сегодня... Но виноват будешь ты... И если научный коммунизм я провалю, виноват тоже будешь ты... И если родители звонят мне в общежитие и нервничают, не понимая, куда я делся, — это тоже будет на твоей совести... Давай наливай... Прямо сейчас... Чего ждать нам обеда?... Как вы, русские, любите говорить: гулять так гулять... Пьянство противно, лишь пока ты трезвый и наблюдаешь за пьяными... Интересно, а ты помнишь себя, когда мы впервые увиделись?... Я, например, тебя хорошо помню... И мне не хочется, чтобы ты увидел меня таким же... Качающимися, как на ветру... Только не думай, что я читаю тебе мораль...

— Не злись, Ральф... От злости, кроме аппетита, иной пользы нет...

— Тебе хорошо, ты свободен... Но я уверен, что на моём месте и ты злился бы...

— И не подумал бы... Обычно я нахожу своим эмоциям другое применение... А сейчас скажи мне честно: тебе правда хочется уйти?..

— После бутылки пива уже никуда не хочется... Что мне в таком состоянии делать в общежитии?..

— За это я тебя ещё больше люблю... Мне нравится, что ты ответил не задумываясь... Хотя ты и основательно мыслишь, всё равно ты не иностранец...

— И кто же я?..

— Иностранцы — они другие, не наши... А ты — наш... Вот наш, и всё...

— Думаю, что пока я ещё немец... Если бы я был русским, меня не пришлось бы так долго уговаривать...

### 30.

Ральф вернулся к себе в общежитие только вечером накануне экзамена.

Уставший.

Небритый.

В полном смятении чувств.

О научном коммунизме будущий историк беспокоился меньше всего. Даже засев за учебники

и толстую тетрадь конспектов, он то и дело отвлекался от их гнетущего содержания.

Ральф не мог остыть от перипетий последних дней. Дебютная поездка к художнику, затянувшаяся на трое суток, произвела на гэдээровца ещё большее впечатление, нежели новогоднее празднество.

Нет, он не жалел о проведённом времени.

И, как ни странно, не корил себя за слабость характера и очередной провал в дисциплине.

Он окончательно осознал, что у него появился настоящий друг. И это был неоспоримый факт, которому хоть и с опаской, но всё же немец радовался. «А ведь мы могли никогда не встретиться, выйди я в то утро из своей комнаты на несколько секунд позже... Всего на несколько секунд!.. Да и как он запомнил меня в том состоянии?... Невероятно...» Ральф вдруг подумал, что если бы не экзамен, он наверняка не вернулся бы с Каховки и сегодня. Причём художнику даже не понадобилось бы его уговаривать. Немец остался бы там добровольно. И это ни в коем случае не противоречило заданию Владимира Владимировича. Просто на проспекте Вернадского всё порядком надоело. После новогодних приключений жизнь в студенческом общежитии казалась немцу скучной и однообразной. С художником же всё было иначе. Он по натуре был другим. К нему тянуло. «Может, нас связывает спиртное?... А я этого пока не заметил... Правда, вчера за целый день мы выпили только по бутылке пива... И то за ужином по моей просьбе... С ним и без водки интересно... Независимо от ситуации... Он совсем не похож на остальных русских... Хотя он и на русского не очень похож...»

Разобраться в столь сложных вопросах будущего историка в тот вечер не удалось. Отвлекаться надолго научный коммунизм не позволял.

Маркс, Энгельс, Ленин всё ещё брали верх.

В том числе и над личной жизнью.

Хотя уже не до такой степени, чтобы её подменять.

С момента, как Ральф разорвал союз с однокурсницей Наташей, прошло на самом деле не так и много времени. Однако о том романе он практически забыл. Он не любил возвращаться к тем отношениям. Ральф считал их случайными, навязанными и, со своей стороны, не совсем обдуманными. Кроме физической близости, они, по сути, ничего ему не дали. Парадоксально, но от первого мужского опыта у немца почти не осталось воспоминаний. И даже повергшее его в ужас желание Наташи иметь от него ребёнка, «идти за ним хоть на край света» на удивление быстро выветрилось из головы. Конечно, поначалу та непродолжительная история была для загоревшегося любопытством юноши чем-то новым, неизвестным. Но совсем скоро выяснилось, что новизна — категория не вечная. А вдохновение,

страсть или, на худой конец, страдание в их отношениях, увы, так и не появились. В повседневном общении красавица из русской народной сказки предстала слишком доступной, слишком наивной, слишком земной. Ральф же, когда оставался наедине с самим собой, рисовал в своём воображении несколько иные, более загадочные образы. Которые, как он считал, больше подходили его требовательной натуре. И которые наверняка не вызвали бы родительского разочарования. Так что финал той истории оказался неизбежным и по-житейски логичным. Скромной девушке из Архангельска, несмотря на её старания и слёзы, не удалось влюбить в себя хладнокровного и от природы расчётливого иностранца.

Немец сумел устоять перед её красотой, не приложив к тому никаких усилий.

Немец предпочёл независимость.

И не дал опутать себя сомнительными узами.

Предпочтя учёбу.

А в редкие свободные часы — лишний сон, книги и одиночество.

Тем не менее, расставшись со своей первой девушкой, Ральф не перестал мечтать о высоких чувствах. Вот только мечты эти к реальности отношения не имели. Они были, скорее, фантазиями. Фантазиями воспитанного, начитанного и морально устойчивого старшеклассника. Для вольностей ему не хватало ни опыта, ни информации.

Любовь пока ещё обходила его стороной.

Любовь пока ещё его игнорировала.

Правда, одиночество Ральфа продлилось недолго. Спустя два месяца у него появился друг.

Нежданно-негаданно.

Судьба их свела — русского, не похожего на русского, и иностранца, не похожего на иностранца.

И, как нередко бывает, встретились они в ситуации, о которой впоследствии оба, будто сговорившись, вспоминали крайне редко. В то раннее утро Ральфу даже не хотелось здороваться с нетрезвым незнакомцем. А первое короткое застолье в комнате болгарина... А поход в Дом кино... И вот как повернулись события! Для Ральфа они стали откровением. Таким же маленьким потрясением, как и первые дни знакомства с Наташей. А сравнивать Ральфу действительно было больше не с чем. Настоящих друзей у него тоже никогда не было. И книжки про настоящую мужскую дружбу ему никогда не попадались. Как тут сориентироваться? И посоветоваться было не с кем. Маме с папой всего ведь не напишешь. Да и ответ пришлось бы ждать очень долго.

Ответ же нужен был сейчас.

Сию минуту.

Даже засев за учебники и конспекты, Ральф постоянно отвлекался, пытаясь понять, что произошло с ним за последние дни. Но... у него не получалось. И никакие усилия воли не помогали.

Будущий историк нервничал.

Хотя сам не знал почему.

Спасал ситуацию всё тот же научный коммунизм, который моментами всё-таки заставлял забывать о личных переживаниях и настойчиво напоминал о классовой борьбе и революционных идеалах.

Без этих базисных знаний карьеру современного учёного было не сделать.

И коммунизм нельзя было построить.

Ральф верил в свободу, равенство и братство. Ральф верил в светлое будущее человечества. Причём он чётко осознавал своё личное место в нём. А призыв к объединению пролетариев всех стран считал отныне самым романтичным из всех слышанных им когда-либо лозунгов.

На следующий день знания Ральфа были отмечены очередной высшей оценкой. Зачётка потяжелела ещё на одну пятёрку. Удотошных преподавателей не возникло сомнений в качестве подготовки гэдээровского товарища. А его измученный вид лишь добавил им уверенности.

Бессонная ночь принесла свои плоды.

Гордости Ральфа не было предела.

Ещё одна маленькая вершина была взята.

Ещё одна научная истина была постигнута.

Чтобы скорее поделиться своей радостью, он не стал задерживаться на факультете. Поймав такси, отличник без звонка отправился к художнику на Каховку.

Это был экспромт.

В типично русском стиле.

Но об этом немец Ральф не подумал.

Уставшему, ему было не до тонкостей.

И он лишь попросил водителя прибавить скорость.

Пообещав тому рубль сверху.

### 31.

На звонок в дверь никто не ответил.

Ни на первый, ни на второй, ни на третий.

На четвёртый — из соседней квартиры показалось лицо немолодой, замотанной в платок женщины:

— Он ушёл полчаса назад... С каким-то небритым человеком...

Прозвучало весьма убедительно.

И, можно сказать, профессионально.

При этом таинственное лицо сразу не исчезло. Цепкий взгляд принялся рассматривать незнакомое визитёра сверху донизу. Во избежание неудобных вопросов немец сделал вид, будто полученная информация его не очень-то интересует. Хотя в соседской осведомлённости он не усомнился ни на секунду.

Такого разочарования Ральф не ожидал.

От радости с гордостью не осталось и следа.

Опустошённо вздохнув и едва выдавив из себя безразличное «спасибо», немец почти по-солдатски

развернулся на сто восемьдесят градусов. А всё тот же соседский взгляд, но теперь уже из окна, проводил его до самой остановки.

Кроме дороги в общежитие, другого варианта у Ральфа не было.

Однако в переполненный троллейбус он не сел. И машину ловить не стал. Служебные деньги, увы, небезграничны, за них ещё предстояло отчитываться. А без особой причины разбрасываться собственными, кровными второй раз за день было непозволительно.

Ожидание следующего троллейбуса затянулось, и терпение немца не выдержало.

«Может быть, пешком?..»

«Почему бы и нет?..»

«Ну час, ну два... Но всё равно лучше, чем толкаться в троллейбусе, а потом ещё и в метро...»

Сейчас времени было не жалко.

Отличник больше никуда не торопился.

Отличника никто нигде не ждал.

Гулять по спальным районам Москвы немцу до сих пор не доводилось. Смотреть в новых кварталах действительно было не на что. Одни и те же типовые дома. Одни и те же типовые магазины. Да и местные аборигены, в основном простые труженики, внешне мало чем отличались друг от друга. Московская элита в таких районах не жила. У московской элиты были иные предпочтения. А значит, о столичной жизни ничто здесь не напоминало. Правда, сегодня безнадежную безликость городской окраины удачно маскировали сугробы снега. Из-за спящей белизны не было видно привычной для московской городской глубинки серости и провинциальности. Сегодня после долгих дней полутьмы наконец-то выглянуло полноценное золотое солнце. На сей раз оно было высшей пробы. Даже сиротливые деревья вдоль оживлённой трассы стали достойным фрагментом душевного зимнего пейзажа.

Ральф осмотрелся по сторонам и направился в нужную ему сторону. Он уже уверенно ориентировался в Москве. Будто всю жизнь прожил в большом городе.

Длинный тротуар тянулся в горку до самой Профсоюзной улицы. Периодически то слева, то справа вместо многоэтажных коробок возникали огромные заснеженные пустыри. Очевидно, этот микрорайон только начал застраиваться. Однако ретивые дворники размахивали лопатами повсюду, даже вдали от домов.

«Наверняка и среди них есть художники, музыканты, писатели... Может быть, даже поэты... Наверняка и вкальвают эти утончённые интеллигенты лучше прирождённых работяг... Для них это как вторая профессия... Смежная и одновременно спасительная... Иначе кому хочется лет на пятьдесят в лагерь на перевоспитание, в промёрзшую Сибирь, за полярный круг?... И никто не знает,

вернётся ли он оттуда... Уж лучше добровольно в пролетарии записаться... Пока записывают...»

«Смешно, но среди этих дворников и настоящие гении могут оказаться!.. Невероятно!..»

«Вроде бы ещё и не преступники... Но уже наказаны... Чуть ли не по собственному желанию... Недалеко от Достоевского...»

Проходя мимо, будущий историк старался взглянуть в лицо каждому. Кто знает, может, когда-нибудь он узнает одного из них на обложках журналов или на экране телевизора? В истории подобные курьёзы уже случались. Впрочем, повышенный интерес к героям коммунального фронта объяснялся не только поиском подпольных советских гениев. Где-то в душе немец всё ещё надеялся встретить своего художника. Вдруг того срочно вызвали на другой участок на подмогу «коллегам»? Всё-таки снега за ночь выпало немало. Но, к сожалению, среди людей в одинаковых телогрейках немец знакомого лица не обнаружил. Да и среди встречных прохожих его не было.

Разочарование от неудавшегося визита постепенно превращалось в обиду.

Самолюбие отличника было уязвлено.

Самолюбие иностранца — тоже.

У немца создалось впечатление, будто им пренебрегли.

На виду у всей Москвы.

Пренебрегли незаслуженно.

И он не стал себе возражать.

Роль обиженного полностью соответствовала его испорченному настроению.

Но, как ни странно, его мысли были заняты не только другом-художником. За полтора часа незапланированной прогулки он значительно расширил свою московскую географию. Узнал, где находится чешский магазин «Власта» и родной гэдээровский «Лейпциг». Выучил несколько новых названий улиц. И запомнил некоторые номера маршрутов, которыми было бы удобнее добираться от проспекта Вернадского до Каховки. Так что теперь о существовании московских спальных кварталов немец знал не понаслышке.

Когда на темнеющем горизонте показалась высотка общежития, немец почувствовал облегчение и в то же время страшную усталость.

От пройденного расстояния.

От проведённой за учебниками ночи.

От всех событий последнего времени.

Силы таяли с каждой минутой.

И студенту их едва хватило, чтобы добраться до постели и с головой спрятаться под одеяло.

От мороза.

От всех своих удач и неудач.

От всего мира сразу.

Но перед этим, подойдя к дежурному по этажу, немец попросил, чтобы сегодня его к телефону не подзывали. Даже по срочному делу.

— Меня нет... Скажите, что я утром ушёл на экзаме́н и больше не появлялся...

Ну хоть как-то должен же был Ральф отомстить.

Ну хоть символически.

И у него это получилось.

Пропавшего товарища дворник-авангардист нашёл только на следующее утро. И то после подключения к поиску соседа-болгарина.

### 32.

Приближался последний понедельник января.

О своих отношениях с художником немец рассуждал уже в прямой связи с этой датой.

Без противоречий не обошлось.

Жизнь личная и служебная настолько между собой переплелись, что Ральф в какие-то моменты просто терялся. Он боялся делать выводы, однако до выводов оставались считанные дни. К понедельнику ему предстояло расставить все точки над «i».

По крайней мере, на бумаге.

Точнее, в первую очередь на бумаге.

Ральф готовился к предстоящему походу на Лубянку, выбросив из головы всё, что этого похода не касалось.

Горьковатый осадок, оставшийся от последней встречи с шефом, предостерегал: улыбка и непринуждённое общение Владимира Владимировича — не более чем игра. Ни повлиять на неё, ни хотя бы предугадать её развитие было невозможно. Сейчас Ральф это понимал. Он был не из тех, кто дважды наступают на одни и те же грабли. Так что гэдээровец собрался написать отчёт, к которому нельзя было бы придраться. После мучительных раздумий он пришёл к нелёгкому для себя, но единственно разумному решению — не скрывать от шефа ничего, что было связано с художником. Ну, или почти ничего. Иначе это могло катастрофически сказаться на карьере. И не только на текущей эмгэушно-московской, но и, с вытекающими из этого последствиями, на будущей, берлинской.

Владимир Владимирович в глазах Ральфа выглядел могущественным человеком.

Могущественным и властным.

Самым могущественным и властным из всех, кто имел непосредственное влияние на его судьбу.

Переживал ли при этом Ральф за своего друга?

Конечно, переживал.

Но ситуацию это не меняло.

У Ральфа не было альтернативы.

И сомнения возникали исключительно на уровне эмоций или сослагательного наклонения, по существу ни на что не влияя.

Правда, художнику это ничем серьёзным пока не угрожало. К заданию юный дзержинец только приступил и конкретного компромата добыть ещё не успел. Всё, чем он мог похвастаться, так это своими впечатлениями, точными бытовыми

детальными и множеством мелких бездоказательных подозрений. Которые, впрочем, оперативной ценности не представляли и вполне соответствовали советскому сексотовскому стандарту. Ральф понимал, чего именно добивается от него шеф. Однако до реальных улик он ещё не добрался. Даже работая среди своих, студентов, он далеко не сразу приспособился к обстоятельствам. Для этого нужно время. Да и к творческому человеку нужен особый, творческий подход.

Ральф был уверен, что Владимир Владимирович не станет его торопить или в чём-нибудь упрекать.

И вообще, в душе немец был не прочь растянуть это задание на длительный срок. Оно казалось ему интересным и захватывающим. К тому же все события происходили сами по себе и настолько бурно, что даже не надо было ничего придумывать. Фантазия отдыхала. Достаточно было лишь аккуратно всё переносить из жизни на бумагу. В точной хронологической последовательности. И с нужными знаками препинания.

Ральф был мастером протокольного жанра.

К писательским вольностям в данной ситуации он решил не прибегать. Необходимости в этом пока не было. По отношению к другу он повёл себя довольно честно. Во всяком случае, настолько, насколько позволяла ему его профессиональная, гэбэшная совесть.

Юный дзержинец не рвался нагружать себя лишней ответственностью.

Юный дзержинец оставлял художнику шанс.

И собственной дружбе с ним тоже.

Мысли о предательстве его не посещали. Они совершенно не вписывались в его уже сформировавшуюся систему ценностей и взглядов. Ральф принадлежал другому миру. И только ему был подотчётен.

Служба. Долг. Лубянка. Штази.

Эти краткие, но монументальные по смыслу слова на самом деле значили для гэдээровца много, если не всё. И конкуренции у них ни в Ральфовом лексиконе, ни в Ральфовом сознании не было.

Да и не могло быть.

Ну разве мог провинциальный молодой человек с амбициями карьериста пожертвовать этими абсолютными понятиями ради чего-то совсем глубинного, личного, противоречивого, хрупкого?

Он даже не мог подобное представить.

Ведь он преследовал только высокие цели.

И ради них приехал в Москву.

Откуда Ральфу было знать, чего стоит она, дружба? Даже самая крепкая.

И тем не менее, ему искренне не хотелось терять близкого человека. Немец предпочёл бы сохранить эти отношения в их нынешнем виде. Они ему были не в тягость. Однако сделать это можно было, только чётко соблюдая правила большой игры. Только постоянно помня о тех, кто её затеял и вёл.

Он знал, в чьих руках были все нити.  
 В том числе—главная.  
 Потому что ими был связан и он сам.  
 Во многом по этой причине немец решил, что в отчётах о художнике нужно писать правду, одну правду и ничего, кроме правды. «Информация к Владимиру Владимировичу идёт отовсюду...» Встреча с соседкой на Каховке это подтверждала. А ведь там были ещё другие соседи, не менее зоркие. К тому же и среди остальных знакомых художника наверняка имелись «опекуны».

«Несчастный, его окружили со всех сторон...» Себя при этом юный дзержинец в виду не имел. Самооправдание было изначально заложено в каждом его поступке.

Иначе так можно было скатиться до абсурда или оказаться пленником собственных слабостей.  
 До похода на Лубянку оставались считанные часы.

Сон в очередной раз отменялся.  
 Немец приступал к исполнению.  
 Приступал к созданию очередного образа очередного «неблагонадёжного элемента».

Но по сравнению с предыдущими, проходными, этому образу суждено было стать высокой габэшной классикой, богатой не только на яркие цвета, но и на оттенки.

Роль доноса в жизни студента возрастала.  
 И будущий историк осознал ему цену.  
 Он хорошо ориентировался в мутном пространстве.

Он понимал уже многое.  
 И уже на многое был способен.  
 Ральф мысленно затягивал свой армейский пояс.

Перспективы подстёгивали.  
 Какой сексот не мечтает стать генералом?  
 Тем более с погонами кгб.  
 Но путь к мечте—это прежде всего работа.  
 Повседневная.  
 Без права на передышку.  
 Полная тревог и опасностей.  
 Во имя партии.  
 Во имя Родины.  
 Во имя мамы с папой.

Ральф приступал к полноценной службе в ночь на последний понедельник января. В пустом читальном зале общежития. За дальним столом в углу.

Он любил творить в полном одиночестве.  
 Без свидетелей.  
 И наблюдателей.  
 К счастью, сегодня его ничто не отвлекало.  
 Ральф сдавал письменный экзамен по личной истории.

И экзамен этот был для него гораздо важнее, чем все те, за которые ему почти «автоматом» ставили пятёрки.

Каникулы, объявленные Владимиром Владимировичем, подошли к концу.  
 Брал старт новый лубянский семестр.  
 А значит, уровень ответственности повышался.  
 Чтобы не допустить ни малейшей оплошности, Ральф, насколько позволяла память, старался сегодня вспомнить всё до мелочей.  
 Всё, что от него требовалось.  
 Начиная с новогодней ночи.  
 Память у Ральфа была отменная.

## 33.

— Кого я вижу!.. Сколько мы с тобой не виделись?..  
 — Ровно четыре недели...  
 — Верно... Мы же по понедельникам встречаемся... У тебя отличное чувство времени... А мне показалось, что мы не виделись гораздо дольше... По-моему, за этот срок ты даже чуточку изменился... Вот только сразу не пойму, в чём... Повзрослел, что ли?.. Да-да... Повзрослел, конечно... Видишь, как на тебя наши морозы влияют... И на полярника ты сегодня совсем не похож... Мужаешь... Приедешь в родной Росток, родители сразу и не узнают... Они ведь, в отличие от меня, лишь раз в год тебя видят... И то не больше месяца...  
 — Ну почему не узнают?.. Я позавчера фотографии домой отправил... С лучшими видами зимней Москвы... И сам на многих из них отметил...  
 — Замечательно...  
 — Учусь фотографировать... Вы же для этого подарили мне аппарат... Кстати, ещё раз спасибо, он отлично работает... Так что через пару недель родители увидят, в какой я сейчас форме...  
 — А кто проявлял, печатал?..  
 — Один мой знакомый, на журфаке учится... Русский... Первокурсник... У них там предмет такой есть—фотодело... Вот он и согласился помочь мне... Мы почти три часа в лаборатории на проспекте Маркса занимались... Кто видел снимки, всем вроде бы понравились... Наверняка и родителям понравятся... В Москве они ещё никогда не были... Да и зима у нас на побережье выглядит несколько иначе, мягко говоря...  
 — А что сказал художник?..  
 — О, с ним сложнее... Он очень ревниво относится ко всему художественному... Мы же с ним вместе фотографировали... Специально в центр города ездили... Ещё были в парке Горького, на вднх, в Коломенском... И в самый сильный холод тоже... Если уж на что-то настроились, нас ничто не останавливало... Целых три плёнки использовали... По тридцать шесть кадров... Я их принёс, можно посмотреть и оценить...  
 — ...  
 — У него потрясающее чувство композиции... И ракурс, и свет всегда оптимально подбирает... Ну, это понятно: художник всё-таки... Мне было чему поучиться... Но что меня поразило потом:

фотографии, которые ему не понравились, он сразу взял и разорвал... У меня на глазах... Причём не спросил меня, не предупредил... С улыбкой, как ни в чём не бывало... От почти ста снимков осталось всего двадцать девять... Я, честно говоря, был шокирован... Даже обиделся сначала... Столько труда оказалось потрачено впустую... В том числе и моего... Но потом... Потом он кое-как всё объяснил... И обида прошла... Хотя не сразу, конечно... — Резкий парень...

— Да, но... Возможно, в этом случае он и прав... Когда фотографии хуже, чем сама натура, зачем их хранить?... Лучше уж тогда попытаться сделать другие... Мы договорились в ближайшие выходные продолжить наше общее хобби... Если отбросить крайности, с ним легко...

— Что я могу сказать... Молодец... Точнее, молодцы... Свободное время проводите с пользой... Глядишь, твоим родителям придётся скоро большой альбом купить... А может быть, и не один... Ты написал им, что у тебя появился русский друг?.. — Нет, не написал...

— Почему?..

— Не знаю...

— Они бы за тебя порадовались...

— Как я мог — без разрешения?... Здесь же вопрос не только в моей дружбе... Хотя, если можно, я напишу в следующий раз... С удовольствием... Родители точно обрадуются... В письмах они постоянно спрашивают, с кем я дружу, учусь, гуляю по городу... Им же интересно, как живут люди в Москве... Но одно дело — получать информацию из газет... Другое — из первых рук...

— Напиши, обязательно напиши... Почему бы и нет?... Пусть родители за тебя порадуются... Пусть знают, как ты в Союзе живёшь... Про дружбу у нас писать не запрещено... Даже в Америку...

— Я коротко, без подробностей...

— А что касается твоего нового увлечения, то оно скоро может тебе пригодиться... Старайся снимать чаще и больше... Практикуйся... Фотоаппарат — довольно эффективное оружие... И владеть им нужно в совершенстве... Деньги на плёнку можешь брать из тех, что я тебе выдал... Они у тебя ещё не закончились?..

— Нет-нет... Я потратил только сорок один рубль двадцать три копейки... В отчёте есть все расходы... На последней странице...

— В следующий раз время на это не трать... Я не сомневаюсь в твоей честности... Если бы у меня были сомнения, мы бы с тобой здесь не разговаривали... Мы должны доверять друг другу... Понимаешь?... Именно на доверии строится наша работа...

— ...

— Скажи мне вот ещё что... А ты сам художнику доверяешь?..

— В каком смысле?..

— Ну, вот государственную тайну, например, ты бы доверил ему?..

— Человеку, которого ты хоть в чём-то подозреваешь, ничего государственного доверить нельзя... И это не вопрос моего отношения... На моём месте так поступил бы любой нормальный человек...

— А какой-нибудь личный секрет?..

— Не знаю... Ответить категорично пока не могу... Мы ещё не столь откровенны друг с другом...

— Ну, интуиция что тебе подсказывает?..

— В таком вопросе мне не хотелось бы полагаться на интуицию... Одной интуиции мало... Думаю, что через какое-то время я смогу ответить и на этот вопрос... Я внимательно за ним наблюдаю... И даже мелочей не упускаю... В отчёте я все написал...

— Это хорошо, я потом прочту... Но сейчас я немного о другом... Давай пофантазируем...

— ...

— Ну, например, стал бы ты переубеждать художника, или, точнее, пытался бы ты его «исправить», окажись он пособником врагов?... Бывают люди, которые рано или поздно осознают свои ошибки... А бывают с виду вполне приличные, порядочные, хотя в душе это самые настоящие негодяи... Таких не переделать... Сколько ни пытайся... У них чужая идеология... Их, как правило, очень трудно привлечь к ответственности, хотя уже за одни только мысли по ним тюрьма плачет... И на немалый срок... По сути, это те же враги... Но хитрее и коварнее...

— ...

— Вот ты взял бы художника на поруки?..

— Скорее нет, чем да...

— Почему?..

— Он обо всём говорит довольно уверенно... Он человек с убеждениями... Правда, они не всегда мне до конца ясны... Но мне лично кажется, что его трудно переделать... У него непростой характер... — А как же тогда быть с дружбой?..

— Если окажется врагом, значит, не было и дружбы...

— Логично... Логично... Даже более чем логично...

— Иногда его невозможно понять, потому что во внешне похожих ситуациях он часто ведёт себя по-разному... Всё зависит от настроения... И нередко он сам даёт повод подозревать его в плохом... Но как определить, когда это всплеск эмоций, а когда — хорошо продуманные суждения?... Я боюсь ошибиться...

— Да, но в том случае, если он действительно враг, а мы вокруг него крутимся и не можем ничего поделать, тогда ошибка может стать роковой...

— Наверное, это так...

— Я думаю, ты видишь разницу между безопасностью целого государства и застольными глупостями подвыпившего интеллигента... Пускай трижды личности и трижды таланта... Мы защищаем наши идеалы... Нашу систему... Ты должен понять

правильно... Тратить время впустую мы не имеем права... Его не так много, а работы полно... Тогда как отдельные мерзавцы ещё гуляют на свободе только потому, что среди нас хватает беспечных и безразличных... Я сейчас не о тебе...

— Его хотят посадить?..

— Посадить хотят многих... Но для этого надо соблюсти формальности... Нужен более-менее серьёзный повод... И чем скорее, тем лучше...

— Я буду стараться...

— Бывали случаи, когда ты оставался в его квартире один?... Хотя бы минут на тридцать-сорок...

— Один раз...

— Отправь его как-нибудь в магазин... Или, ещё лучше, в «Севастополь»... В конце Каховки, возле метро, есть гостиница, типа «Белграда»... За чешским пивом или фирменными сигаретами... Ему понадобится полчаса... А сам за это время переписи все номера телефонов из его записной книжки... Иногородные и заграничные в первую очередь... Имена, фамилии не обязательно, переписывай всё подряд, столбиком... Если какие-то из них будут выделены или подчеркнуты, пометь крестиком... Надеюсь, что это нам может помочь...

— Я понял...

— Неплохо бы поторопиться...

— Каждую пятницу вечером мы будем встречаться у него... Так, во всяком случае, мы договорились... Я заранее всё продумаю...

— Ещё: нам надо получить фотографии тех картин, которые хранятся у него дома... Желательно всех... Подумай об этом тоже...

— Неужели его абстракции могут представлять реальную угрозу?..

— Сегодня — круги и квадраты, а завтра — свастика и шестиконечная звезда... Где гарантия, что не будет так?.. Ты даёшь гарантию?..

— ...

— Вот именно... И никто её не даст... Но дело сейчас не в том... Нам надо проследить маршрут передвижения его картин... Помимо того, на чёрном рынке появились работы, похожие на его... Хотелось бы выяснить, кто ещё участвует в продаже, а иногда и в перепродаже... Кто конечный покупатель...

— Это будет сложнее, чем с телефонной книжкой...

— Понимаю... Именно поэтому я говорю тебе сейчас, не откладывая до следующей встречи... Чтобы у тебя было время подготовиться, присмотреться... Ни в коем случае у него не должны возникнуть подозрения насчёт тебя... Нужна осторожность... Можно, конечно, другим путём получить эти фотографии, но через тебя безопаснее... Я имею в виду — безопаснее для дела... Если он поймёт, что в его отсутствие кто-то был в квартире, он затаится и спутает нам все карты... А твоя репутация в его глазах безупречна... К тому же ты иностранец... — Как скоро это нужно?..

— Особо спешить не стоит, но и тянуть тоже... Месяц, полтора... Получится раньше — отлично... Действуй по ситуации... Но только наверняка... По большому счёту, сам художник нас не сильно интересует... Ты прав: в его квадратах ничего страшного нет... Нам нужны его связи... Как в Союзе, так и за границей... Среди них есть заметные персонажи... Многие из них не зря сюда приезжают... И довольно часто... Крупная рыба хорошо ловится на живца... Знаю по собственному опыту... И пока не ошибался...

— ...

— Да, чуть не забыл... В пятницу я был на одном совещании и разговаривал там с товарищами из вашего посольства... Они тоже отмечали твои способности и твои успехи... Ты всем нравишься... Тобой все довольны... Не красней, я правду говорю... Мы пришли к мнению, что пришла пора принимать тебя в партию... Sozialistische Einheitspartei Deutschlands braucht deine Energie<sup>2</sup>... Хотя, будь моя воля, я бы тебя и в нашу партию принял... Таких кадров нам ох как не хватает...

### 34.

Мать плакала.

Отец не выдержал и тоже заплакал.

Родители читали письмо из Москвы.

Стоя.

Вслух.

По очереди.

Читали и перечитывали.

Они подолгу изучали московские фотографии.

И восхищались.

Кремлём.

Повзрослевшим сыном.

Русской зимой.

Мать едва успевала вытирать слёзы.

Отец своих слёз не замечал.

Давно ему не приходилось плакать.

Фотографии произвели на него впечатление.

Он представлял на них себя и вспоминал молодость.

Свои девятнадцать.

Свои юношеские амбиции и мечты.

Свои первые походы, победы и поражения.

Короче говоря, свои довоенно-военные университетские.

И пусть сам он до Москвы когда-то так и не дошёл, зато сын его спустя сорок лет смотрелся на Красной площади потрясающе.

Вот он — победитель и покоритель!

С невозмутимым видом позирующий на фоне группы богато одетых западных туристов, знаменитой кремлёвской башни с часами и Мавзолея.

Отец Ральфа по призванию тоже был историком.

.....

2. Социалистическая единая партия Германии нуждается в твоей энергии.

Хотя и без университетского диплома.

Правда, доверял он в первую очередь фактам и знаниям, полученным, без преувеличения, на поле боя, собственной кровью. И которые не шли ни в какое сравнение с академическими учебниками и мемуарами послевоенных политиков. Улюбого боевого ветерана своё личное отношение к прошлому. Впрочем, не только к прошлому. Скорее, к мировой истории вообще. Они даже с возрастом не забывают о своей причастности к великим событиям. Их наука—это их практика.

Нервы отца не выдержали.

И он достал из шкафчика над холодильником уже начатую бутылку допелькорна. Несмотря на запреты врачей, этот желтоватый напиток был для него идеальным средством от стрессов. Да и само по себе письмо из Москвы давало повод выпить.

За здоровье единственного сына.

За его достижения.

Чтобы поскорее успокоиться, растроганный воспоминаниями отец сразу же после первой рюмки налил вторую, а за ней третью. Привычными двумя сегодня было не обойтись. И он, не глядя в сторону ещё более строгой, чем врачи, жены, наслаждаясь навязчиво-горьковатым вкусом любимого народного эликсира, не торопясь, выпил.

Письма из далёкой русской Москвы всегда вызывали в доме горячие обсуждения.

Затягивались, как правило, надолго.

Обрастая по ходу многочисленными родительскими фантазиями.

Процесс превращения незамысловатой ростокской сказки в реальность в их головах был запущен уже давно. И с каждым новым письмом он всё активнее набирал обороты. Оставалось лишь несколько лет подождать до счастливого финала. Оставалось набраться терпения и довести учебно-воспитательный процесс до завершения. Не без помощи, разумеется, авторитетных берлинских товарищей и их московских коллег.

«Старики» были уверены, что их сын рано или поздно окажется на политической трибуне страны. Они его уже на ней видели.

Среди первых.

Среди самых важных.

Среди избранных.

И это была главная по значимости мечта.

Далее следовала мечта под номером два—о внуках. Однако с этой мечтой они не торопились. Для них Ральф оставался пока ребёнком. К тому же ещё надо было подобрать сыну вторую половину. Невеста, невестка... А ведь это на всю жизнь.

Сегодняшний «почтовый» день мало чем отличался от других «почтовых». Родители пришли в себя только тогда, когда сели писать ответ в Москву. И то потому, что нужно было сосредоточиться. Потому, что нужно было подробно доложить начинающему политику обо всех переменах на

родном гэдээровском фронте. И хотя перемен со времени последнего письма набиралось немного, расписывали они их во всех подробностях. Держать сына в курсе событий входило в их обязанность. Чтобы он не только формально помнил о доме, но и заранее готовился к возвращению. Иногда, для убедительности, к мелко исписанным тетрадным листкам прилагались вырезки из газет. С подчёркнутыми карандашом строками или комментариями на полях.

Неудивительно, что среди всех студентов общежития на проспекте Вернадского Ральф получал из дома самые толстые письма.

Мелочей для родителей не существовало. Всё, на что они обращали внимание, не могло быть мелочью.

Они никогда не ленились по несколько раз переписывать исчерканные страницы на чистовик. Зато своим результатом всегда оставались довольны. Казалось, гораздо проще было бы написать два разных, отдельных письма. Однако в том-то и состоит семейное счастье: письмо от родителей к детям непременно должно быть одно, общее и максимально длинное.

В этом смысле оба родителя были во мнении едины.

Им нравилось рассуждать вместе.

Им нравилось писать по очереди.

Им нравилось ощущать себя полноценной ячейкой современного общества.

Кто знает, может быть, все эти сочинения когда-нибудь ещё станут достоянием немецких литературоведов. И прославлены будут не только имена достопочтенных авторов, но и время, ими воспетое.

Во всяком случае, сам Ральф каждый раз с упоением зачитывался очередным шедевром материнско-отцовского творчества. Где любовь, мудрые нравоучения и сухая газетная хроника виртуозно сочетались друг с другом.

Наряду с патриотизмом советским Ральф продолжал учиться и патриотизму гэдээровскому.

Ральф вживался в своё берлинское будущее.

Dolce Zukunft.

Deutsche Vita.

После прочтения педантичный студент все письма обязательно нумеровал и аккуратно складывал в чемодан, под кровать, как в архив.

Чтобы сохранить их для домашнего музея.

А заодно—для истории.

Под номерами скапливались письма и в Ростке. Вот только лежали они там под рукой, в специальной подарочной коробке на письменном столе. Рядом с детсадовской фотографией любимого чада в тяжёлой металлической рамке. Чтобы в любой момент их можно было взять и перечитать. Периодически именно так и происходило. Это был лучший репертуар для дуэта.



Это была высшая форма домашнего искусства. Доведённая до совершенства.

Зря классик сказал, что все семьи счастливы одинаково. Если бы родители Ральфа услышали это в свой адрес, они бы точно оскорбились.

Такого они не простили бы даже классику.

И были бы абсолютно правы.

35.

В один прекрасный день зима взорвалась.

Как гигантская связка бесцветных воздушных шаров.

Взорвалась на глазах у всего города.

И... зимы не стало.

Москву почти целый час наперебой сотрясали оглушительные залпы. Которые с закрытыми глазами можно было принять за салют. Но ни гром, ни озарявшие небесную черноту невротические молнии никого не пугали.

Москвичей трудно чем-то испугать.

Большинство пешеходов поначалу даже не поглядывали в сторону укрытий. До тех пор, пока не поднялся порывистый ветер и не начался дождь. Однако через несколько минут во всех магазинах и подземных переходах уже не было свободного места. При этом в образовавшемся столпотворении воцарилось на удивление оптимистическое настроение. Все стояли друг к другу впритирку, но никто не жаловался и не ворчал. Потому что дождь на сей раз оказался неожиданно тёплым. И это не могло не вдохновлять. Кроме как о взорвавшейся зиме, других разговоров не было. Конечно, это была самая свежая и самая актуальная новость. Самая долгожданная и многообещающая. Для всех. Без исключения.

На город обрушилась весна.

Сначала шумным крупнокалиберным ливнем.

А за ним — прорвавшимся сквозь тьму солнцем и людскими улыбками.

В природе произошла революция.

Хоть и не Октябрьская, но всё же революция.

Грязные, искорёженные остатки слипшегося снега таяли буквально на глазах. Вереницы вынужденных сбавить скорость автомобилей превратились в нескончаемый водный караван. От перепада температур асфальтовые тротуары вовсю задышали настоящим баннным паром.

Зиму безжалостно смывало со столичных улиц. В небытие.

И защищать её было некому.

На авансцену выходила революция.

Самая демократичная.

Самая желанная.

С самым человеколюбивым манифестом и порядками.

Столбик термометра подскочил сразу на десять градусов. Не расстегнуть пальто или куртку в такую «жару» было невозможно. Смелчаки же вовсе

их снимали. Да с таким пренебрежением, какого ещё пару дней назад они бы себе не позволили.

Всем не терпелось почувствовать себя свободными.

Всем хотелось поскорее выбросить зиму из головы.

И она того заслуживала.

Уж слишком все от неё в этот год натерпелось.

Она надоела всем. Точнее, она одолела всех. И не только тех, кто приехал в столицу из тёплых краёв. Но и коренных москвичей, которые, насмотревшись по телевизору «Клуба кинопутешественников», как никогда часто мечтали о тепле и солнце.

Чудо произошло.

Весна в прямом смысле слова обрушилась на Москву.

Застав всё живое врасплох.

И не потому, что её здесь не ждали.

Наоборот.

Из-за затянувшегося до конца апреля ненастья попросту не верилось, что такое счастье вообще может наступить. Ведь лёгкий маскарадный снежок во время первомайской демонстрации трудящихся — отнюдь не редкая картина для Москвы. Не зря же у многих никогда не бывавших здесь иностранцев главный город Советов ассоциировался чуть ли не с вечной мерзлотой.

Однако мнения иностранцев советского человека мало интересовали. У того было своё, особое отношение ко всему, в том числе и к весне. И он как никто в мире радовался её приходу.

Это из года в год можно было наблюдать по его настроению. В первый же по-настоящему весенний день оно менялось до неузнаваемости. Пожалуй, никакое другое явление природы и ни одно событие не влияло на полное комплексов существование homo sovietico столь радикально положительно. И причины тому таились не в замысловатых теориях Павлова или Фрейда. Не в болезненно-поэтических наклонностях русской души. И даже не в приближавшихся майских праздниках. Безразлично плывя по течению развитого социализма, советский человек научился находить счастье в малом. Научился ценить это малое и превращать его в нечто для себя значимое и возвышенное. А иногда — в единственное, ради чего стоило терпеть и мириться с остальными временами года. Проще говоря, с остальной жизнью.

Весна-победительница вступала в свои права.

В течение нескольких часов она полностью оккупировала Москву.

Она врывается во все открытые окна.

Она ломилась во все закрытые двери.

Бросаясь в объятия каждому встречному.

Она хотела всем доставить удовольствие.

И требовала от всех взаимности.

Сердца многих москвичей застучали с этого дня с предельной частотой.

А на их лицах зарозовел румянец.

При первой же возможности все дела отменялись.

Назначались экстренные свидания и походы.

У города появился пульс.

У города вновь появилось желание жить.

Весна — дыхание магическое.

### 36.

Военный парад в честь Дня Победы будущий немецкий историк наблюдал воочию.

На Красной площади.

В окружении красных знамён, красных пионерских галстуков и красных транспарантов.

С красным спецпропуском в кармане.

В одной толпе с потрёпанными фронтовиками, высокими армейскими чинами и замаскированными под гражданских гостей штатными и нештатными коллегами.

Грандиозность мероприятия поражала.

Всем, что попадало в поле зрения.

От ползущей колонны самоходных ракетных установок до театрализованных батальных выдумок военных режиссёров. А ведь ещё были десятки телевизионных камер и узнаваемые лица журналистов, работавших в прямом эфире. Ну а чего стоили восторженные взгляды участников и зрителей, устремлённые в сторону трибуны Мавзолея, где в полном составе, как однойцевые близнецы, выстроились все члены Политбюро! А командующий парадом, объезжающий вытянутые по струнке войска, стоя в открытом зиле! А неподражаемое продолжительное: «Ура!» С не менее продолжительным эхом.

И всё это — не по телевизору!

Когда ещё посчастливится увидеть подобное?!

Заняв исходную позицию за спинами двух орденосных ветеранов и удачно выбрав просвет между их лысеющими головами, немец то и дело прижимал очки к переносице. Будто пытался навести резкость. Будто старался максимально приблизиться к эпицентру парада. Хотя он и так стоял в почётном втором ряду.

Ральф боялся пропустить что-нибудь важное.

Он ведь понимал, что перед его глазами проходила не рядовая демонстрация Вооружённых сил. Даже имея призрачное представление о глобальной международной политике, в отдельных политических вопросах гэдэровец кое-что уже смыслил. Сегодня на главной советской площади под эгидой всенародного праздника разворачивались события, очень похожие на самые настоящие войсковые манёвры. И участвовали в этих манёврах самые элитные подразделения, самая современная боевая техника, самые важные дипломатические персоны. Плюс — так любившее появляться в полном составе всё высшее руководство СССР. Ясно, что это было больше, чем показательное

шествие. И больше, чем традиционное поклонение собственному героическому прошлому. Это было недвусмысленное предупреждение всему вражескому лагерю. И одновременно — заявка на победу в следующей мировой войне. А то, что рано или поздно она начнётся, сомнений не возникало. Ни у тех, кто сегодня клеймил позором врагов, ни у самих заклеянных, которые внимательно следили за всем происходящим в Москве из своих заграничных бункеров. На одном из широченных транспарантов так и было написано: «Берегитесь, агрессоры!» На другом: «Смерть агрессорам!» Ральф, как представитель прогрессивной половины человечества, разумеется, был солидарен с этими призывами. Он радовался силе и мощи братской Советской армии. Он верил в её величие и непобедимость. Ну кто ещё мог защитить его и его гэдэровских единомышленников от подлых происков империализма? Кто ещё мог гарантировать безоблачное существование его потомкам?

Однако радость от праздника не избавляла немца от волнения. Эти два чувства, естественно вытекая одно из другого, так же естественно друг друга объясняли и дополняли. Доверие к Ральфу Владимира Владимировича и безымянного гэдэшного начальства достигало сегодня наивысшей точки. Сегодня они открыто продемонстрировали, что относятся к нему без оглядки на его иностранное происхождение. Иначе немца не вызвали бы на праздник как на работу. Наравне со всеми рядовыми и нерядовыми сотрудниками. И даже проинструктировали как находящегося на службе гэдэшника. Сегодня случайных людей на Красной площади не было. В такой день туда пускали по особым спискам лишь лучших сынов и дочерей советского Отечества. Лучших во всех смыслах. И по всем параграфам. С незапятнанными анкетными данными и безупречными характеристиками. Причём не только на них самих, но и на их ближайших родственников и друзей.

Ральф стоял в одном строю с лучшими.

Среди «безупречных» и «незапятнанных».

Он хорошо смотрелся.

Отличаясь от большинства только своей юностью.

Других отличий от гражданских участников праздника даже сам Ральф не смог бы в себе отыскать. Их попросту не было.

Двухлетняя работа немецкого товарища над собой довольно быстро принесла плоды. К концу второго курса его образ приобрёл всё, чего недоставало ему до знакомства с Владимиром Владимировичем, и теперь комсомолец-эфдзётовец практически уже ничем не выделялся из однообразной советской массы. Для полноценного иностранца это вряд ли могло быть комплиментом.

Однако у будущего историка были свои высокие цели и задачи. Он сам выбирал себе жизненные ориентиры и примеры для подражания.

Впрочем, для многих он сам давно стал примером для подражания.

Он находился на своём, заслуженном месте.

И на сегодняшний день считал это наиболее важным своим достижением.

Сегодня Ральф испытывал зависть к самому себе.

И ему было чему завидовать.

Под едва разборчивую речь главнокомандующего и нескончаемые крики «Ура!» писалась ещё одна страница не по годам богатой биографии скромного студента из Ростока. Не столько для служебного досье, сколько для последующих поколений гэдээровских историков.

В сердцах Ральфу даже захотелось пройти боевым маршем вдоль Кремлёвской стены. Плечом к плечу с советскими солдатами.

Уж очень они сегодня ему нравились.

Пожалуй, ещё никогда немец не испытывал такого уважения, такой преданности и любви к стране победившего социализма. Не зря, наверное, для многих людей, долго находящихся за границей, существует понятие второй родины. Хотя разницы между второй и первой немец сегодня не ощущал. Сегодня он считал себя сыном единой идейной Родины. И Родина эта отвечала ему воистину материнскими чувствами.

Периодически Ральф нащупывал в кармане брюк спецпропуск. И к его щекам сразу прилиwała кровь. Даже первое прикосновение к родному гэдээровскому паспорту в своё время не вызвало в нём таких сильных эмоций.

Для Ральфа солнце сегодня светило особенно ярко.

А небо было синим, как никогда.

Он настолько был заворожён всеми событиями, что даже забыл, в честь какой победы и над кем был устроен этот грандиозный парад.

Главное, что он ощущал себя среди избранных. И эти ощущения не были заблуждением.

Немец от души праздновал чужую победу.

Немец с гордостью принимал чужой парад.

37.

Погода на Девятое мая разгулялась на славу.

Как по заказу Политбюро.

Создавалось впечатление, будто Белокаменная из зимы без оглядки рванула прямо в лето. Остановить её было невозможно. Температура воздуха скорее напоминала июльскую. В помещении вообще не хотелось находиться. Народ тянуло на свежий воздух. Во всяком случае, ту его часть, что не сидела за праздничным столом. Хотя находились и такие, кто устраивал себе маленький пикник на скамейках в парке.

После парада и краткого разговора с Владимиром Владимировичем довольный и польщённый Ральф отправился бродить по городу. Праздник, особенно в центре, ощущался на каждом шагу. Продавцы мороженого сияли в накрахмаленных белых халатах. Милиционеры щеголяли в брюках с отутюженными стрелками. Все гуляющие необычайно любезно уступали друг другу дорогу. Тянувшаяся в горку от Красной площади улица Горького превратилась в живое море флагов, детских флажков и разноцветных воздушных шаров. И всё это — под нескончаемые советские марши и бархатный баритон Левитана из громкоговорителей. Судя по довольным лицам, народ явно забыл о своих будничных проблемах. По крайней мере, на сутки. Все весело шумели, запевали боевые шлягеры Великой Отечественной, а кое-где, прямо на улице, под воздействием фронтовых «ста грамм», некоторые пускались в пляс. Кого-то заводила весна. Кого-то — священный праздник. Ну а для кого-то девятое число стало естественным продолжением не менее пафосного и не менее заводного Первомая. Немцу было любопытно наблюдать за повальным народным брожением. Впервые он оказался в городе во время массового уличного гуляния. И затянулись эти наблюдения надолго. До самого зрелищного и ответственного момента — праздничного салюта почти из двухсот орудий в разных концах Москвы. Затаив дыхание, немец любовался искрящимся небосводом и со всей страной слушал этот в высшей степени торжественный грохот. Вместе с Мурманском и Калининградом. Новороссийском и Севастополем. Вместе с почти родным для его отца Курском.

Славный праздник славно завершился.

Наступала пора произвольной программы.

С этой минуты Ральф принадлежал лишь самому себе. И без колебаний выбрал путешествие по ночному городу.

Под утро неспешным шагом он добрался аж до Ленинских гор.

Там его ждала полная тишина.

К пяти часам даже милиция отправилась отдыхать.

Город был в полном распоряжении Ральфа.

Постояв немного на пустой смотровой площадке, среди растоптанных цветов и набросанного за день мусора, немец вдруг решил спуститься ниже по крутому лесному склону и, найдя место почище и поудобнее, устроил себе привал среди деревьев. Долговязая университетская высотка осталась, к сожалению, вне зоны видимости, наверху. Зато молчаливая извилистая Москва-река с тускло подсвеченными берегами была как на ладони.

Как же Ральфу нравилось оставаться один на один с городом! Было в этих интимных отношениях что-то таинственное и завораживающее.

Праздничная темнота постепенно таяла.

Наступал новый, рабочий день.

Однако возвращаться в общежитие Ральф пока не собирался. Об учёбе он сегодня не вспоминал. На неё сегодня не хватало ни мыслей, ни времени. В конце второго курса он уже мог такое себе позволить.

Опустившись на траву, Ральф входил во вкус уже второй своей московской весны.

Среди деревьев, на чуть сыроватой земле, она чувствовалась ещё острее. Лёгкая, ненавязчивая прохлада и аромат пробивающейся зелени бодрили. Придавая предутренним фантазиям юного студента немного романтики. Конечно, усталость чувствовалась, но не та, от которой портилось настроение и тянуло спать. И это несмотря на то, что практически весь день Ральф провёл на ногах и ничего толком не ел. Четырёх порций шоколадного мороженого и стакана яблочного сока ему вполне хватило. Он даже о котлете по-киевски не успел помечтать. Вот от чего бы он сейчас действительно не отказался, так это от бокала любимого «Гурджаани». Да, на худой конец, можно было согласиться и на рюмку прозрачной «Столичной». Но, к сожалению, многочисленные московские бары были давно закрыты.

Расстраиваться из-за отсутствия крепких напитков немец не стал. Он наслаждался Москвой, продолжая находиться в плену праздничных впечатлений.

Прошедший день во многих смыслах был для него знаковый, особый.

Сегодня Ральф влюбился во всё военное.

От современной тяжёлой техники до обыкновенной солдатской формы. Сегодня ему были симпатичны и орденосные ветераны, и аккуратисты-курсанты, и молодцеватые бритоголовые «срочники». И хотя у Ральфа не имелось ни одного знакомого военного, сегодня он полюбил всех их сразу. И не столь абстрактно, как это можно было предположить. В какой-то миг будущему историку даже захотелось пойти на службу в армию. Чтобы оказаться рядом с теми, кто вызвал в нём такой восторг. Чтобы надеть на себя точно такую же защитного цвета форму. Когда несколько часов назад немец подсматривал за группой гуляющих по городу солдат, его прямо-таки тянуло в гущу сплочённого солдатского братства. Но познакомиться он ни с кем не решился. Хотя мысленно Ральф даже готов был променять университет на казарму. И ни трудности солдатского быта, ни дисциплина, ни продолжительность службы его не пугали. В Ральфе зрело мужество. Причём ему хотелось даже не столько быть в высоком звании и отдавать команды, сколько самому команды выполнять.

«Вот где вырастают настоящие мужчины!..»

«Такие разве могут проиграть войну?..»

Сегодня совершенно искренне Ральф влюбился в Советскую армию. И любовь эта стала частью

его сознания. Если бы подобные идеи посетили гэдэровца ещё в Ростке, он бы наверняка предпочёл учиться на военного. Мамины уговоры его бы не остановили. И он бы с огромным желанием отправился на учёбу в любое московское военное училище. Тем более что восточных немцев в них хватало. Во всех без исключения. Практически на всех доступных для иностранцев факультетах.

Окунувшись мысленно во всё военное, Ральф вспомнил сон, который приснился ему ещё дома, в ночь перед первым отъездом в Москву. Когда он с матерью чуть не опоздал на поезд.

Как же похожи были те молодые лица на многие из сегодняшних!

Будто это были кровные братья.

Ральф не верил, что такие совпадения в реальной жизни случаются. А ведь от того раннего утра его отделяли почти два года.

Продолжая в подробностях вспоминать давний сон, немец вдруг представил себя в армейской бане. Среди здоровых, крепких, веселящихся ребят. И что было совсем неожиданным для Ральфова воображения — голым среди голых. Это стало для немца откровением. Это стало кульминацией его фантазий...

...Напряжение достигло предела.

Расстегнув брюки и крепко обхватив свободной рукой ствол ближайшего дерева, немец наконец-то понял, чего он так жаждал всю эту ночь.

Ральф терял контроль над собой.

Ральф ломал собственные стереотипы.

И его ничто не могло остановить.

Через несколько мгновений в глазах потемнело.

На тело обрушилась дрожь.

Оборвать которую смог только собственный крик.

Одинокий крик над ещё не проснувшейся после праздничного пьянства Москвой.

Выдержав паузу, немец вытер со лба пот.

С трудом понимая, что с ним произошло.

И абсолютно не понимая, что делать дальше.

На лесном склоне он присидел ещё долго.

Без движения.

Без чувств.

И уже без сил.

«А может быть, это опять сон?..»

«Как тогда, перед отъездом...»

«Нет...»

Ральф боялся открыть глаза.

Ральф стеснялся встретиться взглядом с городом.

Он испугался собственного откровения.

Это был его первый в жизни настоящий оргазм.

### 38.

— Чего ты сегодня такой кислый?.. Таким я тебя ещё не видел... Пьянствовал после работы с дворниками?.. Или муки творчества одолели?..

— Хуже...  
 — Что-то случилось?..  
 — За последнюю неделю уже третьего моего знакомого забрали... Прямо из постели, рано утром...  
 — Куда забрали?..  
 — Куда, куда... На Лубянку, куда ещё?.. И ни один из них до сих пор не вернулся... Родственники в панике... Впрочем, не только родственники... Все же понимают, чем это пахнет... Обращались в милицию, а там только руками разводят...  
 — О Gott... Они связаны с диссидентами?..  
 — Не знаю... Но интересно то, что между собой они не были даже знакомы... Такое впечатление, будто по городу прокатилась волна арестов...  
 — А ты откуда узнал?..  
 — Друзья сказали... Многие из них сейчас прячутся на чужих квартирах... Боятся, что и к ним придут... Телефоны же все прослушиваются...  
 — Ты это как-то связываешь с собой?..  
 — Нет, но всё равно странно... Скоро, наверное, и до меня доберутся...  
 — М-да...  
 — Я перелистал свою записную книжку... В ней не осталось имён, которыми не интересовались бы гэбэшники... Одних уже посадили— кого раньше, кого позже... К другим с обыском приходили... Третьих поугагать вызывали... Наши службы работают на совесть... Если понятие «совесть» вообще к ним подходит...  
 — ...  
 — Так что круг постепенно сужается...  
 — Просто в твоём кругу много инакомыслящих...  
 — Любой нормальный человек по своей природе инакомыслящий... Что тут необычного или страшного?.. Разве это преступление— отличаться от остальных?.. А власть почему-то именно нормальных панически боится... Сама создаёт проблемы... И себе, и другим... Не любит она отвечать на естественные вопросы... Гораздо проще в лагерь к волкам отправить...  
 — Не переживай... Если за тобой тоже придут и всё закончится печально, я через кого-нибудь из русских тебе в Сибирь сухари передавать буду... Большими посылками... Не пожадничай... Чтоб на весь барак хватало... Самые вкусные и дорогие... Ванильные, с изюмом... Из «Елисеевского»... А если ещё письма разрешат писать, то и письма писать регулярно буду, на десять страниц каждое...  
 — Тебе смешно...  
 — Знаешь, сам виноват... Друзей никто никогда не навязывает... Тянет тебя к диссидентам, и это правда... С другой стороны, не нужно преувеличивать... Чего паниковать заранее?.. Успокойся... Без суда и следствия у вас не сажают...  
 — Вот толку что от того суда и следствия?.. Оправдательных приговоров у нас не бывает... По природе... Даже в товарищеских судах... Нашему правдоискательскому обществу всегда нужны

виноватые... Точнее, заключённые... И желатель-но в больших количествах... Сразу чувствуется, насколько ты далёк от действительности... Хотя, по большому счёту, она тебя не касается... Ты же не в Союзе родился... И не в Союзе жить будешь... Какой ни на есть, но ты всё-таки иностранец... И ваши лагеря с нашими ещё не скоро сравня-ются...  
 — Ну не может быть, чтобы всех троих арестовали без причины... Тем более если между собой они даже не знакомы... Просто тебе не всё известно... За ними наверняка наблюдали, следили... И навер-няка продолжительное время... И для задержания имелись причины... Были бы они чисты, их бы сразу отпустили... Попугали бы день-другой и отпустили... Разве я не прав?..

— Ральф, весь ужас в том, что с тобой бессмы-сленно спорить... Ты всякий раз прав...  
 — Почему ужас?..  
 — Потому что возражать тебе бесполезно... Надо было тебе на юридический поступать... Из тебя получился бы образцовый прокурор... И в Вос-точной Германии прокуроры нужны... Тебе сразу доверили бы все политические дела... У вас ведь их тоже хватает... И место в истории тебе было бы гарантировано...  
 — Может быть... Я бы не отказался... Только не понимаю, почему ты злишься...  
 — И прокурорская форма очень бы тебе подошла... Со всеми её золотистыми значками и полосками... По-моему, это твоя скрытая страсть... Дай тебе волю, ты бы многих по своим местам расставил... И своих, и чужих... Нет-нет, не расставил—рас-садил...  
 — Будь моя прокурорская воля, я бы в первую очередь посадил тебя под домашний арест... Как минимум на пару лет... Для профилактики... Без права переписки... С одновременным отключени-ем телефона... Чтоб никто из подозрительных не приходил и не звонил... Пускай думают, что ты переехал на другую квартиру... Или, ещё лучше, в другой город... Вот тогда бы у тебя точно никаких проблем не было... И можно было бы полностью уйти в холсты и краски... С утра до ночи...  
 — А кто бы мой двор убирал?..  
 — Ради такого случая я бы лично дворника нашёл... Который бы и асфальт подметал, и за окнами твоими присматривал... Чтобы ты постоянно заботу о себе чувствовал... И не расслаблялся...  
 — Это за что ты решил меня наказать?..  
 — Чем меньше человек ходит на красный свет, тем меньше у него шансов попасть под машину...  
 — А что делать, когда красный горит всегда и во всех направлениях?.. Когда зелёный напрочь выключен... Что в такой ситуации делать?.. Куда двигаться?.. Стоять на одном месте?.. Это не для меня... Рано или поздно надоест... И об опасности забудешь...

— Рисовать, писать, чертить можно и стоя на одном месте... Если не искать на свою голову приключений...

— Интересно, ты всех друзей так учишь жить?..

— Нет, тебя одного... Потому что других друзей у меня нет... Ты у меня единственный... Вот я и беспокоюсь, чтобы этого единственного не потерять... — ...

— Зато у тебя их много...

— Я этим горжусь...

— Гордись, пожалуйста... Я же тебя не осуждаю...

С твоими друзьями я близко не знаком... Кроме болгарина и новгородных поклонников хоккея, я больше никого не видел... Ты почему-то упорно их от меня прячешь... Но пойми: если кому-то из них кажется, что за решёткой свободы больше, чем на воле, пускай тогда сами там сидят... Я не хочу, чтобы они тебя за собой тянули... Пускай антисоветчики занимаются своим делом... А творческий человек должен заниматься своим... Сколько раз ты повторял, что политики не касаешься... Что её нет ни в твоих картинах, ни в твоих мыслях... Но, к сожалению, иногда я убеждаюсь в обратном... По-моему, ты не всегда со мной откровенен... Неужели мало тебе того, что через день и летом, и зимой ходишь улицы убирать?.. Или ты хочешь снег в Сибири разгребать?.. На всю Сибирь твоих сил не хватит... И душевные репортажи по «Голосу Америки» тебе посвящать не будут... И радио «Свобода» о тебе не вспомнит... Для этого хватает профессиональных диссидентов... Они — звёзды на Западе... А не такие, как ты, дворники... Им за это гонорары платят... Большие, в долларах... И даже разные премии присуждают... Так что им есть за что сидеть... Это часть их работы... Это их призвание... Не умеют они по-другому деньги и славу зарабатывать...

— Ральф, ты — первый иностранец, кто мне такие глупости говорит...

— Я ничего такого не говорю... Просто я первый из иностранцев твой настоящий друг... И, в отличие от приезжих ценителей авангарда, прежде всего желаю тебе свободы... А не толкаю в тюрьму... Да, может быть, их интересуют твои картины, но твоя жизнь, поверь мне, их совсем не интересует... Кто ты для них?.. Не надо строить иллюзий, не заблуждайся...

— Что сегодня с тобой?.. Будто ты с Луны свалился... Или на Лубянке лекцию прослушал...

— Ты сам начал этот разговор... Ещё полчаса назад у меня было отличное настроение... Последнюю лекцию отменили... А завтра — выходной... И я специально не пошёл в столовую, чтобы мы пообедали вместе... Знаешь, какой я голодный?.. С утра ничего не ел...

— Так чего молчишь?..

— Что я могу сказать, если ты только про Лубянку, диссидентов, прокуроров?..

— Ладно, не будем впутываться в гэбэшные дела... От наших дискуссий всё равно толку нет и не будет... И на свободу никого не выпустят... Давай лучше об обеде подумаем... Нужно быстро сообразить что-нибудь эдакое... У меня, между прочим, есть деревенская курица... С Украины три дня назад поездом передали, от бабушки... Можно приготовить её с тушёными овощами... А чтобы за это время ты гастрит не заработал, я сейчас пару бутербродов тебе сделаю... — Чешского пива у тебя случайно не осталось?.. Всё-таки сегодня пятница...

— Нет, но какие сложности?.. Пятницу уважать надо... У нас здесь недалеко «Севастополь»... Отличный интуристовский комплекс... К Олимпиаде построили... Там почти как в чешском посольстве, тоже всё есть... И официанты знакомые есть... Они все меня любят... Пока ещё ни разу никто не отказывал... Так что будет тебе пиво до самого понедельника... Целый ящик... Может, ещё чего к пиву прихватить?..

— Сам смотри...

— Хорошо... Я на такси туда и назад, машину отпущать не буду... На всё про всё уйдёт минут сорок, не дольше... А ты можешь начинать готовить... Чего время терять?.. Курицу разделять умеешь?.. Только рубашку свою сними... Чтобы не получилось как в прошлый раз... Чистые майки в шкафу...

— А можно, я пока отдохну?.. Сорок минут мне хватит... Сегодня ночью я так плохо спал...

— Я вообще не понимаю, как можно хорошо спать в комнате, в которой спят ещё три чужих человека... Ок, договорились, валяйся пока... С курицей я сам потом расправлюсь... У меня с детства опыт... Я же вырос в деревне... Ладно... Но смотри не усни... Иначе я потом тебя не подниму... Даже пивом...

### 39.

Гэдээровец сработал безошибочно.

Проявив чудеса расторопности.

Перекрыв все нормативы ГТО.

Несмотря на плохое освещение, морозящую дрожь в ногах и учащённое сердцебиение.

На фотографирование домашнего собрания картин художника ушло девятнадцать минут и тридцать два снайперских щелчка. При этом четырём оставшимся кадрам тоже нашлось применение: не поддающаяся описанию неразбериха рабочей комнаты сама напросилась на плёнку. То ли на всякий случай, для комплекта, то ли чтобы разнообразить досье на «сочувствующего».

Юный дзержинец постигал фотографическую практику в полном объёме.

И тем самым наполнял конкретным смыслом современное абстрактное искусство.

Вынуждая его играть, по существу, историческую роль — быть передовой мишенью в войне Лубянки против ренегатства и диссидентства.

В сегодняшней коллекции не хватало только фотопортрета самого автора картин.

Впрочем, таких портретов за последний год набралось в его личном деле уже предостаточно.

В компаниях. И крупным планом.

С комментариями на обратной стороне. И без. Умеющих снимать в КГБ хватало.

Не будет преувеличением сказать, что каждая фотография, хранившаяся в картотеке на Лубянке, была не просто печатной копией тайно снятого объекта.

За каждой из них скрывались смекалка, отвага, риск героев-разведчиков, героев-фотографов.

Система работала отлаженно.

Система работала как единый организм.

Всё в этой цепи было продумано. Вплоть до специальных грязновато-чёрных конвертов, в которых пожизненно хранились сотни километров плёнки.

Лубянка гордилась своими следопытами.

Вот кто был её главной ударной силой.

Не зря Владимир Владимирович учил: в вопросах государственной важности информация не бывает лишней. Тем более что, кроме важности государственной, иной КГБ и не знает.

Тем более когда она наглядная.

И совершенно точно — неопровержимая.

Наконец юный дзержинец познакомился с творчеством своего советского друга. Прикоснувшись заботливыми руками буквально к каждой картине, обнаруженной в доме. Правда, ни одна из них никаких чувств у него не вызвала. И дело было совсем не в нервном напряжении или в недостатке времени. Просто немец никак не связывал воедино самого художника и его неестественно-безжизненное искусство. Скорее наоборот, немец всюду старался создать между ними непреодолимый вакуум, некую зону отчуждения. Словно пытался оградить художника от его же собственного подозрительного занятия.

Ральф дорожил своими убеждениями. И не любил всё, в чём не находил им подтверждения. Потому что всё неведомое не только посягало на его представления об окружающем мире, но и напоминало об опасности.

Относилось это и к живописи.

Ральф был слишком разборчив и последователен в своих художественных вкусах. И не дружил с чуждой ему эстетикой. Потому что она была слишком далека от гэдээровской школьной программы и образцового семейного воспитания.

Взять, к примеру, Рембрандта или Рубенса, любимых художников мамы. С ними сложностей не возникало. И даже с Гойей, любимым художником папы, можно было с грехом пополам разобраться. Но что скрывалось в бездушных квадратах, безликих каракулях, в прочем однообразном примитиве? Чем всё это могло нравиться коллекционером? Почему они не жалели денег?

Неужели там, за границей, нельзя было нарисовать нечто подобное? Или у русских свои, особые каракули? С одной стороны, Ральф поражался выбору иностранцев. Ведь в таком искусстве не было ни кровинки. Ни нерва. Ну ничего! С другой стороны, как тут не заподозрить недоброе? Разве могли богатые люди так необдуманно выбрасывать деньги? Немец искал связь между столь странной щедростью и работами своего друга... и не находил. Да, нарисовал он на полотне несколько пятен. И что? Что он имел в виду? Что это давало зрителю? Цвет ради цвета? Линия ради линии? Где тут высокое творчество? Где жизнь?

По мнению немца, знакомство с западными иностранцами не пошло художнику на пользу. Это были исключительно коммерческие связи. Искусство же, по большому счёту, оказалось для него недостижимым. Потому что до сих пор он так и не создал ничего стоящего. Во всяком случае, из того, что хранилось в квартире.

Авангардизм в глазах Ральфа терпел поражение.

Под натиском мэтров хрестоматийной живописи.

Под влиянием маминого и папиного вкусов.

И основным виновником этого исторического поражения стали дисциплина и врождённая немецкая бескомпромиссность.

Дружба перед службой безоговорочно отступила.

Её примеру последовала и совесть.

Без каких бы то ни было угрызений.

Истина торжествовала: победителей не судят.

Такая истина победителей возносит.

И, как правило, на руках самих проигравших.

Спрятав «ФЭД» в дипломат и с армейской ловкостью сменив рубашку на красную советскую майку с надписью «Спартак», Ральф, подобно уставшему футбольному болельщику, вытянулся на тахте в сладостном ожидании заслуженного пива. На Каховке он себя чувствовал уже как дома. И это не было преувеличением. Да, творчество художника Ральфа не волновало. Но не оно же определяло их отношения.

Юный Рихард Зорге с воодушевлением зевнул.

Благо этого никто не видел.

Операция прошла успешно.

Поводов для недовольства собой не было.

Зато положительных эмоций было предостаточно.

Он на самом деле оказался неплохим фотографом.

Через две недели комплименты от Владимира Владимировича это подтвердили.

А денежная премия в сто рублей на личные расходы и многоцветная шариковая ручка на память подняли боевой дух смелого гэдээровца до высоты знаменитой Останкинской телебашни.

На Лубянке знали цену профессионализму.

40.

Витрина.

На безлюдном проспекте.

В безлюдном ночном городе.

Витрина элитного салона для новобрачных.

В ярком свете неоновых ламп.

С блеском и отблесками фальшивых драгоценностей.

Маленький театр церемоний.

Но без занавеса и зрительного зала.

Под стеклом.

Как Мона Лиза в Лувре.

Только здесь главных героев двое.

Ральф поражён пышностью нарядов.

Он не может оторвать взгляд.

Из чёрной пустоты неба доносится металлический перезвон колокольчиков.

Рядом с витриной открывается дверь.

И Ральф не отказывается от приглашения.

Перед ним—неведомый ему до сих пор праздник.

Марш Мендельсона заполняет пространство.

Душа и музыка сливаются воедино.

По телу пробегают мурашки.

Ральф—как истинный немец—ценитель и поклонник любых маршей.

Фойе брачного салона неожиданно превращается в зал далёких герцогских времён.

И по размерам, и по обстановке.

Из дверей со всех сторон вдруг появляются многочисленные пары оживших манекенов в средневековых свадебных костюмах.

Скромный студент мгу оказывается в плотном кольце танцующих.

Он медленно вращается вокруг собственной оси, и ему не верится, что всё это происходит с ним.

Скользящее прикосновение атласа и бархата напоминает немецкую сказку.

Музыка пленит всё сильнее.

Грозный Мендельсон чередуется с размашистыми лирическими вальсами.

Ральф сдаётся на милость празднику.

Ральф сдаётся на милость машине времени.

Он принимает предложенную роль.

Он—полностью в сюжете.

На нём костюм то жениха.

То невесты.

Но своего внешнего вида он не замечает.

Ральф всеми желаем.

Ральф всем доступен.

Он с серьёзным видом кружится в парах, периодически поправляя сползающие на нос очки указательным пальцем.

Ральф пытается хоть в ком-то разглядеть знакомое лицо, но вокруг все одинаковы.

Все—в масках.

В юных глазах появляется страх.

Страх крупным планом.

Страх через линзы очков.

Резкая смена кадров.

Световая гамма та же, неоновая.

Ральф в платье невесты бежит по тому же безлюдному проспекту.

Бежит от преследующей его толпы, с которой он только что охотно танцевал.

Фата развеивается на ветру.

Дыхание тяжёлым эхом отдаётся в пустоте.

Но на высоких каблуках далеко не убежать.

Ральф спотыкается.

Падает.

...и в этот момент просыпается.

Конец фильма.

Пижама вся мокрая.

Не хватает воздуха.

Не хватает пространства.

Немец боится пошевелиться, чтобы скрипом своей общежитской кровати не разбудить соседей по комнате.

Он боится, что его сон поймут с поличным.

Немец ещё долго лежит неподвижно.

С открытыми глазами.

С полным хаосом в голове.

Чувствует, как горят его щёки.

Музыка его не покидает.

Даже бой курантов и гимн Советского Союза из радиоточки не могут привести его в привычное состояние.

Оказывается, есть вещи и посерьёзнее.

Которые способны остановить сердце.

Если к ним прислушаться.

Если в них вникнуть.

Зарядка отменяется.

Мендельсон—сочинитель магического.

41.

Ночь при настольной лампе в рабочем кабинете— стихия всех службистов.

Это внутренняя потребность.

Энтузиазм и романтика.

Апогей жанра.

Независимо от идеологической принадлежности.

Независимо от расстояния до родного дома, семейного положения и количества лет, проведённых в погонах.

Видимо, в таинственном ночном безмолвии, как ни в какое другое время суток, переплетаются драматизм и поэтика шпионских страстей.

Звёздочки с неба случайно не падают.

Звёздочки с неба падают точно в цель.

Владимир Владимирович, при всей нестандартности его образа, не был исключением из этого служебного правила. Неравнодушие к модной одежде и интуристовским ресторанам лишь удачно камуфлировали его несгибаемую гэбэшную сущность. На самом же деле он немногим отличался от своих менее модных, менее изысканных в манерах



и вкусах коллег. Пухлые папки с грифом «Секретно» периодически и его привязывали к кабинету на Лубянке до глубокой ночи, а нередко прямо за столом заменяли подушку. Обессилев от чтения, сверок и длительных размышлений, уставший кадровый офицер погружался в сон вместе со своими героями.

И вместе с ними просыпался.

Обычно его будило назойливое постукивание швабры о дверь. Приходившая на службу первой уборщица оповещала всех полуночников о начале нового дня.

Чекист вновь включался в работу.

Будто с ней и не расставался.

В многочисленных Ральфовых документах Владимир Владимирович копался особенно тщательно. В информации недостатка не было. Она поступала из всех возможных источников. В том числе из Берлина, Росток и даже Гамбурга, где после разделения Германии на зоны обосновался родной дядя Ральфа по отцовской линии. По всем имеющимся данным Ральф считался перспективным специалистом. Как с точки зрения кадровиков Штази, так и с точки зрения их советских коллег. Для него на любом фронте нашлась бы подходящая роль. Из него, например, мог получиться ценный агент для работы на территории ФРГ. Или, на худой конец, сотрудник гэдээровского посольства на Западе. Там его можно было бы использовать как связного. Что для вездесущей Москвы тоже представляло конкретный интерес. Персона будущего историка волновала руководство отнюдь не меньше, чем всё его непутёвое богемное окружение. Зато окружение путёвое, с которым будущий историк старался под любым предлогом не вступать в близкие контакты, давало ему безоговорочно высокую оценку. Судя по регулярным отчётам, его уважали все без исключения законспирированные соратники по студенческому подполью. Уважали, считая политически грамотным и морально устойчивым. Уважали и рекомендовали для оперативного сотрудничества. Такое единодушие, понятно, не могло Владимира Владимировича не радовать, и тем не менее, оно чутьчко настораживало.

Вот уже несколько дней на столе рядом с личной папкой Ральфа лежала и личная папка художника. Которая выглядела раза в три толще и потрёпаннее «немецкой». Хранилась она на другом этаже, в другом отделе. Однако по некоторым материалам последнего времени их можно было смело объединять в одну. И странно, что этого не было сделано. Во всяком случае, с точки зрения лубянского протокола. Владимир Владимирович иногда даже путался, в какую из них положить тот или иной документ.

Бумаг накопилось множество.

Дружба — не только общая судьба и общие чувства.

Это, как водится, ещё и пухлое общее досье в органах безопасности.

А если не повезёт по большому счёту, то и общая статья уголовного кодекса.

Неожиданные новости стали поступать в конце мая. И все — от каховских соседей художника. Письма были растянутые, подробные и высокопарные, как будто их сознательные авторы предупреждали об угрозе государственному строю. Хотя кто знает, может быть, они и впрямь так мыслили. Все доносчики, как правило, отличаются гипертрофированным чутьём не только на политику с идеологией, но и на быт, и на чужую личную жизнь. Доносчик — это не просто призвание. Это ещё и целый набор различных маний. От мании собственного величия до мании общественного приличия. При полной трезвости, одержимости и самоотдаче. Талант доносчика — тоже дар Божий.

Если отбросить все лирические монологи о политике и морали, особенно раздражали соседей развязный смех по ночам и недвусмысленные скрипы кровати. И эта вызывающая ритмичность не давала бдительным стражам нравственности покоя. Причём речь шла именно о тех вечерах, когда там находился немец. (Что по датам полностью совпадало с отчётами самого немца.) И никого другого в квартире не было. Последнее замечание повторялось в каждом письме по нескольку раз, для убедительности. Посланий на эту тему Владимир Владимирович насчитал четыре, два из которых были от жильцов с верхнего этажа. Видимо, они страдали отменным слухом и по ночам им доставалось больше остальных.

Владимир Владимирович налил себе рюмку коньяка из праздничного офицерского запаса.

И выпил залпом, как положено.

Без коньяка трудно было всё это представить.

С коньяком же картина становилась яснее.

Такого развития ситуации шеф ну никак не ожидал.

Похоже, каховские дружинники произвели на него впечатление. До сих пор они не давали поводов сомневаться в подлинности их информации.

Содержание аккуратно исписанных страниц из школьной тетради не казалось пустым соседским бредом.

Но как на это реагировать?

Вот главный вопрос.

Да, было над чем поломать голову.

Владимир Владимирович неожиданно вспомнил грустную историю Ральфа и Наташи.

И достал из папки их общую фотографию.

«А они неплохо смотрелись...»

«Со стороны, во всяком случае...»

«Вот тебе и Ральф...»

«Вот тебе отличник...»

Теперь стало понятно, почему всё так закончилось. И по-другому закончиться не могло.

В практике кадрового чекиста уже много всего странного случилось. Но сейчас было важно эту странность правильно оценить.

Через два дня ему самому предстояло писать отчёт.

И смотреть в глаза своему начальнику.

Как тут не разозлиться?

Ральф всем задал задачу.

Почёсывать затылок было бесполезно.

Как и курить сигареты одну за другой.

Часы показывали пятый час утра.

Тяжёлые шторы скрывали рассвет.

Вторая рюмка напросилась сама собой.

Да и третья не помешала.

За здоровье Ральфа.

Впрочем, и за здоровье художника тоже.

Уже третью ночь подряд Владимир Владимирович проводил в рабочем кабинете.

Чем не отчий дом?

#### 42.

После Дня Победы жизнь московского немца наполнилась новыми, до сих пор неизвестными ему эмоциями. Той жизни, что была на виду, это не коснулось. И на гэбэшном фронте всё оставалось по-прежнему. Несмотря на возмущённые письма трудящихся и серьёзные сомнения руководства. Кардинальные изменения произошли вне университета, посольства и Лубянки. Пафос неожиданно перестал быть всем и вся. В воздухе запахло свежестью распустившихся деревьев и беспрецедентной до сих пор волей. По крайней мере, во внеурочные часы. Весна вознесла Ральфа над суетой. Даже у привычного ежедневного быта появились довольно непривычные романтические оттенки. Запоздавшие нежности московской стилистики всколыхнули и душу с телом, и воображение гэдээровца. А его внутренний голос всё чаще повторял один и тот же ответ на многие, порой самые непохожие вопросы: «Почему бы и нет?..» Хотя вопросов с каждым солнечным днём становилось всё больше. Будущий историк практически поселился у художника на Каховке. И выбирался на проспект Вернадского лишь на один час по субботам, когда туда звонили родители. Даже сводки для Владимира Владимировича он стал писать без специального настроения, не напрягая бдительность, по-советски — прямо на кухне. Автоматически переключаясь с волны кулинарно-поэтической на волну сексотско-аналитическую. Отныне немец жил в двух мирах, и билось в его груди два сердца. И это ему совсем не мешало. Наоборот, он чувствовал себя счастливым. Причём в разное время суток по-разному. Весна приглушила его правильность, комплексы и страхи. Весна позволила вкушать счастье во всей его полноте. Ни в общежитии, ни на факультете никто не догадывался, что происходит с их товарищем. Но

что-то всё-таки происходило, и это бросалось в глаза. С родной группой он почти не общался. Активность на семинарах упала на порядок. А сразу после звонка последнего занятия немец в считанные секунды забрасывал учебные пожитки в дипломат и, вдохновлённый свободой, без комментариев исчезал в неизвестном направлении. В общежитие, понятно, он ночевать не приходил. Среди любителей посплетничать прошёл слух, будто у Ральфа появилась девушка-москвичка, дочь известного профессора, на которой он собирается жениться. А кто-то якобы даже видел их гуляющими по городу. Звучало вполне правдоподобно. И, как ни странно, на руку немцу. Однако до самого будущего историка слух этот так ни разу и не дошёл. Среди однокурсников у него не было друзей, кто бы мог поинтересоваться его личной жизнью напрямую. Ближе он никого к себе не подпускал.

Так получилось, что Каховка стала для гэдээровца самой родной московской улицей, а одна из её безликих близнецов-двенадцатизэтажек — почти родным домом. Конечно, Германия, Ростов, мама с папой оставались вершиной его привязанностей. И всё же в какие-то моменты, особенно по ночам, немец о них забывал. Растворяясь в объятиях на крохотной тахте. Ощущая себя с художником пришельцами из космоса. Подозреваемый и кумир сливались теперь в одном лице. И Ральф был не в силах сопротивляться своим чувствам. Даже равнодушие ко всему солдатскому превратилось для него в ненавязчивый интимный каприз, которому он не придавал особого значения и о котором вслух никогда не говорил. Художник оказался во всех смыслах ближе и доступнее. Да и в военной форме, при всегда короткой причёске, представить его было несложно. Весна — самый изобретательный конструктор человеческих привязанностей. Весна — всегда креатив. Партийная дисциплина по сравнению с ней — слишком прямолинейна, надуманна и бесплодна. По утрам, когда интеллигент и пособник вовсю размахивал связанной из сухих веток метлой, немец в знак семейной солидарности тоже вставал вслед за ним и с воодушевлением занимался всякими делами. В том числе и хозяйственными. У окна ему работалось с особым удовольствием.

Каховские дворы сияли чистотой.

Немецкая улыбка — лучами утреннего солнца.

В отличие от своего немецкого друга, художник к категории морально-устойчивых никогда не относился, поэтому всё происшедшее воспринял спокойно и без надрыва. Его мучил лишь вопрос, как же плохо он себя знал до появления в его жизни Ральфа. Собственный ребёнок, жена, пусть и бывшая, с улыбкой, как на обложке «Огонька», просто друзья-подружки — все куда-то вдруг улетучились. От прошлых любовных привязанностей

и приключений остался только туман. Немец выжил всех подчистую. Художник даже не заметил, как это произошло. Как не помнил, с чего в ту ночь всё началось. Смесь шампанского, водки и узбекского портвейна оказалась сродни гипнозу. Да и в подсознание, хоть в пьяное, хоть в трезвое, попробуй залезь. Художнику казалось, что с Ральфом они близки уже не один год. И близость эта была по-настоящему родственной. А в перспективе выглядела прочной и длительной, несмотря на то что нравочения из репертуара гэдээровца весна так и не вытравила. Художник постепенно привык к ним. Правда, с диссидентствующими единомышленниками он стал общаться значительно реже. А в его творчестве наступил период почти реалистического расцвета.

Понятно, что и тут не обошлось без Ральфа.

Впрочем, без Ральфа в этом доме с некоторых пор не обходилось ничего.

Впервые со времён сказочной красавицы На-таши советско-гэдээровская дружба вновь начала восхождение.

На Лубянке этот нюанс к сведению приняли и, тщательно поразмыслив, превращать его в грозную статью ук не стали. По большому счёту, им было наплевать на чужую личную жизнь.

Из всех наплевательств советской госбезопасности это выглядело прямо-таки парадоксальным.

Либеральным и демократичным.

Достоинства Ральфа перевесили.

И потенциал гэбэшных замыслов тоже.

Группа важных товарищей приняла решение.

Отныне оба дела с грифом «Секретно» были объединены в одно общее.

Дружба — дружбой.

Если службе не помеха.

Весна старалась изо всех сил.

#### 43.

— Давно мы не сидели с тобой среди западных иностранцев... Посмотри на них: самодовольные, самовлюблённые, никого вокруг не замечают... Но в чём-то стоит брать с них пример... Есть в них некая особая внутренняя струнка... Они всегда над обстоятельствами... В отличие от нас... — Владимир Владимирович в свойственной ему манере едва заметно махнул рукой официанту, и через пару минут на столе появились бутылка на этот раз красного сухого «Напареули» и полное блюдо таргалеток с холодными закусками. — Наконец-то завтра можно без зазрения совести хоть до вечера валяться в постели... А как у тебя дела, Ральф?.. Лето уже всю гуляет, а на твоём лице ещё зима... Ну-ка, соверши маленькое чудо... Улыбнись, оживи обстановку... Иначе твоё кислое настроение может передаться и мне... Сейчас мы выпьем прохладного винца, заморим червячка грибочками, салатиками и тут же забудем обо всех наших

проблемах... Чем мы хуже других?.. Сегодня ничего серьёзного обсуждать не будем, обещаю... Даю слово отдыхающего советского офицера... Один вечер обойдёмся без врагов... Пускай сегодня и они расслабятся, дадим им короткую передышку... Завтра у меня день рождения, между прочим... Да, самый настоящий, по паспорту... Есть повод закончить неделю на весёлой ноте... Думаю, ты не против... Летом так не хочется работать... Впрочем, сдавать экзамены с зачётами тоже не хочется, по собственному опыту знаю... Как видишь, даже в расцвет природы человек не принадлежит самому себе... Ладно, не будем философствовать... Не будем притворяться нытиками и слабаками... Начинай, Ральф, это тоже своего рода зачёт, с тебя первый тост... Только не за меня... За меня все тосты после полуночи... Если к тому времени мы ещё вспомним о дне рождения...

— ...

— Давай, Genosse, смелее, ты уже не ягнёнок... Второй курс московской жизни заканчиваешь... Пора разряд тебе присваивать и значок выдавать...

— ...

— Сколько тостов выучил за два года?.. Сам ведь мне жаловался, как много в русских компаниях пить приходится... Ну, чего молчишь?.. Всё, решили: ты ответственный за сегодняшний вечер... Проверю тебя на прочность... Будешь произносить тосты, пока хватит фантазии... Не морщись, а то я могу и власть применить... Ты ведь знаешь мой характер... Уверен, что знаешь... Все историки — люди злопамятные... Хоть вы и пытаетесь это скрывать... По книжкам знаю... И по своим наблюдениям... Иначе какие тогда из вас историки?..

— ...

— Ты думаешь, что «Белград» случайно так популярен в Москве среди западных снобов?.. Здесь кухня лучше, чем в «Национале», «Интуристе» или «Украине»... Те из дипломатов, кто сюда ходит, знают толк в еде... Вот почему здесь никогда не бывает свободных мест... Но мы с тобой тоже не лыком шиты... И сами себе дипломаты... Сейчас мы чуть-чуть наш аппетит раззадорим, потом, через часок, поднимемся наверх, в ресторан... Там у нас столик рядом с карликовой пальмой заказан... С шампанским, копчёным угрём и шоколадным десертом... Потом, после двенадцати, спустимся в подвал, в ночной бар... Сегодня пятница, по пятницам там собирается вся элитная молодёжь... Случайных гостей в этом баре не бывает... А девушки какие — длинноногие, загорелые, утончённые — глаз не оторвать... На любой вкус... Уверен, что и для тебя красавица найдётся... Крепись, программа предстоит на выносливость... Насколько наших сил хватит... — Я так и знал, что будет какой-то сюрприз... — В нашем деле это называется службой...

— ...

— Вспомни: как мы договаривались вначале?.. Встречаемся четыре раза в месяц: три— в понедельник, на Дзержинке, один— в «Белграде»... Сколько раз после того мы виделись вне моего кабинета?.. Всего два... И оба— ещё прошлой осенью, в октябре и ноябре... В декабре начиналась сессия... В январе— каникулы... И так далее... А ведь ты обещал со мной дружить... Вспомни, вот за этим столиком обещал... Тогда у тебя с друзьями туговато было... Поэтому, можно сказать, у нас с тобой сегодня сюрприз плановый... А что, у тебя на вечер были какие-то свои соображения?..

Ральф настолько испугался подвоха, что ментально выпалил:

— Нет-нет...— и сразу поднял полный бокал:— Чтобы лето не кончалось!..

— О Gott, ты ещё и романтик...

— Это Москва меня таким сделала...

— Каким таким?..

— Романтиком...

— Похоже, похоже... Думаю, романтичнее и разнообразнее Москвы нет города на свете... Когда вернёшься в Германию, она будет тебе часто снится... Так что цены нашу ненаглядную, Белокаменную, с рубиновыми звёздами, уже сейчас... Осталось тебе только влюбиться здесь... Чтобы покончить с одиночеством и материализовать свой романтизм... Между прочим, почти каждый пятый иностранный студент уезжает из Советского Союза с русской второй половиной... Такова статистика... Хотя мы её и не афишируем... Ты своей красавицей ещё не обзавёлся?.. Некоторые твои однокурсники уже жениться успели... А кое-кто даже детей успел родить...

— Пока как-то некогда...

— Смотри, а то споквавшись к шапочному разбору... Блондинки у нас нарасхват... Да и от брюнеток не отказываются... Хочу посмотреть, как ты сегодня танцевать в баре будешь... Не забывай, ты же иностранец, в конце концов... Покажи себя джентльменом...

— Мои родители поздно поженились... Наверное, и мне не следует торопиться...

— Не надо во всём копировать родителей... Знаешь, как часто взрослые жалеют о том, что они в жизни что-то не так сделали или, наоборот, чего-то не сделали?.. Всё в мире относительно... Они жили в одно время, ты в другое... У них были свои ошибки, у тебя свои... Молодой человек должен стараться превзойти предков... Родителей в том числе... Иначе он не сдвинется с начальной точки... Давай второй тост...

— За родителей и всех близких...

— Принимаю... Но это последний серьёзный тост... Давай что-нибудь из более лёгкого жанра... Не будем превращать вечер в панихиду...

— Хорошо, можно следующий вариант...— не задумываясь, выпалил Ральф.— Чтобы у нас всё

было и нам за это ничего не было...— и сам же, хитро сверкнув глазками, рассмеялся.

— О!.. Ты даже такое успел усвоить?.. Тебе пора изучением русского застольного фольклора заняться... Мы богаты на «золотые россыпи»... Догадываюсь, сколько ты всего наслушался в разных компаниях...

— Это самый весёлый тост, который я увезу из Москвы... Немцы будут в восторге...

— Кстати, когда ты собираешься на каникулы домой?.. Сессия уже заканчивается...

— Сразу после практики, в конце июля...

— А куда на практику?..

— В Донецк...

— Один или с кем-то?..

— Из нашей группы на Украину больше никто не едет... Почти все выбрали Сибирь и Среднюю Азию... Кстати, художник вчера предложил поехать со мной... Чтобы мне скучно не было...

— Дружба— вещь тонкая...— Владимир Владимирович едва заметно улыбнулся.

— Я собирался об этом написать в следующем отчёте... Если это нежелательно, конечно, то... Тогда я придумую причину...

— У него там друзья?..

— У него там бабушка...

— Ах да, я забыл... Он же родом оттуда...

— И тогда мне не нужно будет жить в общежитии... Мы могли бы жить у неё, в двухкомнатной квартире... Он уже несколько раз разговаривал с ней по телефону... Она ждёт нас... Я её на фотографии видел... Милая, интеллигентная женщина... Во время войны она пережила германскую оккупацию... Имела отношения к молодоговардейцам... Была настоящей подпольщицей... У неё дома даже фотографии тех времён сохранились, которые она никогда никому не показывала... Как историку и как немцу, мне было бы это интересно...

— Да... Внуку с бабушкой повезло... А вот бабушке с внуком, к сожалению, не очень...— Владимир Владимирович многозначительно замолчал... В начале недели я получил информацию, что из Нью-Йорка прилетел американец, который на обратном пути должен забрать с собой несколько его картин... У них уже есть договорённость... Они встречались позавчера на углу улиц Горького и Большой Бронной, рядом с кафе «Лира»... При тебе он об этом ничего не говорил?..

— Нет... Точно нет...

— Ну ладно, что я опять всё о делах да о врагах?.. Я же обещал тебе... Давай следующий тост...

#### 44.

В ночном баре было немногочисленно, а атмосфера не столь навязчива, как того боялся скромный гэдэровец. За большими круглыми столами свободных мест было предостаточно. Народ подтягивался неторопливо. Передвигаясь чуть вразвалку,

с лёгкой божественной ленцией. В основном это были болгарские и югославские студенты. Причём первые из кожи вон лезли, демонстрируя своё заграничное происхождение. Тогда как по лицам и жестам вторых это само собой ощущалось. Чего-чего, но ору на разных славянских наречиях было в подвале сверх всякой акустической нормы. Голосистая Донна Саммер из четырёх немаленьких колонок с трудом с ним справлялась. Хотя выпивающий народ вряд ли обращал на неё внимание.

Ближе к ночи Владимиру Владимировичу удалось немца растормошить и даже поднять ему настроение. Чекист — он и на отдыхе не теряет квалификацию. К тому же «Напареули» с шампанским подготовили благодатную почву для «Столичной» с апельсиновым соком.

Владимир Владимирович ещё раз продемонстрировал свой талант психолога.

Насмотревшись на смазливую пижонскую публику и ощутив себя вполне естественным звеном среди иностранцев, Ральф окончательно разошёлся. Он стал без подготовки выдавать очередные тосты, позволяя себе не совсем осмысленные шуточки и даже смеялся иногда громко и в удовольствии. Прямо как дома, на Каховке.

Дуэт двух дзержинцев состоялся.

Несмотря на разницу в возрасте, со стороны они производили впечатление довольно близких людей, открытых и хорошо понимающих друг друга.

Одним словом, друзья.

На отдыхе.

Или коллеги.

На работе.

Шефа всё происходившее радовало. Ральф постепенно приближался к столь необходимой по гэбэшному расчёту праздничной кондиции, и Владимир Владимирович не скупился на комплименты немцу.

— Вот таким ты мне нравишься гораздо больше... Глаза ожили, по щекам разлился румянец... В таком состоянии ты напоминаешь мне мои студенческие годы... Если бы ты знал, какой я заводной был... И сколько раз мне доставалось от родителей... Когда приятели отлавливали меня вечером в пятницу, то до понедельника уже не отпускали... Счастливей тех дней и ночей у меня не было и, наверное, не будет... Я до сих пор часто вспоминаю то время и ту дружбу... Нет, у юности нет альтернативы... Её попросту даже не с чем сравнить... Запомни: умение быть несерьёзным — тоже искусство... Особенно для таких серьёзных, как ты... Кстати, а почему бы тебе сейчас не пригласить сюда художника?..

В глазах Ральфа сверкнула молния.

Он даже замер со стаканом в руках.

Будто водку с соком ему за шиворот вылили.

— Пускай придёт... Что здесь такого?.. Я сразу переберусь за другой столик... Мешать не буду...

Поболтаете о своём, проведёте нормальный вечер... Меня в лицо он не знает... Да и я его только по фотографиям... Вы же с ним почти куда не ходите... Я тебе уже говорил, бери иногда инициативу на себя... Твоя работа — это редкое сочетание личного со служебным... Короче, делай так, как я тебе сейчас скажу... Поднимаешься в фойе, справа от лифтов будет телефон-автомат... Не тни время, допивай своего «молотова» — и бегом звонить... Считай, что это мой приказ... На, возьми двושку... Привыкай к полноценному московскому ритму... Ты должен успевать всё... Даже то, что не успевают остальные, понимаешь?... Жизнь не настолько бессмысленна, как иногда кажется со стороны... Скажи художнику, чтобы он поторопился и взял машину... Вы же по пятницам всегда встречаетесь... Чего он сейчас сидит дома один и скучает?... Потом вместе назад поедете... К друзьям нужно относиться бережно... А мне тут попозже отойти нужно будет, со своими ребятами встретиться, когда вернусь, не знаю... Может, и не вернусь... Да и зачем я вам нужен?... Я могу только помешать... Всё, именно так и сделаем... Про меня можно забыть... Считай, что меня здесь не было... Гуляйте от души, и «командировочных» не жалей... Но швейцару денег не давай, не надо его баловать... Скажешь: «Мы в «подвал», к Володе...» Он сразу всё поймёт...

Вернулся Ральф минут через сорок вместе с улыбающимся художником.

Предчувствия немца не мучили.

Он витал гораздо выше.

Он был во власти чувств.

На месте исчезнувшего шефа расположилась милая пара советских ребят: взрослый, с комсомольским лицом парень лет под тридцать в модном, но не по сезону тёплом костюме и совсем ещё юная девушка.

За время отсутствия юного дзержинца дыма в баре стало ещё больше.

Веселья — тоже.

Донну Саммер сменил Род Стюарт.

А уже напившиеся югославы пытались хриловатому Стюарту подпевать.

Ни Ральфа, ни художника соседи по столу не заинтересовали. Каждая из пар развлекалась сама по себе. Но в какой-то момент застольный контакт всё же произошёл. В такой обстановке он просто не мог не произойти. Ну а дальше, как бывает, слово за слово, тост за тост, от общих тем к общим интересам и общим знакомым. Обмен телефонами, адресами и обещаниями встретиться. Аксиома подтвердилась: не столько мир тесен, сколько круг узок. Тем более если этот круг заранее очерчен красным гэбэшным карандашом. Ральф не только забыл о своём шефе и его наступившем дне рождения, но и потерял всякую предосторожность. Он едва успевал бегать к стойке за очередными

порциями холодной «Столичной» с апельсиновым соком. Пожалуй, впервые так получилось, что немец был изрядно выпившим, в то время как художник лишь принялся за дело. Навёрстывать пришлось быстрыми темпами. Соседи, правда, больше улыбались, чем пили. Немец же хоть и перешёл на символические глотки, но в конце концов их набралось немало.

Владимир Владимирович, подыскав новую компанию в дальнем углу бара, периодически бросал взгляд в сторону своего прежнего стола. А через какое-то время, как и обещал, вообще ушёл.

К часу ночи подвал набился битком.

Болгар с югославами стало ещё больше.

Кого-то из них потянуло на родные песни.

Кого-то — на родные танцы.

Появилось несколько типично западных физиономий.

Непонятных русских вокруг тоже хватало.

Профессиональные валютчики от гэбэшников внешне мало чем отличались.

Так же как проститутки внешне мало чем отличались от порядочных советских девушек.

Ральф уже забыл, почему он оказался в «Белграде».

Он давно потерял шефа из виду.

И даже не искал его глазами.

А шеф тем временем действительно отмечал свой день рождения, самый настоящий, по папорту.

Наверху, в ресторане, за тем же столиком, за которым ещё несколько часов назад он ужинал с Ральфом. Однако на сей раз в компании отдежуривших сослуживцев.

Мавр своё дело сделал.

Причём план его сработал на сто процентов.

Немец уже мало что соображал, наслаждаясь подаренной ему свободой и счастьем.

И был вдребезги пьян.

Когда на следующий вечер Ральф собрался в общежитие для очередного телефонного разговора с родителями, художник протянул ему большой конверт. Но попросил до отъезда в Германию не открывать.

*«Лично тебе лично от меня».*

Других надписей на конверте не было.

Ральф спрятал конверт под рубашку.

Чтобы не привлекать соседское внимание.

Однако эта предосторожность значения уже не имела.

Как не имели значения весна, счастье и всё остальное.

Было поздно.

Из окна художник смотрел Ральфу вслед, пока тот не сел в троллейбус.

Но немец так и не обернулся. Разве мог он предположить, что с этого момента он ничего не будет знать о своём русском друге целых семь лет?

Через пару минут к подъезду подъехала чёрная с затемнёнными стёклами «Волга».

Одновременно спустившиеся со второго этажа оперативники позвонили художнику в дверь.

Семёрка — число магическое.

#### 45.

Гэдээровская родина встретила своего будущего историка свежим морским бризом, солнцем и вязкими родительскими поцелуями.

Да здравствуют каникулы!

Да здравствует месяц безделья!

Два года учёбы и практика позади.

И всего лишь три — впереди.

Ростокский дом ожил.

Дом наполнился светом.

Особенно кухня.

Крохотные семь квадратных метров предстали во всём своём неприхотливом уюте. Полевые цветы прямо в стакане, забавные детские аппликации на занавесках, радиоприёмник, включённый на волне популярных немецких шлягеров вперемешку с не очень горячими гэдээровскими новостями. Ровно год в доме не было подобного переполоха. И вот долгожданная радость. Слегка накрасив губы по случаю приезда сына, мать суетилась в новеньком бордовом, цвета помады, фартуке. Гладковыбритый отец надел белую накрахмаленную рубашку и с умным видом расхаживал по квартире, давая жене полезные советы.

У сына тоже не получалось сидеть на одном месте. Он то выглядывал в открытое окно, за которым, оказывается, ничего не изменилось, то смотрел на себя в зеркало, прилизывая свой взъерошенный чубчик.

Однако по-настоящему взрослость Ральфа проявлялась в минуты, когда он начинал рассуждать о политике. В последнее время это стало его любимым занятием. Сразу чувствовалось, что смыслённый юноша был в курсе всего происходящего на планете. Его волновали и события в революционной Никарагуа, и упорное душманское сопротивление в Афганистане, и холодная война с ядерной гонкой вооружений, и даже растущая безработица на соседнем немецком Западе. Будущий историк, а в перспективе политик, уже созрел для собственных версий и прогнозов, научившись самостоятельно добывать информацию из скурых газетных строк. Всё-таки не зря он провёл два года на Ленгорах и год на Лубянке. Так что его компетентность и накопленный опыт, его политграмотность и политинтуиция в глазах родителей не вызывали сомнения.

Они слушали сына.

Не перебивая.

Как слушают партийного лектора в актовом зале.

Они доверяли сыну и его оценкам.

«Ничего, что ещё не муж, но уже и не ребёнок», — вздохнув, заметила про себя мать.

«Да, боевого парня мы вырастили», — мелькнула мысль в голове отца.

Ральф говорил убедительно и размеренно, но не боялся перескакивать с одной темы на другую. Он хотел охватить весь мир и все его проблемы сразу.

По ходу помогая матери накрывать праздничный стол.

После дороги он проголодался.

Конечно, блёкля жареная селёдка и не менее блёклый салат «Картофельный» явно уступали северюге по-московски и салату «Столичному». А бутылка вина местного разлива не обещала утончённого вкуса сухого «Советского шампанского». И всё же ростокское семейное торжество по-прежнему оставалось для Ральфа неповторимым событием.

Мама, папа, партия, Родина — всё было в нём.

И сам он преобращался.

Превращаясь в истинного патриота.

И примерного семьянина.

Эти два понятия были в его сознании неразделимы.

Большую часть своих гэбэшных секретов сын поведал маме с папой в первый же вечер.

Надо же было поделиться личными успехами.

Надо было и отчитаться.

Никогда ещё в домашней обстановке Ральф не выглядел настолько важным.

Настолько твёрдым и категоричным.

Он выверял каждый взгляд.

Взвешивал каждое слово.

А сочетание «Владимир Владимирович» выговаривал с особой фонетической тщательностью.

Разговор шёл полушёпотом, при выключенном телефоне и накрытой материнской шалью настольной лампе. Конспирация — она и в Ростове конспирация. Штази ни в чём не уступала советским братьям-коллегам в слезке за своими. Родители это знали и слушали сына с такой тревогой на лицах, словно его жизни угрожала страшная опасность. Гордость, конечно, в их душах тоже присутствовала, однако на лицах она была едва заметна, утопая в полумраке. Сейчас на первый план выходили вещи куда более значимые. Сейчас речь шла о категориях государственного масштаба. А может, и мирового.

Перед сном Ральф решил ещё раз прогуляться по квартире. За время отсутствия студента всё в ней осталось на прежних местах. Никаких особых приобретений. Никаких видимых перестановок. И это ощущение старомодности его не раздражало. В Москве порой он даже тосковал по этой чуть наивной обстановке. Здесь не надо было ни за кем шпионить. Здесь не надо было ни от кого прятаться. Здесь всё было связано с его детством. Если не считать московских фотографий, появившихся на стене над письменным столом.

Ральф подошёл ближе.

Чтобы взглянуть на них своим ростокским взглядом.

И на несколько секунд выключился из реальности.

Виды русской зимы тут же вернули его на Каховку.

И ко всему, что было с ней связано.

Ральф задумался.

«Россия и Германия — две разные планеты».

Разные, но обе достойные его любви.

Потом Ральф достал из чемодана привезённый втайне от железного Владимира Владимировича конверт, открытый ещё в поезде.

И прикрепил рядом с фотографиями ещё один — самый главный свой портрет.

Работы художника.

Мама с папой были в восторге от чернильной графики.

И долго расспрашивали сына о его друге.

Ральф рассказывал с вдохновением.

Забыв об усталости.

Но в какой-то момент он осёкся.

Чтоб не наговорит лишнего.

Ральф опять задумался.

И родители не стали его отвлекать.

Оказывается, авангардист умел не только каракули на холсте черкать. Для юного дзержинца это стало настоящим откровением. Куда пропал этот странный русский, немец, разумеется, догадывался. Но даже себе лично он боялся в этом признать. Всё произошедшее месяц назад настолько его напугало, что от его почти родственных чувств осталась одна жалость.

Тайная горькая жалость.

Которая проявлялась обычно ночью, в темноте, когда голова уже покоилась на подушке.

И которая иногда доводила до слёз.

## Часть 2

### *Drang nach Westen*

*Если воспринимать Историю буквально, как безбрежную вселенную человеческих историй, тогда, наверное, и сама профессия историка покажется во сто крат достойнее, благороднее и деликатнее.*

*Измена как высшая форма прозрения.*

*Прозрение как высшая форма измены.*

1.

Стена.

Пала.

В одночасье.

В прямом эфире.

Под дулами телекамер и молчавших на виду у всего мира «калашниковых».

Холодная война досрочно определила победителя.

К удивлению самих же победителей.

И на правах прокурора загнала в угол победённых.

Москва, чуть потрепыхавшись, сдалась.

Бульдозерам был дан зелёный свет.

Бульдозеристам — флаг в руки.

Архитектурный символ новейшей Европы рухнул.

Оставив после себя только мёртвые имена перебежчиков-неудачников на отполированной глыбе да пыль с осколками на сувениры.

Время понеслось исправлять свои ошибки.

Скальпелем по живому.

И заодно совершать ошибки новые.

Не думая ни о клятве Гиппократа.

Ни о последствиях.

Время заторопилось.

Пока Москва вдруг не прозрела.

Не протрезвела.

И не нажала на самую опасную из всех в мире кнопок.

Расчёт психологов подтвердился.

Надежды Голливуда оправдались.

Горби струсил.

Выдав трусость за разум.

А отсутствие воли — за политкорректность.

Рукопожатиям бывших врагов не было конца.

При этом лица победённых сияли даже ярче лиц победителей.

Так Западному Берлину выносили приговор.

И в конце концов вынесли.

Европа неожиданно лишилась центра тяжести.

А вместе с ним — самой эрогенной своей зоны.

Будто её никогда и не было.

Шедевр умер.

Шедевра не стало.

Ни на карте.

Ни в мыслях.

Ни наяву.

Осси восторженными толпами рванули через заветную черту и за считанные часы превратили изысканный постмодернистский город в плацдарм национального единства. В большой базар. В большой вокзал. В большой бордель. Осси любили всё большое. И эта коллективная любовь была прямо пропорциональна их ненасытному воображению. Они хотели всё и сразу. Они заглядывали в каждую витрину и на глаз примеряли всё на себя. Они торопились скорее потратить подпольно накопленные мелкими купюрами западные марки, подолгу не выходя из дешёвых ресторанов и заваленных барахлом секунд-хэндов. А по вечерам, уставшие от свалившейся с неба вседозволенности

и обострившихся собственных капризов, осси тащили домой переполненные сумки «стратегических» покупок и доексов-подарков от щедрых на залежавшиеся товары продавцов. Они выглядели одновременно возбуждёнными и растерянными. Вмиг разбогатевшими и осознавшими прошлую бедность. Счастливыми (в глазах своих) и комичными (в глазах западных земляков). Сами они этого не понимали. Потому что мечтали во что бы то ни стало избавиться от надоевшего «восточного» клейма и стать полноценными веси. Однако чем активнее они мечтали, тем меньше у них оставалось шансов почувствовать аромат и шарм открывшегося перед ними неповторимого постмодернистского мира. Мира, однажды отравившегося от мира остального. И пустившегося в открытое межвременное плавание. Впрочем, кому нужна была эта виртуальная утончённость? Осси были гораздо приземлённее. Они видели в Западном Берлине зажиточный Запад. И этого им было вполне достаточно. Банальное «хлеба и зрелищ» взяло верх за явным преимуществом. Чужое пиво казалось вкуснее и пенистее. Чужие трамваи — стремительнее и проворнее. Чужая ночная жизнь — не только разнообразнее, но и сексуальнее. Свобода всего за одну ночь стала самым выгодным платёжным средством во всём. От мелкорозничной торговли до оптовой политики высшего пилотажа. Упокорна и многочисленных исторических деклараций теперь была единая цена. Всё подчинялось ISO. Всё превращалось в гипермаркет. Кому-то удавалось удачно продать компромат на прошлое, кому-то задёшево приобрести девственность, а с ней и сытое будущее. Свобода всё поощряла и всё оправдывала. Свобода заставляла жить по новым, ею же придуманным правилам. Свобода зарабатывала себе на памятник. Она не допускала ни сомнений, ни инакомыслия. Разве революционной массе могло прийти в голову, что, разрушая Стену, осси тем самым разрушают не только Восток, но и Запад? Ибо они с одинаковым воодушевлением ненавидели обоих монстров цивилизации. Первого — за всё посредственное и тусклое, что ежедневно мелькало перед их носом. Второго — за всё яркое, модное, блестящее, что они созерцали по вечерам лишь на вражеском TV и что им, увы, не принадлежало. Теперь наконец-то к ним пришла свобода в полной своей красе. А вместе с ней и надежда на обладание всем ярким, модным, блестящим. Теперь понятие «вражеское» их больше не пугало. Потому что «вражеским» отныне вокруг становилось всё. Даже они сами.

Ральф сразу полюбил Берлин.

Который легко заменил ему Москву.

У этих городов оказалось немало общего.

И длительные прогулки бывшего москвича и нынешнего берлинца это подтверждали.

О Ростке он и думать не хотел.



В провинции ему было не развернуться.

Столица давно стала его призванием.

Не было в Германии ни одного города, который мог бы заменить ему Берлин.

Потому что ни в одном немецком городе не было так много и от Запада, и от Востока одновременно.

Здесь даже у истории вырисовывались два лика.

Раньше от Бранденбургских ворот начиналась Стена.

Теперь у знаменитых ворот этой Стеной торговали.

По десять евро за миниатюрный целлофановый пакетик.

Скупые могли поторговаться.

И продавцы быстро сдавались.

Рядом на прилавке лежало всё, что хоть как-то напоминало о бесславно-славном гэдээровском прошлом.

Недостатка в покупателях никогда не было.

То ли настоящее приелось.

То ли от побед скукой повеяло.

Парадокс?

Нет.

Просто причина поменялась местом со следствием.

Во всяком случае, на одной отдельно взятой площади.

## 2.

Ральф сидел у открытого окна.

Гольф.

Небритый.

На кухне своей берлинской квартиры.

На пятом этаже.

В Пренцлауербере.

Ральф сидел, любя свертывающимися мокрыми крышами соседних домов.

Только что закончился дождь.

Выглянуло июньское солнце.

И вид из окна не мог не ласкать взгляд.

Свобода.

Полная внутренняя свобода.

О которой когда-то нельзя было и мечтать.

Талантливый историк, он же — неудавшийся политик, он же — счастливый обладатель пособия по безработице, никуда не торопился. Серьёзные дела не обременяли, а о несерьёзных можно было забыть. Поэтому скромный обед в одиночестве затянулся до заката и незаметно перешёл в ужин. Бутылка недорогого итальянского вина и половинка расплавленной в микроволновке замороженной пиццы постоянно присутствовали в его пятничном меню. С пиццей не нужно было возиться. А любимое красное сухое в сочетании с несколькими сигаретами придавало уверенности в собственных силах и слабостях.

Перед походом в ночной клуб.

За весельем.

И приключениями.

Пятница в последние годы стала для Ральфа самым желанным, самым любимым днём.

Ральфу нравилось, когда в пятницу, ближе к вечеру, немецкий обыватель менялся до неузнаваемости. Независимо от происхождения. Независимо от успехов прожитой недели. Будничная озабоченность и профессиональные штампы брали двухсуточный тайм-аут, уступая место легкомыслию, перверсиям и капризам.

Германия на выходные не делилась на осси и весси.

Без стеснения снимая с себя все одежды, она делилась исключительно на активных и пассивных.

Всё остальное и тех, и других одинаково не волновало.

Вот когда Германия становилась по-настоящему единой и могучей.

Включая большинство из семнадцати миллионов переродившихся граждан.

Ральф был одним из них.

Одним из бывших.

Одним из настоящих.

Увы, мечты мамы с папой не сбылись.

Сказка подвела своих сочинителей.

Ростокский пузырь лопнул.

И было не важно, по чьей вине.

Перспективы активиста-эфдэтовца исчезли с горизонта по причине исчезновения самого горизонта. Девять месяцев стажировки в вождённом миде не успели принести результатов. Ну а потом... Потом ни от рядового чиновника Ральфа, ни от доживавших свой карьерный век его начальников уже ничего не зависело. Московская перестроечная оттепель с эпидемической скоростью разливалась по Европе, превращаясь в материковый потоп. Ввергая в пучину небытия не только отдельных секретарей, председателей и президентов, но и целые государства. Правда, за полгода до потопа красnodипломник истфака мгу всё-таки успел защитить своё «кандидатское» творение и с тех пор по немецким стандартам стал публично именоваться доктором. Конечно, новое звание грело душу извечному отличнику Ральфу. Однако на том перечень его достижений обрывался. И даже поспешный выход из родной СЕПГ сразу после защиты не помог.

Подвело время.

Подвели приливы и отливы.

Подвели Рейган с Горби и Кодем.

Подвела Стена.

Подвела толпа.

Подвели бестолковые кремлёвские путчисты.

Подвели ставшие за одну ночь демократами «прозревшие» советские коммунисты.

Подвели немцы.

Подвели русские.

Подвели чехи, венгры, болгары.

Подвели мстительные поляки.

Подвели кровожадные румыны.

Подвели все.

И бывшие враги, и бывшие кумиры.

Впрочем, Ральф тоже себя подвёл. Он больше не интересовался войнами и пролетарскими революциями. Отныне он был равнодушен ко всему, что происходило в чужих странах. Ральф выпал из мирового исторического процесса. Даже за своей объединённой Родиной он наблюдал без особого ажиотажа. Политика перестала быть для него потребностью. И он с тихим презрением относился ко всем, кто был с ней связан. И к правительству, и к партиям, и к журналистам. С доверием в новой Германии было, правда, сложно. Ну как бывший гэдээровец мог доверять тем, кто за одну ночь лишил его светлого будущего? Да и светлого прошлого заодно.

Пламенный гэдээровец больше не относил себя к прогрессивной половине человечества. Хотя к остальной её части он тоже не проявлял интереса.

Ральф к массам поостыл.

Ральф на человечество был обижен.

И не мог простить ему своего поражения.

Тем не менее, сдаваться молодой доктор не собирался. Он лишь делал вид, что смирился с неизбежностью. На самом деле он продолжал бороться. За своё место под немецким солнцем. За своё участие в параде под немецким флагом. И не важно, в каком качестве. Старые принципы постепенно отмирали, а в новых не было никакой необходимости. По совету загоревавших мамы с папой он даже готов был перестроиться. Почему бы и нет? В конце концов, вокруг все осси спешно перестраивались. Никто зря времени не терял. Но как это сделать бывшему штазисту? А если станет известно о его гэбэшных подвигах? Может, пойти «куда надо» и самому всё рассказать? Вдруг простят? Или вдруг этот злополучный гэбэшный опыт кому-то пригодится? Безусловно, мама с папой плохого не посоветуют. Однако одного родительского благословения было маловато. Надо было найти чистокровного, заслуженного весси, который мог бы перед новыми властями поручиться за раскаявшегося доктора. Протекция — священная корова при любом строе и при любом режиме.

Сделав глоток вина, Ральф закурил сигарету.

Разве мог он раньше позволить себе столько времени проводить без серьёзного дела? В последнее же время такое случалось с ним нередко. Менялись не только приоритеты. Менялись и представления о серьёзности. За бутылочкой сухого он не заметил, как наступил вечер. Хотя крыши соседних домов уже давно погрузились в темноту. Ральф не спешил включать свет.

Берлин уходил в подполье.

Берлин прятался от взглядов посторонних.

Привезённые на память из Москвы куранты с кукушкой открякали одиннадцать раз, напомнив о походе в ночной клуб.

Двадцать три ноль-ноль — сбор товарищей.

«Не опоздать бы...»

Перепроверив ход стрелок по часам наручным и пересчитав деньги в портмоне, счастливый обладатель пособия по безработице с ещё незабытым русским размахом допил последний бокал.

И достал из гардероба чёрные кожаные штаны и чёрную кожаную куртку

Высокие кожаные ботинки и кожаный картуз довершили комплект.

Ночь звала.

Ночь манила.

Раскрывая свои кожаные объятия.

Перед выходом Ральф остановился на несколько мгновений перед зеркалом.

Покрутился влево, вправо.

Надушился одеколоном.

Поправил очки.

Надушился ещё раз.

И, несмотря на колючую небритость, нашёл себя соблазнительным.

После чего страстно хлопнул ладонью по гладко обтянутому ягодицам.

Градус настроения резко подскочил вверх.

Человеку всегда приятно, когда он себе нравится.

Значит, есть шанс понравиться другим.

У ночи вырисовывалась перспектива.

Воображение рисовало целую вереницу интриг.

И у каждой была своя изюминка.

Да, было к чему стремиться.

При этом не к чему было придраться.

Ральф скорчил шутливую гримасу.

Какие позволял себе в детстве.

И сам же в ответ этой гримасе улыбнулся.

Именно такой улыбкой он поприветствует через час своих друзей.

Пора было ехать.

На Виттенбергплатц.

### 3.

С Владимиром Владимировичем и его людьми повзрослевший дзержинец не встречался уже более года. Русские неожиданно все исчезли. Без предупреждений и объяснений. В конце концов Ральф списал всё на перестройку и развал Союза. Поначалу он волновался, не спал ночами, перебирая в голове всевозможные варианты и их последствия, а спустя несколько месяцев смирился. «Оно, наверное, к лучшему». Появлялась надежда, что его лубянская жизнь постепенно отойдёт в небытие. К тому же немец старался реже вспоминать о своих московских университетах. С одной стороны, чтобы не бередиť душу былой личной востребованностью. С другой,

чтобы не мучить себя различными постсоветскими страхами.

Однако КГБ не та служба, которая исчезает из жизни сексота по первому сексотовскому требованию. *Perpetuum mobile* не существует в прошедшем времени. *Perpetuum mobile* — это навсегда. Причём, в отличие от сопливых историков, пророков и аналитиков, КГБ на собственных ошибках и поражениях учится. Демонстрируя поразительную изворотливость и выживаемость. Так что хоронить лубянского монстра, как помпезно хоронили серпасто-молоткастый Союз, было преждевременно. Пугливый Запад от переизбытка чувств несколько погорячился. На радостях захлебнувшись своими же иллюзиями и шампанским. Гэдээровец, будучи до мозга костей дзержинцем, это осознавал. Да и опыт, которым он ещё совсем недавно гордился, подсказывал. Так что вряд ли стоило удивляться, когда однажды его разбудил ранний телефонный звонок.

— Привет, *Genosse!*.. Как дела?.. Как Берлин?.. Надеюсь, ты меня узнал...

— Конечно, узнал... У меня всё нормально... А как там Москва?..

— Я не в Москве... Я сейчас гораздо ближе, в Дрездене... Знакомлюсь с достопримечательностями... Столько раз объехал всю Германию, а очень многого, оказывается, ещё не видел...

Чем занимался Владимир Владимирович в богатой достопримечательностями Германии, Ральф, ясное дело, догадывался. И вряд ли он мог заниматься чем-то другим. Кадровый офицер КГБ говорил уверенно, на едином дыхании, без лишних слов и эмоций. Без присущих ему тактических вступлений. При этом голос его казался даже твёрже, нежели он обычно звучал в Ральфовой памяти. «Нет, такого не перестроить...» Что одновременно и радовало, и огорчало. Какие бы события ни происходили за последнее время в бывшем СССР и вокруг него, на авторитет шефа в глазах Ральфа они не влияли. Железный Владимир Владимирович всегда вызывал у Ральфа уважение. Несмотря на то, что после отъезда историка из Москвы они виделись довольно редко. Даже статьи в германских газетах о злодеяниях КГБ этого отношения не коснулись. Ральф с детства преклонялся перед силой. И никогда этой своей слабости не изменял. Во всяком случае, до сих пор. Хотя жизнь под общей крышей со вчерашними идейными врагами требовала от бывшего марксиста-ленинца не только покаяния, но и отказа от старых привычек и вкусов. Наступала эра новой силы и новых подчинений. Наступала эра новых образов. С этим нельзя было не считаться. И всё же Ральф не «сдавал» себя подчистую. Не зря объединённая Родина подозревала многих восточных сыновей в неискренности и потому не торопилась их прощать. Прощение надо было

ещё заслужить. Но тайные интимные слабости обладают неким особым иммунитетом. К истории и географии в том числе.

— ...

— Чего замолчал?..

— Я ещё спал...

— Спал?.. На тебя не похоже... Посмотри на часы... Все чиновники уже давно по офисам сидят... А ты бездельничаешь... В Москве, между прочим, с дисциплиной у тебя порядок был... Нельзя выбиваться из режима... Помнишь, какой сегодня день?..

Немец не сразу сообразил, что имел в виду шеф. То ли отвык от своего московского бытия и русской манеры общаться, то ли подумал, что в этом странном вопросе скрывается информация. — Какой?

— Понедельник...

— Ах да, понедельник...

Видимо, Владимир Владимирович ожидал более радостной реакции от Ральфа. Ему явно не понравилась вялость его бывшего подопечного. — Именно что понедельник... Есть дни, которые из памяти выбрасывать не стоит...

— ...

— Ладно... Я тебе звоню по другому поводу... Нам нужно поговорить...

— Я не могу приехать в Дрезден... Ко мне завтра родители приезжают...

— Нет проблем... Ты же знаешь мою мобильность... А ваши расстояния — не наши... Ближе к вечеру я буду в Берлине... Можно вместе поужинать... И желательно на востоке... Как ты на это смотришь?..

— Хорошо... Где?..

— В пяти минутах от твоего дома... В ресторане «Пастернак» бывал?..

Владимир Владимирович дал понять, что он в курсе событий, происходящих в жизни Ральфа. Что он всё ещё человек с Лубянки, которому известно всё. И это производило впечатление. В Берлине Ральф начал потихоньку пренебрегать своим советским прошлым. Но кто сказал, что это прошлое безвозвратно исчезло? Стена оказалась не более чем символом. Гэбэшный дух, он и в огне не горит, и в воде не тонет. А такие природные катаклизмы, как *perestroika*, его только закаляют. До ещё не совсем проснувшегося немца не сразу дошло, что в нынешнюю квартиру в Пренцлауэрберге он переехал всего полтора месяца назад. И никому, кроме родителей, ни нового адреса, ни нового номера телефона не давал. «Что толку, что Союз развалился?.. По сути ничего не изменилось...» Ральф хмыкнул себе под нос. Немного народу осознавало, что толку от этого развала было действительно мало. На одной шестой части земной суши всё осталось по-прежнему. И хозяин там остался прежний. КГБ не знает усталости. КГБ

не знает границ. *KGB — forever & über alles*. Запад так и не понял, что Советский Союз — понятие не столько географическое, сколько неистребимо-биологическое.

Немца бросило в лёгкий жар.

— «Пастернак»... Да, это рядом со мной... В нескольких кварталах...

— Тогда в восемь?..

— В восемь...

— Давай... Спи дальше...

Ральф вздохнул.

Владимир Владимирович положил трубку первым.

Короткие гудки резанули слух.

Была в них не только тревога.

Они напоминали обрывки автомобильной сирены.

Будто кто-то пытался разбудить водителя, заснувшего в пробке за рулём.

Неожиданно дало о себе знать горьковатое похмелье минувшего уикенда.

Стакан газировки оказался кстати.

Помогло.

И слегка успокоило.

Отдалённо напомнив вкус грузинской «Боржоми».

С закрытыми глазами немец пролежал бы ещё долго.

Но кукушка в очередной раз напомнила о реальности.

Она никогда не ошибалась.

Ральф уже давно не просыпался так рано.

Что мог означать сегодняшний звонок?

То ли прошлое возвращалось.

То ли будущее наступало.

Вот только оптимизма от этого не прибавлялось.

Ральф лениво потянулся.

«Как же скучно спать одному...»

В комнате вдруг стало не по-утреннему жарко.

«Может быть, правда через пятьдесят лет в Берлине будут пальмы расти?..»

Ральф настезь открыл окно, и ворвавшийся городской шум безжалостно добил его сон.

Ральф окончательно проснулся.

#### 4.

— Пастернака читал?

— Нет, не читал... Раньше было нельзя, а сейчас меня он мало интересует... Я уже забыл, когда русскую книгу в руках держал...

— Не надо так пессимистично... Это временно...

— Может быть... Я не зарекаюсь... Может быть, когда-нибудь я вновь увлекусь всем русским, как в школе... Может быть, я и до Пастернака однажды доберусь... Если чаще сюда приходиться буду... В этом ресторане, кстати, всегда полно народу... И в основном молодёжь... Несмотря на мрачную

обстановку и специфическое музыкальное ретро... Немцев всегда тянуло к тёмным символам... Это у нас в крови... Вот почему всё советское сейчас в Германии модно... Начиная от серпа с молотом, икры и водки и заканчивая бывшими диссидентами... С их несгибаемым мужеством и лагерным творчеством... Буквально на всех телеканалах... Кому не хочется прикоснуться к эпохе в ранге победителя?.. И совсем не важно, говорят ли в студии о кислых русских щах или об «Одном дне Ивана Денисовича»... Немецкий обыватель у экрана верит всему без разбору... Считая своим христианским долгом поплакать на чужих развалинах...

— Я обратил на это внимание... Многие немцы, с которыми приходится разговаривать, мне часто сочувствуют... Бывает даже, чуть ли не слёзы льют... Причём жалеют не столько меня лично, сколько всю страну в целом... Западные — тоже... Вот парадокс... Похоже, теперь им скучно без нашей империи...

— Теперь все, кто ненавидел Союз, вдруг резко полюбили то, что от него осталось... А те, кто хоть раз бывал в СССР или прочитал пару запрещённых там книг, открыто называют себя экспертами по перестройке... Хотя до сих пор Грузию от Узбекистана не отличают... Да и зачем им это надо?.. Они в лучшем случае повторяют то, что слышат по телевизору...

— Ладно, Бог с ней, с политикой... И заодно с запутавшейся в себе историей... Всё равно мы ничего сейчас не изменим... Давай лучше поговорим о чём-нибудь более полезном... Между прочим, мне в этом полумраке нравится... Такая таинственная, почти подпольная атмосфера... С одной стороны, чувствую, что нахожусь в Берлине... А с другой, всё вокруг напоминает советские фильмы о довоенной Германии... Даже Козин с Виноградовым вписываются в эту обстановку... Неожиданное сочетание, не правда ли?.. Удивительно, но некоторым немцам такая музыка правда нравится... Несмотря на то, что ни слов не понимают, ни о судьбе самих певцов ничего не знают... Вот тебе и русско-немецкая непохожесть...

— Мне, кстати, это ретро нравится... У меня дома даже есть пластинка Виноградова...

— А знаешь, почему я бэфстроганов с гречкой заказал?.. Это любимое блюдо Пастернака... Мне один писатель в Москве рассказывал... И хозяин ресторана наверняка об этом слышал... Иначе откуда оно взялось бы в главном меню?.. Ты же знаешь, как у вас относятся к гречке... И к разным прочим кашам...

— А я гречку люблю... Ещё с общежитских времён... В нашей эмгэушной столовой она всегда была... С мясом, рыбой, с горячим молоком... Так что я с удовольствием сейчас и гречку поем, и Ленгоры вспомню...

— Ты что, уже всё забыл?..  
 — Нет... Да и вряд ли это возможно... Просто в последнее время столько всяких проблем, что не успеваю опомниться... Для сентиментальности нужно стечение обстоятельств... И подходящее настроение...  
 — А что с работой?..  
 — ...  
 — На пособии вечно держать не будут...  
 — Пока тишина...  
 — А перспективы?..  
 — Кому сейчас в Германии нужны гэдээровцы?.. Поначалу лозунги были соблазнительные... Но очень скоро стало ясно, что в раю на всех мест не хватит... Перестройка—это ведь тоже бизнес-проект... Только глобального масштаба... Какая власть захочет делиться своими лаврами?.. Проще говоря, деньгами, постами, званиями... Претендентов слишком много... И чего людям голову морочили, когда объединялись?..  
 — Не вешай нос... Надо искать таких людей, кто в тебе нуждается... Кому ты можешь принести пользу... Кто по достоинству оценит твои способности... Не зря же, в конце концов, ты закончил один из лучших университетов мира... У тебя неплохая специальность, красный диплом... Проблема не в тебе...  
 — Это уже неактуально...  
 — Не торопись...  
 — Я не тороплюсь... Жизнь торопится...  
 — Перестань умничать... Это неблагоприятное занятие, которое только вводит в заблуждение...  
 — Уже три года прошло, как я получил доктора...  
 — Не всё так черно, как порой кажется... Учись ориентироваться в новом пространстве... Учись, не изменяя себе, быть современным и актуальным... Помни о своих лучших качествах...  
 — ...  
 — Есть любопытное предложение... Для чего я, собственно, и приехал...  
 — ?..  
 — По Москве не соскучился?..  
 — ?..  
 — Как тебе вариант поработать в наших архивах?.. На самом высоком уровне... Есть интересные документы... Всего несколько недель назад с них сняли секретность... Из иностранцев их ещё никто не видел... Заодно материал для докторской наберёшь... Кстати, это совместная идея с немцами... Подчёркиваю, западными... И ты будешь единственным гэдээровцем... Причём приглашение получишь напрямую от немецкого фонда... Всё будет солидно и официально... Мы организовали тебе отличную рекламу, никто не подкопается... Буквально завтра на твой адрес придёт большой конверт... Прочтёшь договор, подпишешь и вместе с фотографиями на документы отошлешь по обратному адресу... Остальное

тебя уже не касается... У меня с ними железная договорённость... Я гарантирую... Два года престижной работы с приличной западной зарплатой... Плюс авторитет среди серьёзных западных коллег... Плюс шанс закрепиться на длительную перспективу в научных кругах... Пора навёрстывать упущенное... И последнее, но главное: твоя зарплата—на самом деле это мелочь... Мы вместе сможем зарабатывать приличные деньги... В России наступило время больших денег... Упустим шанс—останемся ни с чем... О деталях поговорим потом, уже в Москве... Ну как тебе предложение?..  
 — От такого трудно отказаться...  
 — А и не надо отказываться... Не вижу причины... Когда ещё представится возможность поработать по специальности за солидное вознаграждение?.. Не бойся смотреть в будущее... Нужно вычерчивать новую линию жизни... С учётом всего происходящего вокруг... Мы будем продолжать бороться... Как это делали раньше, в Москве... Да, за последние годы негатива в мире накопилось в избытке... Но кто сказал, что мы проиграли?.. Не всё лежит на поверхности... По большому счёту, война никогда не заканчивается... А мир—это так, рекламная пауза... По-моему, нас недооценили... Смеётся по-настоящему тот, у кого остались силы смеяться...  
 — У меня нет слов...  
 — Я хочу услышать твой конкретный ответ...  
 — Согласен...  
 — Узнаю прежнего Ральфа... Дай я тебя хлопну по плечу... Молодец, не раскис, как многие... Меня это радует... По сему поводу стоит выпить что-нибудь покрепче... Чтобы Москву напомнили... А нам с тобой правда есть что вспомнить...  
 — Водка «Горбачёв»?..  
 — Нет-нет... У меня с этим именем дурные ассоциации... Что угодно, только не «Горбачёв»... Может, «Столичную» закажем?..  
 — Я не против...  
 — Это лучшая на свете водка... Это лучший на свете крепкий вкус... Разве можно с ней что-нибудь сравнить?.. Да, совсем забыл... Должен тебя обрадовать... Твоего друга, художника, несколько месяцев назад выпустили на свободу... По амнистии... Ельцин подписал... Теперь у нас за круги и квадраты больше не сажают... И диссидентов у нас больше нет... У нас теперь тоже демократия... Пускай рисует себе на здоровье...

## 5.

Последняя новость Ральфа ошеломила.

Придав ночи особый привкус.

Радость, волнение, надежда—всё перемешалось в мутных сL-ях<sup>3</sup> ледяной «Столичной».

.....

3. Европейская единица измерения крепкого алкоголя, 1 сL = 10 миллилитров.

Придя домой, немец решил сразу же позвонить в Москву, на Каховку.

Номер телефона он помнил наизусть.

Впрочем, наизусть он помнил практически всё, что касалось художника.

Ральф рвался не просто поговорить.

Ему не терпелось узнать, думал ли о нём художник все эти годы.

Ральфу хотелось пригласить его в Берлин.

А может, и в Ростов, на выходные, с мамой-папой познакомиться.

Чтобы всем вместе отобедать жареной балтийской сельдью.

Родители до сих пор восторгались чернильным портретом сына.

Теперь по их инициативе рисунок висел под стеклом и в деревянной раме.

На самом видном месте.

Но в первую очередь Ральф хотел окунуться со своим московским другом во все соблазны ночного Берлина. Показать ему все закоулки Виттенберг-платц. И остаться там до рассвета.

Мысли наперебой будоражили воображение Ральфа.

Но мечты мечтами.

А встретиться тянуло прямо сейчас.

Многое немец отдал бы за то, чтобы сию минуту очутиться на Каховке.

Две тысячи километров — не расстояние.

Семь лет — не вечность.

Подняв телефонную трубку, Ральф собрался с духом.

Давно он уже с духом не собирался.

И даже не по-пьяному бодро откашлялся после набора последней цифры.

Сколько раз немец репетировал в своих фантазиях этот звонок! Сколько раз он рисовал себе по ночам их первую с художником встречу после долгой лагерной разлуки! Однако то ли репетировал плохо, то ли, наоборот, переусердствовал в своих представлениях, то ли ещё что. Но в решающий момент, вопреки ожиданию, всё рухнуло. Буквально спустя мгновение, услышав безразлично-холодное «алло», Ральф вдруг растерялся и, не произнеся ни единого звука, резко бросил трубку. Он сам не ожидал от себя такой трусости. Ральфу показалось, что художник в курсе всех перипетий их совместной диссидентско-гэбэшной жизни. «Наверняка он давно обо всём узнал... Или на суде... Или во время следствия... Или интуиция подсказала... Не могло же у русского совсем не быть интуиции?..» Ральф шатался взад-вперёд по квартире, не соображая, что с ним происходит. За годы после возвращения в Германию такое откровение ни разу его не посещало. Хотя вроде бы и должно было.

Ральф злился.

Но с совестью это связано не было.

Он просто злился.

И на себя, и на художника, и на своё бессилие. «Он меня никогда не простит...»

Мысли всю зарботали именно в этом направлении. Молния за молнией обжигали взбунтовавшийся мозг. Идея за идеей взрывали нетрезвое сознание. Ральф только сейчас понял, что вернуть прошлое нереально. Да и не нужно. «Так можно испортить себе поездку в Москву...» А с этим шутить было опасно. «Наверняка на Каховке телефон до сих пор прослушивают... И соседи наверняка остались те же...» Ральф впал в уныние. Если бы в эти минуты кто-нибудь увидел его со стороны, то обязательно сжалился бы над ним. Скупая мужская слеза, сползавшая из-под очков, впечатляла. И с сексотами случается подобное. Сексоты ведь тоже обыкновенные смертные.

Восторг от нарисованных Владимиром Владимировичем перспектив утонул в переживаниях о художнике.

Ральф не находил себе места.

А нашатавшись, рухнул в кресло.

«Как же отвратительно одиночество...»

«Как же омерзительно пьянство...»

В какой-то момент Ральф осознал, что не жалеет о несостоявшемся разговоре. И ему сразу стало легче. «Русские правы: что Бог ни делает, всё к лучшему...» Не часто немец вспоминал о Боге. Хотя сегодня это было как никогда кстати. И абсолютно не важно, что побудило его поставить окончательную точку в своём богатом каховском прошлом. Это уже никому не нужные подробности, так, издержки психоанализа.

Ральфа потянуло на пьяную философию.

Это типично русское пристрастие, видимо, прижилось в нём навсегда.

«В конце концов, какая разница, кто кого предал?..»

«Или кто кого простил или не простил...»

Один поезд ушёл — придёт следующий.

Сегодня Ральф расставался с самой романтической из своих иллюзий.

На следующий день все решения остались в силе.

В игру вновь вступила суровая прагматика.

В первую очередь Ральф заглянул с утра в почтовый ящик, где его ждал обещанный большой конверт.

У Владимира Владимировича слова с делом по-прежнему не расходились.

Для фото Ральф погладил белую рубашку, приготовил оставшийся со студенческих времён пиджак.

И вновь стал похож на комсомольца-эфдэтовца.

Повышенный интерес западных коллег к выпускнику главного советского вуза был обеспечен.

Подписанный договор в тот же день отправился по обратному адресу.

А через неделю пришёл утверждённый ответ. Так что можно было паковать чемоданы.

После несостоявшегося разговора с художником Ральф больше не объединял Москву и Каховку в единое личное целое.

В судьбе дзержинца бывший русский друг за одну ночь перешёл в новое качество.

Превратился в музейный запасник.

Вместе со всеми своими картинами.

Образами.

И чувствами.

Впрочем, память—одна из форм щедрости.

Ральф не стал из неё ничего выбрасывать.

Просто произошла переоценка.

Точнее, уценка.

Гэдээровец решил навести порядок в своём прошлом.

Как в шкафу.

Москвы, по большому счёту, пока это не коснулось.

Она всё ещё оставалась в фаворе.

Более того, Москва вновь становилась передовой.

## 6.

Всё течёт—всё себе изменяет.

Всё когда-нибудь созревает.

Ральф проработал в московских архивах два года и четыре месяца.

На благо двух стран.

Двух народов.

Двух спецслужб.

Но зря думал Владимир Владимирович, что он единственный шеф у гэдээровского историка.

На сей раз чекист просчитался.

Среди немецких учёных, работавших в одном проекте с Ральфом, нашёлся собственный штатный Владимир Владимирович.

Тоже умник.

И тоже модник.

Специалист по Кремлю и холодным войнам.

За спиной которого стояла хоть и менее суровая, но тоже громкая аббревиатура.

У спецслужб с наукой всегда альянс.

Независимо от специфики науки и специфики страны.

Немецкий В. В. долго и внимательно присматривался к гэдээровцу. А когда «присмотрелся», согласие последнего на сотрудничество последовало к концу первой же открытой беседы. Ральф чуть не завалился в обморок, узнав, что о нём в бывшем поместье Рудольфа Гесса под Мюнхеном давно всё известно. И в таких неопровержимых деталях, которые он сам не совсем помнил. Ральф был уверен, что его сразу выгонят из проекта. А может, и предательство пришьют по советской аналогии. Однако сам по себе историк-к.п.с.о.вед. никакой ценности для правосудия не представлял,

и ему дали возможность исправиться. То есть сдать всех, на кого он работал. Теперь уже сам Владимир Владимирович оказался под колпаком. Вот кто немцев интересовал в первую очередь. У них к поклоннику немецких достопримечательностей накопилось немало вопросов. И Ральф решил не упускать подаренный судьбой шанс искупить вину перед воскресшей объединённой Родиной. Тем более что впереди вдруг замерцала надежда. Принеся в жертву лубянского шефа без оглядки на прошлое, бывший гэдээровец заложил капитальный фундамент своего благополучного будущего. По возвращении домой его ждал успех—непыльная работа в фонде, командировавшем его в Москву. Плюс зарплата, которой могли позавидовать даже многие веси. Это стало для Ральфа заслуженной наградой за проснувшийся патриотизм. Но что особенно было важно для бывшего дзержинца как для специалиста по России—его уважали и ценили коллеги.

«Не нужно быть миллионером—достаточно иметь постоянную работу»,—когда-то Ральф учил жизни своего московского друга.

И вот Ральф её обрёл.

Квартира в Пренцлауэрберге начала постепенно заполняться не самой дешёвой мебелью, копиями шедевров известных авангардистов, бессмысленными, но симпатичными безделушками. Оказываются, вкусы, как и взгляды, тоже меняются. Мечта любого осси стать веси сбылась. Да ещё как! Костюм—из КДВ, деньги—в американском банке, продукты—из французского или, на худой конец, китайского супермаркета. Довольно скоро перед домом появился и дорогой автомобиль. Всё в кредите, конечно. Зато чувство собственного достоинства сразу перепрыгнуло через несколько ступеней.

Ральф рос.

Не по дням, а по часам.

Ральф обуржуазивался.

До полной гармонии не хватало лишь одного шага.

Но и на него Ральф решился.

Спустя год уже достаточно солидный чиновник устроил себе и личную жизнь.

Ему хотелось чего-то необыкновенного, неповторимого, желательного азиатского. И хотя Восток—дело тонкое, Ральфа это не остановило. Выбор пал на Поднебесную. То ли под впечатлением от китайской кухни, то ли поддавшегося моде европейца потянуло на экзотику. И где-то далеко, на окраине чумазого пролетарского Пекина, он нашёл свою вторую половину.

Молодой мастер восточного массажа пришёлся немцу по душе.

Высокий, стройный, симпатичный. Услужливый, доверчивый. При свечах—романтичный. Семейный, преданный. В минуты близости—лиричный.

Ральф окончательно отрезал себя от женской половины человечества.

И перестал бояться об этом говорить.

Страсть к сильному полу навсегда взяла верх.

Так одним братским союзом в Германии стало больше.

Одним перспективным холостяком меньше.

На улицах Берлина по случаю первого в истории нации массового сочетания «братьев» и «сестёр» состоялся праздничный парад.

В те дни для прессы не было более важного события.

Фото- и телекамеры не оставили без внимания никого.

Ральф возглавлял целую колонну.

Взявшись за руки с китайцем.

Наутро в Ростоке мать держала в руках свежий номер берлинской газеты.

Свадебная фотография сына—на первой полосе.

Крупным планом.

Таким сияющим она его ещё не видела.

И хотя это была другая сказка, но всё равно сказка.

Мать не могла оторваться от газеты и не заметила, как прямо у киоска её окружили соседи по дому.

Все были в восторге от Ральфа и его избранника.

Осси любили обсудить своих, достигших уровня весси.

Немолодое женское сердце заклокотало от волнения.

Ведь она была матерью этого самого молодого человека на снимке!

Отныне её сын стал известен на всю страну!

Ну и не беда, что он не пробился в политики. Главное— нашёл себя.

Покончил с сомнительным прошлым.

Устроил личную жизнь и будущее.

Мать больше не волновалась за судьбу сына.

Несколько слёз упали прямо на фотографию.

Соседи не скупились на утешение.

Они тоже гордились Ральфом.

Никто не забыл, что все они начинали в одной команде.

Слёз становилось всё больше.

Утешение становилось всё назойливее.

Но мать ни с кем не хотела делиться своими чувствами.

Такой собственницей, как в это утро, она ещё никогда не была.

Ей хотелось поскорее убежать домой.

Спрятаться от чужих взглядов.

Броситься в объятия мужа.

В эту минуту стал накрапывать дождь.

Ростокский, мелкий, противный.

И вдруг мать увидела мужа, спешащего ей навстречу с раскрытым зонтом.

Кино эпохи неореализма.

Кино как высшая форма счастья.

Мать, размахивая мокрой газетой, бросила замешкавшихся на старте соседей и тоже побежала.

Да здравствует режиссёр!

Да здравствуют Росселини с Пазолини!

Феллини со товарищи.

И чуть-чуть Фассбиндер.

Мать плакала.

Слава— время магическое.



Тина Кошкина

## Небо индиго

## Дети-эмо

В звонко-синее небо взглядеться,  
Потерять кандалы и кавычки,  
И найти во дворе чьё-то детство,  
И обрадоваться с непривычки.

И слышать знакомые ноты,  
И водить с незнакомцами дружбы,  
И водить до утра хороводы,  
И костры жечь, в них прошлое руша...

Выпить имя своё, скинуть бремя,  
Видеть всюду красивые лица  
И намеренно или на время  
В чёрно-розовое превратиться,

Чтоб вопросы отбросились сами,  
Чтобы вера в любовь не снижалась,  
Чтобы люди собак не кусали  
И любили бы жизнь, а не жалость.

Обнимались чтоб слепо и немо  
И с качель до утра не слезали...  
И кричали во тьму дети-эмо  
Фиолетовыми голосами.



Узоры рисует Сознание.  
Натёрты мозоли познания.  
Я в Зоне сию Ожидания,  
Как в луже, где жизненный лут.

Вином освежаю дыхание,  
С собою веду состязание  
И правлю Святое Писание—  
В нём люди друг друга поймут.

По ветру— как зверь на закляние—  
Лечу, как в фигурном катании.  
По лету скучаю заранее  
(Ещё не закончен июль).

Не важно, в Твери иль в Рязани я,—  
Открыто второе дыхание.  
С душою взаимокасания  
Ждёт разум, свернувшийся в нуль.

## Не как все

Все яшень любят, я ж спрошу— у ельника:  
Зачем здесь люд не весел и не рад?  
Я выхожу в астрал по понедельникам...  
И приезжаю вроде в Самарканд...

Чтобы идти по улочкам до вечера  
И— сомневаясь: *истина* ль в вине?—  
Там на базаре слопать чебуречину  
И черночая выпить в чайхане...

И в кадр попасть, когда опять не в фокусе...  
Ведь это просто жизни карусель.  
Ну и пускай опять— не слава богу всё.  
Я буду жить и дальше... не как все.

## Подобный чаю

Средь теле-линий и воздушных струй  
Лечу к тебе, надеясь на удачу,  
И шлю подобный чаю поцелуй—  
Такой же крепкий, сладкий и горячий!..

Пространство рассекая сотни зим,  
Спешу, ищу, не чувствуя усталость:  
Ведь где-то ты живёшь совсем один,  
И я в тумане жизни затерялась...

Лечу, спешу среди воздушных струй,  
И в самом деле не могу иначе...  
Лови подобный чаю поцелуй—  
Такой же крепкий, сладкий и горячий!..



Поранить легко скальпелем  
Свернуться легко кренделем  
Пора нить тянуть кабелем  
Пора быть хотя бы Гегелем

Всё искать далеко от дома  
Чай пить в чашках ловить блики  
Да бродить в полях незнакомых  
В дебрях разума превеликих

## Выбор

Кто—стабильности покорный,  
Я же—палка и сума.  
Раз сама пустила корни,  
То и выдерну сама.

Омывали в Риме ноги...  
Лучше голову омой...  
Может, мы сегодня боги?  
Это выбор твой и мой.

Если я прикинусь блошкой,  
То сидеть мне под ковром...  
Если я по жизни Кошка,  
Значит, Кошке нужен Дом.

Нами движет знак вопроса,  
Задавай любую чушь...  
Если я в душе философ,  
То с другими улечу.

Находить желаем тайны,  
Лабиринтов тьму пройти...  
Все Тропинки не случайны  
На большом одном Пути.

..Ах, пора лететь к вершинам,  
К разнообразности форм...  
«По машинам!»...

Помашите нам  
На прощание шарфом...

## В человечности

Я стремилась к безупречности,  
Распрямленье разных дуг.  
«Ты застряла в человечности»,—  
Сообщил однажды друг.  
«Побывай в гостях у Вечности»,—  
Зеланд призывал Вадим.  
Но вокруг—одни увечности,  
Но вокруг—тоска и дым...

Хватит! Кончена элегия,  
Лишь мурашки по спине.  
Не застряла в Человеке я—  
Человек «застрял» во мне.

● ● ●  
Прогуливаюсь по галактикам.  
ПРОГООГЛИВАЮСЬ по галактикам—  
Там солнечных сонм систем.

Хотелось быть астронавтиком.  
Хотелось быть космонавтиком.  
Неплохо стать хиропрактиком...  
А стала я—чёрт-те кем.

● ● ●  
Среди великих открытий  
И восходящего солнца  
За что друг с другом бороться?  
Зачем всерьёз ненавидеть?

Марать и море, и сушу...  
А там, где ныне спит Ленин,  
Идёт борьба поколений  
И делают чью-нибудь душу...

Свихнулись люди с богами.  
Едят друг друга икринки...  
Воюют бренды с новинкой...  
Воюют овцы с волками...

Удобные утилиты,  
И жизнь—занятная книга.  
Какое небо индиго...  
Какие серые плиты...

В эфире выступил Будда,  
Сказал: к границе—ни шагу.  
А я упала в клоаку  
И наступила как будто

На край вселенского ринга...  
Но в глаз попало вдруг что-то—  
Возможно, капелька пота,  
Возможно, света морщинка...

● ● ●  
Вдруг от мира с побрякушками,  
С сумасбродными буклетами  
Так устать без чая с плюшками,  
Без черничных глаз с ответами...  
Чтоб прийти в мирок со стенами  
Звучом, скрипом мыслеблудия,  
В дом, утыканный антеннами,  
И шептать, что я люблю тебя...

● ● ●  
Искусай меня, искуситель.  
Искусил меня, искусатель...  
Ты заморских краёв обитель,  
Ты наскальных времён писатель...

На душе тяжело и сухо,  
На дворе, не в пример, сыро.  
Ну снимите «Доширак» с уха!  
Можно всё ведь решить миром.

А душа-то моя ошиблась.  
Чувства—будто мешок с шилом.  
Не тому посвятить вирши  
Заблудившаяся решила...

## Дарья Кригер Ловля форели

● ● ●  
 Был четверг.  
 Шёл четвёртый год  
 Парад.  
 Кто размахивал флагом  
 В пустыне  
 Обид.  
 «А моя звезда  
 Падала  
 В закат»,—  
 Говорил  
 Евклид.  
 «Я ушёл на фронт  
 Молодой  
 Женой,  
 А сейчас уже  
 Я стальной  
 Солдат.  
 Хьюстон,  
 Слышь?»—  
 Говорит Евклид.  
 «Я не виноват.  
 Я знаком с иным  
 Представленьем  
 Тел.  
 И хотя,  
 Я любому  
 Знанию рад,  
 Я не знаю зачем,  
 Но в окопах  
 Воспел  
 Гефсиманский  
 Сад.  
 Плоскость  
 Похоти—  
 Слышишь?—  
 Всё выше над  
 Зыбкостью  
 В небе  
 Парящих тел».  
 И в квадрате окна  
 Догорал закат.  
 Треугольник  
 Пел.

● ● ●  
 Стоит принцесса Лея.  
 В душе.  
 Плачет.  
 С отяжелевших  
 Кос  
 Льётся  
 Вода.  
 Куда улетели  
 Мои корабли?  
 Что стало  
 С моей звездой?  
 Тьма засасывает  
 Воронкой  
 В слив  
 Плач,  
 Воду,  
 Душу.  
 Сосед за стеной слышит твои вздохи.  
 Он представляет, как твои пальцы  
 Вытаскивают шпильки, распускают  
 Волосы,  
 Тут же прилипающие к спине.  
 Как ты открываешь рот, ловя  
 Струи,  
 Прижимаешь ладонь ко рту,  
 Вторую кладёшь на  
 Лобок.  
 Эта картина стоит у него  
 В глазах  
 Каждое утро, когда вы  
 Сталкиваетесь  
 На лестничной  
 Клетке.  
 Сначала он хочет коснуться твоих  
 Волос.  
 Ты смотришь в его  
 Маслянистые глаза  
 Любителя порно  
 И думаешь:  
 Этот тоже ничего не знает о звёздах.

## Ловля форели

I.

Что было, когда не было ничего?  
 Каким бы ни было первое  
 Слово,  
 Люди произнесли его  
 Из-за этого растущего  
 Чувства в моей груди.  
 Я ракушка.  
 Я буду лежать на песке,  
 Пока не придёт моё время  
 Стать им.  
 Если бы я могла  
 Сдать свою душу  
 В проявку.  
 Печатайте все кадры.  
 Да, неудавшиеся тоже.  
 И потом,  
 Стоя в очереди,  
 Встретить кого-нибудь  
 С таким же фотоальбомом.  
 Смотри,  
 Мы были в одних местах.  
 Мы делали одни и те же  
 Вещи.  
 Ходили кругом,  
 Чтобы встретиться  
 Только сейчас.  
  
 Я думаю о том,  
 Как я буду тебя  
 Любить.  
 Каждое утро  
 И ночь.  
 Благодарить Бога.  
 Касаться твоего тела,  
 Пытаясь коснуться души  
 И поглотить.  
 Океан,  
 О котором невозможно молчать,  
 Бьёт лицо моё,  
 Касается щеки рукой,  
 Медленно опуская её  
 И отступая  
 Вдаль  
 Навсегда.  
  
 Ты такой прекрасный.  
 Когда мы столкнёмся на улице,  
 Пройди мимо,  
 Пожалуйста.  
 Молю тебя,  
 Невозможно и просто:  
 Никогда не существуй.

II.

Я подбираю заново слова.  
 Какой длины получатся эти  
 Бусы, сложенные из  
 Песка и пепла, жемчуга и ракушек,  
 Утреннего движения пальцев  
 Потирающих глаза?  
  
 Мне так нужно много тебе  
 Сказать о том, что мне не хватает  
 Слов. И я молчу. Птицы кричат  
 У кромки воды. Возможно, это  
 Лето потом станет словарём.  
 На одной из страниц без  
 Нумерации будет алфавит тела:  
 Дактилоскопические круги  
 На кончиках пальцев  
 Идут вниз вдоль позвоночника.  
 Бог, давший тебе этот цвет  
 Глаз, был Богом ищущим.  
 (Мой — мимо идущим.  
  
 Бог твоего Бога  
 Бросил монетку  
 В кружку  
 За идею.)  
  
 Я проснусь  
 Рано утром,  
 Будет петь  
 Осанну  
 Бирюза неба.  
 Я вздохну,  
 И выпорхнет из моего рта  
 Стая  
 Новых,  
 Ещё никем не названных  
 Слов.

## Александра Барвицкая

# Сантиметры сентября

### Обет

1.

Минуя зиму, в осень сдвинув шаг,  
В ветра любви и парус листопада,  
Весна крепилась мачтой, чуть дыша...  
Он опоздал на день. Так было надо.

2.

Он опоздал на звук. Он сбил часы.  
Секунды заменили цену—днями.  
Календари упали на весы,  
Взорвали время, вызвали цунами...

Он опоздал на жизнь. Он так решил.  
Ему молчалось: знать и верить точно—  
Расплавилась все горы от вершин,  
И лава потекла из многоточий...

Он опоздал на день. Она простить  
Рвалась, но показать не захотела.  
Слетело с губ: «Мы будем год идти  
В прикосновенье лишь души, без тела...

Ни глаз, ни рук, ни встреч не будет боле»,—  
Слетело с губ, от поцелуя влажных.  
И ей казалось, что ему не важно,  
И ей казалось, что ему не больно.

3.

Пустынный мир открыл свои границы,  
Ерошился под кожей в голове.  
Он стал ей снится, снится, снится, снится!..  
Они гуляли по молчун-траве...

Глаза открыть она боялась: бросил!  
Во снах—весна, а за окном—всё вьюга.  
Ключи от всех дверей—хватило б сил!—  
Она, вложив в стихи, забилась в угол.

В отчаянье зарылась, в сигареты.  
Сквозь дым—картины воздуха плела.  
Она кричала в стены: «Где ты? Где ты?»  
Она уже парила, не жила...

Она шипы сдирала с розы чайной  
И затыкала монитора рот.  
А он был верным. И хранил молчанье.  
Он ждал её, как вечность, ровно год.



В Твоих руках любой растает лёд.  
Прильнёт к губам созвучия волна.  
Дорожкой лунной движется вперёд—  
Бороться с притяжением не вольна.

Таким, как Ты, не говорят: «Уйди».  
Таким, как Ты, не говорят: «Прощай».  
К таким, как Ты, ложатся на груди,  
И всё равно, что дальше,—в ад иль в рай.

К таким, как Ты, не страшно убежать  
От всех миров, запрятавшись внутри.  
С таким, как Ты, любовь всегда свежа,  
Таким, как Ты, ликуют сентябри.

Таким, как Ты, молчаньем тешат слух,  
От нежности купаясь в облаках.  
Таких, как Ты, не будет даже двух.  
В единственном числе на все века.

С таким, как Ты, ветрами захлестнёт,  
Расправит крылья и отпустит ввысь.  
Таким, как Ты, в любви всегда везёт,  
И для таких—все лестницы взвились.

Таким, как Ты, подарен был огонь,  
Таким, как Ты, все холода—не в счёт.  
И если повторяю я: «Не тронь!»—  
То «нет»—звенит струной—наоборот...

Таким, как Ты, сдаются города.  
Таким, как Ты, кричат: «Люблю!»—вослед.  
И одному лишь говорю я: «Да».  
Таких, как Ты, на свете больше нет».

### Следы

Я по ступеням за светом твоим иду:  
След—вослед.  
Пальцами трогаю воздуха маету—  
Мчащихся мимо лет.  
В этом молчанье—ни звука и ни звонка,  
Верность любви храня,  
Шёпотом нежность струится по позвонкам  
У меня.

## Сергей Шулаков

# Близкая чужбина

Тема других стран, разных народов в стране своей, в ещё относительно свежих обстоятельствах наших государственных изменений заставляет рефлексировать современных авторов. Полагая, что звание писателя предполагает ответственность, пытаешься найти в произведениях на эту тему ответы на вопросы о своей — и других людей — самоидентификации. Пытаешься по доверчивости, от которой и профессиональные журналисты не застрахованы.

### Ласточкой на камень

В одиннадцатом номере «Невы» 2013 года петербурженка Татьяна Янковская, окончившая химфак ещё Ленинградского госуниверситета и перебравшаяся в США, рассказывает о том, что довелось пережить в США. Приведённый список её публикаций говорит о том, что интересы писательницы лежат, главным образом, вне нашей страны: она печаталась в журналах «Слово\World», «Вестник», «Чайка» (США), «Время искать» (Израиль), «Континент»... Её книга с длинным, нарочито претенциозным названием «Детство и отрочество в Гиперборейске, или В поисках утраченного пространства и времени» была в лонг-листе прошлогодней премии «Ясная Поляна». Заглавие «невского» рассказа — тоже длинная автоцитата: «И вот она стоит ласточкой на камне». «И вот она стоит ласточкой на камне, душа поёт, только слов не разобрать, но мелодия такая знакомая! Внизу под ней долина со змейкой реки, озеро, редкие домики... и как на ладони видится ей вся её жизнь». Ещё одна фотография «ласточкой» будет приобщена к коллекции изображений, снятых там и сям в живописных местах... В Америке героиня работала няней. Полное ощущение миропонимания молодой девушки разбивается вдруг о спрятанный ближе к центру повествования возраст, вполне пенсионный.

Няней Тоня была хорошей. Образ автора и образ рассказчика здесь сливаются вплоть до автобиографизма, хоть автор и говорит о себе в третьем лице. Тем навязчивей бросаются в глаза похвалы самой себе: «Когда работала няней, из всех выделялась... Она не любит говорить и даже думать о людях плохо, хотя иногда приходится и думать, и говорить». Тоня окончила «училище

дошкольного воспитания» в Киеве, потом была стюардессой. «Как она любила летать! Самолёт летит, распластав крылья, а Тоня внутри сама чувствует себя птицей». Ласточкой.

Стилистические, редакторские ошибки («Знакомая из российского консульства познакомила её с Толей»), возможно, допущены нарочно, ведь речь идёт о «простой» женщине, не из высших классов, не из академической среды. Лётчик, с которым сошлась, лишился крыльев после развала Союза, начал пить. Слабый человек! Не то что Тоня. Тоня с ним развелась. И подалась в Америку. «Так приятно деньги зарабатывать!» Это наивное любовное ответственностью, честностью, трудолюбием сильно напоминает психологические тренинги, которые проводят в компаниях сетевого маркетинга. Нужно полюбить деньги, и они ответят взаимностью — в таком роде. Уже здесь закрадываются первые сомнения в том, какие задачи решает автор. Героиня прошла обучение, стала помощником стоматолога в маленькой клинике. И вот мы читаем, как Тоня приказала ассистентам предьявлять пустые «тюбики» от материалов — а то выбрасывали почти полными... Как уговорила хозяйку перейти на другой бренд латексных перчаток... Какое всё это имеет отношение к литературе? «Тошик, мне так нравится! Я так люблю зубики!» — в художественном тексте это был бы лепет на грани безумия героини, в нашем случае — инфантилизм. Неужели автор этого не замечает? Татьяна Янковская продолжает в псевдо-наивной манере: «Здесь каждый может подняться, только учись и работай! Нароботавшись, они сидели в новом джакузи или ехали гулять, и она взмывала ласточкой на камень», щебетала: «Тошик, чикни!» Сфотографируй. Тошик — новый американский муж Толя.

Из клиники её уволили — слишком хорошо работала. Нянькой тоже долго не продержалась — помогала соседской семье, но тамошняя «психически больная» хозяйка сказала Тониной, что у неё пропали деньги. После пяти лет службы Тоню уволили. «Пол (муж) считает, что ты и у нас могла брать деньги и ценности, а мы просто не замечали. Он уже договорился, чтобы в квартире поменяли замки». Заголосила, забилась... А потом, когда звали назад, говорили, что привыкли и что дочка

страдает, обещали платить сколько скажет, гордо отвечала: «Зачем же я буду... идти к тем, кто мне не доверяет?» Устроилась к стоматологу-армянину, и снова подробности: на сколько часов да какова зарплата...

Автор попадает в ловушку собственного текста. Рисуя простую, трудолюбивую женщину, Татьяна Янковская, скорее всего — намеренно, использует пропагандистские клише. Но для того, чтобы они заработали в иной, не обязательно иронической — вообще художественной функции, если такое вообще возможно, её мастерства не хватает. Зачем автор заливает повествование потоками внелитературной речи, пренебрегая азами писательского мастерства? Зачем канцелярский оборот «деньги и ценности», нелогичный — «взмывала на камень», неоправданные художественным замыслом диалектизмы и просторечия? Телевизионные продюсеры первыми поняли свою целевую аудиторию — люди, бросившие родную провинцию и подавшиеся за счастьем в столицы. Оттого герои телепрограмм и говорят не по-русски, нарочито копируя провинциальный выговор, допуская диалектные словечки — чтоб аудитории своими казаться, отсюда и рейтинги. Татьяна Янковская выстраивает портрет своей целевой аудитории чётко, как медийный профессионал. Тоня немолода и грузновата: «Тяжеловата я уже для ласточки», — отнекивается она, когда новый муж утешает её после очередного увольнения, предлагая прогулку, — но потом всё же «взмывает». Она провинциалка, разведённая с мужем-алкоголиком, то есть одинока. Кажется себе трудолюбивой, лишена каких-либо комплексов, жизнерадостна, оптимистична. Каков посыл этого текста, обращённого к немолодым провинциальным бывшим стюардессам? Счастье — в США. Там — не здесь: джакузи, новый муж, деньги. Там вы, предавшись свободному, радостному труду, будете становиться всё моложе и привлекательнее. Там — взмоете ласточкой; здесь же — лишь муж-пьяница, тянущие к земле оковы и депрессии.

Скажут: лингвистические приёмы может содержать и художественный, а не только рекламный или пропагандистский текст. Верно, но их наличие характерно для дамских романов и им подобной паралитературы. Но и там уважающие себя профессионалы больших тиражей прячут эти приёмы как можно глубже. Собственно художественная проза добивается своих целей другими средствами. В пользу не художественного целеполагания текста говорит и обязательный, словно автор выполняла задание из нескольких пунктов, укус наших общественных устоев. В американском городе детская площадка полна резвящихся ребят, их мам, нянь, среди них «один мужчина, представляющий женское начало в паре геев, выгуливает недавно удочерённую ими девочку...». Где уж

там мужское? Но бог бы с ним, с противоречием, только это словечко — «выгуливает»... Оно должно означать добродушную иронию-понимание: мол, и сама с детьми дело имею. А в данном контексте это слово рождает ощущение выгуливания дорогой моськи, несчастного, искалеченного селекцией карманного существа в дизайнерском собачьем пальтишке с бриллиантовой собачьей брошкой... Это к слову. Важнее, что автор гордится своей/ героини терпимостью, подсознательно выдавая одну из причин бегства. Слишком, на взгляд Татьяны Янковской, наше общество косно: к пьянице оно в целом относится с пониманием, а к симпатичному, ухоженному и ответственному гею почему-то наоборот.

По какой причине текст Татьяны Янковской был опубликован в толстом литературном журнале? Невозможно представить себе, чтобы профессионалы не увидели в нём признаков агитки. Приходится предположить, что факт публикации — маркер политической ориентации издания. От такого всегда становится обидно: неужели опытным, компетентным в литературе людям нечем, кроме политических дразг, заняться?

### Женщина в ландшафте

Отец Ларисы воевал, был артиллеристом. «Сорок первый год, отступаем от Брянска. У девятнадцатилетнего командира батареи под началом четыре пушки, семьдесят взрослых мужиков и семнадцать лошадей... Лейтенант умеет рассчитывать траекторию артиллерийского снаряда, но не умеет запрягать лошадей в пушку...» Это намеренно женское «запрягать в пушку» должно, по мысли автора, придать достоверности бесхитростному рассказу, но смотрится кокетством. Запрягают в сбрую, сбруя крепится к передку, к нему — орудие, однако смысла высказывания оборот не меняет. «Солдаты, только что оторванные от крестьянского хозяйства, зовут его «сынком», добродушно подтрунивают, но всячески помогают — ловят сбежавших лошадей, лечат их потёртости...» Вообще-то это их прямая обязанность, но обстановка обрисована точно. Начинается обстрел, снаряды рвутся уже рядом, связи с командованием нет. Ответственный, но молодой и неопытный офицер лезет на самое высокое дерево — рассмотреть, что происходит. Немецкий наводчик засекает блеск оптики бинокля, и «рядом с деревом вырастает второе — из взметнувшихся осколков и земли». Живой, но рука не действует. После госпиталя отправили в Среднюю Азию, в училище, готовить новеньких офицеров. «На фронт больше не взяли, хотя рвался, заявления (конечно, рапорты. — С. Ш.) писал. Хотел отомстить за семью — ленинградец». В наше время, когда уже тяжело болен, позволили из военкомата: ваш отец воевал в сорок первом? Составляем список на подарок в честь

даты обороны Москвы. Дочь Лариса простодушно ответила, что воевал, только был ранен раньше. Тогда не положено. Вычеркнули. «Ему про звонок не сказала, но он счёл бы дискриминацию справедливой. Подумаешь, герой—два месяца только и был на фронте...» Школьный преподаватель литературы из Москвы, выпускница Литературного института Ирина Василькова опубликовала в десятом номере «Дружбы народов» повесть «Водителям горных троллейбусов».

В ней много публицистического. Отец, «боевой офицер, атомный физик», болен, сознание его разрушается, он превращается в «бессмысленное существо». Это он беспечно требует призвать к порядку водителей горных троллейбусов—уже в полубреду. Но дочь не хочет отправить отца-ветерана в одно из специализированных учреждений фактически умирать, ухаживает за больным дома. Из последних сил сопротивляющийся организм старика нуждается в поддержке, и для того, чтобы положить отца в больницу, пусть не для излечения, а чтобы придать угасающему телу и сознанию сил, взбодрить курсом уколов, профессиональным уходом и вниманием, дочери приходится пройти через невероятные мытарства. «Одна медсестричка вчера шепнула мне на ухо, что даже дорогие лекарства полагаются инвалиду войны бесплатно, поэтому наша милая врач не может писать их в карту, иначе её просто уволят. За разбазаривание государственных средств. Экономия такая». Схожая история рассказана в повести «Никнейм» Ярославлы Сониной, вышедшей в издательстве «Подвиг» в марте 2014 года; там студентка вынуждена покупать наркотики для тяжело больной матери, телефончик наркодилера походя черкнула модно одетая, высокомерная врачиха. Заметим, всё это написано задолго до драматической истории вице-адмирала, застрелившегося из-за того, что собственные страдания неимоверно увеличивались от понимания страдания близких, бессильных достать положенных по божеским и человеческим законам лекарств. К своим больным старикам государство относится хуже, чем к чужим гражданам,—как к балласту. Эти публицистические высказывания, строго говоря, не для прозы. Только где ещё расскажешь о том отношении, не равнодушном даже, а злобно-издевательском, с которыми некоторые врачи и медицинские чиновники встречают необходимость позаботиться о много для государства сделавшем, а теперь совершенно беспомощном человеке? В сми? Но те, словно при советской власти, привычно рапортуют о невероятных денежных вложениях, об успехах здравоохранения. В Интернете? Там обратная ситуация: сети перенасыщены такими историями, на них уже мало кто обращает внимания.

С литературной точки зрения этот сюжет может заслужить упрёк в пресчитанности. Известно,

что подобный материал работает сам. Автору не нужно проявлять ни мастерства, ни таланта, чтобы читатель содрогнулся от описания убитых животных, брошенных детей, беспомощных стариков. В хорошем литературном обществе выезжать на подобном считается дурным тоном. Но у Ирины Васильковой эта сюжетная линия всё же наполовину оправдана.

Наконец Лариса устроила отца в больницу. И улетела в киргизский Бишкек: бывший одноклассник, теперь известный геофизик, пригласил на научную конференцию. Воспоминания об однокласснике как раз из области качественной литературы: чего проще было бы расписать драматическую юношескую любовь? Но Ирина Василькова рассказывает, как в десятом классе они, сидя на одной парте, пересмеивались, наблюдая, как детишки в песочнице за окном отнимают друг у друга ведёрки-совочки-формочки. И вот через тридцать лет забвения Петька, словно лучший, близкий друг, устраивает поездку. Мелкая деталь—но точная, вызывающая доверие. Вот ещё наблюдение, о дамах-геологах. «У моего бывшего завлаба на кафедре геохимии была коронная фраза: «У нас женщин нет, а есть только сотрудники». Я раньше злилась, а сейчас оценила. Это же субкультура с приставкой «гео». Негородские горожанки... Женщины в ландшафте. Энергичные, умные, позитивные».

О жизни в Киргизии сказано без надрывного европейско-общечеловеческого пафоса. Но и без советско-патриотического злорадства. Правдивые, точные наблюдения: «Манера подавать на стол одну тарелку салата на двоих привела в неадекватное состояние двух американских геофизиков—бедняги не могли понять, почему за свои деньги не могут получить каждый по отдельной тарелке! Киргизы тем временем смотрели на них как на придурков—не могли взять в толк, для чего этим людям так много растительной пищи». В кафе разговорилась с широкоплечим красавцем-официантом. Гордясь, рассказал, что здесь подрабатывает только летом, в остальное время в Москве, в итальянском ресторане. Почему в итальянском? «Да он только считается итальянским, а на самом деле хозяин—киргиз. Наш, местный...»

Но вот пришлось возвращаться. Отца держать в больнице больше не могут, да и конференция не вечная. Лариса работает в школе, но для того, чтобы ухаживать за отцом, пришлось сократить рабочие часы. И тут появилась Алытай—Золотая. Киргизская женщина, нанятая сиделкой. Первое, что сказала: «Какой он у вас красивый!..» Там, в Киргизии, дважды выкупала мужа из тюрьмы, продала всё до нитки, жила с бомжами. Торговала тяжёлыми наркотиками—иначе в той местности не прожить. Алытай спала с кухонным ножом под подушкой—боялась московских таджиков,



«считает их нецивилизованными головорезами». Говорит: «Вы не знаете, у меня есть один плохой качество. Я жадный. Я деньги очень люблю. И золото. Вы думаете, почему золото ношу, а не серебро? Золото — горячий, он для грубых людей. А серебро — нежный, таким как вы. Вот поеду домой, вам киргизское серебро привезу. Я уже знаю, какой форма нужен — геометрический, строгий...» Такого не выдумаешь.

В повести чувствуется ностальгия по прошлому, — но не варварская, а человеческая. «Вспомнилось, как однажды в Киеве меня пригласили в гости — в знаменитый «Замок Ричарда», на откосе над Андреевским спуском. В те времена он был ещё жилым домом. Нас ждала самая верхняя, совершенно экстремальная квартира — вход не из подъезда, а прямо из воздуха, только пройти по узкому навесному мостику. Вы бы попробовали сделать это зимой! — смеялась хозяйка. Восхищало всё — нестандартная планировка, стеклянный потолок в кухне. Но главное — балкон. Вышла и задохнулась от открывшейся панорамы — Днепр сверкал внизу, и далеко-далеко видны были заднепровские дали».

Компоненты, известные нам по отдельности: тяжёлое положение большинства населения республик бывшего Союза, внезапные открытия москвичами в приездах настоящего, естественного и непосредственного благородства и доброжелательности, одиночества попавшего в беду человека перед лицом государственной машины, — лишённой нарочитой литературщины повести Ирины Васильковой сложились воедино, сообщив друг другу новое измерение. Иная страна порою милее не потому, что там геи, а потому, что её люди проявляют те человеческие качества, что нами у себя глубоко запрятаны. Новости из Киргизии теперь читаю постоянно. Из той страны, которая казалась такой спокойной и дружелюбной.

### При чём тут Гоголь?

В заключающем 2013 год выпуске питерского журнала «Аврора» Евгений Анташкевич представил объёмный, на сотню страниц, цикл рассказов «12 писем к Сашке». Евгений Анташкевич родился в семье офицера, по образованию — юрист-правовед со знанием китайского языка, полковник запаса, служил на Дальнем Востоке.

В предисловии автор, обращаясь к адресату, старому товарищу, как-то даже слишком деликатно объясняет повод к созданию цикла: «Когда я закончил свою большую книгу, я тебе когда-то рассказывал о ней... появилась возможность разобрать всё то, что стояло в углу стопками и пылилось на подоконнике». Автор «подначивает» читателя: кому, в сущности, нужно то, что где-то пылилось? Евгений Анташкевич — автор документально-исторических романов «Харбин» и «33 рассказа о китайском полицейском поручике

Сорокине», больших, охватывающих судьбы до трёх поколений нескольких русских семей, разбросанных на дальневосточных пространствах Гражданской и Великой Отечественной войнами. Стопки документов на подоконнике писательской квартиры содержат многое из того, к чему Евгений Анташкевич имел доступ по роду службы, что вошло в его романы: сводки и донесения, личные дела, секретные карты. Но не только материалы с грифом. Рассказ из нового цикла, седьмое письмо, «Любование Ямато», — о том, как автор попытался проникнуть в цветоощущение японцев, в практику любования совершенными цветками, неторопливым бегом ручья — эта практика именуется «ханами». Описание такого психологического состояния пригодилось автору при работе над романом «Харбин», над образами героев — офицеров японской разведки, что само по себе показывает нелинейность подхода к тексту Анташкевича-историка и беллетриста; в «Любовании Ямато» вылилась экзистенция, которую, видимо, автор счёл в той книге не до конца уместной.

Опыт общения с другой культурой осознаётся автором способом, если можно так сказать, дружественного поглощения, уважительного приобщения к ней. В первом же письме, «Утоли моя печали», герой, названный американизированным именем Юджин — откроем тайну, это дружеское прозвище, которое автор получил ещё в Высшей школе КГБ СССР, — приезжает в семью коренных жителей Сибири. Юджин отправляется с ними на необычную рыбную ловлю. «По салу бегал?» — спрашивают героя. Сало — это ледоход на только что вскрывшейся реке. «Алексей пересел за руль (моторной лодки), выбрал большую льдину впереди и уткнулся в неё носом. Сергей уже сидел на носу и, как только лодка коснулась края, тут же выскочил и с силой вытащил лодку на лёд. Алексей и Юджин ухватились за деревянные борта, и они втроём бегом потащили лодку по льду... Они бежали... толкая лодку к чистой воде, с ходу столкнули её, и сами только-только успели запрыгнуть... Бегать пришлось не один раз, но наконец-то они вышли к оконечности большого острова, где льдины ещё не сошлись и вода была почти чистой. Здесь можно было бросать дэль (сеть)». Опасная на взгляд человека из средней полосы рыбалка принесла желанные плоды. Муксуны, полуметровая краснопёрка, ауха — китайский ёрш, большой и колючий, как дикобраз. Чёрные лещи, змееголов с расцветкой анаконды, метровая нельма и калужонок — молодая особь огромной калути, окатившая хвостом рыбаков с ног до головы студёной водой... В пятистенке с сеньями «отец Алексея, старый Ганга, топтался по комнате и ругался. Он ругался нанайской скороговоркой и русским матом. Для Юджина это было привычно. Он уже бывал здесь, знал Гангу — тот

матерился всегда. Алексей, его сын, мужик на пятом десятке, при этом или смущённо молчал, или лениво отбrehивался. Но без мата. Он себе этого позволить не мог. Серёга на всё это смотрел и только улыбался редкими зубами, а дело Юджина было вовсе — «сторона ходи»... Старый Ганга ругался... Распоряжался. Матушка Алексея, у неё с сыном даже улыбки были похожи, отложила шитьё, взяла нож и стала отбирать рыбу на талу». А потом было восхитительное кушанье — тала, рубленое в икру сырое мясо муксуна с солью и перцем. А ещё бывает почти белая тала, из осетра и калуги. Крано-янтарная — из ребра сазана... «— Таловал? — Таловал! — Это означало, что рыбалка была удачная, а жизнь хорошая и сытая. За более чем сто лет соседствования с «белым братом» от старого нанайского быта мало что осталось, но тала сумела сохранить себя как хозяйка скромного местного стола». А ещё сохранилось удивительное шитьё, рисунком напоминающее изгибы еловых ветвей, с чёрной и цветной аппликацией, плавное и умиротворяющее. Всё это могло бы показаться этнографией в стиле капитана Арсеньева. Да хоть бы и так — что в этом плохого? Но задача писателя шире. Уважение всего пару слов за весь рассказ и сказавшего Юджина к чужой культуре проникает в сознание читателя словно гипнозом, воздействует почище всякой дидактики. Сравнение, конечно, слишком сильное, но позволим себе допустить его в конкретной частности: когда читаешь украинские повести Гоголя — роднее обитателей Миргорода и Диканьки никого на свете нет, это всякий чувствует.

Языковой стиль «12 писем» — «розовые морозные щёчки» московских девушек, земля, которая «в апреле пахнет амурским льдом», выставленные на стол в отдалённом зимовье «две матовые тушёнки» — не перегружает повествование, даётся Евгению Анташкевичу легко, и воспринимается без напряжения, которое нет-нет да и даст себя знать даже, например, у Набокова как стилиста. Нерастворением в деталях, не полаганием стиля целью, сосредоточенностью на главном, на том, что прямое общение человека с природой, таящей мощь и даже опасность, может помочь выжить, буквально продлить жизнь, придать сил, этот цикл напоминает «Царь-рыбу» Виктора Астафьева. Эту же задачу точно выполняют и пейзажные зарисовки: «Они стояли и смотрели, а над узкой галечной косой, протянувшейся метров на двадцать вдоль параллельно берегу, из воды торчал один только задранный нос их наполовину вытасченной моторной лодки... Туман, плотный и густой и оттого серый, застилал противоположный берег, а может быть, река за ночь превратилась в море, и берег отплыл бесконечно далеко. В то, что они видели, им не верилось, один из них сказал незлое тихое слово, они тронулись с места, вошли в плывший

над водою туман и столкнули лодку в воду. Вода была чёрная, глубокая и вынесла их на стремнину. Скоро в тумане пропал и тот берег, с которого они пришли... В утреннем небе над тайгой, выше тумана, была видна вершина высокой дальней сопки, поросшая чёрным хвойным лесом, а над ней в синем небе висела белая луна. По обе стороны от луны пёрышками застыли два розовых облачка, подсвеченные рассветным солнцем».

Письмо девятое, «Туманы на дв», демонстрирует мастерство, способное самым волшебным образом перенести читателя на предрассветный берег Амгуни, увидеть нос моторки, корпус которой погружён в туман, словно в воду, неразличим, услышать удивлённое крепкое мужское словечко, постоять ошеломлённым вместе с выдавшим его.

Письмо одиннадцатое, «Объяснение», несёт подзаголовок «Картина В. Маковского». Короткий текст выполнен в любопытном жанровом направлении, автор рефлексировать здесь относительно известного произведения живописи, словно дополняя его. Смело, но тонко и в традиции: «— Ну что же? Вы, верно, больше не захотите меня видеть? — Пальцы Ларисы нажали две клавиши, и рояль зазвучал. — Нет... Отчего же... Заходите, когда захотите... Вас в этом доме ждут и любят!.. — Да вы знаете, мне в вашем доме, кроме как с вами, разговаривать не с кем. Прощайте...»

Центр цикла, письмо шестое, с легкомысленным подзаголовком «написанное на Преображенском рынке за кружкой пива», фантазмагорическое и неожиданно ироническое, рассказывает о том, как автор стал видеть глазами соседа по столику в пивной, как отображался в его сознании Гоголем и гоголевскими образами и как другой сотрапезник, аккуратный старичок, заговорил вдруг устами расколоучителя старца Феодосия... «При чём тут Гоголь? — подумал я. — И почему эти двое разлетелись, как брызги из-под лопаты?..» Герою приходит на ум Булгаков, похмельное путешествие Стёпы Лиходева... Сюжет этого рассказа — единственная попытка диалога между героями. В отчаянном стремлении физически прорваться через невыносимый вакуум, главный герой пытается насильно заставить других убедиться в том, что он-то существует... Конечно, попадаешь в мир Гоголя, в чей же ещё. Кульминация цикла словно убеждает в тщетности попыток мелочной самоидентификации. Но важна и в смысле литературного процесса. Нам приходится оставить опыт чтения последнего десятилетия, бросить размышления о том, какой интеллектуальный выверт — уж не постмодернистский ли, например, хоть постмодерн и не нов? — стоит за очередным описанным объектом, высказыванием, жестом. Рассказы цикла из двенадцати писем к конкретному адресату рассчитаны на прямое воздействие на чувства, должны восприниматься осязательно.

Двенадцатый рассказ кольцуется с началом цикла, в нём герой, взявшись осуществить «ночную спираль» — известную забаву городских жителей, путешествие из бара в бар, обязательно ни одного не пропуская, — вновь возвращается на Дальний Восток, к не требующим особых слов взаимоотношениям, к малости их, взаимоотношений, в сравнении с миром, олицетворённым величественной природой. В этих рассказах небезызвестная идея о том, что мир красотой спасётся, конечно, присутствует. Но важнее сам механизм перемещения читателя в пространство автора, авторская оптика, которая позволяет почувствовать именно то, чего мы ждём от искусства, и литературы в частности. Поддержку, возможность вздохнуть, неосознанно расправить плечи, словно страшивая груз повседневного социального бытия, груз привычный, но порой доводящий до самых трагических ощущений.

### Среди мерзости и гнили

Александр Палий в одиннадцатом номере «Звезды» 2013 года выступил с необычным рассказом «Бугай»: повествование ведётся от лица героя явно отрицательного, настолько подлого и безнравственного, что поначалу это сбивает с толку. Идентификация рассказчика с явно, наглухо отрицательным героем не в традиции. Поначалу читатель погружается в курсантский быт морской академии, время, по еле уловимым признакам, конец восьмидесятых — начало девяностых, место — Санкт-Петербург или ещё Ленинград. Алексей, не поступивший на судоводительский факультет, учится на факультете управления (экономическом) вместе с Костей, которого не взяло готовиться на капитана из-за недостаточно острого зрения. Костя-Бугай — классический литературный и сказочный «силач»: здоровенный, очень добрый. Любит Сервантеса. С Дон Кихотом перебор, но для завершения образа — простим. И Лёха, прокравшись в Костину душу, принимается проверять, как далеко простирается его власть, насколько друг поддаётся манипулированию. Начинает с мелочи. Угостил как-то сухарями, а Костя, получив из дома деньги, повёл друга в магазин: выбирай что хочешь, теперь моя очередь. Лёха выбрал дорожный парфюм — просто из желания проверить, купит друг или нет. Бугай крикнул, но купил. Потом Лёха прокрался в кубрик старшекурсников, украл бумажник. Бугай видел, но никому ничего не сказал. Лёха наврал про какие-то долги, про угрозу жизни... Увёл Костину девушку Элю. Удавил собаку, к которой Бугай привязался и подкармливал сардельками. «Костику было плохо, очень плохо. Именно поэтому, наверное, мне было хорошо».

Связался со старшекурсником-наркоманом, «его отец, бывший крупный чиновник морского пароходства, теперь имел свою судоходную фирму

и возил металлолом на Запад». Новый приятель проворачивал сомнительные дела — впрочем, других тогда не было, — уговаривал Лёху с собой на встречу с «серьёзными людьми». Встреча была опасной, и Лёха вспомнил про Бугая. «Помнишь, я деньги взял у пятикурсника, чтоб один вопрос решить? Так вот, всё тогда не закончилось, и завтра мне надо... Герман, правда, обещал помочь, поговорить с теми людьми. Но, чувствую, пропала моя голова. Вот так. Эх, жалко...» И Бугай повёлся! Пошёл с другом на стрелку. Кончилось поножовщиной. Лёха сбежал. «Бугай всё-таки выжил, и значит, у нас с Германом остались проблемы». Костик знал про «серьёзных людей» много такого, чего не надо. «Другого бы точно убили, а этот выкарабкался... В его палату я входил энергичным шагом уверенного в себе человека. Бугай улыбнулся, но моё лицо осталось серьёзным. «Костя, слушай меня. Ты сам в это дело влез, тебя никто не просил. Ментам про нас с Германом ничего, понял? Главное, про нас — ни слова...» — «Знаешь, Лёха, — сказал он после неприятной паузы. — Я везде какой-то лишний. Словно меня в чужую историю засунули».

Никакого справедливого воздаяния. Лёха, делая подлый шаг за подлым шагом, в итоге возглавляет компанию Германова отца. А Бугая, отчисленного за «хулиганку», отправляют в Чечню. Это повествование полной безысходностью, отрицанием человеческого похоже на литературный вектор новых реалистов. Словно в «Ёлтышевых» Романа Сенчина, всё настолько глухо, плохо и подло, что люди предстают марионетками каких-то сверхмощных, не поддающихся контролю и осмыслению, удушающих волю общественных взаимоотношений.

На волне этого полного, на Лёхин взгляд, успеха, став владельцем своего пароходства — почти по Островскому, он отправляется навестить Костю. В убогой квартире валяется какой-то пьяный мужик. Хлопчет неопрятная тётка — мать. Её сожитель просыпается — это не Бугай. Костя? «Скоро будет, скоро будет», — бормочет пожилая пьянчужка, хлопоча вокруг принесённых Лёхой фирменных бутылок. Костина мать с сожителем быстро напились. «Она поставила пустой стакан и вдруг рухнула на пол. Халат был распахнут, и я брезгливо отвернулся».

Откуда-то из-за шкафа выполз десятилетний парнишка с книжкой Сервантеса. Той самой. Запахнул на пьяной матери халат, подsunул ей под голову диванную подушку. «Когда Костя придёт?» — «Никогда. Он умер. Пьяным с балкона упал». И Лёха испугался мальчишки. «Ещё маленький, но уже, кажется, всё знающий и про собаку, и про Элю, и про меня, ненавидевшего его отца, там, среди мерзости и гнили, ещё опасней Бугая. С Бугаём можно было договориться, уговорить, наконец — обмануть, а этот вырастет за своим

шкафом и пойдёт меня искать! Нет, я не могу спокойно жить, пока он там, всё обо мне знающий...»

Герой — чужой всем и каждому. И все чужды ему.

### Я чокнулся

Рассказ Валерия Бочкова «Теннис по средам» во втором номере «Знамени» 2014 года оставляет двойственное впечатление обманутых надежд. Валерий Бочков родился в Латвии, он художник, с 2000 года живёт в Вашингтоне. Здесь герой тоже близок автору: Дмитрий — художник, держит галерею русского конструктивизма. Рассказ выстроен профессионально, стиль жёсткий, мужской. Главный герой по средам играет в теннис не то чтобы с другом, а просто с кем-то надо мячик через сетку побросать... Партнёр по теннису Александр — тоже русский, но живёт в США с юности, женат на Джил, «русоволосой крепкой американке, с громким смехом и странной страстью к русскому конструктивизму». Эта тяга становится ниточкой сети, всё больше запутывающей Дмитрия в сеть этого странного семейства. Сначала Джил по-американски прямолинейно требует продать ей редкий плакат Родченко из коллекции галериста. Плакат не для продажи, «есть отличный Мартынов, „Табактрест Украины“, редкий и в прекрасном состоянии. Или Алексей Мизайлов, двадцать третий год, тоже (как и Родченко. — С. III.) про самолёты... Предложил Дейнеку, киношных Стенбергов — у меня их пять. Она смеялась: „Кончайте пудрить мозг, Дмитрий! Я хочу Родченко!“» Рассказывая о такой специальной теме увлечений, своих и Джил, как ранний советский плакат, Валерий Бочков, конечно, подчёркивает, что и сам он, и его знакомые — не простые обскурантные американские обыватели, а люди с запросами. Однако, помимо явного указания на автобиографизм рассказа, это обстоятельство нужно ещё и для контраста с характером клубного знакомого Александра. Джил, будучи постарше мужа, училась в университете по специальности «Международные отношения», Алекс, сын весёлого усатого московского банкира, — на экономике. В портрете Джил видно писательское мастерство Валерия Бочкова: «К тому времени Джил решила остепениться — разгон, который она взяла, вырвавшись из патриархального Вермонта, уже пугал её саму. Алекс оказался девственником. Многоопытную Джил это озадачило — всё было, но только не это... Целомудренно натягивая простыню под подбородок, она сказала, что он у неё второй. На носу был диплом, предстояло искать работу, репутация из пустого звука неожиданно стала понятием почти материальным. Меньше всего ей хотелось возвращаться в Берлингтон, штат Вермонт. По ночам ей снились кошмары: бесконечные зелёные холмы, уходящие за горизонт, на них глупые пятнистые коровы, жующие траву».

Всё здесь выполнено в традициях русской прозы. В коротком фрагменте — и общественные традиции, и биография, и сама героиня; особенно хорош пассаж про её кошмары на пасторальную тему. Но Алекс, тихоня Алекс!.. Влюбился в сестру жены, да так, что себя не помнит. Как только увидел, потерял голову. Рассказывает: «Я пулей выскочил в сортир, там пустил воду и бил кулаками в дверь, орал в зеркало. Я чокнулся! Я был готов наброситься на неё прямо там, завалить, растерзать, понимаешь? Эти пуговицы, крючки... Колготки зубами. Понимаешь, прямо при Джил. На полу, на столе... Го-осподи!» Отточив здесь авторские

Товарищу по теннисному клубу не остаётся ничего, как говорить какие-то банальности. Вот, собственно, и всё. Живые, человеческие диалоги, остроумные портреты, качественный язык — всё это нужно для того, чтобы продемонстрировать половинчатость, даже уродство героев. «Я не верю в супружескую верность, — изрекает Валерий Бочков банальности уже нам, читателям, с лёгкостью и вполне совпадая со своим героем. — Не вижу логики. Изменяют все — если ты ещё не изменил, то лишь из трусости, или из лени, или из страха сломать заведённый порядок вещей». Вот представьте: весь набор отрицательных качеств, издавна осуждаемых человечеством, принадлежит тому, кто ни разу не изменял жене. «Или просто не подвернулся случай. Не мелькнули волосы требуемой золотистости». Думает: «Если до сорока жить с одной бабой, то любая Мэгги покажется верхом совершенства».

Логично, что и Дмитрия настигла влюблённость в Катю, которая пишет работу по русскому конструктивизму и спрашивает, глядя большими наивными глазами: «А Мандельштам — это кто?» Как такую не завлечь в альков?

И Мэгги, которая тоже влюблена в мужа сестры — и «гори всё огнём!»... А потом сказала, что всё это ошибка. «— В Вегас! — заорал он (другу). — Хочешь кольцо? Двенадцать тысяч? Пожалуйста! Я за один ужин в «Россо» полторы штуки выложил. На двоих, представляешь? Лобстеры с икрой, твою мать... Икра осетровая... — Он выдохнул и устало добавил: — Да и хрен с ними, с деньгами. Не в этом дело... Я её прижал когда, она призналась, короче... — Алекс взъерошил волосы. — Короче... Она с кем-то спуталась. Со мной и с... ним. Понимаешь? Одновременно». А потом Алекс в расстроенных чувствах вышел из бара — и под машину. Насмерть.

«Он — никто, знакомый. У нас нет ничего общего... Откуда же эта пустота?» — недоумевает герой. Никто никому никто.

Страховая компания хочет квалифицировать смерть Алекса как самоубийство. Но юристы жены настаивают на несчастном случае — тогда она получит страховку. Дмитрию предстоит отвечать на их вопросы, ведь он был последним, с кем общался

Алекс... В трагическом финале действие коченеет, задумки, как, например, с конструктивизмом, пропадают напрочь, текст лишается даже той мрачноватой, резкой, мужской весёлости, что была в рассуждениях о семье и браке, а ничего другого в нём не было с самого начала. Что именно имел в виду Валерий Бочков, неясно. То обстоятельство, что Запад перерабатывает инфантильных русских, а неинфантильные, как Дмитрий, выживают? Из этой натяжки и вытекает вся сюжетная концепция «Тенниса...».

Лариса из повести Ирины Васильковой «Водителям горных троллейбусов» потеряла интерес к чтению. Её интересовало только то, что «про неё», те образцы литературы, в которых героиня в сходном положении. «А что теперь про меня? Почти ничего. Что сейчас в фокусе литературы? В основном—терзания умных и недооценённых молодых людей, их неврозы и комплексы, естественные для мира, где никто никого не любит. А покажите мне героинь пенсионного возраста! Да ещё с лежачими стариками! Как они решают экзистенциальные проблемы? Как не превращаются в слезливых амёб? Нет, про старушек особо гуманные авторы иногда пишут, но несчастных и убогих. А моя героиня где?» В тексте и образах Ирины Васильковой нет самолюбования, нарочитости, дидактики. А героиня пенсионного возраста, которых разыскивает Лариса, есть в рассказе Татьяны Янковской, такая понарошечная фея,

чары которой распространяются лишь на саму себя и на квартиру, в которой воцаряются уют и достаток. Но—в Америке. С художественной точки зрения—наивная смесь идеализма и грязи. Как же всё это мелко! Никто, конечно, не требует непременно набоковской «Машеньки», но современные авторы, сталкиваясь с чужой страной и её людьми, словно растворяются в них, уже не чувствуют себя самими собой. Неужели для того, чтобы продолжать самоидентифицироваться, как иной раз снимаешь перчатку, разминаешь, горячишь заиндевевшие фаланги пальцев, чтобы понять, что ты—это ещё ты,—неужели для этого нужно быть офицером спецслужб, как Евгений Анташкевич? И не то чтобы авторы «Тенниса по средам», «Бугая», других повестей и рассказов об отчуждении—начинающие писатели, лишь стоящие на пути к великим шедеврам, к произведениям, после которых никто уже, хоть в малости, не сможет жить по-прежнему, обогатившись новым художественным опытом. Столкновение с явно чужим—с американским мегаполисом, одновременно помпезным и ветхим, большим яблоком, грызомым плододжорками, компьютеризованным Содомом—больше не вызывает у писателей, у совести народной, отчуждения, а даже наоборот. Всеобщее отчуждение друг от друга проникает в Питер, как в болезненном рассказе Александра Палия, вызывая даже подсознательные воспоминания о неестественности Петровой столицы. Круг замкнулся. Станем надеяться, что не навсегда.

стр. 5  
Ахпашева Наталья Марковна  
Абакан, 1960 г. р.

Родилась в хакасском селе Аскиз. Окончила Абаканский филиал Красноярского политехнического института, Литературный институт им. А. М. Горького. Кандидат филологических наук. Работает в Хакасском государственном университете им. Н. Ф. Катанова (Абакан). Член Союза писателей России. Выпустила более тридцати стихотворных публикаций в сборниках и периодических изданиях, выходящих в Москве, Кемерово, Новосибирске, Красноярске, Томске, Барнауле, Кызыле, Абакане. Автор пяти поэтических книг. Дипломант I международного конкурса переводов тюркской поэзии «Ак торна» (Уфа, 2011). Награждена почётным званием «Заслуженный работник культуры Республики Хакасия», медалью Кемеровской области «За особый вклад в развитие Кузбасса», орденом Совета старейшин хакасского народа «За благие дела».

стр. 187  
Барвицкая Александра  
Москва

Поэт, журналист, издатель. Родилась в городе Будённовске Ставропольского края. Член Союза писателей России. Автор книг «На развалинах гордого замка» (1999) и «Смена ориентации» (2007). Стихи публиковались в журналах «Москва», «Дети Ра», «День и ночь», «Зинзивер» и др.

стр. 5  
Варнавский Николай Анатольевич  
Ужур, 1961 г. р.

Родился в Челябинской области. Был воспитанником военного оркестра, там же служил срочную. Работал в геологических экспедициях. Печатался в местной газете «Сибирский хлебороб», альманахе «Золотая строфа», местном альманахе «Ужурские зори». Автор текста гимна Ужурского района, книги прозы и стихов «Странствующий рыцарь», книги прозы «Подранок».

стр. 81  
Васильев Геннадий Михайлович  
Красноярск, 1959 г. р.

Журналист, поэт, исполнитель авторской песни. Родился в Томске. Отслужил в армии, потом по комсомольской путёвке оказался на катэке, в Шарыпово. Учился заочно в Иркутском университете на факультете журналистики. Работал в газетах «Красноярский комсомолец», «Свой голос», «Евразия», «Деловая Сибирь», вёл еженедельную программу на красноярской студии «Автордио», участвовал во всевозможных медиа-проектах.

Участник Всероссийского совещания молодых литераторов в Ярославле в 1996 году.

стр. 0  
Вершинский Анатолий Николаевич  
Раменское, 1953 г. р.

Родился в селе Семёновка Уярского района Красноярского края, в семье учителя. Окончил с отличием два института: Красноярский политехнический и Литературный имени А. М. Горького. Работал в научно-исследовательской лаборатории, в газете, служил в Советской Армии. Более тридцати лет занимается журналистской и издательской деятельностью, награждён дипломом знака отличия «Золотой фонд прессы». Член Союза писателей с 1985 года, автор шести поэтических сборников, драмы в стихах «Восточный вопрос», книги исторических очерков «Русская Александрия. Средневековая Русь и Александр Невский», дипломант конкурса «Лучшая книга 2008–2010».

стр. 7  
Газизова Лилия  
Казань

Поэт. Родилась в Казани. Окончила Казанский медицинский институт в 1990 году и Литературный институт им. А. М. Горького в 1996 году. Шесть лет проработала детским врачом. Публиковалась в «Литературной газете», «Литературной России», в журналах «Юность», «Дети Ра», «Даугава», «Дружба», «Простор», «Татарстан», «Идель», «Казань» и др. Автор четырёх стихотворных книг. Лауреат литературной премии им. Г. Р. Державина (2003).

стр. 7  
Гайдук Николай Викторович  
Дивногорск, 1953 г. р.

Родился на Алтае, детство прошло в селе Волчиха. Окончил медицинское училище, институт культуры в Барнауле и Высшие литературные курсы в Москве. В разные периоды жизни работал в разных местах: матросом, фельдшером, плотником, директором Дома культуры, сценаристом документальных фильмов. Член Союза писателей России. Автор книг стихов и прозы: «Калинушка-калина», «С любовью и нежностью», «Святая грусть», «Царь-Север» и других. Министерством образования и науки Красноярского края произведения автора включены в школьную программу.

стр. 5  
Гаммер Ефим  
Иерусалим, Израиль, 1945 г. р.

Родился в Оренбурге, жил в Риге. Окончил русское отделение журналистики Латвийского госуниверситета. Автор 15 книг, лауреат ряда международных

премий по литературе, журналистике и изобразительному искусству, обладатель Гран-при и 13 медалей международных выставок в США, Франции, Австралии. В 2012 году стал лауреатом 3-го Международного конкурса имени Сергея Михалкова на лучшее художественное произведение для подростков и дипломантом 4-го международного конкурса имени Алексея Толстого. Автор романа о подростках «Приёмные дети войны». Работает на радио «Голос Израиля». Шеф-редактор и ведущий авторского радиожурнала «Вечерний калейдоскоп». Член израильских и международных союзов писателей, журналистов, художников. Входит в редколлегии журналов «Литературный Иерусалим», «Литературный Иерусалим улыбается» (Израиль) и «Приокские зори» (Россия). Победитель первенств Латвии, Прибалтики, Израиля по боксу, чемпион Иерусалима.

стр.  
6

Година Николай Иванович  
Челябинск, 1935 г. р.

Родился в Полтавской области. Окончил Коркинский горный техникум. Работал на серном руднике Дарваза в Каракумах, четыре года служил на военных кораблях Балтфлота. С 1959 по 1987 год жил и работал в городе Миассе — машинистом экскаватора, инженером, председателем рудкома в Тургоякском рудоуправлении. Печатается с 1958 года. Член СП СССР. Автор более двух десятков сборников стихов и прозы. Лауреат комсомольской премии «Орлёнок» (1968), Всероссийской профсоюзной премии им. Ф. Селянина, Всероссийской литературной премии им. Мамина-Сибиряка (2003). Секретарь Челябинской областной писательской организации (1987–1998), секретарь правления СП России (1992–1998). Стихи и рассказы печатались на семи языках. Заслуженный работник культуры России (1996), почётный гражданин Миасса (2004).

стр.  
8

Греницкая Агнесса Фёдоровна  
Москва

Соредактор Полного собрания сочинений В. П. Астафьева в 15 томах (Красноярск, 1998), редактор других его книг. Зам. директора издательства Российского детского фонда (журнал «Путеводная звезда. Школьное чтение»).

стр.  
104

Димов Василий Александрович  
Москва, 1957 г. р.

Родился в Бессарабии, на Дунае (современная Украина, Измаил). Выпускник факультета журналистики мгу. Автор сборника повестей «Профиль в склеенном зеркале», романов «Аллюзии св. Поссекаля», «Тбилиссимо». Публикации в журналах «Lettre International», «День и ночь», а также в российской, немецкой и болгарской прессе, в прессе стран СНГ.

стр.  
87

Журавлёв Алексей Борисович  
Красноярск, 1956 г. р.

Родился и окончил школу в Омской области. Образование среднетехническое. Служил в армии, работал на предприятиях Красноярска, начальником компьютерного отдела издательства государственного университета, начальником компьютерного цеха Красноярского книжного издательства. В настоящее время работает автоэлектриком. Долгое время активно участвовал в эсперанто-движении. Автор стихотворений на эсперанто, перевода на эсперанто повести Аркадия и Бориса Стругацких «Трудно быть богом», соавтор перевода документальной повести Юрия Щербака «Чернобыль». Публиковался в альманахах «Енисей», «Пегас», на языке эсперанто — «Hungara vivo» (Будапешт), «Imreto» (Москва), журнале «День и ночь», а также в коллективных сборниках «Живая листва» (1985), «На поэтическом меридиане» (1998), «Сибирский венок Пушкину» (1999). Автор поэтических сборников «Versoj diversaj» (на эсперанто, 1994), «Ты уходишь» (1998), сборников прозы «Не от мира сего» (2001), «Божий снайпер» (2008). Золотой и серебряный лауреат Национальной литературной премии «Золотое перо Руси» (2007, 2008).

стр.  
4

Клиновой Иван Владимирович  
Красноярск, 1980 г. р.

Поэт. Родился в Красноярске. Дипломант Илья-Премии, лауреат Фонда им. В. П. Астафьева. Публиковался в журналах «Сибирские огни», «Огни Кузбасса», «Сибирские Афины», «Новая юность», «Октябрь», «День и ночь» и др. Автор книг «Шапито», «Античность», «Осязание». Член Союза российских писателей, член Русского пен-центра.

стр.  
183

Кошкина Тина Анатольевна  
Красноярск, 1982 г. р.

Родилась в селе Каратузское Каратузского района Красноярского края. Публиковалась под именем Валентина Гуркова, взяла псевдоним Кошкина с декабря 2007 года. Автор книг стихов «Ангел Хранитель» (2004), «Я — Кошка» (2006), «Антигламур» (2010). Публикации в журнале «День и ночь», омском альманахе «Складчина», рязанском журнале «Край городов» и др.

стр.  
185

Кригер Дарья  
Челябинск

Родилась в городе Челябинске. Стихи пишет с 16 лет. Студентка 3 курса филологического факультета Челгу. Занималась в литературной студии Челгу «Виноград», в настоящее время — участница Лито ЧТЗ. Публикации: коллективный сборник «Границы равновесия» (2009).

стр.  
103

Миндалёв Олег Викторович  
Боготол Красноярского края, 1966 г. р.

Стихи сочиняет с детства. В настоящее время периодически печатается в юмористических сборниках, пишет тексты песен, многие из которых исполняют местный ансамбль «Седьмое купе» и некоторые другие исполнители, в том числе на радио. Выпущен диск с записями песен. В серьёзном литературном журнале публикуется впервые. Работает машинистом электровоза в локомотивном депо.

стр.  
80

Минин Евгений Аронович  
Иерусалим, Израиль, 1949 г. р.

Окончил Витебский станкоинструментальный техникум. Служил в войсках пвв. После службы в армии окончил Ленинградский политехнический институт и четыре курса Витебского педагогического института. Работал мастером, начальником цеха на Витебском заводе часовых деталей, преподавателем в средней школе. Автор семи книг стихов и пародий и одной книги прозы. Стихи, пародии и проза печатаются в израильских, американских, европейских, российских журналах и газетах. Главный редактор журнала «Литературный Иерусалим», ответственный секретарь журнала «Иерусалимский журнал», член редколлегии альманаха «День поэзии» (Россия), издатель и редактор множества поэтических сборников. Автор текстов песен для восьми музыкальных альбомов, выпущенных российскими студиями грамзаписи. Председатель Иерусалимского отделения СП Израйля, член Союзов писателей Израйля и Москвы.

стр.  
53

Мялин Владимир Евгеньевич  
Москва, 1961 г. р.

Член СП России и Творческого клуба мп. Участник антологии современной русской поэзии. Публиковался в газетах «Народный учитель», «Учитель Узбекистана» (1986), в журналах «Русский писатель» (Санкт-Петербург), «Московский Парнас», «Бег» (Санкт-Петербург). «Арион», «Волга». Автор нескольких поэтических книг.

стр.  
5, 56

Мошников Олег Эдуардович  
Петрозаводск, 1964 г. р.

Родился в Петрозаводске. В 1988 году окончил Свердловское высшее военно-политическое танко-артиллерийское училище. Служил заместителем командира военно-строительной роты, в органах мвд. В 1996 году окончил Ивановское пожарно-техническое училище. Заместитель начальника отдела пропаганды Главного управления мчс России по Республике Карелия, подполковник внутренней службы. Автор трёх книг стихов и книги прозы. Член Союза писателей России.

стр.  
67

Орлов Александр Владимирович  
Москва, 1975 г. р.

Поэт, прозаик. Родился в Москве. Окончил мму №1 имени И. П. Павлова, Литературный институт имени А. М. Горького и Московский институт открытого образования. Работает учителем истории и общественного образования в школе. Редактор журнала «Основы православной культуры». Автор нескольких поэтических книг. Лауреат Всероссийской премии малой прозы им. А. Платонова (2011) и Всероссийской премии им. Ф. Глинки (2012). Публиковался в изданиях «День и ночь», «Дети Ра», «Завтра», «Зинзивер», «Литературная газета», «Литературная Россия», «Литературные известия», «Народное образование», «Переправа», «Юность».

стр.  
79

Ратникова Екатерина Николаевна  
Москва, 1989 г. р.

Родилась в Москве. Выпускница Литинститута 2011 года, работает методистом на кафедре зарубежной литературы, ведущая поэтической гостиной Клуба писателей Литературного института. Лауреат премии им. Дениса Давыдова. Публиковалась в журналах «Октябрь», «Литературная учёба», «Юность», «Дружба народов» и др. Автор книги критических статей. Живёт в Лобне.

стр.  
68

Редько Наталья Анатольевна  
Красноярск

В 1975 году окончила Красноярский государственный педагогический институт по специальности «Русский язык и литература». Кандидат филологических наук, доцент, преподаватель. На протяжении многих лет заведовала кафедрой литературы Красноярского государственного университета. В настоящее время заведует кафедрой филологических и гуманитарных дисциплин Красноярского филиала СПбГУП. Автор многочисленных литературоведческих научных статей. Член Европейской ассоциации англистов.

стр.  
76

Рубанов Роман Владимирович  
Курск, 1982 г. р.

Родился в деревне Стрекалово Хомутовского района Курской области. Окончил Рыльское педагогическое училище и факультет теологии и религиоведения Курского государственного университета. Руководитель литературно-драматургической части театра юного зрителя «Ровесник». Дипломант литературных конкурсов: «Лирика Боспора-2011» в номинации «Поэзия» (Крым, Севастополь), поэтического конкурса памяти Константина Васильева «Чем жива душа...» (Ярославль, 2011). Удостоен специального диплома Национальной литературной премии «Алтын Калам» в номинации «Иностранная литература» (Казахстан, Алматы, 2011). Лауреат региональной литературной премии



им. А. А. Фета в номинации «Лучшее лирическое стихотворение» (Курск, 2013). Лауреат литературной премии им. Риммы Казаковой «Начало». Участник всероссийских форумов молодых писателей в Липках. Публикации в журналах «Лампа и дымоход», «День и ночь», «Нева», «Кольцо „А“», «Урал», «Новая юность», в «Литературной газете» и др. Член Союза писателей Москвы.

стр.  
75

**Соколов Глеб**  
Санкт-Петербург, 1996 г. р.

Стихи, прозу пишет с семи лет. Увлекается рок-музыкой: играет на гитаре, сочиняет песни.

стр.  
85

**Третьяков Анатолий Иванович**  
Красноярск, 1939 г. р.

Родился в Минусинске. Окончил Красноярское речное училище. Служил в армии, работал судовым механиком, помощником машиниста тепловоза, литературным сотрудником в газетах. Учился на сценарном факультете вгика, в Литературном институте им. А. М. Горького. Печатался во многих коллективных сборниках Москвы, Красноярска и других городов России. Автор более десятка поэтических книг. Автор слов торжественной песни — гимна Красноярска и многих других песен. Лауреат Пушкинской (губернаторской) премии Красноярского края. Член Союза писателей России. Член Правления КРО СП России.

стр.  
77

**Тюрин Вячеслав Игоревич**  
Иркутская область, 1967 г. р.

Родился в Якутии. Жил и учился в Красноярске и посёлке Лесогорск Иркутской области. Лауреат Гран-при конкурса Илья-Премии по СНГ (2001). Автор двух поэтических книг: «Всегда поблизости» (2001), «Розы в стране гипербол» (2006). Публиковался в журналах «Знамя», «Сибирские огни», «День и ночь», «Сибирь», «Дети Ра», в различных газетах и альманахах. Член Союза писателей России.

стр.  
57

**Ульчугачева Нина Николаевна**  
Красноярский край, с. Жеблахты

Окончила Минусинское педучилище и получила специальность по диплому «учитель начальных классов», затем — Абаканский пединститут по специальности «учитель русского языка и литературы». С 1987 года — директор Жеблахтинской средней школы. Почётный работник общего образования Российской Федерации. Заслуженный педагог Красноярского края.

стр.  
4

**Черкесов Валерий Николаевич**  
Белгород, 1947 г. р.

Родился в Благовещенске Амурской области. Работал корреспондентом в местных газетах. В 1982 году переехал в Белгород, где также работает в газетах. Специальный корреспондент «Литературной

газеты», руководитель центра развития детского литературного творчества «Родная лира» при библиотеке А. Лиханова, выпускает детскую газету «Большая переменка». Автор нескольких поэтических книг. Член Союза журналистов России.

стр.  
4

**Широков Виктор Александрович**  
Пермь, 1945 г. р.

Поэт, прозаик, переводчик, журналист. Родился в Молотове (ныне Пермь). В 1967 году окончил Пермский медицинский институт, затем ординатуру на кафедре глазных болезней пгми. Был врачом-офтальмологом. Одновременно заочно учился в Литературном институте им. А. М. Горького, который окончил в 1976 году. Долгое время работал в «Литературной газете». Автор многих книг стихотворений и прозы. Составил словарь «Литературные герои». Произведения автора переведены на азербайджанский, болгарский, казахский, туркменский, узбекский, чувашский языки. Член Союза писателей и Союза журналистов России.

стр.  
188

**Шулаков Сергей Иванович**  
Москва, 1970 г. р.

Журналист, литературный критик. В 2003–2005 годах — главный редактор журнала и интернет-сайта «Сельская молодёжь» издательства «Подвиг». В 2005–2006 годах — руководитель пресс-службы Международной ассамблеи столиц и крупных городов (МАГ), заместитель главного редактора журнала «Вестник МАГ». С 2009 года — литературный редактор исторического альманаха «Кентавр» издательства «Подвиг». Лауреат премии журнала «Юность» 2009 года в номинации «Литературная критика».

стр.  
71

**Щедрина Нэлли Михайловна**  
Москва, 1944 г. р.

Доктор филологических наук, профессор кафедры русской литературы XX века МГОУ. Основные научные достижения связаны с изучением творчества А. Солженицына, поэтики исторического романа последней трети XX столетия, а также литературой русского зарубежья.

стр.  
38

**Щербаков Александр Илларионович**  
Красноярск, 1939 г. р.

Родился в Красноярском крае, в селе Таскино, в старообрядческой крестьянской семье. Образование: история и филология, экономика и журналистика. Работал учителем, корреспондентом краевых и центральных изданий, возглавлял Красноярское отделение Союза писателей России. Автор двух десятков книг стихотворений, прозы, публицистики. Член Союза писателей России. Заслуженный работник культуры Российской Федерации. Академик Петровской академии наук и искусств.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

Марина Саввиных

ЗАМЕСТИТЕЛИ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

*по прозе*

Эдуард Русаков

Александр Астраханцев

*по поэзии*

Иван Клиновой

Сергей Кузнечихин

ДИЗАЙНЕР-ВЕРСТАЛЬЩИК

Олег Наумов

КОРРЕКТОР

Андрей Леонтьев

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Николай Алешков

Набережные Челны

Юрий Беликов

Пермь

Светлана Василенко

Москва

Валентин Курбатов

Псков

Андрей Лазарчук

Санкт-Петербург

Александр Лейфер

Омск

Дмитрий Мурзин

Кемерово

Миясат Муслимова

Махачкала

Александр Петрушкин

Кыштым

Евгений Попов

Москва

Лев Роднов

Ижевск

Анна Сафонова

Южно-Сахалинск

Евгений Степанов

Москва

Михаил Стрельцов

Красноярск

Михаил Тарковский

Бахта

Вероника Шелленберг

Омск

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

А. М. Клешко

Заместитель председателя  
Законодательного собрания  
Красноярского края

Е. Г. Паздникова

Министр культуры Краснояр-  
ского края

Т. Л. Савельева

Директор Государственной  
универсальной научной  
библиотеки Красноярского края

Г. О. Янушкевич

Руководитель Агентства печати  
и массовых коммуникаций  
Красноярского края.

Издание осуществляется при поддержке  
Агентства печати и массовых коммуникаций  
Красноярского края.

Журнал издаётся с 1993 г. В его создании  
принимал участие В. П. Астафьев. Пер-  
вым главным редактором с 1993 по 2007 гг.  
был Р. Х. Солнцев. Свидетельство о реги-  
страции средства массовой информации  
пи №ФС77-42931 от 9 декабря 2010 г. выдано  
Министерством Российской Федерации по  
делам печати, телерадиовещания и средств  
массовых коммуникаций.

В оформлении обложки использована  
картина Натальи Николаевой.

Редакция не вступает в переписку. Рукописи не ре-  
цензируются и не возвращаются. Ответственность  
за достоверность фактов несут авторы материалов.  
Мнение редакции может не совпадать с мнением  
авторов. При перепечатке материалов ссылка  
на журнал «День и ночь» обязательна.

ИЗДАТЕЛЬ

ООО «День и ночь».

ИНН 246 304 2749

Расчётный счёт 4070 2810 8006 0000 0186

в Новосибирском филиале

ОАО «Банк Москвы» в г. Новосибирске

БИК 045 004 762

Корреспондентский счёт

3010 1810 9000 0000 0762

Рукописи принимаются по электронной почте:  
dayandnight@bk.ru или по адресу: 66 00 28, Красноярск,  
а/я 11 937, редакция журнала «День и ночь».

Адрес редакции:

ул. Ладос Кецховели, д. 75а, офис «День и ночь»

Телефон редакции: (391) 2 43 06 38

Наш сайт: [www.krasdin.ru](http://www.krasdin.ru)

Подписано к печати: 20.03.2014

Тираж: 1200 экз.

Отпечатано ИП Азарова Н. Н.

в типографии «Литера-принт»,

г. Красноярск, ул. Гладкова, д. 6, офис 0-10

эл. почта: 2007rex@mail.ru, т. 2941577



*Наталья Николаева*

Диптих «Еланка»:

Старая Еланка

2013



*Наталья Николаева* | Триптих «Река Лена»: Зима | 2010–2013

*На первой странице обложки: Лето*